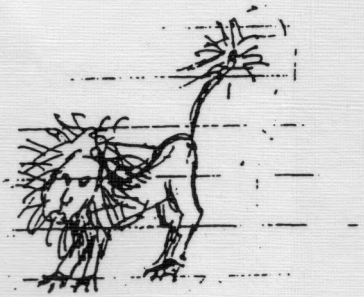
ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ 34 2010

В НОМЕРЕ:

МАРК АЗОВ
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД
МАРК ВЕЙЦМАН
ВЛАДИМИР ВЕСТЕР
АНАТОЛИЙ ДОБРОВИЧ
ВЕРОНИКА ДОЛИНА
ЛОРИНА ДЫМОВА
ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ
МАРК ЗАЙЧИК
ЕЛЕНА КАМБУРОВА
ЛЕОНИД КАЦИС
ДМИТРИЙ КИМЕЛЬФЕЛЬД
ВИКТОР ЛУФЕРОВ
ГЕННАДИЙ МАЛКИН
ЕВГЕНИЙ МИНИН
НИКОЛЬСКИЙ
НАДЕЖДА СОСНОВСКАЯ
АЛЕКС ТАРН
МИХАИЛ ФЕЛЬДМАН
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН
ЛЕНА ШТЕРН
И ДРУГИЕ

N34



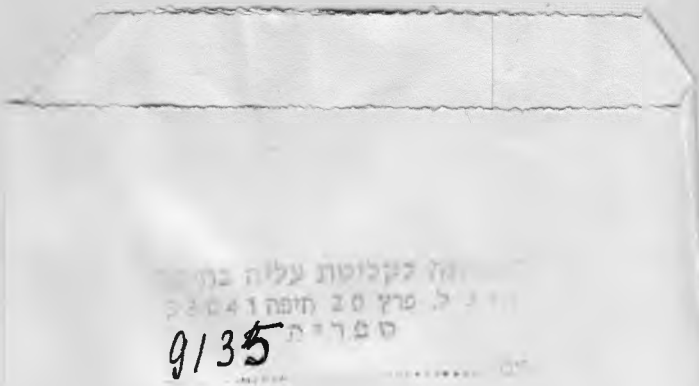
JERUSALEM LITERARY REVIEW

2010'34

Творческое объединение
«Иерусалимская Антология»
сердечно благодарит
Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА
за поддержку «Иерусалимского Журнала»

От всей души поздравляем наших любимых авторов
Михаила ЗИВА и Григория КАНОВИЧА
с присуждением им премии им. Юрия Штерна

Редколлегия «Иерусалимского журнала»


9135

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЕРУСАЛИМ

34 2010

Иерусалимский журнал, № 34, 2010 9135

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: magazines.russ.ru/ier/ а также antho.net/jr/index.html

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «**Иерусалимская антология**»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),
Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина, Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь: **Евгений Минин**

Художник: **Сусанна Черноброва;** Веб-дизайн: **Карина Пастернак**

Редактура и корректура: **Бина Смехова, Люба Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера: **Ольга Аксютина, Михаил Бяльский, Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин, Светлана Мойбер, Илан Рисс**

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке

Российский Еврейский Конгресс

Фонд
«Русский мир»

Отдел литературы
при Управлении культуры
Министерство науки, культуры и спорта

Иерусалимский муниципалитет

Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2010. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. 0. Box 32297 Jerusalem 91322**
E-mail: jerusalemreview@gmail.com Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте, но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства по рецензированию и возвращению рукописей

Евгений Минин

ИЗ ВЕРХНЕГО НАЗАРЕТА

Не поднимается рука писать пародии на стихи Марка Азова, тяжел и устойчив в них груз истины. И в сегодняшних, и мая 1945-го:

Я с факелом стою у ваших книг.
Да, я солдат, из тех, которых нет,
За мной во тьме их пропадают лица...
А мне
сегодня
двадцать лет.
Но этого могло бы не случиться...

Светлая квартира. Солнце в окне помещается полностью. Книжные полки. Ваза с фруктами на столе. Идей, планов, сюжетов – на сто двадцать лет вперед, не менее.

Я старого закала филолог, книжный червь и расстрига из поэтов, до меня еще эхо Серебряного века долетало в нежном возрасте, снопы златые северянинских поэз шуршали над моей колыбелью, и к серапионовым братьям, формалистам, далеким от народа, походя причисляла меня родная партия.

Занятия в студии у Надежды Мандельштам. Филфаковское литобъединение – с Борисом Чичибабиным, Юлием Даниэлем... Правда, еще была война, из которой вышел живым, с орденами и медалями, сохранив и чувство юмора тоже. Работа с легендарным Аркадием Райкиным – помните: «какчество – коликчество», «раствор йок»?.. Сценарии к фильмам, которые снимал замечательный его тезка – режиссёр Марк Донской... Стихи и проза, пьесы и миниатюры...

Волк пригласил к обеду Барбоса с Жучкой. – А он нас не съест? – шепчет Жучка. – Ты что?! Он гурман! Ест фрикадельку. Разве похож на собаку этот шарик? – И вовсе это не Шарик, – отозвался волк, – это Бобик.

И здесь, в Израиле, – рассказы и повести, театр и альманах «Галилея»... Фронтовая закалка?

Азов видит дальше и глубже многих из нас. Но кто нынче слушает пророков, а тем более писателя-юмориста?..

Марк живёт будущим, бредит ненаписанным и любит человечество. Он – мудрый! И молодой. А ведь он уже вовсю писал свои стихи и сценарии, когда многие пожилые писатели из нынешних классиков только начинали выводить каракули в первом классе.

Как можно ехать в Хайфу и не заехать в Верхний Назарет, где живёт Марк Азов?

Редакция «ИЖ» сердечно поздравляет любимого писателя со славным юбилеем и представляет его новые рассказы. Многая лета, дорогой Марк Яковлевич!

Марк Азов

ЕДИНСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

30 февраля

28 февраля 1945 года писарь в штабе полка, выписывая мне сопроводиловку в отдел кадров штаба армии, спросил:

– Сколько тебе надо времени, чтобы добраться?

Я на мгновенье задумался.

– Не уверен, что туда уже ходят трамваи.

– Остряк-самоучка. Трех суток хватит? – и стал загибать пальцы. – Двадцать восьмое, так... двадцать девятое... так...

И, не раздумывая, начертал роковые слова: «Прибыть по месту назначения 30. 02. 1945 г.».

Наверно, никому из миллионов солдат и офицеров воюющих армий, которые с грохотом и блеском убивали и калечили друг друга, так не повезло. Отныне я мог уже никогда никуда не являться. Мне дали бессрочный отпуск даже не из армии, а вообще из реальности.

Такие отпуска обычно получали только те, на кого писаря выписывали похоронки. Но дуракам, говорят, счастье. А я вел себя, как дурак, самый натуральный, в отношениях с начальством, и потому не успеет дойти моя очередь на тот свет, как начальство возьмет да и ушлет на другой участок фронта. Чтобы с глаз долой, из сердца вон.

Вот и на этот раз от меня так спешили отделаться, что даже не успели посчитать, сколько дней в феврале.

...А почему от меня так поспешили отделаться? – вот в чем вопрос. На этот раз я с начальством не пререкался, не подрывал его авторитет, вообще не делал ничего плохого, кроме хорошего. Я же не виноват, что нам прислали необстрелянного командира полка. Не то чтобы не обученный – наоборот, чересчур грамотный, что называется, матерый полкан, бравый, в серой каракулевой папахе, с шершавой, поросшей каштановым волосом мордой и командным рыком, который звучал громче 75-миллиметровой пушки. Ну чем не боевой? Но прислали-то его с Дальнего Востока, где японцы сидели тихо, а тут совсем другие пироги – тут стреляют...

Я вел нового командира на плацдарм – был у нас тогда маленький пятачок на том берегу реки Нарев. Ночью мы прошли над черной водой по дощечкам штурмового мостика без приключений; трассирующие шмели гонялись в небе друг за дружкой, как будто до нас им и дела нет.... А на берегу – черт ногу сломит. Все разрыто, фонарик не включишь, идешь – за землю хватаешься. Ну и артобстрел само собой. Сперва вдали слышится «тук-тук-тук» – это немецкая батарея заработала. Потом – вой, от которого кишки сворачивает – но этот вой лучше тихого зловещего шуршания. И наконец – разрывы, скрежет раздирающих воздух осколков...

Я уже приблизительно понимал, где упадет, зато полковнику каждый раз чудилось, что немецкое железо валится прямиком на его бедную голову. В какой-то момент, одурев, он нащупал воронку и

засел в ней, как клещ – не выдерешь. Не тащить же лейтенанту полковника из ямы за шиворот! Пришлось долго объяснять, что если он до утра не вылезет, то может там и оставаться, потому что на рассвете станет видна его папаха и фрицы начнут бить уже прицельно. Полкан вылез, но не протрусил и десяти шагов, как батарея на фрицевской стороне вновь заработала. На этот раз мой бравый командир плюхнулся на землю так неожиданно, что я не успел тормознуть и свалился прямо на него. Так полежали в два яруса, пока не затихло. Тогда я встал, подал дяде руку, и мы молча пошли дальше. Все. Но эти события имели продолжение.

Полковник, начштаба и замполит уединились в комнате, а меня усадили за стол в передней и дали пожрать, как человеку – из тарелки, а не из котелка. Сижу, царапаю ложкой по тарелке, а у них там за дверью звенят стаканы и слышится командный рык моего полкана.

– Этому пацану, – доносится до меня, – надо написать на Героя Советского Союза. Своим телом прикрыл командира полка. Думаете, не дадут?

Я поперхнулся так, что суп через нос брызнул. А вдруг дадут?

– Могут дать, – это уже начальник штаба майор Головатый. – Только я бы не советовал.

– Это почему?

– Ну... так-то он забудет, что с вами на плацдарме было, а вот со звездочкой на груди – хрена. Как на нее взглянет, так и вспомнит, какой у него мудак командир полка.

Наверно, тогда-то полковник впервые и задумался – как бы от меня избавиться. Представляю, какое облегчение он испытал, когда я выбыл самым естественным для войны путем. Проще говоря, меня записали в убитые и даже похоронили; документы, пистолет и звездочку с пилотки сдали куда следует, а писарь уже наладился штамповать похоронку – все чин-чинарем. Но на деле я оказался не только жив-здоров, но еще и в дупель пьян, что вполне можно было расценить как особо изощренное издевательство над вышестоящими товарищами.

Но и тут я ни в чем не был виноват. Я имел полное право выпить свои наркомовские. Офицерам давали не по сто, а по двести грамм. Наливать полагалось до начала атаки, но рачительный старшина зажал раздачу до «после», когда на душу каждого уцелевшего останется хоть залейся. Вот я и залился – шел себе и шел с залитыми глазами, пока не лег бесчувственно на поле бывшего боя среди непохороненных трупов. Потом уже я почувствовал, что меня куда-то везут. Это мне понравилось: не надо самому передвигать ноги... Зато позднее, когда ребята из похоронной команды стащили меня с телеги и стали раскачивать, чтобы бросить в яму с негашеной известью, я взмолился:

– Не надо, хлопцы... Тошнит...

Ну, меня и отложили в сторону как не достойного погребения. А на следующее утро, окончательно протрезвевшего, вызвали к сильно разочарованному полкану. Мои документы, звездочка и пистолет лежали перед ним на столе.

– Ты еще молодой, – сказал полковник, – в сыновья мне годишься. Я мог бы тебя и под трибунал отдать, но лучше расстанемся по-хорошему.

Характеристика, которую в запечатанном конверте приобщили к сопроводиловке, была, как потом выяснилось, хуже некуда. Но я в то время пребывал под сильным впечатлением своих неудавшихся похорон. Плевать я тогда хотел и на характеристику, и на полковника, и на писаря, который донимал своими дурацкими вопросами:

– Сколько тебе надо дней?

Как будто я знаю, где тот штаб армии... Все, что свыше двухсот метров от переднего края, – уже другой круг ада, зона облегченного режима, и чем дальше, тем шире круги: тылы полка, тылы дивизии, тылы смерти. А штаб армии – так и вовсе где-то далеко за пределами ада. Может, вообще в раю. Сколько нужно дней, чтобы добраться до рая? Вот тогда-то и начертал полковой писарь: «Прибыть 30 февраля». И я получил редчайшую возможность выбирать: либо через трое суток, «как штык», прибыть за получением нового направления на убой, либо шагать себе да шагать «не знаю куда» по трассе вечности, поскольку 30 февраля, как известно, не бывает никогда, даже на войне, где бывает всякое.

Не знаю, как бы вы поступили на моем месте. Я, как обычный свободный человек, выбрал неволю: закинул свой «сидор» за плечо и потопал к дороге ловить попутный транспорт, чтобы успеть за трое суток добраться до штаба армии.

С попуткой мне сразу повезло. В кузове полуторки уже тряслись солдатики. Меня втащили через борт, и водитель тут же дернул так, что я с размаху сел на колени какому-то сержанту. Положение крайне неудобное: лейтенант на коленях сержанта. Я буркнул **что-то** и попытался отодвинуться. Но это оказалось делом нелегким: полуторка – старая лайба – так и прыгала по разбитой дороге. Все мои попутчики, давно уже приноровившись, сбились в слитную кучку у стенки кабины, лишь один я кое-как выживал особняком, отчаянно и безуспешно цепляясь за борт.

– Ты чо, лейтенант? – крикнул мне тот же сержант. – Не тушуйся, давай прижимайся к народу. – И добавил сквозь всеобщее ржание: – Не лейтенант, а прям-таки девушка. Скиснительный.

Кому нравится быть посмешищем? А сержант не унимался: он самым нахальным образом похлопал меня по коленке:

– А ты совсем еще молоденькой, лейтенантик. .

Тут я уже не выдержал:

– Извольте соблюдать субординацию, товарищ сержант. Я вам не ты, а старший по званию.

Все сразу поскучнели и отвернулись, и я пожалел о своих словах – особенно, когда рассмотрел сержанта. Ну совсем еще пацан деревенский с круглой рязанской мордой, тронутой оспой, а бритвой не тронутой... Знавал я таких солдат с девичьими лицами и голосами.

– Ладно, забыли, – сказал я сержанту. – Тебя как зовут?

– Васька.

– Извини, Вася.

– На Васю не отзываюсь. Васька.

– Как хочешь.

Время катилось к вечеру, и я задумался: где-то придется заночевать. Можно и в поле – не привыкать, но февраль все-таки... Впереди показались темные дома, затем по обе стороны улицы пошли заборы. Шофер затормозил и вылез из кабины.

– Слезай, приехали. Город Замбров.

Все попрыгали на землю и побрели кто куда. Кроме Васьки.

– Пойдем со мной, лейтенант, – сказал сержант, – а то будешь на улице ночевать.

Что ж, вдвоем веселее. Тем более, что Васька как в воду глядел: поляки в дом не пускали, посылали в комендатуру – мол, там распределяют, кого куда. Комендатура размещалась на другом конце города, переться туда не хотелось. Васька решительно поднялся на крыльцо очередного дома. Выглянула хозяйка, молодая полька.

– Ниц жовнир! Нельзя солдат! Пан комендант мувыв: ниц жовнир!

– А я не жовнир, – отвечал Васька. – Я панинка.

– Па-а-нинка?... Панинка в штанах не бывает.

Но тут мой сержант распахнул перед хозяйкой свой зеленый бушлат, стал расстегивать пуговички на гимнастерке, и полька увидела такое, что подавилась смехом так, что даже посинела. Никак не могла отдышаться. Только вдохнет, как очередной приступ смеха снова перехватывает горло. Мигом сменив гнев на милость, она провела нас в горницу. Затем, не переставая смеяться, принесла горшок с молоком, хлеб, и чуть не уронила все это со смеху...

В доме Васька сбросила свой ватный бушлат – такой многие носили вместо шинели – и осталась в гимнастерке и солдатских шароварах. Я увидел ордена «Красной Звезды» и «Красного знамени». Когда успела заработать? Но было на этой гимнастерке нечто куда более значительное, чем все ордена на свете: четыре желтых нашивки – отметки тяжелых ранений. Так и пахнуло от этих полосок гнойным духом госпиталей. Да-а... чего только не пришлось повидать этой девчонке...

Потом она мне показывала вырезки из газеты: «Подвиг разведчицы», «Наша Васса Живолунова»...

Пока мы ужинали, все еще посмеивающаяся хозяйка натащила сена, соорудив нам на полу одно широкое ложе.

– Пан хорунжий, – спросила она на всякий случай, – теж панинка?

Как ей такое могло прийти в голову, до сих пор не могу понять. Да, я тогда еще не брился, но основательный пушок уже покрывал мои юные щеки. В доме было тепло, мы могли даже раздеться – впервые за месяцы окопной жизни. Васька без всякого стеснения сбросила с себя все – до кальсон. Думаю, даже если бы на меня направили шестиствольный немецкий миномет, это не произвело бы такого впечатления, как баба в кальсонах. Белые солдатские кальсоны с завязками и вечно распахнутой ширинкой.

Впрочем, если бывает 30 февраля, то почему не может быть бабы в кальсонах?! Когда мы улеглись, я попробовал обнять это странное существо, и она позволила моей руке проникнуть в незащищенную ширинку – но не дальше. Стоило мне коснуться жестких волос, как Васька плотно сдвинула ноги, но не отодвинулась, не отбросила мою руку, а просто заговорила.

– Думаешь, почему я такая?...

– Какая?

– Да не такая, как остальные бабы! По твоему, сколько мне лет? Двадцать девять. У меня был муж до войны, мастер спорта, и я мастер спорта. Жили в Сибири, Омск, может, знаешь... И вот двадцать второго июня объявляют: война! Начинаю сушить сухари мужу в

дорогу, а он приходит вечером домой такой довольный, прямо масло с него капает... «Мне, – говорит, – дали бронь как ценному человеку». Ну что ты ему скажешь? Если мужик не воюет, значит кто-то его должен заменить. И пошла в военкомат.

– Да, но женщин сколько угодно в армии. И не только санинструкторы или там... связистки. Есть летчицы. Одна танкистка, сам слыхал... Но они все в юбках.

– Это вообще другой разговор. Баба в армии на два фронта воюет. Один как у всех, а другой против вас, козлов. Каждый лезет.

Я неловко потянул назад свою обнаглевшую руку.

– Пусть греется, не мешает, – сказала она. – Думаешь, я что, ненормальная, не могу влюбиться? Был один комбат, золотой мужик, староватый, правда, тридцать восемь лет, и жена дома, и дети. Все, как у всех. Но одно у него было достоинство... не то, что ты думаешь... за что я его любила без памяти.

Из окна на пол, где мы лежали, падала прозрачная простынка света, и я видел отчаянно тоскливые глаза на тронутом оспинами лице.

– Так за что же ты его так любила?

– Что теперь вспоминать. Убило его, как всех. Хотя был не как все.

Меня уже разрывало от любопытства:

– Чем же все-таки он не такой?

– Да было у него такое ранение, после которого он уже не мог. Зато он меня любил не как козел, а как человек. Не могу я это выразить...

И я тоже не могу выразить, что выражали ее глаза, отдельные, казалось, от лица, и от бязи солдатского белья, что было на ней, и от этого дома, от всей этой Польши, и от проклятой войны. Наутро она опять стала Васькой, мальчишкой-сержантом, с рязанской лукавой рожей, и мы продолжили свое путешествие в таинственное 30 февраля.

По пути к нам привязался еще один лейтенант. Повыше меня и постарше, со щеками, синими от бритья, и даже пахнущий шипром из Военторга. Он знал лишь одну тему для разговора: «про баб-с». Тыловая обстановка, и тем более, Польша, к этому особенно располагали. Наш третий лишний в неповторимых выражениях живописал свои приключения на этой почве, истинные и фантастические. В отличие от него я знал, что все это произносится в женском обществе, но наша спутница и ухом не вела.

Отлучившись на минутку, я вернулся и обнаружил картину: лейтенант и Васька, набычившись, стояли друг против друга, и в руке у каждого – пистолет. До сих пор не могу понять, где она прятала довольно внушительный немецкий «Вальтер».

– Убери своего сержанта! – заорал лейтенант. – Видали? Он мне запрещает матюкаться!

– Да он вовсе не он! – закричал и я, становясь между ними. – Он вообще женщина!

Лейтенант, проглотив очередной «матюк», похлопал глазами, а потом сказал:

– Ну и что?

Действительно, наши фронтовые подруги ко всему привыкли и сами порой отпускали такие выраженьица, что мороз по коже. Но Васса Живолунова, фронтовая разведчица и мастер спорта, кото-

рая и пила, и курила, и одевалась, и воевала, как мужчина, оставалась дамой и требовала рыцарского к себе отношения аж с «Вальтером» в руке. Все это не очень-то укладывалось в моих мозгах, пока не пришел третий день нашего путешествия – 30 февраля. Если этот отсутствующий день календаря все-таки существует, так что удивительного в том, что я встретил на своем жизненном пути настоящую даму из XIX-го века, подобную кавалерист-девице Надежде Дуровой, которой восхищался сам Пушкин?.. И пусть на ней не гусарские рейтузы, а солдатские кальсоны, но зато она знает толк в романтической, даже платонической любви! Когда пришла пора расстаться, мы бестолково постояли, подержались за руки. С тех пор я ее не видел.

Майор в отделе кадров армии взял мои бумаги, распечатал конверт с характеристикой. То-то же он сейчас обалдеет, увидев «30 февраля»... Но майор ничуть не удивился, а наоборот, насупился.

– Вам сколько было дано суток на дорогу, лейтенант?

– Ну, три..

– Трое. А когда вы выбыли из части?

– Ну, двадцать восьмого февраля.

– А сегодня у нас что? Сегодня уже первое марта! Значит, вы прибыли на целые сутки позже положенного срока. И кто вы после этого?

– Не понял.

– Разгильдяй! – повысил голос майор. – Вот кто вы после этого, товарищ лейтенант. Ваше счастье, что в связи с наступлением у нас большая текучесть офицерских кадров.

Сморщившись, он брезгливо переложил мою поганую характеристику в другой, новенький, конверт, тщательно запечатал и выписал направление на самый, как он сказал, ответственный участок фронта, а проще говоря – на передний край. Он бы и дальше выписал, но дальше было некуда.

СТУПЕНИ

1. Под землей

Милый боженька, если ты есть! Пишет тебе Шапиро Лева, ученик пятого класса «Б» средней школы № 13. Боженька, прости меня, пожалуйста, если неразборчиво и если буквы расплылись, ведь пишу я химическим карандашом, который слюнят. А другого у меня нет. И бумага из-под селедки.

Мы с сестрой Фиркой живем в погребе у бабы Веры. И кроме нас тут никто не живет. Хотя вру – вчера из стенки вырылась медведка. Она такая уродка, разлапая и черная, все мохноухая. Фирка закричала и затопала ножками, пришлось ей рот зажимать, чтоб наверху не услышали.

Боженька, если ты есть, скажи, пожалуйста: чем еврей хуже медведки? Наша мама Фрида – такая красавица, что ни в какое сравнение не идет. И пользы от нее много было, не то что от медведки. Она лечила больных, делала им «вдувание». Жену Петра Романовича с того света вернула, он сам говорил. А когда гнали евреев на

ликвидацию, Петр Романович и не подумал заступиться. Жена его дергала за рукав, а он ее локтем: «Хочешь, чтоб меня самого расстреляли?»

Дедушка Изя сказал, что это ты нас наказываешь за грехи. А какие у меня грехи? Варенья из яблочек с хвостиками я никогда не брал без разрешения, кроме того раза, когда уронил всю банку. Но за тот раз ты меня уже наказывал. И дедушка Изя сам говорил, что бог наказывает не за какие-нибудь райские яблочки, а за то, что неверующие. Но я не неверующий. Я честно верил – правда, не в бога, а в пионеров. Меня в пионеры приняли, а четвертый класс я окончил на хорошо и отлично, и даже награжден книгой про строительство в Москве метрополитена.

А чем провинился перед тобой дедушка? Он только и делал, что читал твою книгу, раскачивался и молился. Даже с нами кушать отказывался. У него была своя кастрюлька, а на ликвидацию он шел в платке с полосками, с коробкой на лбу, и твою книгу нес. И папу он всю жизнь не любил за то, что он не сделал мне обрезания. Папа член партии, он сказал, что обрезание мне будет только через его труп. Но теперь никто не знает, где папа или его труп. Он ушел на войну, а к нам пришли немцы.

Немцы никого не убивали, пока не приехала зондеркоманда, а там никто не умеет говорить по-немецки: только один настоящий немец и один переводчик. Нам сказали, что поведут на станцию сажать в вагоны, но Родик из пятого «А» слышал, как они говорили между собой, что будут в овраге класть жидов вторым слоем.

И тогда мама зашила мне в штаны свои брошки, бусы и колечки, велела взять Фирку за руку и бежать к бабушке Вере в деревню, а по дороге всем говорить, что меня зовут Федя, а Фирку – Маруся. Но нас никто и не спрашивал, а бабушка Вера заплакала и сказала, что я такой же Федя, как Фирка – Маруся, и что немцы ее за нас повесят, но брошки взяла, потому что нас ей придется кормить, а сколько времени – один только ты и знаешь.

Боженька! Вера очень добрая бабушка, хотя ругается с утра до вечера. Она была у мамы в тубдиспансере санитаркой и маму любит, как родную дочь, хотя детей у нее никогда не было. Нам она носит в погреб что бог пошлет, суп с бураками, а за нами выносит ведро.

А еще в погребе есть картошка, которая выпустила из себя столбики совсем никакого цвета, как теперь у Фирки лицо, на котором одни только глаза и остались.

Боженька, милый! Фирка канючит и канючит, просто сил моих нет – покажи ей солнышко. А какое может быть солнышко, если в погребе неба нет? Баба Вера только по ночам открывает – подышать нам дает. А ночью солнца нет. Но глупая Фирка не верит, говорит, что закопали солнце в овраге вместе со вторым слоем жидов. Что с нее возьмешь, она маленькая.

Боженька, если ты есть, помоги хотя бы бабушке Вере! Она верующая, ходит в церковь и боится, что кто-нибудь из соседей ее застукает с нашим ведром. А там не огурцы из погреба и не капуста. И тогда ее могут повесить вместе с нами. Она хорошая бабушка, а что ругается, ты ей прости. Больше писать не могу, дальше бумага от селедки жирная, и буквы отскакивают. Лева.

2. Над землей

– Папаша, что с вами происходит? Отгородились от всего мира на своей половине.

– Вы называете половиной угол, куда меня загнали?

– Никто вас не загонял, вы сами туда залезли. Сидите и раскачиваетесь, как старый еврей на молитве. Кому вы молитесь?

– Кому мне молиться? Себе самому?

– А над чем вы раскачиваетесь? Над Книгой, которую сами написали?

– Над горем своим я раскачиваюсь! И еще над этим письмом.

– Это то письмо, которое старуха принесла в православную церковь? Я тоже сначала думал, что оно не вам адресовано. Но поп сказал, что его написал иудейский мальчик.

– Если бы один мальчик.... А сколько их уже не пишет и не напишет никогда! Этот, под землей, еще живой, остальные там же – но уже мертвые. А кто их убивает? Не те ли, сын мой, кого ты учил любить ближнего, как самого себя? И куда смотрит твой папа Римский?!

– А что может мой Папа Римский, когда мой Отец небесный только сидит и плачет?

– Я уже даже не плачу, сынок. Выплакал глаза. Остались пустые бездны и пересохшие русла. Но я не ослеп, хотя только о том мечтаю, чтобы ослепнуть, оглохнуть. А куда мне бежать от смрадного запаха дыма их печей?

– И это говорит тот, кто дал людям заповедь «не убивай»?!

– Те, кому я дал эту заповедь, никого не убивают. Убивают их! Их женщин, и их детей безжалостно истребляют. Чтоб ни корней, ни плодов, ни семени не оставалось.

– И ты, всесильный, который создал все сущее, только и делаешь, что раскачиваешься на своей половине.

– А что мне делать? Может, снова послать на землю сына? И как они с тобой поступят на этот раз, Иеошуа? Боюсь, сейчас мне уже будет труднее тебя воскресить. Они умерщвляют в газовой камере по сто человек одновременно и всех сжигают в крематории. Попробуй потом отделить прах Иисуса Христа от пепла других евреев.

– Выходит, тот, кто создал человека, бессилен остановить даже руку его, занесенную, чтобы размозжить голову младенца?

– Ты прав, сынок. Может, вообще не надо было создавать человека. Так было бы милосерднее. Но что сделано, того не воротишь. Я дал им свободу выбора. Сытый лев лежит и позевывает, когда мимо проходят антилопы. А человек найдет сто причин для убийства себе подобных. Я пробовал их образумить. Смешивал языки – ничего хорошего... Но я не бессилен, конечно. Я им уже устраивал один потоп. Могу устроить и второй... Но если откроются хляби небесные, то мальчика с девочкой в погребе, пожалуй, зальет. Как ты думаешь?...

– Думаю, чтобы спасти своих детей, ты поможешь толпам безбожников – тем, кто рушил церкви и синагоги, расстреливал попов и раввинов – дойти от Волги до Европы.

– Дай бог, чтоб они успели.

3. На земле

К верхней планке арки, на которой раньше выцветали советские лозунги и подвешивали экран кинопередвижки, двое полицаев навязывали веревки с петлями .

– И чого мени закортило бигты за самогонкою, колы нич на двори, сам не знаю, – рассказывал один. – Аж бачу, бабка Верка нэсэ ведро з погребу. Ось, думаю, закусь будэ... А ну, кажу, бабуся, дай капустки покуштувать. Руку у ведро и цап... Тьху... Там гимно жидивське! Ледве одмывся... Тягни лавку.

Длинную скамью – на которой сиживали, бывало, поселяне, лузгали семечки, свистели, когда рвалась кинопленка, – поставили под арку, под петли.

– Ну и шо это будет? У тебя все веревки одной длины. А бабка ж выше хлопца, и жидята мал-мала меньше. Это тебе не капусту пробовать из ведра. Лезь теперь, перевязывай...

Приехал на бричке начальник полиции. Слез. Перекрестился:

– Слава богу, готово. Зараз герр комендант пожалуют .

Старуху и детей вытолкали из сарая, где их держали, пока соберется народ.

Фира жмурилась, боялась открыть глаза, еще не привыкла к свету.

– Глянь, Фирка, – сказал ей Лева. – Ты говорила, солнце зарыли, а оно, где было, там и висит. Фиг им его зарыть!

АВАДДОН

Он лежал среди крови и копоти на черном снегу. Рядом валялся сапог с остатками ноги. Но это была не его нога, судя по сапогу. Впрочем, ему было безразлично: он не чувствовал боли.

Облака, такие же грязные, как снег, проносились над ним на бреющем полете...

И вдруг к нему слетел гриф-стервятник. Громадный, горбатый. Обошел по кругу, крылья за спину, и, склонив набок головку на красной мозолистой шее, уставился не него, как бы примеряясь, куда обрушить клюв.

В глазах этой пернатой сволочи сквозила мутная глубина безразличия, подобная полету облаков.

Откуда здесь гриф? Он видел этих нелепых птиц в предгорьях Памира, когда из него делали лейтенанта – «Ваньку-взводного» в училище... А здесь даже ворон, ко всему привычных, и тех распугали артиллерией...

– С чего ты взял, что я птица?

И правда, с чего я взял? Он только показался грифом. На самом деле, этот, с безразличными глазами, либо санитар, либо из похоронной команды: человек как человек, в армейской телогрейке без погон. Нестроевой дядя.

– Са-а-ни-и-тар.

– Бери выше.

– Фельдшер.

– Выше!

– Врачи здесь не ходят.

– Еще выше.

– Но уж не Господь Бог?

– Нет, не Бог. Всего-навсего, ангел смерти. Аваддон. Может, слышал? Хотя откуда вам знать? ...Я за тобой пришел, елед[1].

– Я Саша.

– Для меня ты елед.

– Это на каком таком языке?

– На твоем, которого ты не знаешь. У нас там только на нем и говорят, – он закатил к небесам, которые летели, свои безразличные глаза. Вставай, мальчик. Здесь тебе больше делать нечего..

– Я не мальчик, мне девятнадцать лет будет в июле...

– Уже не будет.

– Я лейтенант, я командир взвода.

– Где он, твой взвод?.. Только одна нога и осталась от взвода...

Он вспомнил, чей это был сапог с ногой. Боец Сорокин рук не мыл, лица не ополаскивал, а за сапогами ухаживал, как за родными. У себя в колхозе он в калошах ходил, вырезанных из камеры от грузовика, а тут ему достались яловые сапоги. Так он ночью просыпался и драил их бархоткой. Бархотка торчала из сапога вместе с тем, что осталось от Сорокина.

– Неужели никто не уцелел?

– Меня это не интересует. За ними скелеты ходят с косами, или еще кого там они себе напридумывали при жизни. А ты наш елед, тебе как солдату убитому положена доля в вечности. Вот уже небо опустилось, давай поднимайся. Ну, чего разлегся?

– Подожди. Может, я не совсем убит? Может, это ошибка?

– Думаешь, ты у меня один?

– Товарищ, как вас?

– Аваддон.

– Дяденька. Я понимаю, вы ангел смерти, у вас должность такая. И ничего вы плохого не делаете, даже наоборот...Вот мне по марксизму-ленинизму говорили, что ни бога, ни того света нет, а вы предлагаете даже долю в вечности...Это сколько?

– Вечность, как ты ее не дели, остается вечностью.

– Вот я и говорю, вы добрый человек.

– Я не человек.

– Ну, добрый ангел.

– Я ангел смерти!

– Добрый ангел смерти, Почему бы нет?

– Не крути! Чего ты хочешь?

– К маме.

– Что?!

– Хоть на один день! Час! Минуту!...Чтобы она увидела, будто я еще живой. Не надо мне вашей доли в вечности, возьмите ее всю себе за эту одну минутку..

– А мне зачем?

– Ну не знаю... Она очень больная, я у нее один...И вообще вы представить не можете, какой это удар для еврейской мамы. .

– Маму вспомнил.. А если бы пуля пролетела мимо?

– Ну, пожалуйста. Бог вас простит. Он добрый.

---

[1] Елед (*иврит*) – мальчик.

– Что ты вообще знаешь о Боге....Что Бога нет – вот и все, что вы знаете.

– Пожалуйста! Товарищ ангел! Ну, поставьте себя на ее место. Пусть она подумает, что я прибыл на побывку или проездом... промелькнул, и ей останется надежда...

– Отстань, надоел! В особый отдел обращайся с такими просьбами, в трибунал, в НКВД – там настоящие ангелы смерти. Я по сравнению с ними Санта-Клаус с мешком подарков.

– Что вам стоит оставить моей маме надежду? Я же все равно умер.

– Черт с тобой! Но только проездом на тот свет.

– Спасибо.

Ангел зашагал, не оглядываясь. Убитый едва поспевал за его ватником ...Небо над ними гудело – тяжелая артиллерия пахала перепаханное поле мертвых.

– Вы хотя бы пригнулись! – крикнул ангелу лейтенант.

– Зачем? -отвечал тот, не оборачиваясь.– Ты мертвый, я – бессмертный.

Навстречу из второй линии траншей выскочил синерожий генерал с глазками испуганной мыши и заиграл перед мальчиком пистолетиком.

– Где ваши бойцы, лейтенант?! Рррастрррреляю, трус!

Пистолетик трясся в его руке, выхаркивая пулю за пулей...

– Ну в кого ты стреляешь, дурак? – сказал ангел генералу. – Он мертвый, я бессмертный.

Генерал так и остался в недоумении, как он мог в упор промахнуться?

А они уже вышли на дорогу в колдобинах, будто переболевшую черной оспой.

Ангел проголосовал шоферу полуторки– такому же с виду нестроевику, в таком же зеленом ватнике и ушанке.

Они быстро договорились, лейтенант полез в кузов...Там уже лежали четверо.

Машина пошла гарцевать по колдобинам, и мертвецы заплясали. Они становились почти вертикально и, раскрывая объятья, норовили навалиться на лейтенанта.

– Ничего они нам не сделают, – сказал ангел, – ты мертвый, я бессмертный.

Небо летело над ними в одну сторону, война уходила в другую. Не стало слышно переднего края. Над горизонтом не дрожало зарево. Здесь уже курили, не пряча закруток в рукав шинели.

Они сменили множество попутных машин. И, наконец, увидели железную дорогу. Рельсы, даже не взорванные .

Через всю страну, голодную и разбитую, ехали долго и скучно. И никто не спрашивал, куда они едут, ни пассажиры, ни патруль, проверяющий документы.

– Кому мы нужны, – говорил ангел, – ты мертвый, я бессмертный.

Саша ему рассказывал о маме. В его рассказах мама была только молодая и только красивая. Но очень одинокая, потому что сначала у нее был муж, потом муж и сын, а сейчас ни мужа, ни сына...Никого, кроме соседки, которая за ней ухаживает, потому что она не встает с постели.

– Давай скажем ей правду, – предложил Абаддон, – пусть знает, что тебе гарантирована вечность, ты с приходом Машиаха встанешь из могилы…

– Ну зачем же так сразу и про могилу? Ты моей мамы не знаешь. У нее сердце. Лучше скажем ей, что ты в штабе служишь писарем и меня устроишь по блату, чтобы подальше от переднего края.

– Вообще-то ангелам врать не положено.

– Но ты же с благими намереньями.

...Они приехали в этот город ночью, транспорт еще не работал, пришлось от вокзала идти пешком. Для живых людей это было бы, пожалуй, утомительно.

– Во всем есть своя положительная сторона, – сказал ангел смерти. – И не натрешь ноги, и увидишь свою мамку, наконец. Но учти, мы проездом по служебным делам. Только между поездами. Ты же не хочешь, чтоб меня из керувов, ну, серафимов… разжаловали в рядовые ангелы.

Было уже светло, когда они позвонили в двери с тремя звонками и тремя почтовыми ящиками.

Соседка спрашивала из-за двери «кто?», не верила ушам своим, сперва открыла на цепочку, потом все-таки впустила.

Мама сидела в постели, накрытая по пояс двумя пледами, белая, как рубаха на ней, и казалась мертвее сына.

Никогда у его красавицы-мамы не было таких синих губ.

Только пружинки волос ее на висках да биение жилок на шее выдавали в ней женщину, а не камею.

– Мама! Я Саша. Проездом. У нас сорок минут.

– Ну да…Саша, – шевельнулись синие губы…– А вы?– она обращалась к гостю, боясь взглянуть на сына: а вдруг этот сон исчезнет?.– Вы Сашин друг? А я не одета.

С пледа сполз на пол журнал «Врачебное дело».

– Вы доктор, -сказал ангел, – а я тоже… что-то в этом роде.

– Коллега.

– Можно и так сказать.

– Вы, наверно, устали? Садитесь. Я скажу, чтоб вам чаю принесли и что-нибудь поесть.

– Нам уже не надо…– чуть не сболтнул ангел, но Саша так глянул на него, что рот захлопнулся, как мышеловка.

– Сашенька, скажи Софье Соломоновне, чтобы взяла там не кухне. Она знает. А вас как зовут?

– Вообще-то я Аваддон, но можно просто Ави.

– Мой отец, Сашин дедушка, был меламедом в хедере, и я учила в свое время…

Ангелу только этого не хватало. Вот уж не думал, что его здесь могут разгадать.

Саша принес чайник, соседка – картошку с селедкой. Хотела что-то сказать. Но мама остановила

– Сонечка, я прошу вас, пожалуйста.

Та проглотила заготовленную речь и затворила за собою двери.

– Мама,– встревожился Саша, – ты как будто не рада! Я еще приеду навсегда. Меня обещали перевести в штаб полка, писарем. Вот он обещал. Он очень влиятельный там..

Саша и сам уже верил в свою ложь, грязно-зеленый ватник ангела представился ему каменной стеной.

Авадон же ерзал на стуле и глазам не находил места. За свою бесконечную жизнь он привык иметь дело с мертвыми, но никогда не наведывался к их матерям. Поднять мальчишку с поля боя – святое дело. А вырывать из материнских рук единственное дитя, выкормленное пустеющей грудью в голодные годы, спасенное от дифтерии... Саша рассказывал в поезде, как мама ослепла, когда он болел, месяц она видела мутное молоко вместо света. Ни один ангел не в силах утешить эту женщину. Даже ангел смерти не может упокоить ее навек. Ее час не пробил, а он только исполнитель. Ей еще жить и жить без сына, а без сына для нее нет жизни. Проклятая профессия, я бы никому не посоветовал идти в ангелы смерти.

Саша держал мамину руку с голубыми жилками. Аваддон смотрел на картошку, остывающую на столе.

Стрелки напольных часов нетерпеливо прыгали. Только селедке было все равно.

– Мама, ну мамочка, – спрашивал Саша, – почему ты не рада? Я же вот. Вот он я! Рядом.

Бездонные мамины глаза были переполнены горем, и время, отпущенное ангелом на свидание с сыном, тянулось невыносимо долго для всех троих.

– Мама, ну мамочка!

– Идите уже. Опоздаете. Вам попадет.

Она осторожно вынула свою руку из ладоней сына, он склонился, она коснулась губами его лба и упала лицом в подушку.

Сын, не оглядываясь, шагнул за дверь. Ангел виновато нахлобучил свой треух и вышел следом, шаркая по паркету, совсем как человек.

Но на свободе он вдруг превратился в грифа, железные когти его сгребли мальчика, и гриф вырос мгновенно так, что город под ним стал игрушечным. Четыре человеческих головы с женскими волосами были у ангела смерти, и тысяча крыльев его издавали шум, подобный стуку колесниц, когда тысячи коней несут их на войну. И не из перьев был этот ангел-гриф, заслонивший небо, а весь он соткан из глаз и ртов с языками... Рты вопящие, глаза отчаянные.... Теперь к ним прибавилась пара глаз мальчика-воина из печального и больного божьего племени.

Только за ними закрылась дверь – вбежала соседка.

– Ну, что я говорила? Что я говорила?! Сядь! – Софья Соломоновна силой отрывала ее голову от подушки.– Они, конечно же, по ошибке прислали тебе эту похоронку!

– Оставь, Соня, оставь, дай мне умереть.

– Но он только что был здесь, я его видела, как тебя, своими глазами!

– Ты не врач, ты не знаешь, что такое фациес гиппократика..

– Зачем мне ваши фациусы-шмациусы? Это был Саша, его лицо, или я сумасшедшая!

– Маска Гиппократа – лицо смерти у моего бедного мальчика. Нос цвета стеариновой свечи, лоб ледяной, и глаза, запавшие в синие ямы. Не утешай меня. Это правда, Соня. Я не выдержу правды! Ничего на свете ужаснее правды люди не придумали.

ПИСЬМО

Здравствуй, родной!

Разрешаю тебе напечатать мое интимное письмо. Пусть все знают, как мы любим друг друга. Надеюсь, твоя жена поймет и перестанет ревновать, когда дочитает это послание до конца. С ней вы встретились в зрелом возрасте на скрещении дорог: каждый шел своим путем и со своей поклажей, и пришлось на ходу выяснять, чьей дорогой топать дальше и что на чьи плечи перекладывать. А мы с тобой, так уж получилось, как в сказке: в один день родились и умрем в один день, не сомневайся!.. Лучше меня тебя никто не знает. Я могла бы рассказать, с чего ты начал свой «путь в литературе» – хотя это слишком громко сказано. Примерно в пятом классе школы тебе достались от папиной секретарши рулоны бумаги для счетных машин. Вроде тех, что теперь для клозета, но бумага плотная и цвета пожелтевшей слоновой кости, как на клавишах старого пианино. Вот на тех-то рулонах ты писал стихи с необыкновенной скоростью. И на тебя тут же посыпались заказы. Другие пацаны просили слагать послания девочкам. Ты спрашивал только, что за девочка и сколько метров стихов потребуется. О девочке сообщали, к примеру, «черненькая в красном платье» (платье в те годы носилось одно «на вырост» и переходило к младшей сестричке) – и этих сведений тебе хватало на пару погонных метров рифмованных строк. Тебе и сейчас заговорить стихами даже легче, чем промолчать. ...Но «Лета к суровой прозе клонят», – как справедливо заметил Александр Сергеевич. А я помню и «Казачью песню», которую пели кубанские казаки в конном строю в 41-м, когда автору было всего семнадцать, и «совсем из другой оперы» изысканно декадентские стихи, читанные в литературном ахматовском кружке, которым потом руководила Надежда Яковлевна Мандельштам... Но ты уже ушел на фронт, где было не до стихов... И все же были песенки, которые ты сочинял под мандолину (хотя не умел и не умеешь ни петь, ни играть) в Германии, в конце войны, сидя в трофейной пролетке, застеленной трофейным же ковром. Тебя за эту тачанку, и за черную папаху, и за длинные волосы, и за очки «славяне» прозвали тогда Махно. И таким вот «махной» в кавалерийской шинели ты объявился в Харьковском университете и в кружке поэтов, из которого вышли и Чичибабин, и Даниэль, и Марлена Рахлина, и, как ни старался строить из себя хулигана, а был прежний интеллигентный формалист, дальний родственник «Серапионовых братьев», которых партия долбала заодно с Ахматовой и Зощенко как раз в те самые времена.

Надо сказать, советская власть тебя не любила, и ты отвечал ей взаимностью. Она даже, и не однажды, пыталась разлучить нас с тобой... Помнишь, после войны нам встретился твой бывший однополчанин, который не мог поверить, что ты жив. «Но ведь и тебя не убили», – сказал ты ему. На что он ответил: «Я не тому удивляюсь, что тебя не убили немцы, а тому – что наши не расстреляли.» И было за что. Ты ради красного словца не то что родного отца – коммуниста, подпольщика, буденовского комиссара – не пожалел, но и самого товарища Сталина. Как только пронесло?.. Однажды следователь СМЕРШа привел тебя в белорусскую хату, где хозяйка гада-

ла на картах и нагадала тебе, ясное дело, дальнюю дорогу и казенный дом, а когда выложила последнюю карту, сказала: «И успокоишься разговором» ...Как в воду смотрела! Кто львов укрощал молитвой, кто из Царства мертвых «выскользнул», играя на лютне, а ты – «мастер разговорного жанра» (что впоследствии подтвердила комиссия Мосэстрады) – умудрялся отбрехаться и столкнуть «начальничков» лбами, так что они предпочитали избавиться от тебя – посылали «на передок», авось там убьют без их помощи... Но тут-то везло не им, а тебе. Хотя одну «похоронку» родители все же получили. Судьба играет человеком. Но судьба, как и я, женского рода и тоже не прочь, чтоб и с нею поиграли. А ты играл с судьбой. Тебя должны были затоптать как «безродного космополита», но почему-то пристегнули к «врачам-убийцам», хотя ты был никакой не врач, а учитель русской словесности. Поэтому не посадили, а, наоборот, освободили от любой работы... И вот, как рассказывал драматург Борис Голлер: «Вхожу, а он лежит на диване и сочиняет очередной антисоветский пасквиль в виде сатирической комедии».

...Что не делается – все к лучшему: и Сталин сдох, и комедия, обрезанная до миниатюры, пошла у Аркадия Райкина.

А ведь ничего бы этого не было, если бы ты не разменял свой поэтический талант на ходовую монету... Сознательно. Признался только мне. «Послушай, жизнь моя! – сказал ты. – Еще Некрасов изрек: "Поэтом можешь ты не быть." Так, может, и не надо? Поэт в России больше, чем подлец, когда прославляет огромные достижения. Без этого не печатают. А кушать хочется. Так, может, честнее за деньги советской власти высмеивать ее "отдельные" недостатки?»

И ты из декадентов переквалифицировался в юмористы. Вместе с другим веселым человеком вы составили юмористический тандем: Марк Азов и Владимир Тихвинский.

Юмористы по примеру Ильфа и Петрова ходили парами. Как злой и добрый следователь. Если начальство заподозрит неладное, злой юморист стоит насмерть, а добрый возьмет да уступит какую-нибудь запятую. И цензура теряет бдительность – шмяк резиновый штампик: разрешено. А что именно разрешено, выяснилось, когда в Москве к Тихвинскому пришли с обыском сразу четыре полковника с Лубянки, повытряхивали из ящиков машинописные экземпляры эстрадных обозрений и застонали от счастья. Вот так улов! Что ни страница – то самая махровая антисоветчина!. Но ты их был вынужден разочаровать: не мыльтесь – бриться не будете. Взгляните, дорогие товарищи, на титульный лист. Здесь все печати соответствующих учреждений, подписи ответственных лиц...

И уходят доблестные чекисты с холодными, как положено, головами, горячими сердцам и ...пустыми руками. Сатира, пока она не разрешена властями, является подрывной литературой. А после утверждения в инстанциях – всего-навсего критика отдельных недостатков.

Правда, тебе бы тогда помолчать. Жил в Москве без прописки, на птичьих правах, и не то что в Союзе Писателей – вообще ни в одном профсоюзе не состоял, нигде официально не работал, таких ссылали за сотый километр как тунеядцев или судили, как Бродского... Но ты же «артист разговорного жанра» – у тебя даже диплом такой есть – язык у тебя никогда во рту не умещался. Как-то руково-

дящая дама в ранге министра культуры изволила заметить: «Нашим сатирикам не хватает оперативности. До революции, бывало, приезжает в город конферансье, узнает местные новости и тут же за кулисами пишет на манжете куплет...» А ты что на это сказал? «У нас манжеты короткие. Куда ставить ваши печати?» ...Лучше, конечно, держать язык за зубами, пока зубы на месте. Но, тем не менее: и клоуны в цирке, и подбитые ветром конферансье, и «разговорники», от Камчатки и до Колонного Зала Дома Союзов, а там и в Кремлевском Дворце съездов пошли тиражировать ваши хохмы, не поминая фамилий авторов. Аркадий Исаакович Райкин первым нарушил сию традицию. Но поздно. Публика не запоминала не только автора, но и вообще, что от кого слыхала. И часто тебе рассказывали твою же байку как новый или старый анекдот. Но даже со мной наедине ты ни разу не высказал обиды. «Нет большей славы, – сказал ты ,– чем умереть безвестным автором затертого анекдота». Ты и сам, извини меня, – анекдот. Предисловие к твоей книжке «Галактика в брикетах», написанное человеком, который знал тебя с юности, так и озаглавлено: «*О Марке Азове – человеке и анекдоте*».

Человек состоит из воды чуть ли не на девяносто процентов. Писатель – из всего им написанного. Перечислим только жанры, которые пришлось тебе осваивать... Хотя проще назвать те, что не пришлось: роман и эпопея. Остальные все: кроме цирковых и эстрадных – пьесы для кукольных театров и ТЮЗов, мюзиклы, в которых играли Гердт, Чурикова, Абдулов, либретто для оперетты, киносценарии, песни для спектаклей и фильмов на музыку М. Дунаевского, А. Флярковского, А. Журбина и не только... фантастические рассказы, детективные повести, детские сказки, комедии и трагедии...

Стоп! О чем, бишь, я говорила? Человек на девяносто процентов состоит из воды. Писатель – из всего им написанного. И если все это выпарить да пропустить сквозь змеевик – выяснится, что ты вовсе не такой уж сатирик и юморист, как о себе воображаешь.

Когда-то твой друг и соавтор Володя Тихвинский говорил: «Если Марку сказать, что он плохой писатель, – не обидится. Но не дай Бог заметить, что он плохо играет в волейбол!» А ты играл и в большой теннис, пытался подстрелить рыбу под водой, сплавлялся по рекам на байдарке и принимал йоговские позы, втягивая живот до позвоночника. Все эти занятия не требуют большой интеллектуальной нагрузки, зато располагают к размышлениям. А о чем размышляет мужчина, когда можно «сушить весла», плывя по течению?.. *О ней и о них*. Если она – *любовь*, а они – *дети*. Уж я-то знаю: на этих двух тонких ниточках подвешена жизнь. *И о ней, и о них* – твои лучшие рассказы, писанные «в стол», для себя лишь. И три трагедии на вечные темы, написанные и сыгранные на вечной земле Израиля.

Я все годы – с тобой, ты это знаешь. Даже распоследняя «халтура» писана кровью сердца. Особенно трудно было ужимать любой сюжет до анекдота. А что еще было, если оглянуться? Есть такая заморочка: «Крокодил от хвоста до головы короче, чем от головы до хвоста». А тут и заморочки нет: жизнь от начала до конца представляется куда длиннее, чем когда смотришь с конца. Уж я-то знаю!

Твоя единственная Жизнь

«В ДНИ, КОГДА ЛЕТИТ НАД ЛУГОМ...»

20 мая Виктору Архипычу исполнилось бы шестьдесят пять.

В прошлом номере «ИЖа» были опубликованы два эссе о недавно ушедшем от нас поэте. Самые высокие определения его жизненного пути, сказанные в словах прощания в полный голос, – «воин солнечного света», «посланник», «революция, произведенная Луферовым в жанре авторской песни» – сегодня абсолютны уместны.

Здесь мы представляем песни, написанные после выхода книги «Лестница в небо» (2003), а также ранние стихи и песни Виктора Луферова, которые в эту книгу не вошли – они набраны по фонограммам «Красного диска»[1]. Названия песен, стихов и даты взяты с обложки диска.

Конечно же, решение включить в эту – «юбилейную» – подборку кроме зрелых произведений мастера и несовершенные (в формально-литературном смысле) его тексты было не простым и не единогласным.

Но – цитируем Татьяну Алексееву, исследователя творчества Виктора, – «аргументы просты: и для читателей, и в поле литературного процесса важна далеко не одна гладкопись и совершенство конкретного стихотворения. Не менее ценен и представляет отдельный сюжет путь художника. Например, если не знать, что в биографии Гоголя был "Ганс Кюхельгартен", не оценишь сполна и "Мёртвые души". Однако дело не только в точке отсчёта: откуда начал – и к чему пришёл, а ещё и в цельности, индивидуальной выразительности, как сказали бы в XIX веке, "физиономии художника"». Конечно, фрагменты русской классики в изложении Луферова выглядят пародийно. Но только В. Л. мог проделать нечто подобное с "глаголом жечь сердца людей" или с фетовским "Там человек сгорел". А "Золотошвейная игла" ("Игла") – текст просто выдающийся по глубине образов; одно из ранних прикосновений к архетипическим метафорам иглы и игольного ушка, жизненной материи: поиск, нащупывание образных связей, способных соединить конкретную биографию с иными эпохами и мифологическими сюжетами. Да и те тексты, которые можно назвать забавными ("Весна" и пр.), хороши улыбкой, преобразующим взглядом (тем, как автор пытается пересоздать, перелопатить реальность) и узнаваемостью в них самого Виктора».

Редакция благодарит за помощь в подготовке к публикации песен и стихов Виктора, а также его интервью, Екатерину Луферову, Сергея Красавина, Ирину Хвостову и Благотворительный фонд «Архивная служба авторской песни» (директор Пётр Трубецкой).

---

[1] «Шляпа чудака» (АНО Студия современного искусства «АзиЯ-плюс», 2005) – первый из запланированного Виктором «семитомного» собрания дисков «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан». Песни, тексты которых публикуются в номере, можно прослушать на сайте «АзиЯ-плюс» http://www.asia-plus.ru.

Виктор Луферов

ОДУВАНЧИК ЗОЛОТОЙ

ВЕСНА

Ночью лёд прикроет лужи тонкой коркой.
Утром я по ним – в ботинках с хрустом звонким.
И положу кусочек льдинки я за щёку.

Днём мальчишки запускают в небо змея,
Что до солнца долетит он, веря, веря.
И парит на тонкой ниточке мечта.

Бросил фантик в ручеёк, рыжую воду,
Попросил, чтоб он приплыл к твоему дому.
Разве ты моей записки не прочла?

Я пойду босиком по зелёным лужам,
И, наверное, тебе буду я не нужен.
Ну и пусть!

Как я песни пою, ты хоть раз послушай,
А потом и ты зашлёпаешь по зелёным лужам,
И тогда тебе признаюсь, что люблю...
Весну!

1965

ТОВАРНЫЕ

А мне хоть раз в году взглянуть,
А мне хоть раз в году шагнуть
На эту тесную, дрожащую площадку
И за собой туда втащить
Мой верный старенький рюкзак,
В котором котелок лишь да палатка.

А мне на месте не судьба,
Сидеть на месте не судьба.
Ну что ж поделать, если тянет всё в скитанья?
Зовут рассветы и леса,
Зовут дороги; поезда
Кричат: «Давай, кончай с родней прощанье!»

С ветрами снова обнимусь
И всем рассветам распахнусь,
И поделюсь со всеми всем, что есть, по-братски.
Оставлю только лишь себе
Скрип снега в снежном феврале
И для себя собой придуманные сказки.

И рассядутся сороки мажорным трезвучьем
На звенящих струнах проводов.
Будет мало километров от начала пути
И так много до пыльных городов.

И белым сусликом мелькнёт
Который год скитаний год,
Как белый столб километровый у дороги.
В который раз весна придёт,
Листвой карманы мне набьёт,
Усталостью нальёт мне ноги.

Но рассядутся сороки мажорным трезвучьем...

1966

ПЛАЧ КОЛОКОЛОВ

Не звонят на Руси колокола,
Паутина рты звенящие закрыла.
Небо с плачем бьётся в купола,
Опустившие надломленные крылья.

По ночам, по ночам умирают седые звонари.
По ночам, по ночам, не дождавшись новой огненной зари.

К позабывшему их Богу обращаясь,
Церкви подняли ладони крестов.
А на стенах отсыревших догорают
Фрески старых русских мастеров.

По полям, по лесам церкви подняли ладони крестов.
По полям, по лесам из разбитых куполов несётся стон.

И церквей замшелые ступени,
Запах ладана, неуловимый сон.
И людьми нераскрываемые двери
Позабыли колокольный звон.

По ночам, по ночам умирают седые звонари.
По ночам, по ночам, не дождавшись новой огненной зари.

1966

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО

В какой земле, не помню, жил злой и глупый принц.
Он требовал почтения к себе от прочих лиц.
При том он был писуля, изрядный графоман,
Но знать не знал он точно, зачем язык нам дан.

И не любил поэтов он за острые слова –
И при удобном случае летела голова.
Но появился в царстве учёный и поэт,
И он сказал поэтам: «Я вас спасу от бед.

Не знает принц, что можно глаголом жечь сердца,
А я могу глаголом сжечь любого подлеца».
И он сказал то слово – и принц тотчас сгорел,
И всяк, кто был поэтом, тот радостно запел:

«Слова скрывают то, чего цари не знают!»

1968

ЗАКЛИНАНИЕ

Ополчись! Пусть закроет всё небо, как стая грачей,
грива чёрных волос.
Ополчись! Две руки пусть меня обовьют.
Лебедь белый плывёт.

Ополчись! Видишь: стая волчиц по снегам за оленем.
Ополчись! Что ж ты вечно молчишь?
Под оленем закатом снега заалели.

Ополчась всем, что женщина в мире умеет, хоть на час,
не молчи.
Твоё солнце не греет.
А кувшинки на дальних болотах уже не горят.

1968

ПОЖАР

Пожар! Пожар! Сирены воют, и красные машины мчат.
Вот дом горящ, и люди в касках, команды резкие звучат.
Что там случилось, в чём причина? Злопамятный разгул страстей?
Игра детей? Несчастный случай? А может, недосмотр властей?

И, как горящий сумасшедший, огонь бросается в окно.
Разносчиков всех происшествий, зевак внизу полным-полно.
Но вот брандспойты бьют, как пушки, стихает пламя, тает дым.
И разбегаются зеваки рассказывать о виденном другим.

А я на том пожаре не был.
Сейчас ведь многое горит.
Один знакомый говорит:
«Всё врут зеваки про пожар.
Там чья-то вспыхнула душа».

1969

ИГЛА

В ушко иголки золотой мне золотую нить не вдеть,
А песню лучшую свою я спел, и лучшей мне не спеть.

В ушко серебряной иглы не вдеть серебряную нить,
Чтоб сердце женщины одной с своим навек соединить.

Причины для печали есть, но их не больше, чем у всех,
К тому же на свою судьбу мне всё же жаловаться грех.

Ведь кроме песен и любви – золотошвейного шитья –
Жизнь дарит столько, не скупясь, разнообразного житья.

И лишь не дарит от щедрот ни дня, ни часа про запас,
Судьбы коротенькая нить, её мне хватит в самый раз,

Чтобы, без промаха продев в стальную вечную иглу,
Сшить самым прочным в мире швом
рожденья свет и смерти мглу.

Золотошвейное житьё...

1970

СЛЕЗИНКА

И запредельная нужда не привела бы меня к рынку,
Где б мог продать за миллион я мамину одну слезинку.

Её храню я в тайнике, закрыта потайная дверца,
Храню – и потому храним, покуда бьётся моё сердце.

1970

ОРЛЁНОК[1]

Из страшного военного железа
Мы музыку свободы извлекли
И в смутный час мы заглянули в бездну,
А бездна – в нас – мы взгляд не отвели.

Не зря, не зря нам крылышки надежды
Топорщили одежду на спине.
Железный лязг – уже не тот, что прежде,
И солнце бьёт сквозь трещины в стене.

Теперь перекочуют в наши сны
Три дня, три ночи нашей славы
Не возомним, что мы теперь сильны
И не забудем, как мы были слабы.

Орлёнок, позади – колючка ржавой зоны –
Безвинно павших целая страна...
На чешуе имперского дракона
Мы высечем погибших имена.

Не делай никого, о жизнь! героем модным,
Но высшую даруй нам из наград:
Свободно жить в отечестве – свободном
От низкой лжи и честных баррикад.

Кто скажет, что нас ждёт?[2] Рассыпались границы,
Но выбор сделан, мир открыт – гляди:
На память я беру перо бесстрашной птицы.
Орлёнок, клетка сломана, лети![3]

август 91 – 10 августа 2003 г.

ОДУВАНЧИК[4]

Одуванчик золотой,
Не вчера ли был твой праздник?
Вплёл в венок тебя шутя
Мальчик, маленький проказник.
Одуванчик золотой!..

---

[1] В рукописи рядом с названием приписка: «Погребальный марш!».

[2] «Кто скажет, что нас ждёт? Рассыпались границы..» – так на студийной записи. В рукописи: «Не знаю, что нас ждёт – рассыпались границы...»

[3] Внизу приписка: «Может ли быть, что уже 12 лет с тех пор прошло, как я катил к баррикадам какую-то трубу, а потом ходил туда 2 ночи и заболел. Катя была на выезде».

[4] В рукописи названия нет. На концертах Виктор иногда не объявлял, иногда объявлял как «Одуванчик золотой». Екатерина, вдова автора, считает, что песня называется «Одуванчик».

А сегодня в сетке дня
Нет загадочней улова:
Ну когда же ты успел
Стать таким седоголовым?..
Одуванчик золотой!..

Превращений тайный дух,
Будь мне братом, будь мне другом
В дни переселенья душ,
В дни, когда летит над лугом
Одуванчиковый пух:

«Справа – ангел, слева – бес..
Что покой нам или буря...
Звёзды нам укажут путь...
Мы лазутчики лазури,
Расшифровщики небес.

Завершая новый круг,
Подчиняясь[5] высшей воле,
Воду и огонь пройдём,
Прорастём на диком поле
Без печали и без мук.

Час пробьёт – душа твоя
Вылетит из ржавой клетки.
С высоты небес Земля –
Зеленец на тёмной ветке
Древней ветке бытия...»

Память ниткою живой
Дни сшивает, воскрешая
Позабытое давно:
Детства луг... осколок рая...
Одуванчик золотой...

20 января 2005 г.[6]

* * *[7]

Братья мои и сёстры, чем оправдать мне доверие ваше?
Или не оправдываясь – брать, раз дают, как своё?
Быть живым – счастье, но никого сия не минует чаша,
Каждому из нас придётся[8] испить из неё.

---

[5] В рукописи – «Повинуясь», но последние годы Виктор пел «Подчиняясь».
[6] Внизу, под датой, приписка: «А когда начато, не помню... давно!»
[7] Виктор объяснял, что песня должна исполняться под колёсную лиру (старинный струнный инструмент нищих и бродяг). Поэтому, когда колёсную лиру принести на концерт не удавалось, читал её как стихотворение.
[8] На диске «Лестница в небо» (2006): «Каждому из нас суждено будет…».

Неужели всё дело в песенках-незабудках, в голубых цветочках[9],
В этих бабочках эфемерных,
чью красоту определяет слов пыльца?!
Мне близок путь одинокого воина, но есть и расхождения точка:
Он предпочтет одинокую смерть,
но не сотрёт боевой окраски с лица.

И мне остаётся одно: зная, что не удержать душу взáперти,
Повторять вслед за пророками,
что дух – бессмертен, что смертна – плоть,
А вслед за нищими, подаянье просящими с паперти,
Повторять: братья мои и сёстры, храни же вас всех Господь!

28-29 сентября 2006 года

* * *[10]

Друзья, у меня обгорает наружная обшивка, кожа, видимо, я слишком быстро лечу сквозь околоземное пространство. Явление редкое и потому плохо изученное, но к чему это может привести – вспомните, что произошло с «Шатт-лом» или с Тунгусским метеоритом...

Так что надо успеть привести в порядок записи в бортовом журнале; бутылка, с запиской друзьям и близким, уже готова и залита сургучом. Всё остальное – после расшифровки – в чёрном ящике.

Шутка? Конечно! А как ещё говорить о таких вещах?!

29 сентября 2006 г.

P. S. Я встречал жителей Земли с расстройствами крови – и водосистемы, с поломкой нервной системы до степени полного безумия, с выходом из строя опорно-двигательного аппарата до полного прекращения движения, короче, чего только не происходит с нами, летящими на нашем шарике сквозь бездну Космоса!

* * *

Апрель рассыпал тысячи зеркал,
Летит с небес поток сияющего света,
Нашёл ли я всё то, что я искал?
«Ищи в себе» – и я в себе ищу ответа.

---

[9] Вариант исполнения (так же и в рукописи): «Жизнь – как песня-незабудка, в маминых глазах, в голубых цветочках / В драгоценных бабочках, чью красоту определяет слов пыльца».

[10] Концовка текста, записанного на отдельном листке и посвящённого Алексею Дунцу. Сохранена графика абзацев рукописи.

Вот кромка чёрная, край гибельной воды,
И твердь – как хлябь, в душе – такая же распутица,
Незримый узел тесной духоты
Весна развяжет – вот и вдох, листва распустится.

Я повернусь спиной к Москва-реке,
Лицом туда, где ткань живых событий
Сплетает жизнь, где в тайном узелке
Сплелись и наших судеб тоненькие нити.

Там ты бежишь вдоль каменных домов,
Дурным предчувствиям и снам не потакая,
Как вдоль гряды вечерних облаков
Порой бежит, бежит каёмка золотая.

Пора сдавать убыточный баланс
Уже не мальчик, а всё те же шерри-бредни,
В Москва-реке топи, топи балласт,
Свой музыкальный монастырь, свой дебет-кредит.

Гружёной баржей жизнь моя идёт,
И я пейзаж уже давно собой мозолю.
Жизнь обгоняет смерть, сводя с ней счёты,
Та – бьёт вдогон, темнит, в глаза нам сыпет солью.

Ну и на что я здесь претендовал?
Уж, видит Бог, что не на царскую корону.
Я часть души Остоженке отдал,
Другая часть давно в Нагатинском затоне.

А память глубже, чем река. В ней свет и мгла
Перемешались. Я не знал путей окольных.
Где наша юность на развалинах жила,
Теперь там девочка звонит на колокольне[11].

Динь-динь!
Динь!
Динь!
День!
День!
День!

[11] В юности Виктор вместе с Владимиром Бережковым облазили множество московских колоколен, которые в те годы стояли в развалинах. Особенно им запомнилась колокольня Новоспасского монастыря, одна из самых высоких в Москве. Выросла Полина, старшая дочь поэта, и научилась звонарному делу.

...Отпевали Виктора Луферова в храме Сорока Севастийских мучеников, рядом с упомянутой колокольней. По окончании службы раздался колокольный звон. Это звонила Полина...

Виктор Луферов

*СВОЙ МИР**

Еще в школе я увлекался поэзией больше, чем одноклассники, хотя это ни о чем тогда мне не говорило. Поступил в Московский инженерно-физический институт, мечтал быть физиком.

В школе учился нормально, а сессии мне давались с большим трудом. Видя, как многие списывают со шпаргалок, я же врать самому себе не мог, не получалась учеба, тем более что я оказался очень легкомысленным, гулял до сессии весь семестр, потом хватался за голову, и тут уже трудно было чему-либо научиться.

После второго курса, в 1966-ом, пришлось уйти в академический отпуск – из-за травмы ноги. Первые полгода занимался гитарной классикой, по пять-шесть часов в день, а зимой вся классика была забыта – мне нравилось на трех аккордах грохотать несколько своих песен, я их именно грохотал; мои песни меня интересовали больше, чем все остальное.

Помню отчетливо, как писал первую песню – в 66-ом году, зимой. В комнате были моя мама и сестра, я сидел за столом, и совершенно неожиданно написал эту песенку «Весна», и тут же спел, они удивились, я тоже сам удивился. Потом еще несколько песен написал и показал друзьям в общежитии МИФИ, которые тоже очень удивились.

Что тогда вокруг пелось? Помню Клячкина хорошо, его «Пилигримы», которые мне очень понравились... Визбор... Позже я узнал Галича – про физиков, которые «на пари закрутили шарик наоборот»), Окуджава, конечно, с «Апрелем» и «Смоленской дорогой». Я был одним из инициаторов ежевечерних песнопений под окнами общежития МИФИ, в которое тогда переселился. Орали и «пиратские» песни Городницкого: «Держитесь, толстопузые купцы!». На нас и сами студенты уже кричали. Было очень весело... Иногда.

Я попробовал создать оркестр, первый свой ансамбль, назывался он «Штрихи» – казалось, что я внесу в песню какой-то свой штрих. Мы все были с электрогитарами, это период «Битлов», в МИФИ было несколько очень хороших бит-ансамблей, я развесил объявления и тут же с ними со всеми познакомился, очень резко расширив круг знаний об этих вещах.

...Поехал в дом литераторов в Красной Пахре на семинар молодых писателей – чтобы найти поэтов, на стихи которых я хотел пи-

---

* Из интервью в клубе Казанского университета 18 февраля 1980 года. Печатается в сокращении.

Естественно, что за более чем половину творческой жизни Виктора Луферова, прошедшей после этого скорее монолога, чем диалога, его взгляды на авторскую песню в чем-то наверняка изменились. Но не в главном.

Редакция благодарит Вита Гуткина (Иерусалим) за расшифровку фонограммы.

сать песни. Сейчас смешно об этом вспоминать... В это время у нас было выступление, и, когда вернулся, ребята меня подвергли обструкции. На этом все пока кончилось, я уже мечтал о театре песни, но что это такое, не представлял себе абсолютно. Представлял, конечно, что должны быть декорации, свет и какое-то движение на сцене, но это была голая идея.

Я чувствовал всю экспрессию бит-музыки и, еще не зная, о чем они поют, понимал, что очень многое можно выразить с помощью этой экспрессии, в первую очередь, какие-то драматические моменты. «Битлз» мне нравились, каждый их новый шаг был как откровение, я постепенно узнавал и «Роллингов», и «Энималз», и других. Но предпочтение отдавал «Битлам», потому что у них был непрерывный поиск и непрерывный рост. К бит-группам я прямого отношения не имел, у меня были знакомые – прекрасная группа «Аргонавты» из МИФИ, но эти люди пели на английском, сами сочиняли на английском, у нас же в ансамбле ничего подобного не было, я хотел петь на своем языке, только «Yesterday» мы пели по-английски, она – скрипично-виолончельная...

В 67-ом году, проучившись еще полгода, я ушел из МИФИ, не дожидаясь зимней сессии. Мне удалось перевестись в Ветеринарную академию, там я сразу занялся организацией второго ансамбля, отнюдь не из студентов академии, были там ребята из музучилищ и два моих старых приятеля, студенты технических вузов.

Ансамбль я назвал «Осенебри». У Андрея Вознесенского, я его очень любил тогда, есть такой стишок: «Стоял январь, не то февраль, какой-то чертовый зимарь, я помню только голосок, над красным ротиком парок, и песенку: "Летят вдали красивые осенебри. Но если наземь упадут, их человолки загрызут"». Я написал, как мне и сейчас кажется, удачную музыку, эту песню я один никогда не исполнял, она ансамблевая. В ансамбле были две скрипки, виолончель, кларнет, две электрогитары и ударные. По тем временам это выпадало из всякого разряда, потому что кругом были бит-группы: две-три электрогитары, электроорган, ударные.

Движение КСП было тогда не на высоком уровне, массовой аудитории еще не было, но у меня была большая обида на руководство московского клуба: никто нами не заинтересовался, никто не помог.

В 68-ом году прошел конкурс, в котором участвовало два ансамбля – «Осенебри» и квартет Никитина. Квартет Никитина занял первое место за веселую песенку «Апрель», а «Осенебри» – второе, третьего просто не было. Мы играли сугубо грустные песни, у меня сохранились пленки, и хотя чувствую некое волнение, но в общем смешно. Мы пели «Почему-то мне вдруг стало неспокойно» Кукина, «Порвали парус» Высоцкого – напряженные, драматические... Сейчас с тем репертуаром я уже не согласен.

К 69-ому году мы дважды съездили в Ленинград, в клуб «Восток», бывали моменты, когда у нас звучало все на очень хорошем уровне, но аппаратура была плохая, я еще не понимал, как это все важно, сами делали колонки и многие другие вещи.

Я и мой тогдашний соратник Володя Чирков написали сценарий, спектакль назывался «По всякой земле» (по первой строчке из «Романса Арлекина» (стихи Иосифа Бродского, музыка Евгения Клячкина). Кстати, в те годы мы в Ленинграде спокойно исполняли «Романс Коломбины» и «Романс Арлекина», естественно, называя авторов. Бродский тогда еще не уехал. Мы сами сделали огромную ширму, четыре прекрасные куклы сделали наши друзья-профессионалы. Один из них, Володя Птицын, работал у Образцова и стал потом ведущим кукольником. Предполагалось действие, в котором участвуют и куклы, и мы. В 70-ом году я ансамбль распустил. Понял, что идею осуществить невозможно: то сессия, то кто-то не может, то есть на самодеятельном уровне оказалось слабо все это сделать.

Усталость накопилась за три года, репетиции, аранжировки, я был и за импресарио, колонки и усилители мы сами таскали, и перед выступлениями обзванивал всех... Когда создавались «Осенебри», я вузов двадцать обклеил объявлениями, которые сам же и рисовал. Вместо того чтобы учиться, ездил по институтам, расклеивал объявления, по вечерам встречался с людьми, какая-то жизнь началась, не имеющая отношение ни к физике, ни к биофизике, которую я изучал в Ветеринарной академии.

В 70-ом году я съездил в Одессу на фестиваль, первый фестиваль. До этого было два-три выступления в год, абсолютно бескорыстных, жажда была исполнить свои песни необычайная. Помню какие-то маленькие зальчики, куда приезжал с такими же молодыми ребятами, как я. Фестиваль в Одессе, на корабле, это было потрясающе – огромная аудитория, большие залы в Одессе. (Хотя году в 67-ом я в первый раз выступал в гигантском зале в МГУ. Вечер организовал Володя Забловской, потом в клубе произошел какой-то раскол, меня эти клубные дела никак не интересовали. Были две группы: Забловский с какой-то женщиной и Сережа Чесноков, который мне очень дорог и близок, считаю, что это очень крупный исполнитель.)

В Одессе я стал лауреатом, получил первое место как исполнитель за [посвящения] Александру Грину и Франсуа Вийону. Многих там впервые услышал – и Дольского, и Арика Круппа, который через полгода погиб. Он мне тогда очень понравился как человек.

Узкие корабельные коридоры, мы все были навеселе – и по молодости, и вообще по обстановке. Помню прошедшего в сопровождении женщин Дольского, который сказал мне, что Ким – не русский человек, а стало быть, настоящих русских песен писать не может, а я тогда уже очень любил Кима, меня это очень покоробило, удивило и поразило. Прошло много лет, пока это не стало одним из звеньев той цепочки, которую я, так сказать, «выковал», или «приковал» к этому человеку. Я человек не злопамятный и много лет об этом не помнил, а потом все легло одно к одному.

Из друзей [на этом фестивале] еще был Юра Аделунг, с которым мы сейчас разошлись. Чем старше становишься и серьезней занимаешься своим делом, тем больше сила отталкивания между людьми, но это так и должно быть, в этом нет ничего ни страшного, ни обидного, ни плохого. Просто каждый становится сам собой, и это прекрасно.

...Я искал стихи и пришел в литобъединение МГПИ (там в то время был известен Егоров, он печатался в студенческой газете) и познакомился с Лузаном и с Татьяной Ребровой (на их стихи написал несколько песен), с Володей Бережковым. В МГПИ образовался небольшой круг первых слушателей, там же и состоялось первое мое публичное выступление. Собрались человек двадцать пять, среди них Леля Фрайтор, Борис Рысев, Бережков... Тогда же между ними начались какие-то ожесточенные споры, но меня это не трогало, вообще никогда меня это не трогало. С Володей Бережковым позже мы стали очень дружны, таких близких и интересующих меня людей не так уж и много.

В 71-ом году закончил Ветеринарную академию, получив свободное распределение. Диплом делал в Институте переливания крови. Я уже знал все эти клетушки, приборы, всю эту затхлую атмосферу, а я тогда уже любил и лес, и волю, так что наукой не стал бы заниматься, не хотелось сидеть в комнате среди всех этих реактивов...

Пошел работать расклейщиком афиш. И проработал два или три года. Мне эта работа вначале нравилась, но под конец осточертела, и я избрал еще лучшую специальность – стал дворником, благо, у себя в районе, почти под своими окнами. Почти три года проработал дворником, а в 74-ом году поступил в Гнесинское училище. Перед этим года полтора я ходил в джазовую студию при «Москворечье», меня опять судьба привела в МИФИ, там была студия, так что считаю МИФИ своей альма-матер. Я играл там немножко, по-дилетантски, на ударных, на басу, на фоно, прослушал курс истории джаза (его вел Переверзев), все было очень интересно. Это и помогло мне поступить в училище, хоть я был не джазист (а принимали только джазистов), на эстрадное отделение, по классу гитары. Я просто понял, что надо получать музыкальное образование. (Помню, как в 67-ом просил маму купить электрогитару, по тем временам это были колоссальные деньги, 180 рублей, и она мне ее купила, но я абсолютно не представлял, во что все это выльется.) Я получил специальное разрешение от министерства, показав всякие грамоты, у меня была одна опубликованная песня в «Музе странствий», самая детская, «Ракушка». Слава Богу, я поступил и, слава Богу, закончил. Пока учился, продолжал писать песни, но джазом так и не увлекся. Джазисты – они знают все темы, они в это влюблены, но поколение моего возраста – это поколение копировальщиков, причем колоссальных копировальщиков, которые наращивают фантастическую технику, поют на английском, не зная языка, а когда коснется чего-то своего, то, к сожалению – увы и ах. Хотя сейчас есть колоссальные джазовые фестивали и, конечно, большая свобода и интерес ко всему этому несомненно приведут к каким-либо результатам.

До 76-ого года, я потихоньку что-то писал, такая медленная жизнь шла, и сейчас за последние четыре года был сделан очень серьезный шаг, какой-то прорыв к новому качеству. В училище я понял, что невозможно владеть инструментом и работать дворником, с содроганием сейчас вспоминаю тонны снега, которые я перебросал, а потом после лопаты шел на занятия. Ученики были странные – один был

отменный джазист, профессиональный музыкант, который пришел за справкой, а я к джазу вообще никакого отношения не имел, медиатор в руке не держал до этого. Так что я в это время приобщался скорее душой и что-то такое постигал, слухом и так далее.

С самого начала моими любимыми авторами были Новелла Матвеева, Булат Окуджава и Юлий Ким. Уже к 68-69 годах я их выделял среди всех. И даже если я не знал всего их творчества, мне достаточно было чутья, чтобы понять, что они отличаются от всего остального. И никогда я не исполнял песен ни Никитина, ни Егорова, была какая-то отстраненность от всего, кроме этих трех авторов, ну и еще Высоцкого. В ансамбле была ситуация другая и всегда был интерес к чужому творчеству, было очень много перебрано записей, я выбирал то, что, как мне казалось, должно звучать в ансамбле. К тем песням, у которых была возможность аранжировки и музыкальная глубина, всегда было больше внимания, и я писал песни, которые по своей структуре заведомо предрасположены к аранжировке. Я писал песни, которые не для гитары вообще, а на гитаре показывал только эскиз, тот путь, по которому можно будет аранжировать. В методе игры это, конечно, сказывалось. Сейчас я понимаю, что пришел к этой манере, потому что мне хотелось заполнить звучание оркестра. Есть такие песни, как «Баллада о шарах» или «Баллада о зеленой траве», они написаны где-то в 68-ом, балладная структура была уже изначально в моих песнях, где есть развитие музыкальной темы от начала до конца, сложная смена ритмов, смена ритма стиха, отсутствие куплетной формы, с самых ранних вещей, как «Деревце-девочка», это 67-ой год, видимо, уже с самого начала было заложено ощущение новизны, тем более что идея театра уже сама это подразумевала.

...Отношение к западной эстраде у меня, конечно, лучшее, чем к нашей; из наших коллективов выделяю ансамбль «Песняры» за их большую музыкальную и вокальную культуру. Не за то, «о чем они поют», а за то, как они поют и как играют. Из певиц, естественно, – Елену Камбурову. В западной эстраде совсем другое, люди к большей свободе приходят и в пении, и в аранжировках. Этому нужно учиться и учиться. Кроме западной эстрады меня интересует и всегда интересовал отечественный фольклор. Ансамбль Покровского – это прекрасно как реставрация, как реставрация церквей, как слой культуры, который еще наверняка пригодится и будет еще разрабатываться, но все равно – нужно петь о своем времени. Нужно, чтобы нам говорили о нашем времени нашими словами, это делает песня в своих лучших проявлениях.

...Из профессиональных композиторов – Таривердиев, тот с которым Лена работала, его пластинка мне и сейчас нравится. Тухманов – отнюдь нет. Это колоссальный ремесленник, но когда он отдает свои песни певцам, они поют на стихи Ахматовой столь подворотними голосами, что от одной только этой интонации можно зачеркнуть напрочь и Ахматову, и вся поэзию. В пластинке «По волне моей памяти» все профессионально аранжировано и сыграно, но все это уже

мой слух коробит, это суррогат, так называемый китч, больше ничего. Я говорю, может быть, ультимативно, резко, но подчеркиваю, что высказываю свое мнение и никому его не навязываю.

Все будет зависеть от того, появятся ли талантливые люди, больше ни от чего, пусть хоть по всей стране будут созданы официальные КСП. Это несомненно скажется на том, что будет подрастать человек и слышать эти песни, знать, что такой жанр существует, но это идет формирование жанра, его культуры, а перспектива будет зависеть только от того, появятся ли талантливые люди. На этом, по-моему, вопрос можно закрыть. Причем не просто талантливые, а талантливые на уровне Окуджавы, Новеллы Матвеевой, Высоцкого, Кима, Городницкого, Клячкина, может быть. На профессиональную эстраду выходят те, кто вчера был самодеятельным автором, тот же Никитин этим профессионально занимается и в кино, и где угодно. «Последний шанс» в Росконцерте, Тальковский, хотя я его не знаю, Дольский, Кукин, это и есть «официализация» движения. Но если возникнет человек, который будет играть не так, как играю, скажем, я, так, как Новелла Матвеева - с трудом перебирать несколько аккордов, но окажется, что это прекрасная поэзия и человек открывает замечательный мир, то все будет в порядке. Настоящая песня открывает очень широкий спектр, целый веер из предполагаемых направлений – от такого, где настоящая поэзия и почти полное невладение гитарой, как Новелла Матвеева (Булат Окуджава практически там же) до концертного плана, где все звучит – и гитара, и с текстом все хорошо. [Настоящая песня] может быть и в битовом ключе, и в джазовом, и в народном. И даже – если всего несколько слов, каких-то эмоциональных восклицаний, но мелодия так захватывает, что получается прекрасно... А может быть, человек прекрасно играет на гитаре, быстро перебирает пальцами, а за всем этим кроется пустота. Вне зависимости от того, на профессиональной или не на профессиональной сцене это будет, все зависит от талантливых и честных людей.

Насчет того, что самодеятельная песня убила плохую песню – я так не считаю. Море эстрадной халтуры смыкается с морем самодеятельной халтуры, но если выделить лучшие песни, то перевес, конечно, на стороне авторской песни. И по форме, и по стихам, и по мелодике – по всему. Если у профессиональных композиторов много бездарных вещей, то в самодеятельности их, наверное, еще больше. Но это беспокойство не для меня, я занимаюсь своим делом, а для музыковедов, социологов, организаторов это, может быть, важно.

Я слышу очень много плохих песен, которые с удовольствием распеваются в электричках и даже на концертах. Даже у многих известных и талантливых людей есть достаточное, на мой взгляд, количество никуда не годных вещей. Или у человека отсутствует вкус, который позволял бы отбросить неудавшиеся вещи, или он конъюнктурщик, то есть, знает, что если у него двести песен, то это весомее, чем двадцать. В этом смысле я упоминал многих, я считаю, что у Клячкина многие вещи не в порядке, а Дольский – это особый вообще вопрос. Большинство слушает эти песни и любит их, и вдруг появляется некий Луферов,

который их заставляет это пересмотреть. Это плохой результат, я считаю, что человек должен сам приходить к каким-то выводам. С другой стороны – это мое мнение, и его тоже можно высказывать.

«Мы, КСП, идем сомкнутыми рядами против советской эстрадной песни, мы все хорошие, у нас все в десять раз лучше» – это абсолютно ложная позиция. Оказалось, что в этом самодеятельном собрании людей, в этой среде, где нет коррупции и не спускается никаких директив сверху, сложились сами по себе такие же законы, как в профессиональном, отрегулированном механизме. Это меня просто потрясло. Идет борьба, борьба за своего зрителя. Убийственность ситуации состоит в том, что если человек говорит «Я люблю Окуджаву» и в то же время еще каких-то, не будем говорить сейчас, каких авторов, которые заведомо никакого отношения к Окуджаве не имеют, значит, этот человек ничего не понимает. Публике нужны каждый раз новые песни, и многие авторы, мне кажется, знают, что они пишут так называемые «фишки», все сгодится, все съедят. Если они так думают, то это по отношению к искусству и по отношению к публике, я так считаю, нечестно. Жанр идет к профессионализму, это необходимо. Другое дело, что в самодеятельных кругах, может быть, могут что-то сделать те люди, которые не собираются идти на профессиональную сцену.

Я отвечаю за свои песни и только. Впрочем, любой из авторов может так сказать, а зритель в конечном итоге разберется или не разберется, это его личное дело. Миша Баранов мне рассказал, например, что однажды Дольский пришел с ним к кому-то в гости и, увидев на столе книгу Бодлера, просто стал страничку за страничкой, перебирая струны, напевать, а потом хозяин очень радовался, что у него есть прекрасная пленка с этими песнями.

Я сам себя давно уже к КСП не отношу, потому что идея ансамбля и театра выпадала [из этого движения] очень давно, и сам уже давно был в стороне от всех. У нас была своя группа: Владимир Бережков, Вера Матвеева, Анатолий Иванов, Юрий Аделунг и Алик Мирзаян.

Планы на будущее: сейчас я с Камбуровой, надеюсь, получу возможность выступать со своим отделением и создавать свой ансамбль. Начнутся профессиональные дела, и история, возможно, повторится, возможно, на другом уровне, но, несомненно, все силы и все средства, которые у меня будут, я брошу туда. Передо мной всегда стояла некая сверхзадача. Если мне и нужны будут деньги, то не для личного благополучия, я слишком долго был дворником и расклейщиком, получая свои 80 рублей, прошел все искусы, и проблемы основные для себя решил достаточно давно. Отношения «творчество и деньги», «творчество и публика» меня не интересуют, так же, как слава меня не интересует и никогда не интересовала, я вообще не понимаю, что это такое, надо просто делать свое дело – и больше ничего. А то, что вокруг тебя уже этот «наворот» происходит – ну происходит и происходит. Вступая на профессиональную эстраду, прекрасно понимаю, что чем более я «знаменит» и «весом», тем легче мне будет делать свое дело, слава единственно может являться рычагом, чтобы делать свое дело, но не для своего преуспевания…

Развлекать можно одним – серьезным смехом, как делал Чарли Чаплин, публика смеется, а на глазах слезы, или то, что делает Ким. Вроде бы смешно, но за этим – серьезные мысли, вот что такое искусство.

Тем ли путем идет пропаганда самодеятельной песни? Движение проламывает себе дорогу, но уже сейчас опасность эта сформировалась. Куда бы я ни приезжал, везде есть туристско-каэспэвские боссы, которые приглашают авторов на свой вкус, кого-то отодвигают, и в этом есть своя закономерность. А слияние этих кругов с политическими кругами дает уже другую окраску, все встает в регулируемое русло и уже не должно быть выше определенного уровня или определенной тематики. Меня это особенно не волнует, меня волнует судьба талантливых людей. Я разделяю движение – на композиторов и настоящих бардов, и на искусство и социологию. Скажем, Куйбышевский [Грушинский] фестиваль, огромное это море – это уже социология. А искусство – это те несколько авторов или песен, про которые человек понимает, что для него это важно, в этом его жизнь.

...Таланты – прорвутся, а не прорвутся, – значит, они слабы оказались. Когда появился Булат Окуджава, всей этой системы КСП не существовало вообще, и его слушателями стали в первую очередь люди из интеллигенции более высокого разряда, чем существующее ныне КСП, и тем не менее, Окуджава состоялся, и Новелла Матвеева состоялась, и Юлий Ким, который к КСП особого не имеет отношения, а связан в первую очередь с театральными и киношными кругами, – он тоже состоялся. Если появляется талант такого уровня, он может участвовать в искусстве своей страны, минуя всякое КСП. Для большинства людей участие в КСП является досугом, формой общения, и это прекрасно. Люди приобщаются к новой поэзии, к новой мелодике, насколько у них есть талант понимания.

Новелла Матвеева и Окуджава мало пишут сейчас песен, а народ любит слушать новое. Мне-то все равно, я буду слушать Окуджаву, буду слушать Вертинского, меня новое количество не интересует, меня интересует только качество. Несомненно, сейчас создается новая массовая культура, но это уже – для музыковедов-социологов.

Я в первую очередь ценю бардов – они несут какое-то новое миросозерцание; композиторов я не так ценю, но если говорить о них, то это в первую очередь Сергей Никитин, большой мастер. Но Окуджава несет свое, новое мироощущение, и Новелла Матвеева создала свой мир, и каждый из бардов создает свой мир. А у композитора – огромная библиотека с мировой поэтической классикой, перед ним стоит прекрасная и благородная задача написать на все тысячи томов поэзии музыку. Перед ними такое огромное поле деятельности.... Это совершенно иное, они берут из одной эпохи, от одного характера, от одного человека с одной идеологией мышления, от другого, третьего...

А настоящий бард, плох он или хорош, несет свой мир.

Елена Камбурова

МЕНЕСТРЕЛЬ

В конце семидесятых меня пригласили на лауреатский концерт Фестиваля авторской песни в Дом Культуры им. Горбунова. В основном все было довольно скучно и вяло. Запомнилась Вероника Долина, но самое яркое впечатление оставил Виктор Луферов. Его облик совпал с моим представлением о том, каким должен быть бард, трубадур, менестрель:

В колодезный квадрат двора
Пришел к нам музыкант с утра,
ах, Боже мой!..
И в равнодушной тишине
Запел о птицах и огне,
и о любви одной.

Я сразу решила: «Это мое!». Барды часто выбирают для своих песен какие-то бытовые, приземленные вещи, а потом еще долго-долго рассказывают, про что и как они написали... А тут все три или четыре ярчайшие песни Виктора были пронизаны чистым романтизмом.

Позже я вспомнила о Викторе, разыскала его и предложила поработать в моей программе. Он согласился, и я обнаружила, что почеловечески он абсолютно совпадает с тем, о чем поет. (А ведь нередко характер творца отличается в худшую сторону от его лирического героя...) Так было до самого конца...

Он аккомпанировал мне один и с пианистом, исполнял несколько своих песен, которые органично продолжали тему концерта. На репетициях никогда не спешил и готов был пробовать бесконечное число вариантов. В первой нашей с ним работе (Новелла Матвеева, «На холмах») мы перепробовали чуть ли не сотню вариантов аранжировки...

Мне особенно близок его «Романс о скрипке»:

Вот и ждем, словно праздника, – вдруг запоёт,
От скрипения ворота вдаль уведёт
Голос скрипки, ах, скрипка, ах, старенький ящик...

Как это созвучно позже написанному Окуджавскому «Музыканту»:

Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас на путь...

А «Баллада о зеленой траве»? Это гимн красоте, терпению природы, которая и есть великий пример для человека:

...так прорастай, моя трава,
А право взламывать асфальт,
Как чью-то ложь, как чью-то фальшь –
Ну кто отнимет у тебя, моя трава!

Песни Виктора я включала в свой репертуар. Очень хотелось исполнить «Песню-танец новоявленного матроса», до сих пор думаю о ней.

Каждая песня Луферова – явление драматического порядка, в ней заключено действие. Неслучайно он так любил французских шансонье с их ощущением песни как театра – Жака Бреля, Жоржа Брассанса. Его любимый поэт – Гарсиа Лорка – нёс в себе идею театра. О своем театре – поэтическом, романтическом – Виктор говорил постоянно. Во время наших гастрольных поездок все время искал новый реквизит. Как-то купил огромную конструкцию, которая не влезала в багажное отделение самолета, но Луферов все-таки нашел способ...

Витя никогда не терял самообладания, на него всегда можно было опереться. Помню невероятный случай, когда пианист, выехавший с нами на гастроли, выйдя на сцену, был уже настолько пьян, что не мог сыграть ни одного аккорда. Просто тыкал в отдельные клавиши и все. Вышел Витя, и весь концерт аккомпанировал мне один, и сам прекрасно пел свои песни. Выступление состоялось.

В самых сложных ситуациях он никогда не унывал, проявлял себя как психолог, подключал свое прекрасное чувство юмора, становился клоуном. Он умел театрализовать жизнь. Никогда не забуду, как в Хабаровском аэропорту, где была пересадка, мы не услышали объявление диктора, и самолет улетел без нас. Ночевать негде, настроение у всех мрачное, непонятно, что делать... Мы пошли по центральной улице Хабаровска, зашли в книжный магазин и купили наставления Суворова «Наука побеждать». «Атакуй первую неприятельскую линию! В штыки! Коли, коли!», «Каблуки сомкнуты, подколенки стянуты! Солдат стоит стрелкой»... Виктор шел впереди группы и громко читал команды; на нас смотрели, как на городских сумасшедших, наверное. А потом он и вовсе разошелся и вдобавок стал крутить колесо.

Мне рассказывали, как на Грушинском фестивале Виктор, допев песню, прыгнул в воду просто в чем был... Он любил экстравагантный жест, и его тяга к театру в какой-то мере реализовалась в его песенных выступлениях, в театрализации песни.

А вот театр, который Виктор организовал на «Соколе», думаю, стоил ему огромного здоровья, особенно в последние годы, когда нужно было платить непомерную аренду, быть одновременно администратором, менеджером, к чему он не был приспособлен.

Хотя, конечно, в этом театре было много счастливых моментов, открытий, встреч. Там он мог ставить свои спектакли.

Однажды, выступая в нашем театре, он подробно и долго рассказывал зрителям о новом спектакле, объяснял: «Вот в этом углу у меня стоит это, а вот тут – это... Тут парад инструментов, здесь пальто с медалями»... Это было трогательно и наивно, ведь чтобы произвести яркое впечатление на зрителя, ему стоило бы просто петь свои песни, его темперамент и артистическая заразительность легко захватывали слушателей. А он долго говорил, рассказывал... Он не думал о том, чтобы повыгодней преподнести себя как артиста, выгода его вообще не волновала.

Большинство песен Виктора останутся в золотом фонде авторской песни. Безумно жалко, что он «недотворил».

Но на все Воля Божья...

А я очень благодарна судьбе, за то что мы с ним встретились.

ПАМЯТИ ВИКТОРА

* * *

В человеке ничто не порушено.
Человечек – он неопалим.
Напишу же про Витю про Луферова –
По дороге в Иерусалим.

Предположим, он прибыл из области,
Из далёких пришёл областей, –
И ему подошло бы на ослике,
В окруженьи поющих детей.

* * *

Далеко от Германии-Франции
Наших песен теснилась гряда.
На лесной, на затерянной станции
Я его повстречала тогда.

Удивления, сопровождения –
У него ни малейшего нет:
«Приходи-ка ты на день рождения.
Нашей дочке сегодня пять лет!»

Я не видела девочку витину,
Я едва ли встречала жену.
Как же я это вытащу, вытяну?
Без печали на праздник взгляну?

И подарки малютке положены,
Без подарков – какой разговор?
...Я купила серебряных ложечек
Полудетский ажурный набор.

Расстояние велосипедное
Для нелепых, неловких гостей.
Есть семейное дело секретное:
Дни рождения летних детей.

Начинается чинно, по-честному,
Именинница смотрит хитро.
Это было немного по-чеховски,
И немножечко – сказка Перро.

О подарке отцовском, особенном –
Вспоминаю лет двадцать уже.
Всё-превсё уж набило оскомину,
Что ни праздник – не праздник в душе.

У девчонки – не мамины ямочки.
Старой яблони слабенький свет.
Крылья бабочки – тонкие лямочки
Прикрепляет ребёнку поэт.

Что же с нами потом приключается?
Это кто, запахнувший пальто?
Кто из наших детей получается?
Я не знаю. Неведомо кто.

Может, белые сёстры – дежурные?
Или – чуткие к песням сердца?
Кто же ложечки помнит ажурные?
Только крылышки в пальцах отца.

Иерусалим, 10 мая 2010

Вероника Долина

СУДЬБА ОДУВАНЧИКА

Встал под окошком шарманщик
И про разлуку поёт.
Где ты теперь, Одуванчик?
Мне он ответ не даёт.

Где за распутицей вешней
Новое строишь жильё?
Где примеряешь неспешно
Новое платье своё?

В радужном лёгком доспехе,
В шляпе с фазаньим пером,
Ты оставляешь нам вехи.
Мы их отыщем потом.

Камешки эти и крошки
В Богом назначенный срок
Нас приведут к перекрёстку
Дольних и горних дорог.

Благовест ближнего храма
Боль изничтожит и ложь.
Ты на два голоса с мамой
В Божьих пределах поёшь.

То, что не скажет шарманщик,
Ангел небесный шепнёт:
Этой весной Одуванчик
В райском саду расцветёт.

Надежда Сосновская

ЭЛОГИЯ

That is what dying is. An horizon
and just the limit of our sight.
C. H. Brent

Корабль отплыл. Стоим, кренясь душой
к береговым камням, а он – всё дальше...
И кто-то рядом скажет: «Он ушёл,
пропал в морях забвения и фальши...»

Ушёл совсем – или ушёл *от нас*?
Не видим нами, он остался прежним,
он лишь покинул поле наших глаз,
но тот же флаг на нём, и люди те же.

Быть может, братья, в этот самый миг,
когда мы с ним прощаемся, тоскуя,
в другом порту ему приветный крик,
и пушки бьют, и граждане ликуют.

Ведь смерти нет – есть горизонт морской –
иллюзия, обман земного взгляда...
Корабль ушёл. Возвысься над тоской
и вновь узришь плывущую громаду.

Алекс Тарн

ПРОЩАНИЕ

...да и всего-то четыре часа лёту,
ну, с половиной, а там уже электричка.
И никаких ОВИРов. Иди с повинной.
Вот и просёлок, вот они – луг, речка...

Братом меня называл, братом, и был братом –
мне, моему брату, всему свету.
Пел про любовь и смерть и ушёл крылатым.
В городе этом больше его нету.

Больше нигде нету этой страны советской,
антисоветской, блядской, смешной, любимой,
этой страны первой любви детской,
черемухою светящейся и рябиной.

Над Иудейской пустыней парит лето
и от весны не требует послесловий,
жар загребая всего и того света
этой страны – первой и остальных любовей.

Игорь Бяльский

Михаил Фельдман

ЕЩЁ НЕ ДАТА

Когда бесчинствуют восточные химеры, и отлетали над Парижем все фанеры, и чувство юмора не знает чувства меры, и паруса ещё ого как парусят, – когда гитара намекает на аккорды, когда поклонниц зачарованные орды хотят на бис и вожделенно красят морды, – мы знаем точно: Кимельфельду шестьдесят!

Уже полжизни позади, а ты в расцвете, ты на Парнасе, как Ромео на Джульетте, глаза искрятся, как у Сакко и Ванцетти (ах, до чего ж мои сравненья хороши!) – и что с того, что ты рождён в созвездьи Рака, когда в фамилии твоей два мягких знака, что говорит не хуже знаков Зодиака об утончённости и мягкости души!

С таким талантом, экстерьером и либидом, клянусь, я тоже, буду гадом, – стал бы гидом, и учинил бы несговорчивым аидам сорокалетнее вождение за нос! И не смотрите на меня, как на тупого, с пренебреженьем, как Маркони на Попова, – от унизительного взгляда от такого мне затруднительно ответить на вопрос:

С чего наш *Эрец* начинается *мувтахат*[1]? Я только знаю, что кончается на *тахат*[2], и враг стремится, чтобы Эрец был оттрахат, и в этой похоти весьма неутомим. А нам всё пофигу, у нас идут процессы, а у врага одни абсцессы и эксцессы, а это значит, что Париж не стоит мессы, а стоит мессы только Иерусалим!

Люблю Париж я ну почти, как Фалыстыну, и этим чувством я, наверно, не остыну, но, отдавая долг Дюма отцу и сыну, я выдам нечто, патетически грустя... И, несмотря на то, что публика поддата, меня поддержат, как Тагор Рабиндраната, когда скажу, что шестьдесят – ещё не дата... Начнутся даты где-то двадцать лет спустя.

---

[1] Эрец мувтахат (*иврит*) – Страна обетованная.

[2] Тахат (*иврит*) – задница.

Дмитрий Кимельфельд

НА ДРУГОМ БЕРЕГУ

1

Это море – песок! Это время – песок! Эти звёзды – песок!
Нильский, жёлтый, хрустящий,
жестокий, сплошной, раскалённый...
Я уже перешёл через реку,
но берег высок.
И обрыв – не обрыв, и вода – не вода.
Выедает глаза пот солёный.

2

Вот я вижу то место, где берег прорезан морской
грязным, бурым песком.
Только что это было рекой, истекающей в море.
Чтобы сдвинуться с места, всей славы не хватит мирской...
Ах, зачем я стремился
припасть к этой глупой опоре.

3

Вот в чём дело! Всевышний Вязальщик судеб
нынче создал часы,
две безумные колбы заполнив песками вселенных.
И Тельцы, Водолеи, и Девы, и Гончие Псы
Превратились вдруг в нильский песок
из созвездий надменных.

4

Но случайно – а может, и нет – Он лишил полюсов
веру, злобу, века,
безрассудство, любовь и забвенье.
Ах, какая вокруг тишина!
Неподвижен песок!
И часы неподвижны и сыты.
Застыли мгновенья...

«Иерусалимская Антология» и редакция «ИЖ» сердечно поздравляют любимого барда с шестидесятилетием и представляют его новую поэму. Многая песни, дорогой Дмитрий Исаакович!

5

Есть один только смысл! А снам воплощения нет.
Нет сознанью предела, желаниям нет притяженья.
Он задумал и создал. И даже Моавский рассвет
над горами не всходит, повис.
Смерть движенья.

6

Да, я – нем, нереален, но как бесконечно богат
тем, что всё превратилось в песок –
всё лишилось порядка.
О, какое блаженство! Так римский легат
проворачивал меч в теле варвара –
жадно и сладко!

7

Смысл игры – позабыть сопряженье и связи времён,
чтобы все имена расшвырять,
ввергнуть в хаос порядок, достичь первозданного транса,
и забраться в соседский сарай, где валяются древки знамён,
и к тебе прикасаться, пятнадцатилетней,
во мраке сеанса.

8

Ты придумал игру, да, вот это и вправду игра!
На пиру у Саула мне чашу несёт виночерпий.
А я вижу Гильбоа. И знаю давно, что гора
примет всю мою кровь
после славной атаки вечерней.

9

Почему же Ты выбрал вот этот невзрачный ручей
в пяти тысячах стадий
от древних могил Йосафата,
где стоял я, безмолвен, седьмую держа из свечей,
когда Ирод топил Хасмонея, Мирьямова брата.

10

Ведь я мог очутиться и там, в безымянном лесу,
под роскошными кронами
красных макаровских клёнов

и шептать горячо, оставляя слова на весу,
чтоб упали они в декабре
с крыш продрогших вагонов.

11

Но случилось, что я нахожусь у реки Александр,
и вокруг меня только пески
да благое ворчанье
позабытой Им божьей коровки, возведенной в сан,
самой Божьей. Резвится она.
Но на крыльцах её крик отчаянья.

12

Я безумен и счастлив, а сзади два чёрных крыла.
Приближаюсь неслышно
к Москве и сухумским орешкам.
В той таганской кофейне, как славно их в руку брала
та, которую я и не вспомню
в тумане кромешном.

13

Ты сказал, что мы будем песком. И мы стали песком.
Двадцать тысяч семьсот пятьдесят дней Творенья.
Где-то там целовал я шалфейную кожу над тёплым соском.
Где-то там примерял я фракийских солдат оперенья.

14

Всё! Я понял, за что это счастье пришло!
У покрытого дюнами русла реки Бейт-Янная
я припомнил две старые строчки...
О Боже, смешно!
Ты мне отдал за это весь мир,
как тогда у Синая.

15

Да, там были, я помню и кровь, и народ, и песок.
Я просил у Тебя,
что просил – пусть останется немо.
Ты всё отдал сполна –
дождь, крапиву, растущую наискосок
от того бугорка,
за которым качается небо.

16

И все судьбы мои, непрожитые в жизни земной,
и всю сладость побед,
и всю горечь несбывшихся странствий
И напомнил, что кровная связь меж Тобою и мной
это только причуда,
песчинка в Твоём первозданном пасьянсе.

17

Ах, зачем меня грек
поманил в этот чёртов Тайман!
от тебя, Шуламит,
от тебя, моя певчая птичка.
Набатеи с глазами шакалов ведут караван.
И верблюду попалась
ромейской когорты табличка.

18

Нет, не в бисер игра, а в песчинки игра!
Кровь и плеть.
Оружейная Горка,
толедский костёр,
дым Треблинки.
Жёлтый дарницкий сквер...
Снег и смерть, смех и смерть.
А теперь лишь песчинки, песчинки, песчинки.

19

Не жалею нигде, никогда, ни о ком, ни о чём.
Реку я перешёл.
Остальное останется сыну.
И ни славой, ни златом, ни даже простым калачом
не заманишь, Давид! О, как холодно мне!
Элохейну! Я стыну, я стыну.

20

Я сижу в Будапеште. Мне ночью приснилась Лилит,
та, что снилась до Евы.
А море и губы желанны, свежи, первозданны.
Ветер в Буде огромный каштан шевелит.
Завтра будет песок. А сегодня – каштаны.
Сегодня – каштаны.

Алекс Тарн

ПОСЛЕДНИЙ КАИН

1.

Привет, актеры. Я – из тех, кто живет по ту сторону глазка видеокамеры. Человек-невидимка, почти нереальный оператор программ реалити. Знакомлюсь так, для проформы, не рассчитывая, что запомните. Трудно представить, насколько быстро вы забываете о моем присутствии. Поначалу еще оглядываетесь, поеживаетесь, придерживаете язык. Но ненадолго: дня не проходит, как я становлюсь в ваших глазах призраком, прозрачной субстанцией, ничем. И тут уже вы разом перестаете поеживаться и развязываете не только языки, но и мешки со всей своей требухой, включая самую неприглядную.

В этом смысле я немножко похож на Бога, не правда ли? Он столь же непрерывно наблюдает за нами, и мы столь же легко игнорируем Его пристальное внимание. Пока дело не доходит до неприятностей: тут уже приходится хвататься за любую соломинку, в том числе и за оператора. А при чем тут оператор, господа? Оператор всего лишь снимает... так что пожалуйте выплывать самостоятельно, будьте так любезны.

Не подумайте, что я претендую на божественность или, напротив, жалуюсь на отсутствие должного уважения к своей скромной персоне. Нет, все так и должно быть. У каждого есть определенное место в производственном процессе программы реалити, или, скажем, фильма, или просто жизни. Кто-то выкобенивается перед камерой, кто-то снимает, кто-то монтирует, а потом все вместе смотрят, что получилось, наивно рассчитывая увидеть нечто новое. Так вот я – снимаю.

Наверное, поэтому у меня не слишком ладится с содержательной частью личной программы: ну там с семьей, дружбой и прочими драмсюжетами. Постоянно верчу головой, стараясь определить, с какого ракурса лучше взять ту или иную сцену с собственным участием. Понятно, что это порождает излишнюю рассеянность в общении с другими, и другие, естественно, обижаются. Рожденный ползать с видеокамерой не может изображать полет так же достоверно, как это делают реальные актеры. В общем, живу я один. Весь в работе, можно сказать. А когда работы нет, места себе не нахожу. Судьба оператора, ничего не попишешь.

Тот звонок, с которого все началось, прозвучал именно в такой момент. Предыдущий проект закончился, я сидел без дела и был заранее готов на любую халтуру, лишь бы хоть как-то себя занять.

– Господин Селифанский? – по напористой интонации я сразу определил, что говорит продюсер. Они всегда произносят фразы так, словно толкаются локтями. – Насколько я понимаю, вы сейчас свободны для предложений?

– Э-ээ... – нерешительно протянул я.

Не терплю, когда меня толкают локтями, хотя бы и только словесно.

– Вот и прекрасно! – жизнерадостно воскликнул продюсер. – Тогда я к вам заеду. Прямо сейчас вас устроит?

Я не успел ответить, потому что он и не думал дожидаться ответа. Звонок в дверь раздался пятью минутами позже. Продюсер был молод, но не юнец, невысок, но и не из малорослых, одет модно, но с известным консерватизмом.

– Господин Селифанский?

– Вы уже спрашивали по телефону, – отвечал я нарочито неприветливо. – Зачем повторяться?

Он рассмеялся, потирая руки и покачиваясь с пятки на носок, причем глаза в смехе участия не принимали, а бесцеремонно ощупывали сначала меня, а затем мою мансарду-студию, загроможденную аппаратурой, мотками кабелей, стойками, треногами и пустыми коробками из-под пиццы. Его глаза вообще словно бы жили отдельной самостоятельной жизнью, не слишком соотносясь с остальными деталями и частями вошедшего господина. Но соображения цельности будущего партнера и работодателя меня мало заботили. Главное, что там, в глазах, ярким пламенем горел огонек одержимости, и это не могло не радовать: ведь одержимость – непременное качество настоящего продюсера.

– Чем обязан?

– Меня зовут Пол, Пол Чичкофф, – сказал он, переходя с английского на русский, что сделало фыкающую англоизацию фамилии еще более неуместной. – У меня к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться.

– Звучит устрашающе, – усмехнулся я. – Но я всего лишь бедный оператор. Вы не сможете подложить в мою постель отрезанную голову любимой лошади. Из домашней живности в моем родовом поместье остались только крысы. Так что ближе к делу, господин Чичиков.

– Чичкофф, – мягко поправил он. – А вообще-то зовите меня просто Пол. Без церемоний. Я читал ваше резюме... кстати, там не указано имени...

Я пожал плечами. Зачем оператору имя, если оператора все равно никто не замечает?

– Зовите меня просто господин Селифанский, без церемоний.

Чичкофф снова рассмеялся. На этот раз даже глаза улыбнулись, на секунду притушив свой сумасшедший пожар. Похоже, я ему понравился, что, собственно, и требовалось. Он отвернулся и принялся кивать в такт собственным мыслям, смешно подергивая правой щекой. Самые характерные жесты люди совершают именно в состоянии задумчивости – поверьте глазу опытного оператора. Наконец Чичкофф перестал кивать и снова взглянул на меня.

– Речь идет о реалити-шоу, – пояснил он. – В России оно называется «Последний герой», у вас – «Выживание», в американском оригинале – «Уцелевший»...

– О'кей, – кивнул я. – Нет проблем. Мне все равно, как это называется. Главное, работа знакомая. Где съемки? Когда? Сколько операторов?

– Оператор один, – сказал он. – И это вы.

Тут я, конечно, изумился, хотя давно уже привык к тому, что безумнее продюсеров бывают только режиссеры, да и то редко.

– Один?! Так не получится. Нужно минимум десять.

Чичкофф потрепал меня по плечу.

– Я уверен, что вы справитесь. Поставите столько камер, сколько понадобится. Дайте мне список любой аппаратуры, любой автоматики – получите все, что надо, в лучшем виде. Подумайте сами, господин Селифанский: разве не заманчиво звучит?

Звучало и в самом деле заманчиво. Честно говоря, другие операторы всегда ужасно раздражают, особенно главный. Лезут с советами, с указаниями, а сами вечно норовят лажануться на ровном месте. Идиоты. И ведь действительно, если понатыкать много камер в нужных местах, да еще добавить к ним микрофоны, датчики и автоматику, то вполне можно справиться и в одиночку. Правда потом будет уйма работы при монтаже...

Словно прочитав мои мысли, Чичкофф помотал головой.

– О монтаже не волнуйтесь. Этим займется особая команда. Вот контракт... – он щелкнул замочками дипломата и извлек на свет договор. – Обратите внимание на гонорар, господин Селифанский.

О, да! *Такой* гонорар было трудно обойти вниманием. Думаю, что, увидев подобную сумму, слетела бы со своей высокой орбиты самая элитная голливудская звезда. Я и в самом деле не мог отказаться от чичкоффского предложения, даже если бы и хотел. Но я и не хотел отказываться. Я согласился бы и на существенно меньшие деньги: чем дальше, тем заманчивей казалась мне техническая задача работы в одиночку. Всегда приятно отчебучить что-нибудь рекордное в своей профессии. Особенно за такие бабки...

– Когда приступаем? – спросил я, возвращая ему авторучку.

Чичкофф посмотрел на часы.

– Если не возражаете, прямо сейчас. Деньги пошли с момента вашей подписи. Машина ждет внизу, так что поторопитесь. Кастинг уже начался.

Я не возражал. Мне не терпелось поскорее включиться в работу. Пока я собирался, Пол Чичкофф стоял у окна, подергивая щекой и задумчиво глядя на улицу.

2.

Кастинг для реалити-шоу – тонкое дело. Это вам не игровое кино, где достаточно просто удостовериться, что претендент хорошо «проходит экран» и умеет нужным образом кривляться, изображая страдание или счастье. В игровом кино все подчинено сценарию, от актера не зависит ровным счетом ничего: по сути, он там не более чем безмозглый манекен, тряпичная кукла. В нужных местах ему говорят пустить слезу или, наоборот, заржать в голос, что он и воспроизводит с той или иной степенью достоверности.

Иное дело – реалити. Почему, вы думаете, народ так западает на эти программы? Потому, что народу обрыдла фальшь безмозглых манекенов. Ему хочется настоящей слезы и настоящего смеха. Конечно, в реалити-шоу тоже навязывают сценарий, режиссуру и монтаж. Конечно, и там актерам диктуют тексты и действия. Но разница все-таки есть, и немалая. Она заключается в том, что актерам программы реалити предоставляют какую-никакую свободу – не слишком большую, но все же. Они имеют право понравиться друг другу или, наоборот, поссориться и расплеваться, обругать за глаза, солгать в лицо, выругаться вслед, искренне улыбнуться, крепко обнять, погладить по плечу...

Эти-то мелкие кусочки настоящего и нравятся зрителю, уставшему от постоянного тотального «понарошку». Ведь «понарошку» подается ему повсюду – что в кино, что в новостях, что в спорте. Представьте себе пожизненное питание в столовой, где нет ничего, кроме макарон – серых, слипшихся, склизких. Вы стали бы жевать каждый день одну и ту же гадость?

Странный вопрос. Конечно, стали бы: голод не тетка... но при этом честили бы поваров на все лады. Ладно, пусть будут макароны, если на лучшее не наработали, но отчего бы немножко не разнообразить? То есть не просто недосолить или переперчить, как обычно, а, скажем, какой-нибудь соусишко сообразить – ну хоть какой, хоть совсем бедненький... А? Ну, пожалуйста... Вот и получается, что кусочки «настоящего» в программах реалити – это как небольшой шлепок соуса в те чертовы полусъедобные макароны. Понятное дело, народ так и накидывается.

Но для «настоящего» нужна настоящая свара, настоящий конфликт. А для конфликта нужны соответствующие участники. Поэтому удачный кастинг тут жизненно необходим, что и говорить. Так-то оно так, но всему есть, знаете ли, предел. Признаюсь, господин Чичкофф ухитрился удивить меня второй раз в течение одного часа – случай небывалый. Когда выяснилось, что прямо из моего дома мы направляемся на тель-авивский аэродром, а оттуда арендованным самолетом на Кипр, я не смог удержаться от вопроса.

– Послушайте, Пол, – сказал я. – Не кажется ли вам, что за актерами нет смысла летать так далеко? Даю вам голову на отсечение, что можно с легкостью набрать пару сотен подходящих претендентов, не отходя от фонтана на улице Дизенгоф.

Прежде чем ответить, Чичкофф окинул задумчивым взглядом двух массивных тихарей, пересевших вместе с нами из автомобиля в самолет. Тихарями я обычно называю телохранителей – по созвучности слов и по причине профессионально тихой прозрачности, роднящей их с моим ремеслом. Налюбовавшись на квадратные челюсти своих горилл, продюсер перевел глаза на меня. Я мог бы поклясться, что в них появилось что-то новое, устрашающее. Должно быть, паук смотрит так на уже спеленутую муху.

– Не могли бы вы мне напомнить, господин Селифанский, – тихо произнес мой новый хозяин. – Вы кто?

Я понял смысл этого вопроса моментально. Я покраснел. В самом деле: куда я лезу? Зачем?

– Извините, господин Чичкофф, – отвечал я поспешно. – Я оператор. Я не имею права вмешиваться в детали содержания.

– Не только в детали содержания, – он дернул правой щекой. – Вы не должны вмешиваться ни во что, кроме своих прямых обязанностей. Вы – мой глаз. Задача глаза – поставлять по возможности полную картинку, не более того. Если же вы полагаете иначе...

– Нет, нет! Извините... – мне и в самом деле было ужасно стыдно за непозволительный срыв, в общем, абсолютно не характерный для моего обычного поведения. – Вы совершенно правы, господин Чичкофф. Я всего лишь оператор. Я повел себя непрофессионально. Это не повторится, обещаю вам.

– Зовите меня Пол...

Он отвернулся к иллюминатору. Из кабины пилота слышались хриплые реплики диспетчера: «Сессна» заходила на посадку в

аэропорту Ларнаки. У трапа в микроавтобусе нас поджидал еще один чичкоффский тихарь. Похоже, в этом проекте все было расписано чуть ли не по минутам.

– Вы начнете снимать, когда мы поднимемся в номер, – сказал Чичкофф, откидываясь на спинку сиденья. – Думаю, для кастинга будет вполне достаточно той аппаратуры, которую вы захватили с собой.

Я кивнул. Кастинг в гостиничном номере и в самом деле не требует многого. Две стационарные камеры и одна с руки. Справимся. Чичкофф довольно потер ладони.

– Вы помните, я говорил вам, что кастинг уже в разгаре? Я действительно успел подписать несколько участников. Они находятся в... ээ-э... условленном месте сбора...

Он покосился на меня, словно ожидая расспросов по поводу упомянутого «места сбора», но я молчал, помня свою недавнюю промашку. Я здесь всего лишь оператор, ни больше ни меньше. Я – глаз за объективом видеокамеры. Чичкофф улыбнулся.

– Я рад, что не ошибся в вас, господин Селифанский. Видите ли, поначалу предполагалось начать съемки прямо на острове, минуя кастинг. Но потом я решил, что процесс отбора тоже заслуживает внимания. Поэтому мы сделали небольшой крюк по дороге на Кипр, чтобы нанять вас, и как раз успели к намеченному времени... – он посмотрел на часы. – Мы будем в отеле через десять минут, а участница придет еще через полчаса. Достаточно времени для того, чтобы расставить все ваши...

– Погодите, – перебил его я. – Вы сначала договорились с участниками, а потом поехали нанимать меня? А что если бы я отказался? На поиски другого опытного оператора мог бы уйти не один час, если не день...

– Нет-нет, – покачал головой Чичкофф. – Я бы не искал другого, господин Селифанский. Мне нужны были именно вы, и никто иной.

– Тогда...

– Вы не могли отказаться, господин Селифанский, – произнес он, внушительно наклоняясь в мою сторону. – Я не принимаю отказов.

В салоне микроавтобуса воцарилась странная тишина, нарушаемая лишь рокотом мотора и деликатным поскрипыванием переднего сиденья, где разместился прилетевший с нами тихарь. А может, это был вовсе не скрип сиденья? Да, да, это гораздо больше походило на сдавленный смешок... Я вытянул шею, пытаясь получше разглядеть профиль чичкоффской гориллы. Нет, лицо тихаря выражало полнейшее безразличие ко всему, кроме пунктов инструкции по отражению потенциальной угрозы. Наверное, показалось...

Чичкофф тронул меня за руку:

– Да не волнуйтесь вы так, господин Селифанский. Лиха беда начало. Привыкнете.

3.

Войдя в номер, претендентка остановилась у двери и растерянно уставилась в мой объектив. Устроившийся на диване Чичкофф махнул рукой.

– Проходите, госпожа Маргарита, присаживайтесь... – он кивнул на кресло, перед которым стояла на треноге одна из двух стационарных камер. Вторую я пристроил на кронштейне рядом с телевизором.

– Э, нет... – протянула женщина и попятилась. – Вы что, меня за дуру держите? Хотите втроем, платите бабки за троих. А за съемку дополнительно... Пусти, волчара!

Последние слова адресовались тихарю, который без долгих разговоров взял претендентку за локоть и препроводил на указанное боссом место.

– Насчет денег не беспокойтесь, госпожа Маргарита... – Чичкофф прямо-таки лучился улыбкой. – Всякий труд должен быть оплачен, особенно такой древний и опасный, как ваш.

Какой труд имелся в виду, можно было легко определить при первом же взгляде на «госпожу». Перед нами сидела потрепанная проститутка лет тридцати, не слишком хорошо одетая и не слишком тщательно накрашенная. В ее манере сквозила неуверенность: возможно, до уровня придорожной девки она еще не докатилась, но и в такие дорогие отели ее, скорее всего, давно уже не приглашали.

– Вы из полиции?

Чичкофф дернул щекой.

– Разве мы похожи на полицейских? – он усмехнулся, предупреждая ее следующий вопрос. – Или на журналистов? Я хочу предложить вам работу на месяц, госпожа Маргарита... или, может быть, вы предпочитаете, чтобы вас называли вашим настоящим именем... Елена Петровна Ере...

– Нет-нет, пусть будет Маргарита, – перебила она поспешно. – А еще лучше – Марго. Привыкла уже, чего там. А на месяц – это надо с хозяином закрывать. Я ведь тут не сама по себе.

– Уже, госпожа Маргарита... э-э... Марго. Уже закрыли.

Чичкофф кивнул тихарю, тот ткнул пальцем в мобилу, дождался ответа, прошелестел что-то неразборчивое и передал телефон женщине.

– Алло! – какое-то время она слушала, нахмурившись и не произнося ни слова, затем кивнула и вернула мобилу. – Ну и что это за работа? Порно?

У меня екнуло сердце. В самом деле, если Чичкофф набирал проституток, то, соответственно, и шоу могло оказаться... Словно подслушав мои мысли, продюсер взглянул на меня и рассмеялся.

– Ну что вы, госпожа Марго... не льстите себе и не пугайте моего нового оператора. Речь идет о вполне конвенциональном телевизионном шоу. Ничего общего с вашей основной профессией.

– Моя основная профессия – обдирщица третьего разряда, – угрюмо возразила Маргарита. – Я и училище кончала. А это так... хобби.

– Ну и прекрасно! – с энтузиазмом воскликнул Чичкофф. – Так или иначе, в течение ближайшего месяца вам не понадобится ни то, ни другое. Уверен, вы не раз смотрели программу, где группу людей высаживают на необитаемом острове, и они...

– «Последний герой»?

– Вот-вот! Я приглашаю вас в точно такое же шоу. Вы получаете редкую возможность стать телезвездой, госпожа Марго. Да еще и заработать на этом... – Чичкофф открыл свой дипломат и достал договор. – Вот сумма, всего за месяц вполне невинных развлечений. И никакого эз-э... хобби. Взгляните. Надеюсь, вы не скажете, что мы вас обдираем, госпожа обдирщица третьего разряда?

Марго взглянула на контракт и поперхнулась.

– Это все мне?.. за месяц?.. – она дернула правой щекой.

В моменты большого волнения люди часто непроизвольно начинают передразнивать собеседника. Впрочем, Чичкофф, видимо, тоже слышал об этом явлении и потому не обиделся, даже не обратил внимания. Он просто протянул женщине авторучку.

– Подпишите, госпожа Еремеева. Вы уж извините, но в официальном документе проставлено настоящее имя... Ну вот и славно. – Чичкофф сунул контракт назад в чемоданчик. – Начинаете прямо сейчас, в эту минуту. Этот господин вас проводит. – Он кивнул тихарю.

– Прямо так? – изумилась Маргарита. – Но мне надо... вещи... и позвонить...

– Не беспокойтесь, все необходимые вещи вы получите на месте, – замахал руками продюсер. – А вот позвонить – это уже через месяц. А может, и через неделю, если раньше отсеетесь. До свидания, госпожа Марго, до свидания...

Когда дверь за женщиной и сопровождавшим ее тихарем закрылась, я выключил камеры и стал бегло просматривать материал. Я изо всех сил старался думать только о съемке. Честно говоря, эта потасканная проститутка совсем не выглядела телегеничной. На всех тех, без ложной скромности, многочисленных кастингах, в которых мне приходилось участвовать, ее забраковали бы уже на самом первом этапе. Удивительно, что Чичкофф подписал эту Марго с ходу, не раздумывая. А если следующие претендентки окажутся лучше?

– Что вы там копаетесь, господин Селифанский? – окликнул меня Чичкофф. – Вы не собираетесь упаковывать ваши игрушки?

Я обернулся в полном недоумении.

– Упаковывать? А кастинг? Вы не собираетесь снимать остальных претендентов?

– Остальных? – в свою очередь удивился продюсер. – Остальные будут в других местах. Здесь мы закончили. Поторопитесь, господин Селифанский, наш самолет вылетает через полтора часа.

Он достал мобильник и отошел в угол, оставив меня с открытым ртом. Такого кастинга действительно свет не видывал! Прилететь на Кипр ради одной двадцатидолларовой шлюхи! Но я не стал задавать вопросов. В конце концов, я всего лишь оператор, не так ли? А коли так, то давай, дружок, развинчивай треногу и помалкивай... Самолет через полтора часа...

«Все через задницу, – думал я с закипающим раздражением. - Какая, спрашивается, логика лететь назад в Тель-Авив рейсовым, если сюда прилетели на арендованной "Сессне"»?

Но логика как раз-таки была. Потому что летели мы отнюдь не назад в Тель-Авив, а вовсе даже в Алма-Ату и далее вертолетом – в пыльный безымянный российский гарнизон. Там, «на границе с Грузией, а может, с Казахстаном», как спел мне, сильно при этом фальшивя, господин Чичкофф, нас ожидало продолжение кастинга в лице некоего капитана Кузнецова. «Наши пограничники с нашим капитаном...» – пел Чичкофф, улыбаясь одним ртом, без какого бы то ни было участия горящих тоскливой одержимостью глаз. В этот момент я окончательно запретил себе не только удивляться, но и вообще думать. Оператору положено снимать, а не думать.

Раздолбанный казахский «Туполев» подпрыгивал на каждой небесной колдобине, меня мутило, а в пустой голове безостановочно крутились две бессмертные, с детства знакомые строчки: «А на нейтральной полосе цветы – необычайной красоты...»

4.

Мы прилетели в гарнизон уже заполночь. Как объяснил Чичкофф, снимать предстояло скрытой камерой. «Понятно, – подумал я. – Военный объект... Надеюсь, в случае ареста обойдется без пыток, потому что, к несчастью, мне совершенно нечего выдать».

Вертолет заглушил двигатель, но наземного транспорта нам пришлось ждать не менее получаса. С некоторым злорадством отметив про себя эту первую организационную накладку, я принялся гадать, далекая ли еще предстоит дорога. Посадочная площадка располагалась на холме, с которого была хорошо видна обнесенная забором армейская база с плацем, жилыми бараками и приземистыми административными зданиями. Туда мы могли бы с легкостью добраться пешком. Но продюсер ждал прибытия машин, следовательно...

Поеживаясь от ночного холода, я всматривался в непроглядную черноту степи. Наконец на горизонте мелькнул свет фар, и через некоторое время подъехали два автомобиля: серая дребезжащая газель и новенький гранд-чероки, сияющий даже сквозь дорожную пыль, как Божий ангел в казенной конторе чистилища. К моему удивлению, мы загрузились не на его кожаные, еще затянутые полиэтиленом сиденья, а в грязное нутро газели. Впрочем, путь оказался короток – до главного административного здания базы. Я снова ошибся в своих догадках.

Спрыгнув на землю, Чичкофф повернулся к тихарю.

– Протрите машину, – скомандовал он. – И ленту, ленту повяжите...

Пройдя мимо безмолвного часового, мы поднялись на второй этаж. Дверь в кабинет была открыта; я взял общий план приемной и вошел вслед за продюсером. Камера работала в рюкзачке за моей спиной: скажу, не хвастая, что вслепую я чувствую объектив не хуже, чем при обычной съемке. Практика, что вы хотите...

Навстречу нам поднялся из-за стола маленький востроносый полковник. Почему полковник? Вроде бы речь шла о капитане... Большинство застарелых алкоголиков краснорожи, но некоторые, наоборот, отличаются мертвенной бледностью. Хозяин кабинета явно принадлежал ко второй категории, а синеватый оттенок щек выдавал еще и определенную склонность к денатурату.

– Звонили ли вам из округа, Сергей Никодимыч? – осведомился Чичкофф после обмена рукопожатиями.

Начальник гарнизона кашлянул, насупился и зачем-то надел фуражку. Я и забыл, какие у них бывают высокие тульи...

– Из округа? – брюзгливо переспросил он. – Что они там понимают, в округе? Они, бля, командируют, а мне дежурства закрывать некем.

Чичкофф улыбнулся и показал на окно.

– Взгляните, Сергей Никодимыч... нынче, знаете, механизация. Железный конь идет на смену простому дежурному капитану. Неужели не закроете?

Я тоже подошел и, держа в руках рюкзачок, заглянул через полковничье плечо. Под окном неземным блеском сиял свежепротертый гранд-чероки. Чичкоффские тихари успели перевязать его крест-накрест атласной розовой лентой.

– Вот, – такого же цвета ленточка красовалась на автомобильном ключе, который Чичкофф мягко положил на стол. – Примите в знак спонсорского уважения к ратному труду... на благо... и вообще...

Казалось, что продюсер вот-вот прослезится от прилива чувств. Полковник опять кашлянул, немного подумал, затем снял фуражку и подумал снова, уже без нее. Мы терпеливо ждали. Наконец полковник вздохнул и осторожно положил фуражку на стол, прикрыв ею ключ.

– Что ж, – сказал он, берясь за телефон. – Приказ есть приказ. С округом не поспоришь... Алло! Кузнецова ко мне! Да-да, прямо сейчас! Выполнять!

Заспанный капитан Кузнецов отрапортовал прибытие минут через десять. Полковник мрачно кивнул.

– Слушай приказ, Кузнецов. Из округа, даже из Москвы. Страна и армия откомандировывают тебя в жаркие страны. В полное распоряжение вот этих товарищей. Как понял?

– Неужто на Кубу, товарищ полковник? Или в Анголу? А может, в эту, как ее... Венесуэлу? – капитан демонстрировал явную геополитическую подкованность, более характерную для давно уже минувших времен. – У меня жена скоро рожает, товарищ полковник.

– У всех рожает! Раньше думать надо было! – прикрикнул командир и тут же добавил, смягчившись. – Это ж на месяц всего. Успеешь еще роды принять... Эх, завидую я тебе, Кузнецов. Вырвешься на целый месяц из этой...

«Последние слова придется вырезать, – подумал я, выходя из кабинета. – Утречком займусь... а сейчас в постель, спать. Как я, оказывается, устал, Господи!»

Увы, лечь в постель не пришлось: вертолет уже ждал нас, молотя ночь лопастями. Но я отключился и так: просто свернулся калачиком на вибрирующем рифленом полу и... кто-то сильно тряс меня за плечо. Я приподнял гудящую голову и открыл глаза. Мы были уже на земле. По лугу стлался туман, в десятке метров от вертолета серело большое шоссе. Мимо, предостерегающе загудев, пронесся грузовой фургон. Надо мной склонился чертов Чичкофф, свежее стоявшего вокруг раннего степного утра.

– Вставайте, господин Селифанский, пора.

– Где мы?.. – хрипло выдавил из себя я.

– Калмыкия. Сто четырнадцатый километр республиканской автострады. А нам нужно на сто двадцатый. Вставайте, машина ждет... – он усмехнулся. – И захватите с собой камеру, господин оператор.

– Камеру? – кое-как собрав себя воедино, я выпрыгнул наружу. – Ну вы даете... кастинг в такую рань... А где капитан?

– По дороге к месту сбора, – отвечал Чичкофф с оттенком нетерпения в голосе. – Давайте, давайте... А рань – понятие относительное, господин Селифанский. Особенно для ночного придорожного кафе.

Название придорожного кафе «Укати» выглядело удачным, ибо отражало одновременно и характер клиентуры, и имя владелицы. Что же касается всего остального, то наверняка заведение знавало много лучшие времена. Когда мы на двух машинах подъехали к его воротам, нас встретила красноречивая картина разрушения – скорее всего, совсем недавнего. Сорванная с петель дверь валялась на земле; сквозь разбитые стекла окон виднелись опрокинутые столы, разломанные стулья и раскрошенные вдрызг бутылки бара. В воздухе стоял стойкий запах разлитого спиртного. На ступеньках, пригорюнившись, сидела женщина лет тридцати в разорванной кофте и с синяком под глазом.

Чичкофф вышел из машины.

Правая щека его бодро подергивалась.

– Привет, Катя, – приветствовал он женщину. – Я вижу, кто-то у тебя тут хорошо погулял.

Катя подняла голову. Если бы ненависть в глазах могла жечь, то мой работодатель вспыхнул бы в тот же момент ярчайшим факелом. Но Чичкофф только ухмыльнулся.

– Сволочь! – тихо проговорила хозяйка кафе. – Какая же ты сволочь! Что ты здесь делаешь, гад? Приехал посмотреть, что наделали твои бандиты? Вот, смотри, любуйся!

Она вскочила на ноги. Два чичкоффских тихаря передвинулись поближе. Их тренированные правые руки подрагивали у пояса, готовые извлечь и нажать. Как это он говорил мне совсем недавно? – «Я не принимаю отказов...» О, да. Судя по виду кафе «Укати», отказов господин Чичкофф действительно не принимал. Я взял Катю крупным планом. Я всего лишь оператор, вы помните?

– Посмотреть? – переспросил продюсер. – А на что тут смотреть, Катя? Чем любоваться? Этот калмыцкий пейзаж невыносимо скучен моему сердцу художника. Моя тонкая артистическая душа болит при виде твоих слез. Я всего лишь приехал узнать, не передумала ли ты. И поверь мне, я буду приезжать, пока ты не передумаешь.

Катя молчала, глядя в землю и тяжело дыша. Правая щека ее дернулась зеркальным отражением чичкоффского тика. Чичкофф вздохнул.

– Зря ты упираешься, Катюша. Думаешь, получится все это восстановить? Откуда бабки возьмешь? Из банка?

Он не глядя протянул руку назад, и один из тихарей тут же подал хозяину несколько сброшюрованных бумажных листков. Чичкофф посмотрел, перелистнул, покачал головой.

– Неужели ты рассчитываешь на эту сотню деревянных тысчонок? Так их уже нет, Катюш. Еще вчера были, а сегодня уже – фьють! – нет! – он скорбно поджал губы. – Ты даже не представляешь, на какие пакости способны нынешние хакеры... На что жить станешь? На что семью кормить? Пока есть еще кого кормить...

– Ты... – только и смогла выдавить Катя. – Ты...

– Значит, не передумала... – пожал плечами Чичкофф. – Что ж, вольному воля, а горькому горе. Я заеду через несколько деньков, когда седеть начнешь.

Он повернулся и не торопясь пошел к машине.

– Стой! – хрипло выкрикнула Катя. – Я передумала... Но ты восстановишь все это. И вернешь...

Чичкофф остановился и щелкнул пальцами. Тихарь метнулся к машине за дипломатом.

– О чем речь, Катя?! Все будет в лучшем виде, даже без вычета накладных... Давно бы так, милочка. Тебе же лучше: сама отдохнешь, и заведению реклама. Это ж телевизор, понимать должна... Вот тут подпишись. И тут. А тут инициалы... Ну вот и молодец, вот и умница. Садись вон в ту машину, тебя проводят... – Чичкофф рассмеялся. – Пора уже тебе выходить на берег, Катюша!

5.

В самолете по дороге в Тбилиси мы сидели рядом. Видимо, Чичкофф счел нужным успокоить своего единственного оператора после неприятной сцены, которую нам выпало снимать утром. Что ж, не

лишняя мера. Да, я всего лишь глаз по ту сторону объектива и не должен лезть в вопросы сценария и производства, но, с другой стороны, меня ведь нанимали для стандартного реалити-шоу, а вовсе не на съемки документального фильма о колумбийской мафии...

Нужно отдать ему должное – Чичкофф умел быть предупредительным. После весьма неплохого обеда, во время которого речь шла преимущественно о погоде и о видах «Барселоны» на чемпионство, нам принесли бутылку, фрукты и конфеты. Плеснув коньяк в стаканы, продюсер перешел наконец к делу.

– Не очень-то это похоже на традиционный кастинг, а, господин Селифанский?

В ответ я лишь пожал плечами. С человеком, который не принимает отказов, следует вести себя осторожно. Чичкофф улыбнулся.

– Объяснение тому простое, – продолжил он. – Вы включились в процесс на относительно поздней его стадии и потому видите только верхушку айсберга. Не следует ожидать, что перед вашей камерой, как вы к тому привыкли, пройдет парад сотен претендентов, а мы будем сидеть, развалясь в креслах, и неторопливо выбирать два десятка участников. Нет, участники уже выбраны. Причем выбраны чрезвычайно тщательно, можете мне поверить. Мною проделана огромная работа. Огромная. Огромная.

Продюсер вздохнул, в глазах его пробежала тень. Он отхлебнул коньяку.

– Поэтому наше нынешнее... ээ-э... турне трудно назвать обычным кастингом. Мы не выбираем и не отбираем. Мы *собираем* уже отобранных. Поверьте, за каждым из них стоит вполне определенная цель. Мне нужны именно эти люди – они, и никакие другие. Понимаете?

Я кивнул. То же самое он сказал в свое время и мне. «Мне нужны именно вы, господин Селифанский, вы, и никто другой». Я вспомнил понурую фигуру Кати-Укати на ступеньках разгромленного кафе. Слава Богу, что мне не пришло в голову отказываться...

– Вот и чудненько! – Чичкофф подлил мне из бутылки. – Выпейте и немного вздремните. Этот день будет особенно длинным.

Я послушно выпил и закрыл глаза. «Особенно длинный» – значит длиннее предыдущего. Возможно ли такое, если в сутках всего 24 часа? Так думал себе я и, как потом выяснилось, опять ошибался. Часов в одних сутках может быть и двадцать пять, и двадцать восемь, и даже тридцать. Причем без всяких чудес и машин времени – всего лишь посредством попутных солнцу перелетов между часовыми поясами...

Наша первая остановка была в Самтредиа... а может, в Зугдиди, – Чичкофф сказал, но я не запомнил. Трудно приводить голову в рабочее состояние после сидячего двухчасового коньячного сна, больше похожего на обморок. На аэродроме нас встретили новые чичкоффские тихари. Новые ли? – Не поручусь... Они настолько походили манерами и выражением лиц на своих предшественников, что можно было подумать, будто наш общий босс таскает в своем дипломате помимо готовых к подписи договоров еще и штамповочный станок для производства телохранителей.

Чушь, конечно, не обращайте внимания. С бодуна и недосыпа еще и не такое покажется. Просто Чичкофф очень оптимально управлялся со своим относительно небольшим штатом. Тихари встречали нас в запланированном месте, забирали очередного участника для прямой доставки на пока еще неизвестное мне место сбо-

ра и сразу же, снабженные точнейшими инструкциями, отправлялись в новую точку.

Думаю, всего их было человек десять, не больше – преданных хозяину и вымуштрованных до мозга костей. Понятия не имею, как Чичкофф заслужил эту преданность. Впрочем, возможно, что ее и не пришлось заслуживать: они вполне могли оказаться такими от рождения – люди-собаки, без каких-либо раздумий и сомнений отдающие себя первому же, кто наденет на них ошейник. Нужно всего лишь найти их. Всего лишь! – Легко сказать... Но Чичкофф нашел. «Мною проделана огромная работа, господин Селифанский. Огромная». О, да. Он ничуть не преувеличивал, говоря это.

Переговоры в Самтредиа, а может, в Зугдиди, велись на футбольном стадионе. Судя по его состоянию, местный клуб не претендовал на чемпионство чего бы то ни было. Скорее всего, он даже не считался центральным стадионом Самтредиа, а может, Зугдиди. Помещение под дощатыми трибунами воняло прокисшим потом нескольких поколений. Я и представить себе не мог, как сильно въедается запах в деревянные перегородки. Те, под трибунами, уже почти сгнили. Они зияли дырами и походили на решето. Впитавшаяся в них вонь оставалась единственным неповрежденным элементом конструкции; похоже, только на ней они и держались.

Нас принял седовласый толстый человек, начальник команды. За стеной его каморки шумела раздевалка. Лилась вода, слышались голоса, сквозь щели виднелись голые ноги, бока и крупы расхаживавших по раздевалке спортсменов: ни дать ни взять – жеребцы в загоне. Без долгих разговоров Чичкофф вытащил пачку денег. Начальник взял, послюнил палец и принялся считать, шевеля губами. На середине пачки, словно только что припомнив, он поднял голову, крикнул: «Муртаз! Георгий!» – и продолжил счет. В конюшне не отреагировали никак. Закончив считать, начальник сунул деньги в карман и показал большим пальцем за спину.

– Сейчас выйдут. Контракт есть? Готовь на подпись.

Муртаз и Георгий оказались здоровенными волосатыми близнецами. На их одинаковых лицах застыло выражение тупого безразличия, свойственное в таком объеме лишь пожилым рабочим волам и футбольным центральным защитникам на закате профессиональной карьеры. Начальник команды поочередно похлопал их по щекам. На секунду мне показалось, что сейчас он начнет оттягивать братьям нижнюю губу, демонстрируя качество зубов, но обошлось без этого. В конце концов, торг уже закончился, и расхваливать товар не требовалось.

– Так. Муртаз, – произнес начальник тоном, не допускающим возражений. – Вы с Георгием сдаетесь в аренду в другую команду, тоже очень хорошую. Сроком на один месяц с сохранением зарплаты и с правом окончательного выкупа. Согласно контракту. Вот ваш новый тренер.

Он кивнул на Чичкоффа. Георгий переступил с ноги на ногу, всхрапнул и посмотрел на брата.

– А премиальные? – спросил Муртаз.

– Премиальные вдвойне, – вступил в разговор Чичкофф, доставая из дипломата договоры. – Распишитесь. Вот здесь.

Муртаз послушно взял ручку. Правая щека его дернулась. Положительно, вирус чичкоффского тика действовал даже на таких бесчувственных коней.

– А где играть?

– За границей, – подмигнул продюсер.

– За границей... – мечтательно повторил Муртаз и потянулся подписывать.

Наш следующий участник проживал во Владикавказе. Впрочем, слово «проживал» здесь не совсем подходит. Участник с многообещающим именем Ислам во Владикавказе *содержался*. Он занимал одиночную камеру в самом дальнем конце самого нижнего подземного этажа самой охраняемой тюрьмы Северного Кавказа. Что явно характеризовало его особый статус даже в этом, весьма особом заведении, куда, как объяснил мне Чичкофф, помещали только самых отпетых боевиков и бандитов. Большинство из них сидели здесь без суда и считались погибшими или пропавшими без вести. Понятия не имею, зачем их оставляли в живых – вероятно, для дальнейшей торговли или для каких-то других загадочных, но, несомненно, паршивых целей, которыми не оскудевает любая война.

Снимать мне разрешили только в самой камере. Чеченец сидел на полу, в железном ошейнике, прикованный цепью, как дворовая жучка. Параша воняла.

– Привет, Ислам, – сказал Чичкофф, протягивая руку. – Не передумал?

– Пошел вон, пес.

Заключенный даже не посмотрел в его сторону. Как и в случае с Катей-Укати, это явно была не первая их встреча. Как видно, здесь тоже нашла коса на камень.

– Пес на цепи сидит, – усмехнулся Чичкофф. – А на цепи здесь ты, а не я. Я вижу, тебе в карцере нравится.

– Думаешь карцером меня испугать? – презрительно фыркнул Ислам. – Плевал я на твой карцер. Ты мне вообще ничего сделать не можешь, понял? Не пойду я к тебе под твою дудку танцевать.

– Это почему же? Неужели в тюрьме лучше?

– Лучше, – убежденно отвечал чеченец. – Пока я здесь, меня друзья помнят. А помнят – значит выкупят. Мы своих не бросаем. Не то что ваши собаки.

– Я ж тебя не навсегда беру, – возразил Чичкофф. – Через месяц вернешься. Чем плохо отдохнуть? Солнце, море, девушки...

Чеченец поднял голову и посмотрел продюсеру в глаза. Тот не отвел взгляда; какое-то время они словно соревновались, кто кого переглядит.

– Врешь ты... – сказал наконец Ислам. – Не знаю, зачем я тебе нужен, и знать не хочу. Одно знаю точно: врешь. Волк ты бешеный, вот кто. А чужим волкам веры нету.

– Что ж, по-хорошему не хочешь, придется по-плохому... – вздохнул Чичкофф и достал из кармана пачку листков. – Вот, взгляни.

– И смотреть не стану, – покачал головой чеченец. – Нечем тебе меня взять. Нет у меня ничего. Ни семьи, ни дома. Нечем.

Чичкофф сожалеюще пожал плечами.

– Ладно. Тогда пускай эти бумажки здесь остаются, – он бросил листки к ногам Ислама. – Можешь ими подтираться, а то у тебя тут... Пойдемте, господин Селифанский. Выключайте камеру.

Мы уже почти вышли в коридор, когда сзади послышался сдавленный голос чеченца.

– Стой, гад. Я согласен. Стой!..

Двумя часами позже, отправив скованного по рукам и ногам Ислама вслед за близнецами-футболистами, мы взлетели в направлении Таллинна. Чичкофф заказал выпивку и поерзал, поудобнее устраиваясь в самолетном кресле.

– Выпьем за успех, господин Селифанский, вы не возражаете? Этот Ислам был самым крепким орешком. Теперь остались только легкие случаи... – он поднял бокал. – Ну, как говорят у вас, лехаим!

– Мне не хочется задавать лишних вопросов, Пол, – осторожно начал я. – Не хотите – не отвечайте, но мне просто любопытно...

– Что это были за листки? О, в жизни не догадаетесь... – Чичкофф выдержал эффектную паузу. – Лицензии на работу восемнадцати московских ресторанов, принадлежащих его тейпу. Есть предел человеческой стойкости, господин Селифанский. Черт с ней, с семьей, с домом, даже с собственной жизнью... Но рестораны... рестораны... это, знаете ли... Выпьем еще?

6.

По словам господина Чичкоффа, следующие три участника принадлежали к породе «легких». За ними не требовалось гоняться, уговаривать, шантажировать, согласовывать их месячную отлучку с тренером, хозяином, командиром, сутенером. Им не нужно было даже платить ни гроша. Думаю, они заплатили бы и сами, лишь бы попасть в столь престижное телешоу. Поэтому мы встретились с ними прямо в кафе таллиннского аэропорта, куда претенденты слетелись из разных мест по чичкоффскому приглашению. Чтобы не терять времени на отдельные разговоры, сидели за одним столиком.

Две девушки и один парень. Впрочем, годками под определения «девушки», «парень» они уже не проходили. Пока что все отобранные участники были примерно одного возраста: где-то между двадцатью семью и тридцатью. Включая, кстати говоря, и самого продюсера... и если уж быть внимательным до конца, то и меня, его оператора. Случайность? – Навряд ли: уж больно тщательно спланированным выглядел каждый чичкоффский шаг.

Вообще-то, обычно подобные шоу предпочитают комплектовать из заведомо разных людей – в том числе и по возрасту. Но широчайший охват нашего подбора и без того гарантировал непохожесть участников. Взять хоть армейского капитана и чеченского боевика... уже одно их близкое соседство предвещало весьма телегеничный конфликт.

Да и Валя, разодетая в кримплен толстая продавщица продмага из захолустного молдавского райцентра, на первый взгляд казалась существом с другой планеты по сравнению со второй претенденткой – Кларой, не слишком успешной актрисой не слишком успешного минского драмтеатра.

А впрочем, именно что на первый взгляд. При более пристальном рассмотрении в претендентках обнаруживалось все больше и больше сходства: следы пристрастия к неумеренной выпивке, тень вызывающей неуверенности в глазах, свойственная многим одиноким женщинам, и истерическая готовность на что угодно, лишь бы вырваться за пределы тоскливого ишачьего круга, которым обернулась когда-то добрая и щедрая на обещания жизнь. Да и сами эти слова: «продмаг», «райцентр», «драмтеатр» – разве нет в них какого-то

особенного, удручающего подобия? Разве не принадлежат они одному и тому же безнадежному, ушедшему в прошлое словарю?

Зато третий участник, приехавший из Риги, несомненно принадлежал настоящему, а может, даже и будущему. Он выглядел повзрослевшим, но не утратившим юношеского задора скинхедом: кроссовки, спортивный костюм, бугры накачанных мышц, затейливые татуировки на незатейливые темы, где мечи и рогатые шлемы длинноусых северных воителей, а также гипертрофированные молочные железы и широкие бедра длинноволосых северных красавиц были прочно скреплены скобами стилизованных свастик. Себя скин именовал скромно – «просто Геринг».

– Просто Геринг, – повторил Чичкофф, довольно потирая руки. – Замечательно... если не ошибаюсь, «геринг» – это селедка. Вы любите селедку?

– Какая, на хрен, селедка? – скин неприязненно покосился в мою сторону. – И какая тебе, на хрен, разница, кого и что я люблю? Спросил бы лучше, кого я не люблю...

Теперь он смотрел прямо на меня – именно на меня, а не в объектив моей камеры. Удивительно, как быстро и безошибочно такие сельди идентифицируют нашего брата. Вот только плевать я хотел на эту татуированную гору стероидных мышц. Дело оператора – снимать. Снимать, не более того.

– О, на нашем острове вы без труда найдете, кого не любить, господин Геринг, – улыбнулся Чичкофф и пододвинул скину контракт. – Это я вам обещаю. Подпишите вот здесь.

Бритоголовый помедлил, вертя ручку в пальцах, более привычных к штанге или кастету.

– Тут непонятки возникли, дядя. Сказано: приз – миллион, а миллион чего – не сказано. Не рублев, я надеюсь?

– Конечно, нет, господин Геринг, – Чичкофф ткнул пальцем в мелкие буквы контракта. – Вот тут ясно написано: миллион в местной валюте. Видите?

– А какая там местная? – робко поинтересовалась продавщица Валя. – Доллары?

– Примерно... – Чичкофф дернул правой щекой. – Извините, но точнее ответить на этот вопрос я не могу. Место игры должно сохраняться в тайне. А открыв вам название местной валюты, я тем самым выдаю и...

– Да не парьтесь вы, люди, – перебила его Клара. – Миллион, он миллион и есть. Разве в этом миллионе дело? Главные бабки потом придут. Реклама, проекты всякие, обложки гламурные... вот о чем думать надо. А миллион этот, который еще неизвестно кому достанется – чего сейчас его делить-то? Доллары, рубли... да пусть хоть пиастры!

– Кому, может, и не известно, – вызывающе проговорил Геринг, напрягая все мышцы сразу. – А кому и очень даже известно. Я лично за этим миллионом и еду. Реально. Пиастры, блин...

Он поставил подпись и перебросил ручку Кларе.

– Пиастры... – зачарованно повторила кримпленовая Валя. – Пиастры...

Она явно ощущала себя героиней детского фильма про остров сокровищ. В своем желто-розовом пиджачке и нелепой прическе бедняжка и впрямь ужасно напоминала если не карибского пирата, то его

попугая. Помните этих больших сварливых птиц, что время от времени хрипло кричат: «Пиастр-р-ры!.. пиастр-р-ры!..» Я невольно оглянулся по сторонам: не покажется ли из-за газетного киоска треуголка одноногого Сильвера?

Но нет, ничто вокруг не выпирало даже на миллиметр за рамки штатного распорядка: сдержанно гудел несуетливый эстонский аэропорт, Чичкофф прятал в свой дипломат подписанные контракты, дежурный тихарь, сложив руки на причинном месте, готовился сопровождать очередных участников к таинственному месту сбора. Взглянув на часы, продюсер одним кивком распрощался с Валей, Кларой и Герингом. На меня он даже не посмотрел, но я и так уже твердо знал свое место: оператор, глаза проекта.

Тихарь с автомобилем ждал нас на выходе из терминала. Минут через сорок мы входили в кабинет – главврача, как это следовало из монументальной таблички, где русские буквы еще просвечивали под более свежей эстонской надписью. Русский просвечивал и сквозь мандаторное эстонское приветствие, которым встретил нас сам главврач. Не без удовольствия зафиксировав наше недоумение, он перешел на ломаный английский, через который, в свою очередь, просвечивало так много всего, что в итоге становилось непонятно, на каком именно языке пытается объясниться хозяин кабинета. Впрочем, необходимые детали были, как видно, согласованы заранее, так что особо напрягаться Чичкоффу не пришлось и здесь.

Собственно говоря, он приехал сюда лично лишь затем, чтобы подписать необходимые документы и забрать очередного участника. Бумаги уже лежали на столе. Чичкофф достал ручку, я заглянул камерой через его плечо. К моему удивлению, это был вовсе не стандартный контракт, который подписывался с остальными участниками шоу. Продюсер просматривал соглашение об опекунстве. Опекунстве? Но при чем здесь...

В этот момент в дверь постучали, и два сонных санитара ввели в кабинет будущего участника чичкоффского шоу. Тут только я понял, что мы находимся не в обычной больнице, а в психлечебнице. Нашего клиента звали Крыжовник, что более-менее полно описывало его состояние, тип личности и уровень развития. Сначала мне показалось, что ему больше подошло бы что-нибудь другое – ну, например, «Огурец» или «Баклажан» – ведь на огородной шкале парень располагался существенно ближе к овощам, чем к фруктам или ягодам. Но, как выяснилось потом, «крыжовник» было также и единственным словом, которое Крыжовник произносил и на которое хоть как-то реагировал.

Он послушно остановился в указанном санитарами углу. На лице психа блуждала бессмысленная младенческая улыбка, взгляд тоже не отличался постоянством. Создавалось впечатление, будто Крыжовник не отрываясь следит за воображаемой мухой, медленно и абсолютно бесцельно летающей по кабинету. С общей безобидностью облика не вязалась лишь смирительная рубашка, в которую псих был завернут, как магазинный кабачок в полиэтилен.

Чичкофф оторвался от бумаг и с беспокойством посмотрел на главврача.

– Он что, буйный?

– О, ноу! – замахал руками полиглот в белом халате. – Абсолютли безобиден. Зиз фор транспортировка. Ю финишт?

– Финишт, финишт... – Чичкофф дернул щекой, подписал бумаги и подошел к психу. – Эй!

Тот не отреагировал, продолжая пристально наблюдать за мухой.

– Крыжовник! – позвал Чичкофф. – Эй, Крыжовник... хочешь крыжовник?

– Крыжовник... – эхом откликнулся псих.

Он широко улыбнулся и даже на секунду мазнул взглядом по чичкоффскому лицу. При этом правая щека его дернулась, совсем как у самого продюсера. Заразный тик моего босса действовал безотказно даже на сумасшедших.

– Насколько я понимаю, он прожил у вас почти двадцать лет – с тех пор, как мать померла, – произнес Чичкофф, обращаясь к главврачу, но продолжая смотреть на Крыжовника. – Сколько ему было тогда? Семь? Восемь?

Главврач равнодушно пожал плечами и взглянул на часы. Как известно, этот жест трактуется одинаково на всех языках.

7.

Через Атлантику мы летели бизнес-классом: Чичкофф счел нужным раскошелиться, чтобы дать мне возможность худо-бедно вздремнуть. Сам он, казалось, не уставал вовсе. Мы гнались за солнцем на восток, а оно убегало от нас, словно опасаясь, что Чичкофф захочет подписать и его. Наверное, солнце знало, что мой босс не принимает отказов.

После посещения эстонской психлечебницы продюсер выглядел задумчивым: костерок в глубине глаз едва теплился, а щека дергалась чаще обычного.

– Подумать только, господин Селифанский, – сказал он, едва я вознамерился закрыть глаза и дать храпака. – Провести двадцать лет в сумасшедшем доме! Интересно, помнит ли этот Крыжовник маму?

– М-м-мда... – сонно пробормотал я.

– Он ведь круглый сирота. Один на целом свете. И никому не нужен, никому. Мне даже не пришлось платить за него ни гроша. Главврач был счастлив спихнуть беднягу любому, кто согласится взять на себя опекунство... – продюсер горько усмехнулся. – Если бы он еще психовал по-эстонски, так ведь нет. Всего одно слово знает, да и то русское. Как он вам показался?

Я не смог скрыть скептическую гримасу. Честно говоря, мне не очень-то верилось во внезапную доброту господина Чичкоффа.

– Угм... Ход, что и говорить, новаторский, – неохотно признал я. – Думаю, еще никому не приходило в голову брать в реалити-шоу натуральных дебилов. Исключая, конечно, натуральных блондинок, но те проходят по другой шкале... Вот только куда вы собираетесь девать его потом, через месяц? Вернете в лечебницу?

– Потом... – рассеянно повторил Чичкофф. – Потом... Скажите, господин Селифанский, вам иногда не кажется, что в нашей работе есть что-то от сатаны?

– От сатаны?

– Ну да. Сатана ведь тоже покупает человеческие души... – поутихший было костерок одержимости снова пылал в его глазах таким ярким пламенем, что мне стало больно смотреть. – Дает им деньги, обещания, угрожает, улещивает... и – цап-царап! Попался!

Он тоненько хихикнул. Сон слетел с меня напрочь. Как оператор я повидал немало и оттого редко боюсь людей, но в этом человеке чувствовалось что-то такое...

– Нет, не кажется, – сказал я, улыбаясь как можно беспечнее. – Вы покупаете вовсе не души, господин Чичкофф. Вы договариваетесь с актерами, участниками реалити-шоу, причем на весьма ограниченный промежуток времени. Вот ваш тезка Павел Иваныч Чичиков, тот и в самом деле покупал души. Да и то мертвые.

– Глупости, – серьезно отвечал продюсер. – Душа не бывает мертвой, господин Селифанский. Если душа есть, то она бессмертна. А Павел Иваныч... Кем, по-вашему, был тот Павел Иваныч, если не сатаной? Истинный сатана, по всем неприметным своим приметам. Разъезжал себе по глухой провинции, вдали от всевидящего ока, да и скупал души оптом, подешевле. Это редкий читатель понимает, господин Селифанский, что вовсе не странно. Несчастный автор поначалу и сам не очень-то понимал смысла им же написанного, а когда понял, слетел с катушек да и сжег продолжение. Знаете, зачем жег? – Думал, что если рукопись в печку бросит, то сам от адской топки убережется. Только какое там...

Он помолчал.

– Да и насчет ограниченного промежутка времени для нашего шоу вы не совсем правы. Поди знай, что случится за этот промежуток...

Чичкофф вдруг снова хихикнул, скорчил гаерскую гримасу и произнес свистящим шепотом:

– Будет жуток промежуток... Вот вы говорите: «потом, потом...» А ну как его и нету вовсе, этого «потом»? А?

– Как это – нету?.. – только и смог пролепетать я. – Что вы имеете в виду?

– Шутка, – ухмыльнулся Чичкофф и прищурился, разом пригасив свои безумные огоньки. – Неудачная шутка. Извините, не учел вашей чудовищной усталости. Вам следует поспать, господин Селифанский. Глотнете коньячку?

Я хватанул сто пятьдесят и поскорее закрыл глаза, лишь бы не видеть чичкоффского профиля. За три-четыре десятка часов, протекших с момента нашего знакомства, он успел осточертеть мне неимоверно. «Осточертеть... – думал я, глядя в убыстряющуюся круговерть цветных червяков на темной изнанке век. – Слово-то какое... из того же адского арсенала, между прочим. Только мой сатана будет явно покруче сотни заштатных чертей. Скупщик душ, князь тьмы, мать его... Весь сон сбил, поганец. Эх, заснуть бы сейчас...»

Поразительно, но заснул я моментально, даже не почувствовав, как отрубился. Мне снилась дикая заснеженная степная равнина, и тройка с бубенцами, и я – кучером на облучке, и стремительный бег саней, и колкий морозный ветер, рвущийся за высокий овчинный воротник, и свист моего кнута... ну прямо птица-тройка, ни дать ни взять. И только я говорю себе это – «птица-тройка», как кто-то грубо толкает в мою толстую тулупную спину – раз, другой, третий – и я оборачиваюсь, и вижу оскаленную сатанинскую рожу Чичкоффа, его пылающие злобой глазенапы, его раздвоенный змеиный язык, вертко мелькающий вокруг рта, как сатанинский хвост, его руки, воздетые вверх, словно два гигантских сатанинских рога.

– Душу! – кричит он, перекрывая свист ветра своим пронзительным визгом. – Подавай мне свою душу! Я не принимаю отказов!

И я в ужасе отшатываюсь, и тут только замечаю, что на дуге бренчат вовсе не бубенцы, нет, это побрякивают висящие там актеры: минская Клара, и рижский Геринг, и эстонский идиот, и доблестный капитан Кузнецов, и кримпленовая продавщица Валя, и неистовый чеченец Ислам, и братья-футболисты из Самтредиа, а может, из Зугдиди, и придорожная кипрская проститутка Маргарита, и придорожная калмыцкая трактирщица Катя-Укати, и еще черт знает кто... Черт знает кто... Он-то знает.

А птица-тройка... никакая это не птица, а слепая неуклюжая землеройка! И вовсе не несется она в свободном лихом полете на волне бушующих, но светлых небесных стихий, а наоборот, ввинчивается в темные, тесные, пугающие земные недра – в ад, в проклятое сатанинское царство, к вечным мукам, страшным настолько, что привыкнуть к ним не способна даже человеческая душа.

– Ага!.. Потом?! – кричит Чичкофф и тычет меня кулаком в спину. – Теперь ты понял, что бывает «потом»? Тройка-землеройка! Тройка-землеройка!

И я напрягаюсь до последней жилки, потому что понимаю, что от этого момента зависит теперь все, напрягаюсь и неимоверным усилием сбрасываю себя с облучка. Но и сатана слетает следом; он склоняется надо мной и начинает трясти, и я точно знаю зачем: он хочет вытряхнуть из меня душу. Он не принимает отказов! Надо скорее проснуться! Скорее!

Содрогнувшись, я открыл глаза и понял, что пропал: Чичкофф был и здесь, наяву! Склонившись надо мной, он по-прежнему сильно тряс меня за плечо.

– Нет! – завопил я. – Не-е-ет!! Не отдам!!!

Проходившая мимо стюардесса отшатнулась.

– Да что с вами, голубчик? – участливо произнес Чичкофф, отпуская мою руку. – Часто вам такие кошмары снятся? Все хорошо, господин Селифанский. Вы в полной безопасности.

Я перевел дыхание. Сердце еще трепыхалось у самого горла, но бояться и в самом деле было решительно нечего. Мы находились в комфортабельном салоне бизнес-класса трансатлантического авиалайнера, световое табло рекомендовало пристегнуть ремни и привести спинки кресел в вертикальное положение.

– Где это... – неловко выдавил я. – Уже... что... прилетели?

– Так точно, прилетели, господин Селифанский, – кивнул продюсер. – Пристегнитесь, пожалуйста, и не пугайте персонал, а то у нас возникнут ненужные проблемы на выходе. Глотнете коньячку?

Я глотнул. В Ньюарке погоня за солнцем продолжилась: мы почти сразу пересели на денверский рейс. Коньяк навеял на меня грусть.

– Вы действительно надеетесь догнать его? – спросил я уже в самолете.

– Кого? – не понял Чичкофф.

– Солнце.

Он рассмеялся.

– Вы вот шутите, господин Селифанский, а между тем наш следующий участник преследует солнце совершенно всерьез.

– Он астронавт?

Честное слово, я бы нисколько не удивился, если бы это оказалось действительно так. Чичкофф пожал плечами.

– В некотором роде. Безнадежные наркоманы, знаете ли, по-настоящему живут только в своем цветном космосе. На нашей серой земле они преимущественно страдают. Как некогда говорилось, лишние люди... – он достал из кармана фотографию молодого человека. – Вот, знакомьтесь. Некто Евгений Ладогин. Правда, сейчас его зовут не иначе как Женька-Джанки. Два года назад он решил переехать из Нью-Йорка в Сан-Франциско – вдогонку за солнцем, пользуясь вашими словами.

– Почему же мы летим в Денвер?

– Потому что Джанки не слишком тороплив в своей погоне. Еще бы: ведь солнце дает ему повторный шанс изо дня в день... – Чичкофф снова рассмеялся. – В принципе, можно было бы обойтись и без нашего участия. Парень продал бы родную маму за грамм порошка, а уж получить его подпись под контрактом сумел бы даже мой самый тупой помощник... Но я подумал, что прежде нам стоит заснять его в натуральной среде. Кроме того, это по пути.

– По пути куда?

Я безнадежно вздохнул. Не знаю, как солнцу, но лично мне предложенный продюсером темп был явно не по силам.

– Не печальтесь, господин Селифанский! – Чичкофф ободряюще хлопнул меня по плечу. – Мы с вами уже почти у цели. Джанки – наш предпоследний клиент. Глотне...

– Глотну, – отвечал я, не дожидаясь окончания вопроса.

Джанки ждал нас в мотеле недалеко от денверского аэропорта под охраной двоих чичкоффских тихарей. К нашему приезду его выдерживали на голодном наркопайке, за гранью ломки. В привязанном к кровати неопрятном старике трудно было узнать юношу с фотографии, которую Чичкофф показывал мне в самолете. А между тем его годы не сильно отличались от среднего возраста остальных наших участников. Комната мотеля воняла, как дизентерийная больница.

Но кадры не пахнут. Чичкофф хотел от меня «натуральной среды», и я добросовестно зафиксировал все, что требовалось: ворох скомканных серых простыней, лужу блевотины на полу, задристанный унитаз, безумные выпученные глаза, недельную щетину, изрытые иглой конечности, запекшийся вокруг кляпа рот. Кляп, кстати, вынимать не стали: продюсер не собирался лично вести переговоры с «лишним человеком». Наркомана подписали тихари уже после нашего отъезда – за дозу и обещание дальнейшего бесперебойного снабжения.

Конечным пунктом сумасшедшего чичкоффского кастинга оказалась Аляска, а точнее, окраина города Фэрбенкса. Здесь, зимой в сугробе, а летом в канаве, временно проживал наш последний участник, чукча Николай. По словам Чичкоффа, когда-то Николай считался самым удачливым охотником восточного побережья Чукотки. Его слава гремела от мыса Дежнева на севере до бухты Провидения на юге. Увы, как это часто случается, охотничий азарт сослужил Николаю плохую службу: преследуя раненого медведя во льдах между островами Диомида, он ненароком пересек границу между Россией и Америкой.

Само по себе это не было бы большим грехом. Пограничники обеих стран смотрели на подобные инциденты сквозь пальцы и даже не задерживали нарушителей, а просто вежливо препровождали их восвояси. Но на этот раз получилось так, что патруль американской береговой охраны вышел на Николая точно с той стороны, с которой тот ожидал увидеть хотя и измученного, но все еще смертельно опасного

зверя. В кромешном месиве пурги, помноженном на усталость охотника, нетрудно было принять снегоход пограничников за атакующего медведя. Судьба последнего так и осталась неизвестной, зато печальным итогом встречи Николая и патруля стала пуля во лбу американского сержанта.

Поначалу чукче шили террористический акт, однако уж больно несуразной оказалась попытка связать флегматичного сына снегов с горячей пакистанской Аль-Кайдой и другом пустынь Бин-Ладеном. Затем обвинение сменили на убийство по неосторожности, но и от этого отмазал Николая шустрый общественный адвокат. Охотника освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Обычно оправданные люди, прыгая от радости, бросаются в объятия счастливых родственников и друзей, дабы те вынесли их к свету свободы на своих надежных плечах. Но наш Николай просто остался сидеть на скамье подсудимых. Нужно сказать, что он и раньше не слишком-то понимал, чего от него хотят, а теперь так и вовсе потерялся без направляющей руки тюремного охранника. Сердобольный адвокат вывез своего бывшего подзащитного на окраину Фэрбенкса, показал в направлении Чукотки и уехал. Николай сел в ближайший сугроб и стал ждать, когда за ним приедут, чтобы забрать домой.

Увы, никто не собирался за ним приезжать. Россия отнеслась к пропаже гражданина с тем же традиционным безразличием, а может, даже и облегчением, с каким всегда относилась к пропаже своих граждан. Этого сомнительного добра ей и так хватало с избытком. Другой бы на месте Николая отчаялся, но давно известно, что по части терпения нет равных настоящему чукотскому охотнику. Он просто ждал, ждал и дождался: на исходе третьей зимы наш микроавтобус остановился напротив уже сильно подтаявшего сугроба.

– Господин Селифанский, – сказал Чичкофф, задумчиво глядя на затрепанную доху Николая. – Вы по-чукотски умеете?

– Зачем? – удивился я. – Он наверняка понимает по-русски.

– Для создания атмосферы доверия, – объяснил продюсер. – Ну хоть одно слово...

– Ну разве что «однако», – предложил я после некоторого раздумья.

– Эй, однако! – крикнул Чичкофф в окно микроавтобуса. – Николай! Иди сюда!

Николай поднял голову, неторопливо всмотрелся и с достоинством поднялся из сугроба.

– Домой? – спросил он, подойдя вплотную.

– Домой, – кивнул Чичкофф. – Но не сразу. Садись.

Тихарь приглашающе откатил дверцу. Николай почесал в затылке. Видимо, чутье промыслового охотника, не раз приносившего меха в заготконтору, подсказывало ему, что настало время поторговаться.

– А винтовку отдадите? Без винтовки нельзя. Смерть без винтовки.

– А как же, – без колебаний пообещал Чичкофф. – Конечно, отдадим. Садись, однако.

Николай кивнул и занес ногу на подножку. Кастинг закончился.

8.

Единственно, в чем я мог быть уверен относительно нашего дальнейшего маршрута, так это в том, что из Фэрбенкса мы вылетели на арендованном самолетике. Затем я задремал и проснулся только

через несколько часов во время приземления. Мы вышли на бетонную полосу безымянного аэродрома. Вокруг стояла прохладная сухая ночь. В горьковатом, характерном для пустыни воздухе угадывалось соленое дыхание близкого океана. Где мы находились? В Мексике? В Калифорнии? В Техасе? Впрочем, эта заросшая колючками взлетно-посадочная полоса могла располагаться не только на континенте. Она вполне подошла бы и не слишком большому острову.

Я не высказывал своих догадок вслух, не задавал вопросов. Зачем? Я был всего лишь оператором, к тому же вусмерть уставшим от изнурительной гонки и мечтающим о нормальной постели с нормальными простынями, подушкой и одеялом. Мне до рвоты обрыдли самолетные кресла, земля в иллюминаторе и тошнотворный гул двигателей. Мне просто хотелось лечь и закрыть глаза.

Как бы не так! Следующий участок пути заставил меня тосковать о хромокрылом казахском «Туполеве». Мы проделали его на вертолете – не то военном, не то транспортном, не то военно-транспортном, но явно не пассажирском. Его рифленое чрево словно гордилось полнейшим безразличием к мягкой человеческой плоти; отовсюду выпирали острые углы, торчали какие-то железки, змеились цепи, свисали ремни... Все это просто не позволяло ни на секунду расслабиться – даже если бы жуткий холод и оглушающий рев двигателя предоставили мне такую возможность.

Понятия не имею, сколько времени продолжалась эта пытка. Там, в болтающемся между небом и океаном вертолете, я впервые в жизни осознал, что человек может вынести все. И, осознав, отключился уже со спокойным сердцем. Не помню, как меня выгружали из проклятого летающего ящика, не помню, как тащили по каким-то коридорам, как спускали по трапам, протискивали в люки... Помню только, как в конце этого крестного пути распахнулась дверь, и перед моим блуждающим в поисках Голгофы взором воссияла девственной, сияющей, невозможной чистотой Ее Величество Постель. Чьи-то ангельские руки приподняли меня над юдолью скорби, уложили лицом в подушку, прикрыли одеялом, и я понял, что попал в рай.

Ага, в рай... Масштабы моей ошибки выяснились примерно через сутки, когда Чичкофф прислал тихаря разбудить своего единственного оператора. Мы находились на небольшом сухогрузе, наскоро переоборудованном в пассажирское судно. Мы – это я, Чичкофф, шестеро тихарей, шестнадцать участников шоу и семь человек команды, включая капитана. Порт приписки и название корабля так и остались загадкой. Хотя на борту и на корме красовались три поблекших иероглифа, значение их было непонятно, да и команда принципиально избегала общения, отказываясь говорить на любом языке, кроме предположительно китайского.

Я погрешил против истины, определив переоборудованный сухогруз как пассажирское судно. Точнее было бы назвать его плавучей тюрьмой. Участников держали взаперти по двое в каютах, больше напоминавших камеры. Время от времени их выпускали подышать свежим воздухом – по отдельности и под непременным присмотром вооруженных автоматами тихарей. Я как оператор пользовался относительной свободой, но и с меня Чичкофф взял слово не передвигаться по судну без сопровождения.

Он объяснял это необходимостью сохранять абсолютную секретность во всем, что касается места проведения и деталей пред-

стоящего шоу. Что ж, контракт и в самом деле содержал несколько туманных формулировок на эту тему; нельзя сказать, что их расширенная трактовка вовсе не допускала тюремный режим и узи на плечах охранников.

– Вот высадимся на остров, там сразу полегчает, господин Селифанский, – извиняющимся тоном говорил Чичкофф. – Вы не представляете, как мне неловко применять эти экстраординарные меры. Сами понимаете, участники не должны заранее видеть друг друга. Лучше всего было бы вообще разместить их в одиночках, но это все-таки тяжеловато для психики.

– Это так, – признавал я. – Но вот зачем автоматы?

– А чеченец? – со вздохом напоминал Чичкофф. – Тот еще головорез. Да и судовая команда, доложу я вам – сущие пираты. Нет уж, знаете ли, береженого Бог бережет. Как у вас дела со съемкой?

Я уже упоминал, что на судне находилось шестнадцать участников. Честно говоря, это немного удивляло: обычно оптимальным числом актеров для подобных программ считается восемнадцать или даже двадцать. Четверо из этих шестнадцати были подписаны продюсером еще до того, как я начал снимать кастинг. Теперь Чичкофф хотел восполнить недоснятые кадры, установив видеокамеры в трех соответствующих каютах.

Израильтянин Фима-покер, первый из неохваченной четверки, занимал каюту совместно с охотником Николаем. Свое прозвище он заслужил благодаря неутолимой страсти к азартным играм. Как и всякий истинный игрок, Фима ловил кайф лишь в промежуточных состояниях крутого взлета или сокрушительного падения. Все остальные ситуации, люди и предметы имели для него смысл и ценность лишь при условии, что подлежат обмену на фишки. Собственно, называть его израильтянином было не совсем точно: Фима нигде не жил постоянно, а скитался по игорным домам Европы, то взмывая к головокружительным высотам сказочных побед, то ухая в бездонные пропасти проигрышей.

По словам Чичкоффа, Фима-покер задолжал нескольким весьма серьезным людям так много денег, что не имел ни единого шанса выпутаться. Собственно, сама его жизнь представляла теперь подобие русской рулетки. Вопрос заключался уже не в том, настигнет ли Фиму бейсбольная бита потерявшего терпение кредитора, а в том, когда и где это произойдет: в доках ли Гамбурга, в стамбульском ли переулке, на марсельских задворках, под мостом через Дунай, Амстель, Рейн, Сену, Гвадалквивир...

Нельзя сказать, что это его удручало: скорее, наоборот, в полном соответствии с перекрученной игроцкой логикой Фима видел счастливый выигрыш в каждом новом прожитом дне, даже часе. Наконец-то он начал выигрывать постоянно – если не деньги, то время! А что до маячившей впереди неминуемой финальной разборки, то – эка невидаль... мало ли он проигрывал в своей жизни? Ну, будет одним проигрышем больше – кто считает? К тому же этот проигрыш обещал стать самым что ни на есть последним, а потому и самым острым, самым волнующим, самым сладким. Ну как тут не смотреть в будущее с оптимизмом?

Чичкофф выловил Фиму в одном из подпольных казино Будапешта, без гроша в кармане и проигравшегося в пух и прах – уж не специально ли нанятым шулерам? Так или иначе, игрок, припертый к стен-

ке требованием немедленной расплаты, стал для продюсера легкой добычей.

Теперь Фима-покер маялся взаперти в обществе флегматичного чукчи, отчаянно и безуспешно пытаясь научить своего сокамерника игре в очко. Играть было не на что, кроме как на спички, коробок с которыми обнаружился в кармане у Николая. Дело осложнялось еще и тем, что северный охотник, в отличие от Фимы, ценил спички существенно выше денег. Обучение шло туго: Николай затруднялся понять, как две карты могут значить больше, чем пять, и оттого подозревал Фиму в злонамеренном обмане. Неудивительно: винтовку ему так и не вернули, а теперь покушались еще и на спички...

Вторую назначенную к съемке каюту делили две не менее колоритные личности: московская бизнесвумен Вера Павловна Минаева и солистка берлинской панк-группы Мари Мюллер по прозвищу Маша Шалая.

Вера Павловна принадлежала к тому слою столичного общества, который еще именуется «менеджеры среднего звена». Этот слой был набросан на московские мостовые относительно недавно и, в общем, представлял собой навоз для быстрого взращивания дутых гидропонных денег. Запашок от него шел соответствующий – возможно, именно этим объяснялись огромные количества потребляемой менеджерами дорогой парфюмерии. Но, видимо, и парфюмерия не помогала в полной мере, а потому менеджеры вынуждены были носить особую одежду от лучших модельеров, дабы при помощи вычурной престижной формы отвлечь внимание наблюдателей от навозного содержания.

Понятия не имею, как именно Чичкоффу удалось заполучить столь экзотическую птицу: денег у Веры Павловны наверняка водилось немало, в рекламе она не нуждалась, да и к запаху элитных слоев принюхалась, скорее всего, в полной мере. Угрозами? Наверное, так. Уж больно выпирает над московскими грядками ахиллесова пята тамошних менеджеров: пуще всего на свете боятся они лишиться своих защитных шмоток, своего маскировочного парфюма. Еще бы: тут-то все и унюхают... батюшки-светы!..

Поразительно, но даже сюда, на чичкоффский корабль, куда все остальные прибыли без багажа, ровно в том виде, в каком их застал ритуал подписания контракта, Вера Павловна ухитрилась захватить объемистый чемодан крокодиловой кожи, битком набитый менеджерскими скорлупками и обертками от бентли, армани, барби, патека и ламборджини. Извините, если я невольно путаю имена крутых модельеров с названиями модных производителей мебели, часов или автомобилей – для меня вся эта дурь одинаково неразличима.

Зато соседка Веры Павловны по каюте, без сомнения, понимала в престижных брендах намного больше моего. Как рассказал мне Чичкофф, Марию Мюллер привезли в Германию из глухого северного поселка глухой северной республики Коми, о самом существовании которой известно мало кому за пределами российских границ. Привезли родители – еще зеленым подростком.

Этим переездом семья Мюллер завершила замысловатую петлю длиной в два столетия: с аккуратно расчерченных немецких огородов – в дикие степи Малороссии – и далее, от мозолями нажитых тучных угодий и богатых домов – под чекистский сапог, в тощие крикливые колхозы, и к стенке, и в шею, и в приклады, в щелястые

теплушки, везущие на север, в снег, в смерть, в ногтями отрытые землянки, в гнилые комяцкие леса, в выросшие на собственных костях поселки, в советскую, разлагающую душу, топь, пьянство и безделье... и наконец снова – назад, в смутно родную неметчину, чужбину, отчизну.

Известно, что перемены труднее всего даются подросткам: в этом возрасте человек больше всего зависит от компании. Сначала Мария бузила, требовала отправить ее назад, к стальной печорской воде, к мутной сыктывкарской водке, к телеящику, сияющему звездами российского гламура, но главное – к привычной музыке. Именно музыки ей отчего-то недоставало больше всего: русской попсы, русского рока – рока не в смысле судьбы, а в смысле – грохочущего, завывающего, матерящегося, речитативящего, бессмысленного шума. Впрочем, кто знает – возможно, именно этот шум является одновременно и русской судьбой?

Так или иначе, но, устав пробавляться привозными дисками, юная Мария Мюллер взяла в руки гитару и превратилась в Машу Шалую – солистку непризнанной берлинской панк-группы «Smerd», составленной из таких же, как и она, ублюдков внебрачных исторических связей между доверчивой простушкой Европой и российским быком-беспредельщиком. К сожалению, удача не сопутствовала ни солистке, ни ее «смердам»: десятилетняя история группы могла похвастаться лишь несколькими провальными альбомами и пьяным субботним лабаньем в эмигрантских кабаках. Поэтому Чичкофф с легкостью завербовал Машу взамен на обещание взять музыку группы в качестве фонограммы для фрагментов шоу с Машиным участием.

Несмотря на примерно одинаковый возраст Веры Павловны и Маши, не могло быть никаких сомнений в том, кто именно играл первую скрипку в этом дуэте. Патлатая дива берлинского андеграунда, затаив дыхание, смотрела в рот лощеной москвичке. Большую часть времени соседки по каюте были заняты составлением программы гарантированного успеха «смердов». Необразованная Маша именовала программу по-простому – раскруткой, Вера Павловна поправляла – бизнес-план.

Несмотря на очевидную глубокую заинтересованность в разговоре, проявляемую обеими участницами, со стороны их обсуждения смотрелись скучновато. Женщины сидели, сдвинув головы и перебрасывались терминами нынешней московской деловой реальности. Только и слышалось – «пиар... наезд... откат... прессовка...» Возможно, это было бы занимательно для российских экономистов, но не для рядового зрителя. Из нескольких часов, отснятых мною на видео в каюте Маши и Веры Павловны, в дело могли пойти максимум две-три минуты.

Зато последний из неохваченных участников по имени Петро Бандура оказался источником множества замечательных кадров. До попадания в шоу Петро проживал в палатке на киевском Майдане. Как известно, эта площадь время от времени заполняется оранжевыми демонстрантами. Потом массовая демонстрация рассасывается, и на вахте остается небольшая группа самых упрямых оранжевых революционеров. Но и этим время от времени требуется отлучиться по собственным личным делам. И лишь поистине самоотверженные не уходят с Майдана вовсе. Назовем их хроническими оран-

жевыми революционерами. Понятия не имею, где и когда они справляют эгоистические нужды своего организма.

Петро Бандура был именно таким, хроническим. Чичкофф поселил его вместе с Герингом, уповая на то, что предполагаемая несовместимость скинхеда с оранжевым подарит нашему шоу немало выигрышных ситуаций. Кажется логичным, но на самом деле такой расчет вовсе не очевиден. Чересчур разные миры не входят в зацепление вообще. Нечего даже мечтать о настоящем конфликте между южноафриканским зулусом и, скажем, ирландским христианином. Зато поселите того же ирландского христианина-католика рядом с ирландским христианином-протестантом, и вы увидите, какие чертовы искры полетят.

К счастью, точек соприкосновения между Бандурой и Герингом оказалось существенно больше, чем различий. Как выяснилось, оба ужасно любили ходить строем, причем не просто так, а непременно к светлому будущему. Оба мечтали выстроить массы в колонну и так, колонной, маршировать, непреклонно сметая с пути любые зловредные помехи. Разногласия, если и были, касались сугубо частных вопросов, например, параметров колонны.

Петро отстаивал построение «двенадцать в ряд», упирая на то, что некогда сам Спаситель сформировал по тому же принципу первый ряд своего наступающего воинства. Тем самым Бандура как бы претендовал на определенную преемственность по отношению к великому образцу и даже временами намекал, что, мол, Сам так и продолжает шагать впереди в белом венчике из роз.

Подобные мотивы встречали насмешливо-враждебную, а то и злобную реакцию Геринга. Спаситель не являлся для него авторитетом в силу своего подозрительного происхождения. Напрасно отрицал обиженный Бандура наличие ядовитых корней в родословной носителя белого венчика: тренированный нос скина чуял миазмы проклятого племени даже сквозь толщу двух тысячелетий. По мнению Геринга, подлинно арийскую чистоту обеспечивало только построение по девять.

– Девять, и не иначе! – восклицал он, сжимая кулаки. – Священное число северных гипербореев, небесная цифра буддийских ариев!

– Фашист! – гоголем вскакивал навстречу врагу хронический революционер Петро Бандура.

– Коммуняка! – не оставался в долгу скин.

Но до драки дело все же не доходило: несмотря на бездонную идеологическую пропасть между числами девять и двенадцать, оба противника еще помнили печальные итоги последней неосмотрительной схватки их духовных отцов.

Так прошло несколько дней. Чичкофф безвылазно сидел в своей каюте. Я начал привыкать к слепящей голубизне, к покачивающейся палубе под ногами. Работы хватало: новые съемки, просмотр уже отснятого, подготовка аппаратуры, автоматики. Старый сухогруз, покряхтывая машиной, полз по спокойному океану, то и дело меняя курс, поворачивая то на запад, то на восток... Куда мы шли? И откуда? Какую цель преследовали эти внешне бессмысленные маневры, эта нелепая секретность? Запутать кого-то? Но зачем?

На пятый день плавания мы подошли к заросшему тропической растительностью небольшому островку и бросили якорь.

9.

Чичкофф дал мне двое суток и шестерых тихарей для того, чтобы расставить по острову автоматические видеокамеры. В жизни мне не приходилось так много работать. Площадь острова не превышала четырех квадратных километров. В середине его возвышалась гора – по всей видимости, тот самый уснувший вулкан-папа, которому этот одинокий клочок суши был обязан своим происхождением. Крутые склоны вулкана были покрыты труднопроходимыми зарослями, что уменьшало полезную территорию как минимум вдвое. Зато ближе к берегу джунгли становились намного дружелюбнее. Я отметил для себя большое количество кокосовых пальм и веселый ручеек с хорошей пресной водой.

К нашему приезду на острове уже находилась бригада темнокожих рабочих с четырьмя надсмотрщиками-тихарями. В их задачу входила подготовка съемочных площадок: двух жилых лагерей для участников, а также большой поляны для проведения конкурсов. Три эти точки соединялись между собой прорубленными сквозь джунгли тропинками. Все это выглядело сработанным на славу; в ключевых точках тропинок, вокруг поляны и лагерей торчали наблюдательные гнезда и крытые помосты, установленные на развилках высоких деревьев, вершинах отдельно стоящих скал, а то и просто на длинных сколоченных вместе жердях. Кому-то это неприятно напомнило бы сторожевые вышки вооруженной охраны, но я не жаловался: трудно было придумать более удобные места для размещения моих камер.

На третий день две моторные шлюпки доставили на остров участников. Чичкофф еще на корабле разделил их на две группы, снабдив соответствующими головными повязками. В команду «красных» входили артистка Клара, кипрская Маргарита, Геринг, его сосед по каюте Петро Бандура, чукча Николай, Катя-Укати, Фима-покер и Джанки. Последнему, как видно, выдали дозу непосредственно перед высадкой, и его счастливая отрешенность явно раздражала остальных, мучимых понятным беспокойством.

Племя «синих» состояло из капитана Кузнецова, кримпленовой Вали, идиота Крыжовника, чеченца Ислама, москвички Веры Павловны с ее новой подругой Машей Шалой и двух близнецов-футболистов Муртаза и Георгия.

По своему предыдущему опыту я знал, что первые несколько суток участники чувствуют себя неловко. Многие из них видели друг друга впервые. А ведь помимо знакомства с будущими друзьями-конкурентами им предстояло еще и решить непростые проблемы пропитания и ночлега. Гм... непростые? Непростыми эти проблемы можно было бы назвать, если бы речь шла о нормальном шоу. В шоу господина Чичкоффа эти проблемы имели все шансы превратиться в неразрешимые.

Как правило, организаторы снабжают актеров едой и минимальными средствами жизнеобеспечения – это общепринято, даже если и не всегда попадает в кадр. Как правило – но только не по чичкоффской задумке. Здесь каждое племя получило всего лишь по паре неуклюжих мачете – и больше ничего, ни единой рисинки, можете мне поверить. Озадаченный этим странным фактом, я связался с Чичкоффом по выданному мне переговорному устройству. Участники продолжали безуспешные поиски сундука с продовольствием, и для

пользы съемок я хотел знать, стоит ли мне ходить за ними с камерой в ожидании того, что схрон будет наконец обнаружен.

Чичкофф иронически хмыкнул.

– Можете не стараться, господин Селифанский. Лучше поищите другой сюжет. Кроме мачете этим ленивым свиньям не положено ничего. Шоу ведь называется «Выживание», не так ли? Вот пусть и выживают. Конец связи.

Моторола щелкнула и отключилась. Отключился на какое-то время и я – в очередном приступе изумления. «Ленивые свиньи»?.. Раньше продюсер не позволял себе подобных выражений.

Съемка продолжалась до наступления темноты – попеременно в обоих лагерях. Тихари в сторожевых гнездах и на тропинках наставляли на меня стволы автоматов, но, узнав, пропускали без звука. Поначалу это пугало, затем вошло в привычку. В конце концов, в этой игре я был всего лишь оператором. Затем я вызвал моторку и вернулся на сухогруз просматривать материал. Чичкофф ждал меня в аппаратной. Он выглядел довольным. Видеокамеры работали исправно. Пожалуй, ни одно действие участников, ни один их важный разговор не ускользали от наших объективов и микрофонов.

– Что скажете, господин Селифанский? – продюсер указал на экраны мониторов. – Эти подонки превосходят все мои ожидания! Еще немного – и они начнут перегрызать друг другу горло. Посмотрите, посмотрите...

Обстановка в лагере «синих» и в самом деле казалась взрывоопасной. Капитан Кузнецов с полувзгляда вычислил вражескую сущность Ислама. Тот тоже смотрел зверем на ненавистную армейскую униформу. Каждый из противников на всякий случай не выпускал из рук мачете. Положение капитана осложнялось тем, что близнецы-грузины склонялись в этом противостоянии скорее на кавказскую сторону. Крыжовник проявлял к назревающему конфликту полнейшее равнодушие; он если и склонялся, то только над мягким береговым песочком, из которого получались превосходные куличики. Зато Вера Павловна, Маша и продавщица Валя выглядели естественными союзницами Кузнецова. Обросший бородой чеченец и туповатые братья-футболисты внушали женщинам вполне понятные опасения.

Неудивительно, что проблему поисков пропитания «синие» решали порознь. Капитан увел свой выводок к ближайшей кокосовой пальме. Ислам и футболисты прочесали близлежащие заросли и поймали змею, которой хватило на троих. Крыжовник долго бродил, рассеянно принюхиваясь, пока не добрался до ручья, где нашел и воду, и улиток, и еще какую-то предположительно съедобную траву.

У «красных» дела шли не в пример лучше. Голод заставил Геринга и Бандуру отложить на время идеологические разногласия; к тому же племя насчитывало всего лишь восемь человек, а потому построения в колонну по девять или по двенадцать были равно невозможны. Зато охотничьи навыки Николая и коробок спичек в его кармане пришлись как нельзя кстати. «Красные» зажарили трех зашибленных чукчей куропаток и улеглись спать на берегу.

Определенные трения возникли и здесь. Орлиный нос Фимы-покера явно раздражал и обоих идеологов, и проститутку Марго, которая, как выяснилось, начинала свою профессиональную карьеру в Израиле. Впрочем, пока это не слишком сказывалось: все были слишком заняты устройством на новом месте. Николай охотился,

Фима, Бандура и Геринг строили навес, Джанки безучастно бродил по джунглям в поисках подходящего гриба, а артистка Клара, Марго и Катя-Укати плели из прутьев корзину для рыбной ловли.

– Ложитесь спать, господин Селифанский, – сказал Чичкофф, бегло просмотрев материал. – Завтра первый конкурс. Начинается самое интересное.

10.

Ничего интересного в первом конкурсе я не увидел. Обычная полоса препятствий: бег по бревну, ползанье в грязи, канат, сетка, форсирование вертикальной стенки. Проигрыш «красных» был предрешен из-за участия Джанки. Накануне он так и не нашел нужного гриба, а потому пребывал в состоянии ломки и мог максимум ползти.

Подергивая правой щекой, Чичкофф объявил результаты: «синие» благополучно возвращаются в свой лагерь, в то время как их соперники остаются на поляне для церемонии первого повешения. Он употребил именно это слово – «повешение». Видимо, так продюсер именовал традиционный совет племени.

– Вы тут посовещайтесь, кого будете вешать, – сказал «красным» Чичкофф. – А я подожду минут пятнадцать.

Обсуждение оказалось еще короче. Джанки выглядел настолько очевидной обузой и в лагере, и на конкурсах, что иной кандидатуры для отсева просто не возникло. Наркоман и сам умолял вывести его из игры: он уже понял, что раздобыть дозу можно будет только на корабле.

Чичкофф ждал «красных» в дальнем углу поляны, где возвышалось странное сооружение, и впрямь очень напоминавшее виселицу. Помню, я еще подумал тогда, что продюсер заходит слишком далеко в своем стремлении напугать зрителя.

– Ну что, решили? – поинтересовался он, сидя на помосте и беспечно болтая ногами. – Будем голосовать тайно или в открытую, чтоб побыстрее?

Я чуть не выронил камеру. Тайное голосование при отсеивании одного из участников является одним из гвоздей шоу. Но Чичкофф, как оказалось, делал упор совсем на другое.

– Можно в открытую, – мрачно ответил за всех Геринг. – Народу стесняться нечего. Бери вон того, в дуб обдолбанного.

– Ну и чудно... – Чичкофф потер руки. – Тогда позвольте мне объяснить вам правила отсеивания. У нас оно еще называется «повешением». Выбывающий участник поднимается на помост, где ему связывают за спиной руки и надевают на шею петлю. Прямо под его ногами находится люк, который приводится в действие нажатием вот этих клавиш. Видите? Их семь. Люк не откроется, пока не нажата каждая из них. Это понятно?

Продюсер обвел взглядом равнодушно молчащих участников. Им явно не терпелось поскорее покончить с этой дурацкой процедурой и вернуться в лагерь, к поискам жратвы.

– А соли дашь? – вдруг не к месту выкрикнула Катя. – Даже без соли оставил, пидор.

– И винтовку не вернули, а обещал... – напомнил Николай.

Чичкофф резко поднял руку. С ближней сторожевой вышки ударила автоматная очередь.

– Это стрельба в воздух, – внушительно произнес Чичкофф. – Пока в воздух. Не советую никому нарушать правила игры. Напоминаю, вы подписали контракты. Вы обязались полностью сотрудничать с организаторами шоу. Я задал вам вопрос о люке. Все ли поняли мое объяснение?

– Все, все, – поспешно откликнулся Бандура.

– Очень на то надеюсь... – покачал головой продюсер. – Потому что тот, чья клавиша окажется не нажатой, будет немедленно повешен вместо отсеиваемого. Немедленно!

Над поляной повисла драматическая пауза. Я поморщился. Происходящее давно уже казалось мне явным перехлестом. Чего только люди не придумывают ради рейтинга... Два тихаря поставили Джанки на помост и накинули на шею петлю. Наркоман слабо улыбнулся: похоже, что игра даже нравилась ему, отвлекая от страданий ломки.

– Нажимайте! – скомандовал Чичкофф.

Семь рук одновременно надавили на клавиши, и Джанки исчез в люке. Послышался короткий кхекающий хрип, но и он быстро смолк. В наступившей тишине видна была только напряженно покачивающаяся веревка. По моей спине пробежал холодок. Понятия не имею, какой фокус Чичкофф произвел, чтобы настолько натурально сымитировать повешение, но цели своей он несомненно достиг: всем присутствующим, включая тихарей, стало определенно не по себе. Всем, кроме него самого.

– Превосходно! – воскликнул продюсер, вскакивая на помост. – Вы определенно заслужили вознаграждение. За проявленное единство племя получит соль и котелок. А еще я хочу рассказать вам кое-что интересное о нашем шоу...

Он скорчил заговорщицкую гримасу.

– Вы, без сомнения, обратили внимание на некоторую свою... ээ-э... как бы это сказать... похожесть. Ведь обратили, правда? Ну признайтесь, обратили?

Участники молча взирали на Чичкоффа. Они в упор не понимали, чего он от них хочет. Какое сходство?

– Ну, допустим, обратили, – не выдержал Фима-покер. – Дальше что?

– А то, что сходству этому есть объяснение! Слушайте. В конце семидесятых годов под Москвой работала тогда еще экспериментальная лаборатория по ЭКО – экстракорпоральному оплодотворению... Хе-хе... – Чичкофф едва ли не приплясывал. – Детки из пробирки, говоря народным языком. В научных целях набирали женщин с разных концов Союза. А оплодотворял каждую такую выборку один и тот же донор, опять-таки в научных целях. Соображаете?

Я вдруг понял, к чему он клонит. Этот человек был сумасшедшим, но гениальным сумасшедшим. Такого шоу и в самом деле еще свет не видывал.

– Я нашел документацию той клиники, – продолжал продюсер. – Не спрашивайте, как. А потом нашел вас, одного за другим. Вы все – единокровные братья и сестры. У вас разные мамы, но один и тот же биологический папа. Вы братья!

– Чушь какая-то, – нерешительно произнесла Катя-Укати. – Мой отец живет в Элисте.

– Это вы так думаете, дорогая... – Чичкофф извлек из кармана пачку листков, послюнявил палец, нашел нужный. – Вот. Ваша

драгоценная мамочка, Эльвира Карачумова, прошла процедуру с 3-го по 18-е апреля 1979-го года. Естественно, с согласия мужа. А вы, деточка, родились в декабре... Чуть-чуть мама не доносила, так ведь не беда: вон какая красавица-дочка вымахала! Единственный ребенок в семье...

Он положил листочки на помост.

– Вот, ознакомьтесь на досуге. С обстоятельствами, так сказать, своего рождения... А пока что... – Чичкофф указал на еще покачивающуюся веревку у себя за спиной. – Пока что оцените момент: вы только что своими руками повесили собственного брата! Ага! Тут, друзья, за чужую спину не спрячешься! Каждый нажимал! Собственными ручками! Каждый! На ваших ладонях кровь брата!

Продюсер вытянул руки в направлении участников, и те ошеломленно уставились на них, словно действительно ожидали увидеть кровавые пятна. Нет, в театральных эффектах Чичкофф определенно перебарщивал.

– Кто вы после этого?! – возопил он и сам же себе ответил. – Каины! Все вы теперь каины, братоубийцы! А потому и шоу наше называется соответственно – «Последний Каин»! Добро пожаловать в шоу «Последний Каин»!

Понятное дело, последнюю фразу я заснял крупным планом. Из нее могла впоследствии получиться очень неплохая заставка.

11.

На пароход мы возвращались одним катером. Чичкофф хотел немедленно посмотреть отснятый материал конкурса и «повешения». По его словам, с происходящим в лагерях вполне справлялись и автоматические камеры, весьма профессионально расставленные мною. Я тоже поздравил продюсера с превосходной тематической находкой. Одно дело – простая скупка душ, и совсем другое – скупка душ родственных.

– Не правда ли? – подхватил он. – Это придает происходящему совсем другое значение. Смотрите, господин Селифанский, обычно люди, не задумываясь, гнобят друг друга потому лишь, что незнакомы. Если чужой, значит можно. А вот попробуй-ка своего! И не просто своего, а совсем-совсем своего... брата попробуй, хотя бы и только единокровного...

– О, да, – рассмеялся я. – Особенно после сцены повешения, которую вы разыграли с таким наглядным натурализмом. Кстати, где теперь Джанки? Наверное, уже на корабле? На парня было жалко смотреть. Надеюсь, он уже получил свою дозу?

– О нем можете не беспокоиться... – рассеянно ответил Чичкофф, думая о чем-то другом. – Значит, вы полагаете, что теперь «красные» будут вести себя иначе?

Я пожал плечами. Мне было совершенно невдомек, какие чувства может испытывать взрослый уже человек, узнав, что у него есть пятнадцать доселе неизвестных ему братьев и сестер.

Остаток вечера мы провели в аппаратной, наблюдая за племенами. «Красные» поначалу выглядели малость пришибленными, но затем понемногу вернулись в обычное состояние. Думаю, они просто предпочли не поверить продюсеру, несмотря на предъявленные доказательства. Николай ушел на охоту, за ним увязалась Марго. Фима

с Кларой и Катей вытащили из моря поставленную с утра рыбью ловушку, где оказалось достаточно добычи для ухи. Геринг и Бандура, натаскав дров для костра, залегли под навесом. Наши чувствительные микрофоны улавливали каждый звук их беседы.

– Ты веришь, Геринг?

– Во что?

– Не во что, а кому. Продюсеру этому веришь?

– Не-а, – отвечал Геринг. – Какие мы братья, Петро? Ну, мы с тобой еще куда ни шло. Но взять, к примеру, этого игорного пархача... ничего общего.

– Так то ж по матери, – подумав, возражал Бандура. – Может, отец у него нормальный.

– Ну ты хватил! – отмахивался Геринг. – Иудиной крови одной капли хватает, чтобы целый город отравить. Не брат он мне, погань сраная...

На этом интересном месте Чичкофф толкнул меня в бок и указал на другой монитор. Там, в кустах недалеко от ручья, Марго изображала медленный стриптиз перед оторопевшим охотником. Не слишком искушенный в такого рода зрелищах, Николай не стал ждать конца представления. С минуту-другую парочка, рыча, каталась по земле, потом чукча встал и одернул доху. Он выглядел смущенным, но довольным.

– Ну все, Николай, – сказала Марго, поднимаясь и отряхиваясь. – Теперь ты меня кормить должен. А я тебе давать буду, когда захочешь. Теперь я твоя женщина. Как это у вас называется – скво?

– Жена называется, – поправил свою новоиспеченную подругу Николай. – А начальник говорил – сестра.

Марго зевнула.

– Подумаешь, сестра. Какая разница? Кто у вас там в чуме разбирает: сестра, жена?.. Дырка в шкуре есть, туда и суешь. Не так, что ли?

– В твоем чуме, может и так, – обиженно отвечал охотник. – А в моем разбирают. Сестру не положено.

– Положено, не положено... – передразнила Марго. – Какая положена, на ту и ложись. Жена я твоя теперь, понял? А Клара с Катей – сестры. Пускай их другие мужики кормят. А начальнику твоему мы вот что покажем...

Проститутка поискала глазами нашу видеокамеру, нашла и, повернувшись, бесстыдно заголила задницу. Чичкофф с омерзением фыркнул и переключил монитор на лагерь «синих». Вернее, на два лагеря «синих», потому что раскол там оформился окончательно. Капитан и три женщины, набрав кокосов, забаррикадировались в закутке между скалами. Чеченец Ислам и футболисты бродили по мелководью, безуспешно выцеливая рыбу импровизированными гарпунами. Крыжовник уже не играл в куличики: Ислам водил его за собой на поводке, как собаку, – то ли заботясь о том, чтобы враг не получил численного преимущества, то ли из привычки к похищениям.

Ночь прошла без приключений. Чичкофф отправил меня спать, но заснуть никак не удавалось. В голове калейдоскопом вспыхивали и гасли отснятые кадры: почти счастливая улыбка Джанки перед «повешением», торжествующий продюсер, гарпуны футболистов, презрительная гримаса Геринга, угрожающе сжатые кулаки капитана и чеченца, целлюлитная задница бесстыжей шлюхи...

Наконец, устав крутиться с боку на бок, я поднялся на палубу. Все тихари несли караульную службу на острове, поэтому никто не мешал

мне свободно бродить по кораблю. Каюты участников были пусты: по-видимому, Чичкофф так пока и не переправил сюда отсеявшегося Джанки. В аппаратной горел свет, я заглянул в иллюминатор. Продюсер все еще сидел перед мониторами. Спал ли он вообще когда-нибудь? Гасил ли хоть на несколько ночных часов костры, полыхающие на дне безумных его зрачков?

Чичкофф нажал на кнопку, возвращая запись назад. Он вновь и вновь просматривал одну и ту же сцену: эпизод «повешения».

«Нашел, чем наслаждаться, – подумал я. – Все-таки есть в этом что-то болезненное. Боюсь, в таком виде программу не купит ни один канал, даже самый экстремальный...»

На экране семь рук раз за разом синхронно нажимали на клавиши «виселицы». Чичкофф что-то бормотал, покачивая головой. Я прислушался.

– Как они могли?.. – шептал он. – Как могли?..

Продюсер повернул к свету лицо, и я увидел, что оно залито слезами. Стараясь двигаться по возможности неслышно, я отступил к лееру и дальше – по темной пустынной палубе, к трапу, в каюту. Мне никогда до этого не приходилось иметь дело с демонами, но отчего-то я был совершенно уверен, что они не переносят, когда их тревожат в минуту слабости.

12.

Второй конкурс оказался в точности таким же, как первый. Та же полоса препятствий, та же задача, те же условия. Обычно с этим не принято повторяться, чтобы сохранить зрительский интерес. Впрочем, какое-то отличие все-таки было: на этот раз победили «красные». Не думаю, что им помогло сознание собственного братства: скорее, «синих» подвел Крыжовник, который никак не мог взять в толк правил состязания. Поэтому чуть позже, когда Чичкофф, отправив победителей в лагерь, вызвал проигравшее племя на правеж, я мало сомневался в том, кого отсеют следующим.

Но произошло нечто непредвиденное. Между двумя группами «синих» пылала такая ненависть, что думать о возможности общего решения просто не приходилось. Довольный продюсер объявил о тайном голосовании. Четыре записки указывали на чеченца, три – на капитана Кузнецова. Неграмотный Крыжовник тайно проголосовать не сумел. Не помогли и чичкоффские увещевания: бедняга не понимал, чего от него хотят. Наконец Чичкофф поставил парня перед остальными участниками и прямо спросил: «Кто?»

Думаю, что Крыжовник примерно одинаково боялся и кавказцев, водивших его на поводке здесь, и женщин, известных ему по прежней жизни исключительно в качестве врачей и медсестер. Зато Кузнецов, напротив, смотрел ободряюще и даже подмигнул по-доброму, по-командирски. Поколебавшись, Крыжовник указал пальцем на отеческие глаза капитана. Чеченец и футболисты издали победный клич. Вера Павловна, Маша и Валя в отчаянии застонали. Кузнецов вздохнул. Зато Чичкофф прямо-таки лучился.

– Ничья! – воскликнул он. – Четыре-четыре! Но здесь у нас не какой-нибудь футбол! По правилам нашей игры подобные ситуации решаются поединком. Проигравший выбывает. Товарищ капитан, господин Ислам, приступайте. Мы умираем от нетерпения.

Продюсер сделал знак, и шестеро вооруженных тихарей, образовав круг, вытолкнули туда чеченца и капитана. Я не верил своим глазам. Да и предполагаемые противники выглядели растерянными.

– Что же вы стоите? – поторопил их Чичкофф. – Приступайте. Или мы вынуждены будем повесить обоих.

– Вы это серьезно? – неуверенно спросил Кузнецов. – Драться с ним? Прямо сейчас? По каким правилам?

Чичкофф дернул щекой и улыбнулся.

– А по каким правилам вы с ним обычно деретесь? Вот по тем же самым, будьте любезны.

– Обычно нет правил, – тихо произнес чеченец, глядя в глаза продюсеру. – Только дай ножи, чтоб быстрее.

– Что ж, – развел руками Чичкофф. – Так тому и быть. Правила поединка устанавливают сами участники.

Бог свидетель, я работал у него всего лишь оператором. Никто не посвящал меня в детали сценария, ни на каком этапе. Я и представить себе не мог, что обычное реалити-шоу превратится в реальное смертоубийство. Можно ли считать меня соучастником преступления? Или я был просто *участником* ужасной сцены, которая разыгралась перед объективами моих видеокамер в следующие пять минут? Можно ли считать *соучастниками* остальных *участников*? И неужели разница между двумя этими словами выражается всего лишь в короткой приставке «со»?

Они резали друг друга с таким остервенением, с такой яростью, какую может породить только безграничная ненависть. Ненависть застилала им глаза, придавала сил, лишала рассудка. Наверное, оба противника знали какие-то приемы ножевого боя, но до приемов ли было им в этом кровавом клубке дикой, нерассуждающей вражды? Они просто сцепились на крохотном пятачке и кололи друг друга куда попало, без разбора, лишь бы попасть, лишь бы уничтожить, изничтожить, извести. Кололи, топчась рядом, кололи, упав на колени, кололи лежа, поливая песок последней уже своей кровью. Они ухитрились убить друг друга по нескольку раз – потому только, что жажда убийства, колотящаяся в их мертвых уже сердцах, продолжала жить, когда сами они уже умерли. Почему? Зачем? Откуда взялась, как свалилась на их головы эта ненависть, ненасытная гадина с ее не просыхающей, не сворачивающейся кровью?..

Я снимал не думая, как автомат, почти не отличаясь в этом смысле от понатыканных повсюду автоматических видеокамер. Я был всего лишь оператором. Мой объектив, как крутящаяся воронка канализации, впитывал все: вцепившихся друг в дружку отвернувшихся Машу и Веру Павловну, лезущие из орбит, кричащие состраданием глаза продавщицы Вали, полуоткрытые рты близнецов-футболистов, играющего в куличики Крыжовника, равнодушных тихарей, непроницаемую гримасу на лице Чичкоффа. Я продолжал снимать и тогда, когда никто из противников уже не мог выдернуть ножа, вонзенного в мертвое тело врага, когда оба они уже застыли одной бесформенной кровавой кучей, соединенные двумя смертоносными клинками. Чичкофф хлопнул в ладоши в наступившей вдруг тишине.

– Победила дружба! – провозгласил он. – В вашем племени осталось шестеро. А в конкурирующем – на одного человека больше, плюс соль и котелок. А все почему? А все потому, что открытое голосование полезнее для народного здоровья, чем тайное. Надеюсь,

этот урок вас чему-то научит. А теперь позвольте рассказать вам кое-что о нашем замечательном шоу...

Продюсер достал из кармана уже знакомую мне пачку листков и приступил к рассказу о подмосковной клинике. Участники слушали рассеянно, больше следя за тем, как четверо тихарей, вооружившись крючьями, волокут за помост мертвые тела чеченца Ислама и капитана Кузнецова. Пошел за ними и я. Камера должна видеть все, а как раз туда, за помост, моя автоматика не доставала. Я не предполагал, что это может быть интересным. Я ошибся.

Прямо под дощатым настилом зияла большая, три на два, яма. Мой объектив заглянул вниз. Там, на трехметровой глубине, лежал слегка присыпанный землей Джанки, вернее, его тело. Собственно о том, что это был именно Джанки, я понял только по торчащему из земли мокасину. Джанки носил такие забавные ковбойские мокасины. Не знаю, где он взял денег купить эту недешевую обувь. Украл, наверное. Его повесили по-настоящему, понимаете? Я вспомнил семь рук, нажимающих на клавиши. Его повесили участники-соучастники. Он плохо ползал в грязи, а по канату – так и вообще... Я же по канату не лазал вовсе. Я был оператором, всего лишь оператором.

Тихарь толкнул меня в бок.

– Отойдите, вы мешаете.

Я посторонился. Тихари скинули мертвецов в яму и взялись за лопаты. Теперь я, наконец, понял смысл нашего шоу. Они не станут зарывать яму полностью, просто присыпят трупы землей до следующего раза. Яма большая, всем хватит. Всем шестнадцати. Вернее, всем пятнадцати – за исключением одного: Последнего Каина.

– Добро пожаловать в шоу «Последний Каин»! – прокричал на поляне Чичкофф, завершая свой рассказ.

«Добро пожаловать в ад... – подумал я. – Добро пожаловать в реалити-шоу. Какова реалити, таково и шоу. Хорошая должна получиться заставка».

Не помню, как мы вернулись на корабль. Говорю вам, я превратился тогда в робота. Мне даже казалось, что я сам себя вижу со стороны – не прямо, по-человечески, а словно через объектив видеокамеры. Наверно, происходящее было слишком страшным, чтобы воспринимать его всерьез, и сознание усиленно делало вид, будто все это понарошку, будто я сплю, или играю, или просто участвую в съемке, а не в хладнокровном убийстве ни в чем не повинных людей. Но, черт побери, я ведь и в самом деле участвовал в съемке!

Чичкофф поглядывал на меня понимающе и немного смущенно. Мы почти перестали разговаривать; обменивались короткими репликами, и все. Некоторое время я лежал в своей каюте, глядя в дощатый потолок. Он вдруг напомнил мне помост – там, на острове. Глядя на него снизу, я как бы превращался в Джанки, или в капитана, или в чеченца, которые смотрят сейчас на такие же доски мертвыми, присыпанными землей глазами. Боже, им даже не закрыли глаза... Поймав себя на том, что постоянно смахиваю с лица воображаемые комья, я встал и пошел в аппаратную. Чичкофф встретил меня коротким кивком.

– Посмотрите. Похоже, берутся за ум.

Я сел просматривать материал. В лагере «синих» Вера Павловна пыталась взять на себя осиротевшую роль лидера. Вдвоем с Машей они тормошили плачущую продавщицу Валю, которая казалась действительно потрясенной – единственная из всех участников.

– Сама подумай, – говорила Вера Павловна. – Это же просто необходимо. Нужно заранее решить, кого отсеивать в случае чего. Тогда погибнет только один, зато остальные получат соль и котелок. Простой расчет, понимаешь?

Валя кивала, утирая крупные слезы.

– Ну вот и хорошо... посмотри на меня... – Вера Павловна гладила Валю по голове и указывала глазами в сторону мирно играющего в куличики Крыжовника. – Вот он. Сначала.

– Аа-а... – снова срывалась в истерику Валя. – Я... я... я так не смогу, девочки. Это же человек... даже брат... как вы можете...

Наконец, устав от бесконечного повторения, москвичка препоручила продавщицу Маше, а сама отправилась к футболистам. Близнецы пожирали живьем пойманную на отмели рыбешку. Выслушав резоны Веры Павловны, Муртаз – а это был именно он, потому что от Георгия я никогда не слышал ни слова – кивнул и поинтересовался, что они получат взамен за такое голосование.

– Соль, – повторила Вера Павловна. – Соль и котелок.

Муртаз усмехнулся.

– Какой соль? Думай, что говоришь. Ты кто? Женщина. А он кто? – футболист кивнул на Крыжовника. – Он мужчина. Глупый, но мужчина. Брат даже. Какой соль?

Вера Павловна вздохнула. Жизнь давно приучила ее к тому, что с тупой логикой самцов можно совладать лишь одним, зато неизменно верным способом.

– Ладно, – сказала она. – Бизнес есть бизнес. Сначала Георгий, потом ты.

Муртаз подумал, шумно рыгнул и снова подумал.

– Нет, женщина, – возразил он. – Сначала я, потом Георгий, а потом опять я. Раздевайся и ложись.

– И не стыдно? – бизнесвумен провела тоскливым взглядом по нацелившимся на нее камерам и скинула блузку. – Вы же вроде как братья мне...

– Все снимай, все, – поторопил ее Муртаз, вытирая о песок липкие от рыбьей слизи пальцы. – Давай, женщина, давай...

– Молодец баба, – одобрительно сказал Чичкофф. – Ясный бизнес-план, четкая стратегия реализации. Похоже, каюк тут мужикам.

Он переключился на «красных», где все шло совершенно по-прежнему. Конечно: они ведь еще не понимали сути происходящего. «Красные» не видели сегодняшних смертей, сегодняшней крови. В точности как и я перед вторым конкурсом, здесь были уверены, что повешение Джанки представляло собой всего лишь инсценировку. Они еще не знали, что превратились в соучастников убийства...

Впрочем, нет – одна новость все-таки была: артистка Клара наколола ногу и почти не могла ходить. Это давало Крыжовнику определенный шанс.

13.

Когда на следующий день Чичкофф объявил условия третьего конкурса, «красные» заропотали.

– Несправедливо это, – сказал Бандура. – Третий раз одно и то же. А главное – почему зачет по последнему? Их шестеро, нас семеро. Нам труднее. Несправедливо.

– Отчего же? – прищурился Чичкофф. – По-моему, наоборот: больше людей – больше помощи. Значит, преимущество у вас.

– Это когда все люди нормальные, – мрачно вступил Геринг. – А когда неполноценные...

Он кивнул на Клару, которая и в самом деле едва ступала на ногу. Чичкофф оживился.

– Неполноценные? – переспросил он. – Хорошее слово, господин Геринг. Ох, уж эти уроды... Сами мучаются и других мучают. Вот, возьмите.

Продюсер достал из-за спины маленький блестящий пистолетик и протянул его Герингу. Скин попятился.

– Берите, берите, – подбодрил его Чичкофф. – Избавьте общество от страданий. Сделайте его лучше. Человек должен быть красивым, умным и здоровым, не так ли? Берите, господин Геринг. Одно нажатие на спусковой крючок – и ваша команда побежит вшестером. Разумное решение. И потом – это всего лишь игра.

– Бери, – сказал Бандура. – Игра – значит, и пистолет игрушечный. Даже не пугач.

– Ну, если игра... – Геринг взял пистолет.

В объективе моей камеры он и впрямь казался игрушечным.

– Не надо! – вдруг закричала продавщица Валя. – Пожалуйста, не надо!

Она даже сделала шаг вперед, но Вера Павловна и Маша вовремя ухватили ее за плечи.

– В голову, – дружелюбно подсказал продюсер. – Иначе незачет.

– Давай, – сказала Клара. – Думаешь, мне бежать хочется? Я лучше в сторонке посижу.

Геринг поднял пистолетик на уровень Клариных глаз и нажал на спуск. Когда девятимиллиметровая пуля попадает человеку в лицо с расстояния в один шаг, то спереди остается лишь небольшая неопрятная дырка. Зато сзади, в затылке, словно распахивается дверца, и оттуда... Я подавил в себе приступ рвоты. Оператора не должно тошнить. Чичкофф поднял выпавший из руки Геринга пистолет и взвесил его на ладони.

– Такой крошечный, а как бьет... Эй! – он обернулся к тихарям, уже стоявшим с крючьями наготове. – Уберите это. Пусть полежит в сторонке, как хотела. Остальные участники – на старт! Второй раз повторять не стану. На счет «три». Раз... два...

Начавшийся отсчет вывел участников из оцепенения. Толкая друг друга, они бросились к стартовой линии. Думаю, в тот момент никто из них не возражал поглубже зарыться в грязь. «Синие» снова проиграли, и снова – из-за Крыжовника. Последовавшее голосование продемонстрировало впечатляющую эффективность бизнес-плана московской бизнесвумен. Оно было открытым и увенчалось честно заработанными солью и котелком.

Повешение прошло исключительно гладко. Слегка обеспокоенному Крыжовнику накинули на шею петлю, и пять рук синхронно нажали на пять клавиш. Единственное слабое звено этой дружной цепи, Валя, еще не пришла в себя после убийства Клары, а потому сомнамбулически исполняла указания Веры Павловны и Маши, которые бдительно следили, чтоб не произошло никакой заминки. Братья же футболисты с того момента, как увидели котелок, думали, похоже, только о будущей ухе.

А я? О чем думал я? – Ни о чем. Я просто запретил себе думать. Я не мог сделать ничего, чтобы остановить Чичкоффа. Даже если бы мне удалось проникнуть в радиорубку, я, скорее всего, не справился бы с рацией. Да что там рация!.. я не имел ни малейшего понятия, в котором из океанов мы находились... В подобной ситуации имело смысл только одно: сосредоточиться на личном выживании, задавить в себе все лишнее – мысли, чувства, сомнения.

Чересчур жалостливая продавщица Валя стала живым... вернее, наглядным примером такой необходимости. Она не смогла сосредоточиться: повесилась в ночь после казни Крыжовника, соорудив веревку из своей же нарезанной полосами кримпленовой юбки. Мы с Чичкоффом сидели в этот момент перед мониторами, но были слишком заняты событиями в лагере «красных», чтобы обратить внимание еще и на Валину предсмертную суету. Впрочем, думаю, что продюсер и пальцем не пошевелил бы ради спасения продавщицы.

У «красных» же взбунтовался Фима-покер. Скорее всего, на него подействовала судьба застреленной Клары: в геринго-бандурском списке неполноценных израильтянин явно занимал высокое место. Когда шестерка «красных» расселась вокруг костра, Фима взял в руки мачете и заявил, что восстание представляет собой единственный достойный выход из создавшейся ситуации. Он говорил очень тихо, но наши микрофоны улавливали даже шепот.

– Наконец-то, – усмехнулся Чичкофф. – А я уж думал: ни одного не найдется...

– Они так и перебьют нас поодиночке, – горячо шептал Фима. – Нужно делать ставку, пока еще есть что поставить. У ручья две сторожевые вышки. В каждой по охраннику с автоматом. Если захватить автоматы...

– А как ты их захватишь, автоматы? – насмешливо произнес Бандура, не понижая голоса. – Купишь?

Марго ухмыльнулась.

– А они думают, что все купить могут.

– Во-во, – подтвердил Геринг. – Хитрый. Под пули нас посылает. Как всегда. Наша кровь, ихние миллионы. Хватит, насосались, клопы носатые.

– Дурак ты, Геринг, – сказала Катя. – Он ведь брат тебе. Твоя кровь – его кровь. Лучше бы послушал...

– Слушали уже, – перебил ее Бандура, хлопнув себя ладонью по коленке. – Да так, что из ушей полезло.

– Ну как хотите... – Фима поднялся, по-прежнему сжимая в руке неуклюжий меч-мачете. – Один пойду. Последняя ставка – на зеро.

– А ну, сядь! – вдруг скомандовал Геринг. – Сядь на место, сука!

– Что?

– Что слышал! – Геринг вскочил. – Ты, гад, героя тут не разыгрывай! Ты, сука, сейчас на вышку полезешь, а потом нас всех накажут. Хрена тебе лысого, понял? Сядь! И отдай мачете!

– А ты возьми, – не двигаясь, отвечал Фима.

Наступила тишина. Оба противника молча смотрели друг другу в глаза. Первым спасовал Геринг – как-никак, в руках у него не было мачете. Он отвел взгляд и уже собирался было отступить, когда Фима вдруг быстро шагнул вперед. Мачете описало стремительный косой полуовал; что-то тяжелое упало в костер, подняв тучу искр. Марго завизжала и закрыла лицо руками. Обезглавленное туловище

рижского скина стояло еще неестественно долго, нелепо помахивая мускулистыми верхними конечностями, затем колени его подогнулись, и то, что осталось от Геринга, рухнуло на спину, в темноту.

– Круто! – произнес Фима с оттенком удивления. – А хорошо-то как... как банк сорвал...

– Зачем?! – закричала Катя-Укати, вскакивая на ноги. – Он ведь уже не мешал! Зачем ты его?!

– Зачем? – спросил Фима себя самого и, подумав, сам же себе и ответил. – Потому что можно, вот зачем. Можно. Тут все можно. Вжик!

Фима-покер увлеченно взмахнул окровавленным мачете, повернулся и двинулся в направлении ручья. Предупрежденный Чичкоффом сторожевой тихарь убил его первой же очередью.

14.

На следующее утро Чичкофф объединил остатки «красных» и «синих» в одну группу. Им по-прежнему предстояло соревноваться на все той же полосе препятствий, только теперь состязание было не командным, а личным. Пришедший последним подлежал немедленному автоматическому отсеву, что, впрочем, не отменяло традиционного голосования для выявления еще одного висельника. Таким образом получалось, что яма под помостом будет пополняться как минимум двумя участниками ежедневно.

Не скрою, при этом известии в сердце моем шевельнулась радость: простой подсчет показывал, что такими темпами съемки завершатся не позже чем через четыре дня.

– Сначала я думал дать вашему объединенному племени какое-нибудь звучное имя, – сказал Чичкофф, помолчал и продолжил с нарастающей силой. – Но потом понял, что имя у вас уже есть. Вы – каины. Вы все здесь братоубийцы, все до одного, до одной – и мужчины, и женщины. Вы убиваете своих братьев и сестер. И вы делаете это с такой легкостью не потому, что я вас заставляю. Вы убивали и до того, как оказались на этом острове. У вас руки по плечи в братней крови, подонки...

Он осекся, поняв, что мечет свои стрелы впустую. Участники стояли перед ним, угрюмо меряя взглядами то полосу препятствий, то соперников. Они ожидали команды и просто не воспринимали иных слов, кроме «на старт» и «марш».

– На старт, – устало произнес продюсер. – Марш!

Каины бросились вперед. Конечно, мало кто мог теперь составить конкуренцию братьям-футболистам. Разве что Николай, но и тот был слишком занят оказанием помощи своей островной жене Марго. Эта нелепая пара так и финишировала вместе, вслед за близнецами и Бандурой. Последними шли Маша и Вера Павловна. Их схватка на финальном препятствии больше напоминала безобразную драку. Наконец, Маше удался особенно сильный пинок; Вера Павловна поскользнулась и осталась одна у подножия стенки.

Тихари, брезгливо морщась, вытащили ее из грязи и поставили на помост. Семеро каинов привычно взялись за рычаги люка. Они даже не дождались команды Чичкоффа. Как только бизнесвумен исчезла в открывшемся люке, Марго подошла к братьям и что-то зашептала им, ласково приобняв за могучие плечи. Муртаз начал кивать почти сразу. Что ж, Марго и в самом деле могла предложить

немало: в ее распоряжении находился сам Николай – добытчик еды и хозяин бесценного коробка спичек.

Я привычно прикинул соотношение сил. По всему выходило, что теперь судьбами оставшихся участников вертела чертова проститутка. Ее путь к победе выглядел очевидным. Сначала, по логике вещей, требовалось устранить самого смышленого и физически сильного соперника. Это и произошло спустя всего десять минут: оранжевый революционер Петро Бандура был благополучно повешен по итогам тайного голосования.

Назавтра в яму отправились Маша Шалая и Катя-Укати. Все их старания изменить эту печальную участь ни к чему не привели: Марго зорко пасла тройку своих верных жеребцов.

Я перестал ездить с Чичкоффом на корабль. На этом этапе, когда внимание зрителя уже не разрывалось между двумя лагерями и большим количеством участников, качество близкой съемки обретало дополнительную важность. Я почти не отходил от четверки оставшихся каинов. Последний вечер несколько напоминал работу над порнографическим фильмом: хитрая Марго решила вбить клин между близнецами и шла к цели весьма определенными методами.

Тем не менее, все четверо заснули рядком, тесно прижавшись друг к дружке, как истинно родные люди. Засняв эту трогательную картину, я прикорнул неподалеку. Среди ночи меня разбудил стук, похожий на барабанную дробь. Муртаз и Георгий дружно душили, соответственно, братика Николая и сестричку Марго. Услышанная мною дробь происходила от мелкого перестука каблуков, сопровождающего судорогу агонизирующих тел. Я включил камеру, сделал несколько впечатляющих крупных планов, а потом вернулся ко сну.

Завтрашний день обещал быть последним, хотелось хорошенько выспаться. Если честно, то я ужасно устал – не от работы даже, а от скуки, от убийственного однообразия шоу. Знаете, все эти смерти волнуют только поначалу, а потом превращаются в какую-то унылую, давящую обыденность. Наверное, это похоже на секс по обязанности. Интересно, подтвердила бы Марго такую аналогию? Теперь уже не узнаешь... Помню, засыпая, я подумал, что хорошо бы Чичкофф придумал для финального конкурса что-нибудь более интересное, чем все ту же осточертевшую полосу препятствий.

Но он не стал ничего менять. Двоих оставшихся каинов поставили на старт и дали отмашку. Увы, борьбы в финале не получилось. Перед последней стенкой Муртаз приказал Георгию отстать, и тот послушно выполнил волю брата. Прибыв первым на финиш, счастливый победитель воздел к небу обе руки, словно забил победный гол в решающем матче. Этот же жест он повторил и после того, как нажал на клавишу висельного люка, отправив таким образом в почти полную уже яму труп своего последнего брата и конкурента.

Чичкофф следил за происходящим с нескрываемой скукой. Я почти жалел его: мне, оператору, было несравненно легче прятаться за глазком объектива. Думаю, мы оба вздохнули с облегчением, когда Муртаз гордо встал перед помостом, уперев руки в боки и ожидая обещанной награды. Не знаю, часто ли ему приходилось получать футбольные кубки в своем Самтредиа, а может, Зугдиди, – наверное, нет. Но, как и всякий истинный спортсмен, он жил ради подобных минут.

Стерев с лица зевок, продюсер поднялся со своего места.

– Посмотрите на него... – печально произнес он, глядя в объектив моей камеры. – Посмотрите на эту скотину, которую можно принять за человека только издали, с трибуны стадиона! Вот он стоит перед вами, настоящий Каин! Среди начавших эту игру были храбрые и непокорные, но они пали первыми, а послушный трус выжил. По этой полосе препятствий бежали добрые и злобные, фантазеры и реалисты, но все они в итоге оказались в яме, а равнодушное бревно торчит перед вами как ни в чем не бывало! Умные интриговали против хитрых, подлые против честных, развратные против благородных... и кто же победил под конец? Ни те, ни другие, ни третьи. Победила тупость! Нерассуждающая, бесчувственная, примитивная тупость! Справедливо ли это?

Чичкофф перевел дыхание. Глаза его снова пылали знакомым огоньком одержимости.

– О, да! – воскликнул он с новой силой. – О, да! Так оно и должно было случиться! Так оно всегда и происходило среди детей той несчастной земли, среди приговоренных с рождения братьев и сестер, среди навеки проклятых каинов! Всегда! Отчего бы и сейчас бревну не торжествовать победу?

Тяжело дыша и опустив голову, продюсер стоял на краю помоста. Последний Каин взирал на него снизу с комической смесью непонимания и беспокойства. Когда Чичкофф снова посмотрел в камеру, на лице его играла улыбка.

– Отчего? – повторил он свой вопрос. – Я скажу вам, отчего. Оттого, что на этот раз представлением командую я. Оттого, что происходит оно не там, в чертовых степях, лесах и болотах, а здесь, на моем острове! Здесь! Понятно?!

По знаку продюсера тихари подскочили к Муртазу. Не прошло и минуты, как он, обиженно моргая, стоял на люке, связанный и с петлей на шее. Чичкофф удовлетворенно кивнул.

– Настройте клавиши на две и можете отправляться.

Отправляться? Я посмотрел на корабль, стоящий на якоре в миле от берега. Из труб его поднимался дым! Мы готовились к отплытию, и это не могло не радовать. Смущало лишь одно: зачем Чичкофф убивает сейчас Последнего Каина? Не хочет выплачивать победителю обещанный миллион? Но что тогда будет с моим гонораром?

15.

Тихари закончили колдовать над рычагами виселицы и двинулись к моторной лодке. Это была та же четверка специалистов, которая готовила остров к конкурсу. Всех остальных Чичкофф отправил на судно еще накануне, а теперь уезжали и эти. Я мог только гадать, почему продюсер решил, что мы с ним должны задержаться здесь еще на какое-то время. Возможно, ему хотелось доснять кадры фона? Так или иначе, после отъезда последних тихарей на острове оставались всего лишь трое: сам Чичкофф, я и недоумевающий Муртаз, пока еще живой, но с петлей на шее.

– Что ж, господин Селифанский, – сказал Чичкофф, когда лодка с тихарями отчалила от берега. – Почему вы не спрашиваете, которая из двух клавиш ваша?

Я чуть не выронил камеру. Я молчал, пожирая объективом его насмешливое лицо.

– Что же вы молчите?

– Не знаю даже, что и ответить, господин Чичкофф... – насилу выдавил из себя я. – Я ведь всего лишь оператор. Я не задаю вопросов. Вы сами говорили...

– А вы камеру-то отложите, господин Селифанский, – усмехнулся он. – Это ведь так просто. Отложите. Отложите! Дайте мне сюда камеру!!

Продюсер выхватил видеокамеру из моих дрожащих рук. Почему-то я сразу почувствовал себя... как бы это определить?.. голым?.. Да-да, голым, словно с меня сдернули штаны посреди людной площади.

– Ну вот, – удовлетворенно констатировал Чичкофф. – Теперь вы уже не оператор.

– Не оператор? А кто я?

– Участник, – пояснил он. – Вы же прекрасно знаете, что обычно на шоу набирают восемнадцать актеров. Не шестнадцать, а восемнадцать.

– Кто же тогда восемнадцатый?

Чичкофф потешно оглянулся, словно ища кого-то.

– Вы видите здесь кого-нибудь еще, кроме меня?.. Восемнадцатый участник – это я, собственной персоной! Но хватит болтать. За дело, господин Селифанский. Ваша клавиша справа, моя слева. Ну...

– Нет... – я помотал головой. – Мы... я...

Вздохнув, он достал уже знакомый мне пистолет.

– Вы знаете правила, господин Селифанский. Если не он, то вы. Сначала. А потом все-таки он. Ведите себя разумно.

Я кивнул. Ноги мои подгибались. Хотелось сглотнуть, но во рту пересохло. Потом, когда хрип прекратился, мы обрезали веревку. Муртаз лег четвертым в четвертый ряд.

– Любишь кататься, люби и саночки возить, – сказал Чичкофф, берясь за лопату.

Мы засыпали яму оставшейся землей и сели на помост, глядя на дымящую трубу сухогруза. Я уже начинал догадываться, что подняться на его палубу мне больше не придется. Странно, но в ту минуту я не слишком переживал по этому поводу. Мне хотелось сгинуть, просто сгинуть. Не исчезнуть, а именно сгинуть. Обычного исчезновения я не заслуживал.

– Ну и как оно? – поинтересовался продюсер.

– Оно – что?

– Как оно – чувствовать себя Каином? Братоубийцей?

Я молчал. Я не намеревался выблевывать перед ним свою душу. Пусть стреляет – вот что я чувствовал в этот момент.

– Покажите, – сказал я.

– Показать – что?

– Мой листок.

Чичкофф достал два листка.

– Вот ваш. А вот мой. Кстати, господин Селифанский, а не перейти ли нам на «ты»? Чего уж там, единокровные братья, да к тому же одногодки.

Я не ответил. Я читал выписку с данными моей матери, с датой операции и описанием родов. Она всегда рассказывала мне, что моего биологического отца зарезали хулиганы еще до того, как я появился на свет.

– Слушай, Каин, – сказал он. – Неужели тебе ни разу не приходило в голову, что ты тоже...

– Нет, – честно ответил я. – Про тебя приходило. У вас у всех щека одинаково дергается... дергалась... а у меня...

Он рассмеялся.

– У тебя она тоже дергается, Каин. Точно так же. Просто ты сам за собой не замечаешь.

Мы помолчали. Я спросил его, кто был наш отец.

– Донор? – поправил меня он. – А черт его знает. Какая разница? Я даже не пробовал его отыскать. Пусть живет. В том, какими мы стали, его вины нет.

Корабль дал гудок и сдвинулся с места. Я посмотрел на Чичкоффа.

– Ага, – кивнул он. – Они уходят. Мы остаемся вдвоем, братец. Как когда-то: Каин и Каин.

– Каин и Авель.

Он снова рассмеялся.

– Ерунда. Авель тоже был Каином. Просто его брат оказался шустрее.

– Я вот чего не пойму, – сказал я. – Зачем ты все это затеял?

– Как это? – удивился Чичкофф. – Ты что, не понял? Такие, как мы, не должны оставаться в живых. Мы не заслуживаем воздуха, которым дышим. Мы – Каины... нас надо извести под корень, под корень, всех...

Мы молча сидели на помосте, над братской могилой наших шестнадцати братьев и сестер, убитых нашими руками. Черная корма уходящего сухогруза покачивалась по дороге за горизонт. Вдруг Чичкофф встрепенулся.

– Помнишь, в самолете мы говорили про моего однофамильца Павла Ивановича Чичикова? Ты еще возразил, что он-де покупал мертвые души, а я нанимаю живых актеров... А оказалось-то все в точности как у Павла Ивановича... – он ткнул пальцем в помост. – Разве их души были живыми, Каин? Я покупал мертвые души! Мертвые!..

– Ладно, – сказал я. – Мертвые. Что дальше?

– Дальше? – усмехнулся он. – Одно из двух. Как тогда, давно. Выяснение вопроса: который из двух Каинов окажется шустрее? Не знаю, почему ты до сих пор жив: я уже сто раз мог бы тебя застрелить. Поговорить захотелось. Вредная привычка.

Я ударил его камерой: она лежала как раз под рукой. Чичкофф не сопротивлялся, просто сидел и ждал. Я ударил его снова. И снова. И снова. Он упал на бок, а я продолжал бить. Профессиональная видеокамера не легче того камня, которым убивал своего брата мой самый первый тезка. Потом я похоронил его там же, в яме под помостом. Любишь кататься, люби и саночки возить.

Вот, собственно, и все. Меня зовут Каин, и я хочу жить. Батарейка в чичкоффском ноутбуке пока еще фурычит, а у меня с собой есть несколько флешек. Я запечатаю их в бутылки, как когда-то потерпевшие крушение запечатывали нацарапанные кровью записки. Если вы сейчас видите эту запись, значит, мое послание достигло цели. Я потерпел крушение. Спасите мою душу, хотя бы и мертвую. Впрочем, как возражал сам же себе мой брат Чичкофф, мертвых душ не бывает.

Каин выключил камеру, немного посидел, щурясь на заходящее солнце, и поднялся. Время было собирать бутылки.

Бейт-Арье, март-апрель 2009

Анатолий Добрович

ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ *

* * *

Мы из Советского Союза,
а не из нынешней России.
Для православных мы обуза:
нас для Израиля растили.

Для ортодоксов мы отбросы –
ведь каждый третий необрезан,
и головы забиты бредом,
взамен Ответа на вопросы.

Но есть рули, пробирки, пульты,
наборы мётел, кости клавиш,
казармы, офисы, медпункты,
разверзшиеся ямы кладбищ, –
тут ждали нас...

* * *

Моисею Фишбейну

Помогите мне, Мойше. Я не выбрался из тайника,
где войну просидел, – а иначе бы точно пришили.
И, как прежде, бледнею при звуках того языка,
на котором общаются Мюллер и Шуберт и Шиллер.

Я большой меломан, и студентом охотно певал
про бурливое море, и рощи, и дикие скалы.
Но по-русски. Еврейским ушам дисковая пила –
рафинадно очищенный, ангельский Фишер-Дискау.

О, майн Дойчланд, цветочный и травный альпийский настой.
Край, где место и думе, и чести, и милой причуде.
Нелегко же людей убивать, с голубиной такой чистотой
сострадая травинке, рыбёшке, пичуге!

Помогите мне, Мойше. Я старый еврейский дурак.
И не понял, за что они нас, умиравших покорно,

---

* Май – июнь 2010.

заполнявших телами весенний – в ромашках – овраг.
Объясните хотя бы по Мальтусу: «Ради прокорма».

Распахните врата небывалых соборов и книг.
С неповинным потомством свяжите священным обетом.
Не давайте сбежать – и найти себе новый тайник,
где я так же не жив, но хотя бы не знаю об этом.

* * *

Бог самой Марине
рифм не подаёт.
То родник в пустыне,
то сухой помёт.

Вихрь ее словесный,
в дождь ли, в суховей,
всё вздымает кверху
в бездне слуховой.

Выдохнуты фразы
встык или не встык.
Состоянья плазмы
достигает стих.

Бесконечной, волчьей
слышится тоска
Но читать – так молча,
чтить – издалека...

Побратим для смерча –
разве океан.
И тебе тут нечего
головой кивать.

Страшно жил и умер
гений. Вне суда.
А жалеть не думай.
Пожалей – себя.

ВЕРА

Им – чтение Торы. Мне – сочиненье текста:
всё та же форма бегства в нездешние миры.
Мне говорит сосед (лицом – потомок Тита):
«Не прячусь от ракет: Господь моя защита».

Другой: «На что мне Рим? Опасна заграница.
Ведь жизнь моя хранится, пока я здесь, под Ним».
Соседка (сын – дебил; уход и воспитанье):
«Когда бы не любил, не слал бы испытанье».

Не возразишь словам из Текстов и Сказаний.
Как просто! – Существам необходим Хозяин.
Вокруг меня живет настырный, мускулистый,
ремесленный народ, солдаты-резервисты.
Не спустит ни один. Куда как деловиты.
А нужен им раввин и ближний дом молитвы.
Ведь подлинность житья – доход, здоровье, дети,
еда, любовь, семья. И только Бог над этим.

А мне читать Тору – как проползать пещерой,
и скоро я умру, не пригвождённый верой.
Что делать, я таков, я фантазер, писатель.
Сквозь толщи облаков мне чудится Создатель.
Я с детства восхвалял, как все, «Отца народа».
Прочь от таких лекал! Свобода есть свобода.
Но в облачных слоях, куда душа стремилась,
я вижу звёздный прах, а не Господню милость.
Пришла моя пора, и вроде жил напрасно:
отпавши от костра, случайной искрой гасну.

Но гасну ли? А вдруг
исчезнуть – это милость?
И некий Вечный Дух продолжит, в плюс ли, в минус
и по скончаньи дней трепать мою персону?
Нет ничего страшней – по Толе Якобсону.

ОСТРОВА

Да, Мандельштам и Пастернак –
русскоязычные поэты.
У них нерусские приметы,
на них избыточности знак.

«Душа сыра, гортань суха».
«И вечер вырвешь только с мясом»...
Нервозность, взнузданность стиха,
влеченье к вычурам, прикрасам.

Вот Бродский. Ум, холодный пыл.
Ротонды в зарослях цинизма.
О нём сказать бы «начудил»,
но такова его харизма.

Поэтам русским испокон
присущи такт и чувство меры:
нельзя свистеть среди икон,
ценней приметы, чем химеры.

Поскольку движитель – не в них,
держаться чинно – дело чести.
Основа лирики – дневник,
в нем соглядатай неуместен.

А здесь – колючая трава,
зато моря вздымают массы.
– Летите к нам, на острова,
Борисы, Осипы, Олжасы!

* * *

Это была не Москва, это был Всегóрод
с точностью до Парижа, Праги и Барселоны.
Набережные. Здания. Их сияние ночью.
Я позвонил ей, что заблудился – не нахожу
дома, где жили вместе, не узнаю
станций метро; она сказала – выйдет навстречу.
Как это так – вчера еще навестил,
дочь обнимал, и с нею
пылко разговорились,
и охватила вера, что всё вернется.
Как это так: а сейчас не могу найти.
Жду от неё звонка, указания места встречи.
Хватит ли местных монеток на вход в метро?
Не разрядился ли мой мобильник?
А у меня в руке – выпущенная ею
книжица обо мне, и на последних страницах –
тексты, которые сам едва
припоминаю: что-то из давних песен.
Памятно только то, что это моё…
Я их читаю в огнях встречного ресторана
под зазывающим взглядом пухленькой официантки,
и – холодок по спине. Хватит ли сигарет
в смятой пачке до новой покупки?
Да, стихи бесподобны. Где же её звонок?
…И просыпаюсь раньше, чем он раздастся.

Геннадий Малкин

НЕ БРОСАЙТЕ КАМНЕЙ В ВИНОВАТЫХ

Мы не замечаем Луны, потому что она – для всех.

Деньги и счастье – признаки нестабильности.

Врагу не пожелаешь того, что пожелаешь ближнему.

Когда отношения ухудшаются, их называют долгом.

Достоинство с пробой о благородстве – не больше, чем украшение.

Не обещайте от имени Бога, который, возможно, о вас и не слышал.

Историю взаимоотношений Каина и Авеля преподают потомки выжившего брата.

Всё, что не тонет, плывет прямо в руки успешных во всем людей.

Совесть бывает рентабельной, если не вкладывать лишнего в её содержание.

Невежество помнит, а знание – учится.

Как трудно быть вежливым, когда ты не прав!

Тем, кто рано встает, Бог дает подремать на работе.

Ссылаясь на обстоятельства, мы позволяем себе быть ничем не лучше их.

Богатство никого еще не сделало счастливым. И бедность – тоже.

За право жить приходится расплачиваться жизнью.

Все лучшее в мире – бесценно, а остальное – богатым.

Зайцы боятся волчьих зубов, а кролики верят в людей.

Мгновенье ближе к вечности, чем твёрдый распорядок дня.

Награды умаляют суть событий и делают их конечными.

Жизнь – это бесконечный сериал о том, как люди не умеют жить.

Как хочется мыслей прямых, без извилин!

Не думать о ближнем нас приучает его постоянная близость.

Вблизи от моря мысли кажутся песчинками на пляже.

Хранить сбережения надежней всего – в постоянных доходах.

Для полного счастья надо немного не доливать до краёв.

Не бросайте камней в виноватых, придержите их для обороны.

Нужная информация укрепляет нас в собственных заблуждениях.

Чем раньше вы встаете, тем раньше понимаете, что зря.

Делать гадости без удовольствия – только зря беспокоить людей.

Достойные соперники облагораживают склоку.

Не вписываясь в поворот судьбы, мы пролагаем новые дороги.

Кино начиналось ещё с простыни и дошло до всего, что на ней происходит.

Как часто всё, что хочется сказать в лицо, нуждается в синонимах.

В кругу близких людей демократия не выживает.

Вынашивая мысли, почти всегда страдал от токсикоза.

Микрофон позволяет придать нашей глупости статус вещания.

Бог создал рай для бедных, богатые же вынуждены обустраиваться на земле.

Если вам снятся деньги, значит вам – лучше спать.

Я не сужу о людях по себе, и люди это ценят.

Со временем ребенок начинает походить на вас, и это не лучшее время.

Обещанного ждут три года, ну а заслуженного – целую жизнь.

Счастье – это возможность делать ошибки.

Марк Зайчик

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Он поправил поднятый воротник подпоясанного плаща, сдвинул шляпу на брови, оглянулся на овальное зеркало в ореховой оправе, повешенное в прихожей еще отцом по требованию матери году в пятьдесят седьмом, максимум пятьдесят восьмом, и решительно-осторожно вышел на темную лестницу. Спускался он быстро, как молодой.

«Да не совсем молодой», – подумал, усмехнувшись сухим ртом с длинными бледными губами, – выглядел он не очень хорошо. Был предпоследний день сентября – холодное и позднее мокрое питерское утро с дождем и низко рвущим вдоль тротуара ветром. Вторник.

У него была назначена важная встреча в одиннадцать у Думы под часами. Он очень не любил опаздывать и шел, быстро перебирая длинными сильными ногами, нагнувшись вперед, как бы преодолевая дистанцию забега метров так на восемьсот – восемьсот пятьдесят.

Свою внешность он недооценивал. Вернее, просто считал раздражающе малозначительной и достаточно средней. Это было несправедливо и неправильно. Почти никто с ним не говорил о его лице, которое было и ярким и, бесспорно, являло серьезный заряд ума и таланта. И, конечно же, неуверенности в своем призвании.

Ни на что хорошее Кравт не надеялся, но все равно поговорить с этим человеком было ему очень надо. Навязчивая идея – разговор с этим приземистым шумным дядькой, короткоруким, уверенным и даже наглым в ореоле своего сильного ума и еще не исчезнувшего от большой жизни и решаемых в ней задач дарования... Кравт стеснялся своего стремления поговорить с этим человеком, который не просто находился при власти, но и сам был властью – литературной, городской, причудливо-простой властью. Он уговаривал себя: тот, власть имущий, почти не запятнанный литературно-советской деятельностью, все-таки не выглядит совсем неприлично. «У меня тоже, в конце концов, могут быть слабости», – недовольно говорил себе Кравт. Папку с его рукописью этому человеку передали две недели назад. Целая операция с участием разных людей, которые не все знали друг друга. Любовнице литературного человека отдала папку Кравта подруга, работавшая вместе с его институтским приятелем.

Третьего дня Кравт, нервно зевая, позвонил литературному начальственному человеку по телефону, и тот ответил густым после большой вчерашней пьянки голосом: «Да, я прочитал, надо поговорить, есть что обсуждать, давайте денька так через два-три встретимся, хорошо?»

Услышав «деньки», Кравт подумал, что все затевает напрасно, бессмысленно и, очевидно, опять унизительно, но отступать уже было, наверное, нельзя, и он сказал в ответ: «Как вам будет удобно».

Подходя к метро, Кравт почувствовал, как внезапно предательски резко заболело горло, отдалось в сердце уколом и спазмом. Он остановился, пригнулся, дождь стал очень сильным, почти ледяным; он вздохнул, подышал, глядя на брусчатку мостовой, подумал, что когда-

нибудь такой приступ (Кравт считал эти уколы и спазмы нервными приступами) кончится похуже, чем просто заминкой в ходьбе, и по ступеням стал подниматься к станции. Расположившаяся у газетного киоска бабка с пучком зелени в красных руках внимательно глядела ему вслед: «Вот ведь водка проклятая, плохо человеку с утра, а выглядит вроде прилично, чисто, хотя и нерусский, наверное, ну и что, они тоже люди, нерусские...». Она быстро огляделась по сторонам, не слышит ли кто ее слов. Никто не слышал, никого рядом не было, только ветер вдоль проспекта, гнавший из самой Стрельны, протяжно выл, как безумный волк, забредший из Сиверского леса и поселившийся навсегда в щели между институтом и Дворцом культуры.

В метро Кравт согрелся, в вагоне сел у поручня, люди нетесно нависали над ним. Дама в дорогом на вид, неловко сидящем на ней пальто, с золотыми зубами, недовольно и оценивающе осматривала притулившегося Кравта. Он уступил даме место, но взгляд ее не стал от этого мягче, не изменился.

Он чувствовал, что совершает очередную ошибку, торопясь встретиться с этим человеком, но ничего не мог с собою поделать – отчаяние охватывало его, когда, открывая нижний ящик письменного стола, он видел салатного цвета папки с повестями и рассказами, которые лежали здесь вечным грузом. Это происходило с ним не так часто, но бывало достаточно, чтобы омрачать существование.

Он не интересовался политикой совершенно, как мог ею не интересоваться не скучающий, а занятый делом советский небрезгливый человек. После работы Кравт, отдохнув час, садился к столу и ежедневно отписывал свою порцию русской прозы на немецкой пишущей машинке, которая, несмотря на семидесятилетний возраст, являла собой образец прочного порядка. Кравт берег этот инструмент, ухаживал за ним, поминая при этом свое образование добрым и весьма редким словом. Работал Кравт в отделе главного технолога завода, выполняя свои обязанности аккуратно и старательно. Он мало говорил с коллегами, не вступал в споры и не участвовал в розыгрышах, которые любил главный технолог, человек в летах, незлобивый, но шумный и въедливый.

Иногда всем отделом отправлялись после работы в пивной бар на улице Маяковского, шутили, смеялись, напивались. Коллега доливал в кружки водку, никто не отказывался, и Кравт тоже. Демонстративно стучали воблой о край стола.

– Послушайте, Илья Семенович, можно я вас спрошу на правах старшего? – сказал начальник отдела, распаренный, щекастый, возбужденный. Всего их сидело девять человек за столом без скатерти, уставленным полупустыми кружками, усеянным рыбьей чешуей и переполненными пепельницами.

– Да, конечно, Константин Алексеевич, – сказал Илья Кравт и глотнул смешанного с водкой пива.

– Мне кажется, ваша фамилия должна быть Крафт, через букву Ф, тут какая-то ошибка, – он тоже отпил пива. Глаза его были карие, отчаянные, близкие.

– Возможно и ошибка, Константин Алексеевич, – сказал Кравт негромко, – когда переписывали людей в черте оседлости при царе, всякое могло случиться, даже ошибиться могли, буквы спутать.

– Ну, как знаете, Илья Семенович, вы все-таки не простой человек, – вздохнул начальник. Кравт смолчал, продолжая сосредото-

ченно пить пиво. По сторонам он не смотрел, не собирал в писательскую копилку сцены из жизни народа, не собирал.

Кравт ничего не боялся – призвание накладывает свой отпечаток. По образованию он был инженером – судьба заставила послушать маму, выросшую во время, не оставлявшее в живых раненых. Большим оптимистом с возрастом он не стал, хотя иногда, глядя на толстую черную линию балтийского морского горизонта в знойный день где-нибудь в Гавани, думал, что надежды на лучшее будущее не оставляют человека никогда. На что именно Кравт надеялся, определить русскими словами было невозможно. Может быть, надеялся на написанное им слово, то есть на себя. Впрочем, надежды и огорчения Кравта были не постоянны, один день так, а другой – совсем иначе. Если говорить проще, он не хотел умереть, как жил, как таракан в щели.

У Кравта были свои привязанности. Он чувствовал, что жизнь его не уходит так просто между пальцами в никуда. Жизнь его была полна смысла. Он оставлял осязаемые, тяжелые, на его взгляд, исписанные листы бумаги после напряженного труда за столом. Иногда ему казалось, что эти усилия стоят всего переживаемого им, а иногда – что все это так, упражнения студента-словесника. Что ему дался этот студент, было неясно, просто привык так думать, студент и студент, некое легкомысленное и мало чего стоящее существо в дореволюционном кителе и фуражке.

На выходе из метро «Невский проспект» в мокром переходе патлатый мужик с грязным лицом пел, аккомпанируя себе на баяне: «Загубили суки, загубили, загубили молодость мою. Подманили...». Интонация у него была правильная, блатная, привлекательная, голос хриплый, внешность соответствующая – ему хорошо подавали. Метрах в пятнадцати от бродяги маячил милиционер в синем сукне, томительно ожидая нарушений. Под эту музыку Кравт легко поднялся на проспект и приблизился к Думе. Народ быстро шел туда и обратно, не в силах длительно переносить непогоду и слякоть.

Ждал Кравт недолго. Виктор Сергеевич Нежин вышел из-за угла и направился к нему, держа подмышкой картонную папку Кравта, в другой руке Нежин держал завернутый в газету пакет.

– Здравствуйте, – сказал он, – таким я вас себе и представлял.

– Здравствуйте, каким таким? – спросил Кравт.

– Ну, независимым, наверное, – сказал Виктор Сергеевич.

Кравт, в плаще и шляпе, действительно, казался очень самостоятельным. Нет, весь он был, конечно, советский, только углубленность в себя, некоторая собранность, пуговицы, застегнутые до воротника, метили его неотвратимо как постороннего.

Кравт пожал плечами – не знал, как реагировать на слова Нежина. Виктор Сергеевич тоже вписывался в образ, который создал для себя Кравт. Он уже видел этого человека прежде и по ТВ, и в жизни, и в ресторане Союза писателей, где однажды побывал на юбилее школьного товарища – поэта-песенника.

Виктор Сергеевич представлялся ему сильным внимательным человеком с хорошим образованием, относительно широких взглядов, очень литературным в том понимании, в каком рисовались писатели в советском сознании много лет – не без самодурства, не без склонности к алкоголизму, не без тяги к правде и справедливости.

Он взял Кравта под руку и предложил:

– Давайте пойдем в «Чайку». Там сейчас тихо, и никто не помешает говорить. – Заметив, что Кравт замялся, Виктор Сергеевич добавил: – Я два дня назад получил гонорар, денег полный карман, давайте, коллега, приглашаю.

Отметив «коллегу» как хороший знак, Кравт сказал:

– У меня тоже есть деньги, просто…

– Идемте, Илья, идемте, я, кажется, вас старше? – сказал Нежин и уверенно повлек Кравта в сторону Дома книги. Напротив него, на другой стороне канала, и находилась небезызвестная в городе ресторация под названием «Чайка». Перешли через пешеходный мост, дверь была заперта, но Виктор Сергеевич коротко постучал, и ему открыл дядя в странного вида пиджаке, отороченном золотыми галунами.

В зале никого не было, у невысокой сцены вразвалку ходил плечистый мужчина в белой рубахе, с немытым лицом и галстуком-бабочкой, не затянутым на могучей шее. Сели в углу за колонной. Вялая с утра девушка в белой кофточке принесла четыреста грамм водки в графине, селедку, хлеб и вареную картошку, посыпанную укропом.

– Только что сварили, Виктор Сергеевич, – сказала девушка, улыбаясь, и Кравт увидел, что она хороша собой, с припухшим юным лицом и как-то весело спокойна.

– Давайте я вам налью, – сказала она.

– Спасибо, Наташа, мы сами справимся, – ответил Нежин начальническим голосом, но ласково. Графин он нежно взял за горло, как любимого и ненавидимого соседа.

Через несколько минут Виктор Сергеевич негромко говорил Кравту:

– Илья, я читал, не отрываясь, всю ночь, это замечательная русская проза. В некоторых местах я плакал от безукоризненной интонации, от ауры литературы, от необычности, от насыщенности, от сентимента, от восторга, от необходимости каждого слова. Я не заслуживаю вашей просьбы, печатать это невозможно. Да вы все знаете сами, Илья.

Он выпил, зажмурившись, залпом.

Мужчина с провисшей бабочкой оказался пианистом. Он присел к роялю и заиграл известную мелодию Синатры «Спутники в ночи». Музыка не мешала их разговору, скорее наоборот.

Кравт пытался наколоть кусок селедки на вилку, он не мог пить без закуски. Что-то в этом роде он и ожидал услышать от Виктора Сергеевича и именно в пустом ресторане под музыку утомленного жизнью, заспанного тапера.

«Не очень я умен, и откуда только у меня такая наивность?» – вяло подумал Кравт и сказал Виктору Сергеевичу:

– Ваше здоровье, уважаемый.

Он расслабился, напряжение ушло, он даже сел иначе, положив руку на стул у соседнего стола.

– Я долго думал, кому показать, кого просить, но, извините меня, скажу честно, я не хочу осложнять вашу и мою жизнь. Я могу вас устроить на Высшие литературные курсы, в мастерскую к Н. Я ему скажу, он честный человек, влиятельный, понимающий, талантливый, мне обязан, он вас возьмет, хотите, Илья?

Кравт поежился и посмотрел на собеседника с ровным интересом. Глаза у того были резкие, блестящие, молодые, светло-коричневые.

– Спасибо большое, Виктор Сергеевич, за слова, за все. Я несколько стар для студенчества, мне сорок шесть через полгода, да и что мне делать там, в Москве?

Виктор Сергеевич посмотрел на него несколько странно своими рысьими глазами и сделал отстраняющий жест. Из другого угла зала подошла, качая станом, Наташа. Чарующие, как говорится, плечи ее были теплы и неподвижны.

– Еще, Наташенька, графин, и все остальное там, – сказал Виктор Сергеевич кратко и выразительно. Девушка, повернувшись по-балетному, через левое бедро, ушла тою же походкой, которую и менее стабильные в жизни, чем ленинградские молодые официантки, люди меняют даже с возрастом очень редко.

– Я не настаиваю, отнюдь, я просто хочу сделать что-нибудь для вас, Илья. Искренне, я расстроен очень, что этого нельзя печатать, – сказал Нежин.

– Но почему так получается, все же я не пишу о политике или там, не знаю, о проблемах мира и социализма, я не понимаю, – сказал Кравт. – Он был огорчен, расслаблен и говорил с Нежиным доверительно. – Я прилагаю такие усилия, чтобы писать просто и похоже, стараюсь быть, как все в журналах, в книгах.

Виктор Сергеевич вгляделся в Кравта и поискал на столе рукой графин, который еще только приближался к ним в руках Наташи.

Он что-то разглядел в Кравте, вероятно, потому что решился на объяснение.

– Это непохоже, это не просто, то, что вы пишете. Это отличается от их языка на порядок. Никто этого не пропустит никогда, Илья. Вы должны параллельно писать киносценарии или еще что, я вам устрою встречу. Вы с чего живете? – спросил Нежин.

– Я – технолог на заводе, сейчас на больничном, – сказал Илья. Он не хотел писать сценарии. Он сидел спиной к эстраде, на которой пианист, двигая плечами, начал наигрывать любовный романс. Илья силился вспомнить слова, даже глаза закрыл от усилий, и никак у него не получалось вспомнить, ни за что он не зацепился, даже звуки и буквы как бы забыл.

Качая бедрами, с белым, непроницаемым, не строгим лицом, с прямой спиной, с нестесненной грудью пришла Наташа, с большим подносом у правого плеча. Королева.

– Принесла вам солянки под водочку, – сказала она не по-королевски.

– Правильно сделала, – сказал Нежин, – молодец, дочка.

Официантка все расставила, смахнула салфеткой крошки и оглядела поверхность стола в поисках непорядка. Все было в порядке.

– Вы не знаете, Наташа, что это за музыка? – спросил Илья Кравт, завороженный движениями ее рук.

– «Калитка», разве не помните?

– Теперь помню, – сказал Кравт.

– Ну вот, – сказала Наташа.

И ушла, как пришла.

– Да уж, – сказал Кравт задумчиво и весело.

– Молодо, зелено, прекрасно, – сказал Нежин и разлил. Никакой поэтической нежности не наблюдалось в его словах и в выражении лица при этих словах и действиях. Все привычно и ожидаемо. Он тяжело хмелел.

– Вы с кем общаетесь, дружите, а, Илья? – спросил Нежин.

– Я вообще одинок, как и все, – сказал Кравт.

– Это очевидно, а все-таки? На работе знают, что вы пишете?

– Нет, это не их дело, а мое, – сказал Кравт.

– Ничего, что я спрашиваю?

– Да. Ничего, – сказал Кравт.

– Простите, что я вас расстроил, если расстроил, – сказал Нежин и взглянул на Кравта остро. Он был любопытен и совсем не так и стандартен, как мог показаться со своим простым лицом и с шумными повадками. Нежин был хорошо образован, лишен этнических предрассудков, был настырен, обладал сильным характером и своими, достаточно строгими понятиями о чести.

– Я не расстроен, я в принципе всего этого ожидал в душе, что ли, – негромко сказал Кравт, держа рюмку у рта.

Они поели солянки пронзительного вкуса, выпили еще водки. Солянка была рыбная. Вот с Нежиным можно было спиться быстро, это для Кравта было очевидно. Были еще люди у Кравта, с которыми можно было спиться, он и в одиночку мог спиться вполне, но был сильнее этой страсти.

Неловкость сопровождала каждое движение Нежина в это пасмурное утро, он сам это ощущал и раздражался на себя молча.

Пианист наигрывал, несимметрично двигая плечами, уже что-то новое, какой-то популярный джазовый мотив, чтобы не сказать знакомый до раздражения. Он громко притопывал в такт мелодии по полу ногой в задранной до голени штанине, в стоптанном полуботинке на микропористой подошве. Обувь пианиста не вязалась с его одеждой, но это ему совсем не мешало.

Нежин разлил водку и, отставив графин в сторону, внятно и торжественно произнес:

– В громе ваших барабанов я сторонкой проходил. В стадо золотых баранов не попал. Не угодил. А хотелось, не скрываю, слава, деньги и почет...

– Знаете, кто это написал, Илья?

– Георгий Иванов, – сказал Кравт.

– Я бы хотел, чтобы это было про меня, но это про вас. Можно гордиться, – сказал Нежин, посмотрев на Кравта остро.

– Вы так считаете?

– Уверен. Совершенно точно, можно гордиться, – сказал Нежин. Водка легко и неубедительно плескалась в его фужере.

– Давайте выпьем, Виктор Сергеевич, – сказал Кравт. Он был не согласен с Нежиным, потому что хотел быть в стаде золотых баранов, хотел понравиться, хотел денег и славы. Не любой ценой, а может быть, и любой, точно сказать было нельзя.

Так, в разговорах, смутных мыслях, в цитатах из чужой прозы и чужих стихов, в расслабленных взглядах на Наташу они просидели до двух.

– Вы совершенно не интересуетесь политикой, Илья. Или отобрали специально такие тексты? – спросил Нежин. Звучал он совсем трезво, хотя тело его жило иначе, чем голос, по другим законам, более напряженно и отдельно от всего.

– Отбирал, конечно, очень хотелось произвести впечатление, но интересы мои не политические, это верно, – ответил Кравт. – Я не очень все это понимаю и, тем более, не знаю, что происходит наверху.

Он показал пальцем в потолок. Кравт говорил совершенную правду.

– Я так и думал, хотя даже так, совершенно вне политики, это непроходимо на любом уровне. Ваша любовь к облупленным подъездам улицы Герцена, к душевным исканиям дворника Арифулина, движениями рук которого я любовался, читая повесть, очевидна и выдает автора цензору, или кто там, как его, кто контролирует нас, – сказал, волнуясь, Нежин. Он знал точно, кто контролирует, но не хотел казаться перед Кравтом тем, кем он не был ни в коем случае.

– Давайте, Илья, за силу, заложенную в словах, как писал Даниил Хармс! – торжественно сказал Нежин.

Они выпили, чокнувшись фужерами.

Кравт не расслаблялся пока. Он не очень сильно и огорчался этими разговорами. К нему пришло смирение, ну, что здесь можно поделать, сам полез, сам дал слабину. Можно только не давать слабину, не уступать страстям, но для этого необходим железный характер, которого у Кравта не было. Возможно, и к счастью, что не было. «Я не воин, я, скорее, зевака», – так думал о себе Кравт.

Помимо этого Кравт был странно, если так можно сказать, любопытен.

Однажды он наблюдал в кузнечном цеху, как передовик Ануфриев ковал за четверть часа до перерыва раскаленную оранжевую штуку.

Длинными щипцами он поворачивал металл на наковальне левой рукой, а правой, в которой держал молот на короткой ручке, наносил методичные удары одинаковой силы. Кравт ощутил мощный, зажигающий ритм умелого физического труда.

Внимательный взгляд Ануфриева ощупывал оббиваемый предмет сквозь защитные очки в пол-лица. Кузнец принимал единственно верные решения в доли секунды, почти механически двигая молотом, затем смененным на молоток для более тонких доводок. В результате десятиминутного движения, сопровождаемого снопами огненных брызг, Ануфриев получил аккуратный широкий, идеальной формы меч и окунул его в бочку с зашипевшей черной водой. Меч этот доводил позже до бритвенной, блистающей остроты на вращающемся камне подсобник Ануфриева. Оказалось, готовили подарок начальнику цеха, любителю ножей и клинков. Форму срисовали из военного пособия для прапорщиков кавалерийских училищ начала девятнадцатого века. Потом меч отшлифовали, зачистили и получили роскошное холодное оружие хищной формы, которое не стыдно было бы повесить на афганский ковер даже в доме главного кавалерийского командарма, не то что в стандартной тридцатишестиметровке в крупноблочном пятиэтажном доме где-то в Дачном.

Ручку на скорую руку обшили лайковым ремнем, и Кравт с восторгом и счастьем большой власти подержал этот звенящий от остроты и от огромного заряда энергии меч над собой.

– Ну вот, поработали, – довольно сказал Ануфриев, глядя на технолога с мечом в руке, – а вы говорите, Илья Семенович.

Кравт нисколько не смущался рабочего класса, считая этих людей себе ровней, только с другим интересом в жизни. Не презирал их, не боялся, не беседовал с ними на тему «стоит – не стоит» или «вчера было хорошо, еле домой добрался, не помню, как литра два убрал».

Двумя пальцами рабочий поднес ему полстакана водки. Обеденный перерыв начался. Ануфриеву налили такой же граненый двухсотграммовый стакан до верха. Соленый огурец разломали пополам.

– Выпьем за наше железо, за металл высокой пробы – сказал Ануфриев Кравту. Он очень любил говорить красиво. Семь человек из бригады Ануфриева заворожено смотрели на происходящее, от нетерпения двигая кадыками. Но можно было заметить и элемент доброжелательной радости в этих людях.

– Да, – сказал Кравт, и они выпили. Ануфриев сделал это за семь глотков, несколько позерски, но без шика, а Кравт влил в себя водчонку за три глотка, так ведь у него и было налито меньше. Илье не понравилось, что ему не предложили целый стакан, но, увидев перебои с количеством бутылок в кузнечной бригаде, он свое недовольство прибрал подальше. Тем более что не работал физически в раскаленном цеху и на водку долю не внес, и пить ему не хотелось совершенно. Огурец он аккуратно понюхал и осторожно куснул, подражая Ануфриеву. Даже для такого самостоятельного человека, как Кравт, элемент подражания рабочему большинству был важен.

Рабочие, в свою очередь, к Кравту относились ровно. Своим не считали, но и к чужим не относили. Есть такой странный, не суетливый технолог Илья Кравт, не продаст, одолжит, если надо до получки, но поговорить с ним по душам не получится. А слушает хорошо. Он вызывал интерес к себе, Илья Семенович Кравт, как это ни странно.

– Да он пьет один, нет таких, кто не пьет, – говорил в раздевалке один из них, откусывая от огромного бутерброда с салом и луком.

– Из рюмок он пьет, из рюмок, а из рюмок не то питье, что из стаканов, – отвечал ему коллега.

– Это правда, но вообще он ничего парень, даром, что Кравт, – говорил первый.

На дворе шел проливной дождь, когда Кравт вышел со смены в четыре часа дня, было уже темно, народ медленно продвигался к метро, и за проходной группы молодых рабочих соображали по рублю, а то и по два на времяпрепровождение вечером.

Кравт ехал домой, вспоминая в переполненном автобусе меч, его бока и линии, и думал, что, конечно, рукоять нужно такому оружию делать из слоновой кости или перламутра, пусть это и менее удобно для руки, чем лайковая кожа.

Думал о молодецком неестественном говоре Ануфриева – тот будто играл героя народной сказки из черно-белой ленты, сварганенной на столичной киностудии. Эта повадка Ануфриева очень портила мнение об этом человеке у многих. Ануфриев не нравился Кравту своим бесцеремонным киношным удальством, неестественным басом, расстегнутым воротом рубахи и звонким возгласом: «А вот мы их где всех держим». Так он говорил про соцстраны и прочие еще менее дружественные СССР государства. Он явно подражал артисту Андрееву – был такой крупный человек с трубным голосом – русский герой советского кино, добродушный увалень с благородным сердцем. Этот артист решительно повлиял на два-три поколения передовиков производства и депутатов разных советов.

Ануфриев был от природы лукав. На производственных собраниях, будучи передовиком производства, он должен был отчитываться за перевыполнение плана. Делал он это всегда с безупречной пролетарской интонацией, негромким басом, потупив взгляд, по киношным урокам терзая в огромных руках кепку и как бы смущаясь того, как он хорош и как все его друзья хороши. Завершал свою речь он всегда похоже: «Так что получается, того, что мы, наша бригада свой план

перевыполнила на сто десять процентов свыше взятых обязательств». И садился под одобрительные кивки и улыбки заводского и райкомовского начальства. Если что-то не получалось с планом, то он замечательно находил интонацию: «Получилось, что мы помогали соседям, так как если бы не мы, то летел бы план всего завода». Как он придумывал всю эту казуистику... Ануфриев всегда оказывался в плюсе. Так или иначе, а брезгливо-восторженное отношение к нему Кравта никакого значения не имело ни для его рабочей квалификации, ни для его умения. Этот человек действительно был замечательным мастером кузнечного дела. Начальники относились к Ануфриеву не без подобострастия, не без внимательной осторожности, как к полковнику органов безопасности, скрывающему свои погоны и бескрайние возможности во многих областях жизни. Когда Кравт пришел на завод семнадцать лет назад, так уже было там заведено.

Кравт своего отношения к Ануфриеву нигде не демонстрировал. Все, что он писал, было, если вдуматься, фактом его биографии. Дворник Арифуллин из повести, произведший такое впечатление на Нежина, походил не только на участкового милиционера дядю Толю из их микрорайона, но и на Ануфриева – движениями плеч, усмешкой и постоянной игрой в размашистое русское суперменство.

Досидев до окончания встречи, которую он так ждал, так нетерпеливо лелеял, Кравт, человек совсем не удобный, не уступающий, но слабый, не знал, как сказать Нежину «до свидания». Нежин ему понравился, но сидеть и пить водку, разыскивая тему для необязательной беседы, до бесконечности все-таки нельзя. Почему нельзя, Кравт сказать точно не мог, он чувствовал, что весь этот вялый, бесцельный разговор – уже совсем «западло», как говорили самостоятельные молодые рабочие в обеденный перерыв.

Они выходили в майках, со спецовками, закинутыми за спину, с белой, бугристой от мышц кожей и, зорко посматривая по сторонам, поплевывая, перебрасывая папиросы из угла в угол рта, разболтанно шли по заводскому двору, пугая игривых девах в косынках лопатообразными голыми руками. «Да я к таким активисточкам на два метра не подойду, западло», – говорил один из них, по виду главный в компании, с перебитым носом, с широким ртом, стриженный «под бокс» – копия героя-любовника из фильма прогрессивного мексиканского режиссера. Но, несмотря на беспроигрышную смуглую внешность, он все-таки являлся русским уличным задирой, с заранее хорошо известной не только одному Кравту судьбой.

Когда прощались, Нежин пытался расплатиться с Наташей сам. Кравт с кошельком в руке делал судорожные попытки передать официантке деньги. По счету вышло двадцать семь рублей. Нежин делал строгое лицо и, приподнявшись со стула, говорил, с ударением на последнем слоге:

– Я плачу, ты слышишь, девочка?

– Слышу, слышу, Виктор Сергеевич, – отвечала Наташа, споро собирая посуду со стола.

Нежин блокировал действия Кравта:

– Вот уж нет, не позволю.

– Позвольте, Виктор Сергеевич, – говорил Кравт.

– Не позволю, – отвечал Нежин. В конце концов, он победил и довольный сел за стол. Он даже несколько протрезвел от борьбы и победы, Виктор Сергеевич.

– Это то немногое, что я могу сделать, – пробормотал Нежин. Он мог сделать немногое, если судить по этим словам. Кравт его не услышал. Он сидел со своим незначительным кошельком в руке и крутил его так и эдак, настойчиво разглядывая искусственный цветок на скатерти, выпавший из керамической вазочки.

Но смущение и неловкость Нежина это одно, а умение быть значительным человеком – другое. Жизненный опыт у него был очень большой. Он достал из газетного пакета, находившегося при нем все время, темную бутылку, поклонился и протянул ее Кравту.

– Я тут был в Португалии, в писательской делегации, Илья Семенович, привез бутылку «Мадеры» из Лиссабона. Сухая «Мадера» делается из особого сорта винограда, в котором практически нет сахара, а вообще есть четыре вида этого вина – сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Это – девятнадцать градусов крепости, царский напиток, очищает дух и плоть, дарю эту бутылку вам, Илья Семенович, искренне, – деловито сказал Нежин, как экскурсовод в винном подвале какого-нибудь монастыря. Кравт совершенно онемел от этих слов и этого поступка Нежина и смотрел на бутылку, как на одушевленный предмет.

– Это в знак моего к вам уважения, – сказал Нежин взволнованно. Кравт продолжал молчать, взяв бутылку двумя руками и держа ее над столом, не знал, что делать дальше.

Кравт забыл, почему Нежин смутился и почему он должен был чувствовать себя неловко. Не понимал Кравт и почему тот дарил ему бутылку этого вина, к тому же дорогого, сопровождая все это странными, не из этого времени церемонностями и словами.

– Виктор Сергеевич, подпишите, пожалуйста, – сказала Наташа, вернувшаяся за новой порцией посуды. Она протянула Нежину новенькую книжку с контурным рисунком женщины на обложке. Возле лица была обозначена художником вялая нереальная рука. Это был модный книжно-графический стиль времени.

Видя, что Нежин отчего-то колеблется, Наташа приблизилась к столу вплотную, демонстрируя свою победоносную стать, уверенную улыбку женщины, которой нельзя отказать.

Нежин покрутил книгу в руке, он был польщен и раздосадован одновременно этим проявлением читательской любви, через пару часов было бы лучше, вот ведь женщины, ну да ладно.

– Что тебе написать, а, Наталья? – спросил он хмуро, сдвигая очки на нос и примериваясь дорогим вечным пером к титульной странице.

– Вам лучше знать, напишите про любовь, – сказала девушка.

– Раз ты так хочешь, что ж, пожалуйста, вот, – ответил Нежин и начал, сильно нажимая на перо, быстро писать округлые буквы посвящения.

Наташа ждала его слов, откинув назад крепкий, живой и горячий стан, приоткрыв алые губы, сверкая молодыми влажными зубами – можно было подумать, что уж ей там мог написать в посвящении Виктор Сергеевич Нежин – советский перворазрядный писатель, если только писателей можно делить по разрядам, особенно писателей советских.

«Желаю вам, Наташа, любви, свободы и счастья от всей моей мятущейся души» – так написал рослой медлительной официантке писатель Нежин кудрявым, уверенным и неразборчивым почерком бывшего провинциала и злого сердцееда.

Прочитав надпись, Наташа покраснела от удовольствия, кивнула им не совсем ловко и ушла к кухне, шаркая шлепанцами без задника, держа книжку зачем-то двумя руками. Книга называлась «Любовь на полустанке». Об этом Кравт узнал из статьи в «Литературной газете». Нежина там сдержанно хвалили, называли молодым писателем и обещали ему новые вершины творчества. Статья как статья, как другие статьи, и Кравт не стыдился ее читать, привыкнув к этой как бы игре в большую творческую жизнь, проходящую неподалеку от него, а точнее просто через дорогу. Правда, очень широкую дорогу.

Нежин пристально посмотрел на Кравта, высматривая, не раздражен ли он, не обижен ли, не слишком ли завидует ему, его жизни. Кравт не выглядел ни таким и ни таким, ни раздраженным, ни обиженным. Он уже собрался домой и без особого огня смотрел перед собой. Специального пиетета к себе в этом взгляде Нежин не заметил. Он вздохнул, зорко поглядел вслед Наташе, которая уже была от них далековато, но все еще осязаема, и сказал, поднимаясь:

– Давайте прощаться, Илья.

Кравт встал, и они пожали руки.

– Я очень хотел бы продолжить наше знакомство, очень хотел бы быть вам полезным и помочь. Подумайте о моем предложении еще. Надеюсь, что смогу это сделать для вас, Илья, – сказал Нежин тем же тоном, в каком сделал надпись Наташе. Он расслабился и держать ухо востро перед собеседником перестал.

Кравт благодарно кивнул, его модная рубаха расстегнулась на вороте, который был застегнут до ресторана наглухо. Пытаясь левой рукой свести пуговицу с петлей, Кравт пожал руку Нежина еще раз, бормоча:

– Этого тоже достаточно, участия хватит, и не воспринимайте все это так всерьез, Виктор Сергеевич, в смысле, мои просьбы. Правда.

Кравт был рад, что так обошлось, горечь ушла куда-то до новой, достаточно скорой, если сказать честно, вспышки. Ему показалось, что Нежин может на него обидеться за перегруз вопросов и просьб. Он не хотел никого загружать своей страстью, даже желание славы, печати и признания было у него скорее призрачное.

Скажем, стрельбой в юности он занимался всерьез, по-настоящему. Часами лежал дома с металлической трубой, наполненной песком, выглядывая намеченную на дальней стене смежной комнаты цель. К трубе был подвешен за ручку старый чугунный двухкилограммовый утюг. Стена была оклеена обоями в салатный цветочек, и через несколько минут у Ильи начинали двоиться линии. После этого у него затекали локти, немели плечи – Илья продолжал лежать с трубой и истово вглядываться в цель.

На соревнованиях Кравт отлично попадал, стреляя очень уверенно и без всяких эмоций. Потом со стрельбой он закончил отношения, что-то сообразив про себя, жизнь, возраст и предназначение. Хотя еще довольно долго при виде любого огнестрельного оружия начинал нервничать так сильно, что даже руки у него ходили ходуном, а от дальнего звука выстрела у Кравта случалось подобие нервного срыва – кожа покрывалась красными пятнами.

Кравт был влюблен в стрельбу, с возрастом это не прошло. Никаких упражнений он не делал, ни разу за все годы не стрелял. Вот только однажды в выходной майский день год назад Кравт с женой, сыном и дочерью поехали погулять в парк. Роскошный весенний день

пахнул морем и почему-то свежими огурцами и краской. Нарядно одетый народ, играя в блестящие раскидаи на резинках, смеясь, гулял по аллеям, направляясь к прудам с берегами, покрытыми прошлогодней бурой травой. К павильону с лодками в прокат стояла огромная очередь. Кравт купил детям мороженого к некоторому неудовольствию жены («Простуда, ангина, ты не думаешь вовсе об их здоровье...») и огляделся. Напротив женщины, продававшей мороженое, находилось строение с белеными стенами. «Тир» было написано над железными тяжелыми дверьми с изображением странного малого в приподнятой небольшой шляпе.

Держа дочь за руку, Кравт зашел. Жена с сыном шла за ними. У сына было испачкано лицо мороженым, и жена вытерла его платком. В тире стояли со своими девицами молодые рабочие. Он встречал их в обеденный перерыв, гуляющих в майках по двору между цехами.

– О, вот и наш технолог, – сказал главный из ребят громко. Он был смугл, крепок, дерзок, хорош собой, возбужден водкой и женщинами. Они все были немного выпившими. Их дамы, оттопырив зады и покраснев, стреляли по мишеням из мелкашек, с расстояния в шесть с половиной метров.

– Покажете нам класс, товарищ технолог? – сказал все тот же парень насмешливо. Его звали Толя.

– Не уверен, что я должен что-то вам показывать, – ответил Кравт, – но если вы настаиваете...

Парень посмотрел на Кравта очень внимательно: откуда пренебрежение у итээра? Кравт тем временем получил от сурового веснушчатого директора тира ружье и десять металлических пулек.

– Я плачу, – сказал рабочий человеку за прилавком. Кравт выложил на прилавок мелочь, глядя только на ружье, уже угодливо и не без усилия разломанное для зарядки нейтральным и равнодушным торговцем стрельбой.

– Посторонитесь, девушки, технолог будет попадать, – сказал рабочий, отодвигая свою женщину от прилавка. Его рука на ее крепдешиновом животе выглядела излишне эротично для этого темноватого места. Но ничего знать нельзя в эротике наверняка, тем более про излишества. Женщина танцевальным движением передвинулась в тесные объятья мужчины, приоткрыв алые губы и сдвинув завитые, пшеничного цвета волосы назад. «Толик, мой соколик», – выдохнула она громко и сдвинула ему кепку со стриженого затылка на глаза.

Кравт посмотрел в прицел уже сложенного в одно прямое целое ружья и попросил дать другое оружие.

– Нам это не подходит ружжо, нам нужно особое, самонаводящееся, – сказал рабочий, разглядывая свои ногти. Кравт на него не смотрел. Торговец стрельбой подал Кравту новое ружье. – Ну, вот, теперь мы попадем, – сказал рабочий. Его подруга нервно засмеялась, как будто ее щекотал этот Толя.

В роскошной велюровой шляпе чуть набекрень, с ружьем в худой руке Кравт выглядел очень собранно и уверенно. Он приложил на мгновение ружье к скуле и всмотрелся. Опустил оружие и спросил у хозяина, молчавшего все это время:

– Вон то шампанское – самый дорогой приз?

– Попадите пять раз, и бутылка ваша, – отвечал, отворачивая лицо, распорядитель стрельбы, одетый в синий халат кладовщика. Он был небрит и вислонос. От него сложно пахло пивом, крепленым ви-

ном и анисовой водкой, которые заедались вчера чесночной колбасой и луком.

Лилась мелодия песни «А я остаюся с тобою, родная моя сторона». Никто не говорил, не комментировал. Рабочий оставил свою растревоженную женщину и, держа руки в карманах брюк, наблюдал происходящее, жуя незажженную папиросу.

Кравт зарядил ружье, оно было легковато, на его взгляд, и посмотрел на верхнюю мишень – нарисованная зеленая бутылка с надписью «Шампанское» и маленькой белой точкой под нею. Эту точку и надо было поразить. Кравт стоял в полуметре от прилавка, опустив ствол к полу. Видно было не слишком хорошо здесь. Слоился папиросный дым. Просто вертеп какой-то, а не тир.

– Ну, хорошо, – сказал Кравт медленно, вскинул ружье и, подержав его мгновение у худой скулы, выстрелил. Заиграла новая музыка.

– Один раз есть, – сказал продавец.

Все присутствовавшие отчего-то молчали, возможно, потому, что говорить было нечего. Ситуация явно менялась. Кравт зарядил вторую пульку и подержал ружье на весу. Потом приложил приклад к скуле, замер, он был похож издали на средиземноморского охотника. Потом выстрелил. Музыка играла «Сатана там правит бал».

– Два раза есть, – сказал хозяин тира равнодушно. Он погладил ладонями прилавок, как бы ища в нем помощи. Дальше все продолжилось достаточно рутинно. После пятого попадания и пяти пропетых строчек про сатану человек в синем халате, глубоко вздохнув, порылся под прилавком, извлек бутылку шампанского, вытер ее ладонью от пыли и поставил на прилавок.

«Советское, полусухое, вкусное», – сказал он. Кравт больше не стрелял, надоело, или он просто устал. Непонятно. Но не стрелял.

Энергичный рабочий, неформальный лидер группы, как в те годы еще не говорили, закурил из сложенных ладоней и, пыхнув сильным дымом, обернувшись к друзьям, сказал, пытаясь скрыть удивление и быть победительным, насмешливым и веселым:

– Вот так, а вы говорите, технологи. Навскидку, не целясь, вот мы какие.

Забрав шампанское в сетку, которая была у жены в кармане всегда на всякий случай, Кравт вышел из тира, кивнув парням и их девахам без всякого торжества, потому что с ними он не соревновался и на них не обижался.

Он вообще ни с кем не соревновался. Но жесткий взгляд на жизнь, неуступчивость и какой-то злобный, неукротимый азарт всегда были с Кравтом, находились при нем.

Ребята остались в тире со своим удивлением наедине.

На улице ветер громко хлопал двумя флагами на высоченной мачте, окруженной клумбой. Один – государственный флаг СССР, другой – Военно-морского флота. В репродукторах звучал «Варяг». Кравт быстрым шагом вел за руки детей в сторону выхода, навстречу веселому народу, валившему валом к прудам. Разрозненными группами шли солдаты, попадались милиционеры, дежурившие парами, и офицеры флота с завитыми, яркими женами в легких платьях.

Жена Кравта торжественно шла рядом с ним, стараясь не навредить призовому шампанскому, «полусухому, полусладкому», которым гордилась, кажется, не меньше, чем собственной серебряной медалью, полученной двадцать пять лет назад по окончании школы.

Дочь смотрела на Кравта с удивленным обожанием. Сын любил его и без стрельбы по мишеням в тире. Жена считала его гением, чей час еще придет. Хм-хм.

Дома он, пообедав и отдохнув, сел к столу и написал свои четыре страницы на машинке, заглядывая в исписанные карандашом листы. Почерк у него был очень ясный, даже жесткий, без украшений. Перечитав написанное, он зачеркнул после некоторых раздумий несколько абзацев, найдя описание физической любви здесь, в этом месте не нужным. Кравт не считал, что все можно описывать, он знал, что есть границы у разрешенных участков прозы.

У праздничной стрельбы Кравта в тире были и другие последствия. Через несколько дней в обеденный перерыв к нему подошла белолицая девушка в косынке, с мягким большим ртом, с длинными шалыми глазами, скуластая и веселая.

– Вас Ильей звать, да? Стреляете красиво. Мне очень понравилось. Можно вас пригласить в мороженицу? – спросила она насмешливо, как ему показалось.

Удивленный Кравт сказал ей, что с удовольствием, но только он ее приглашает в мороженицу завтра. Он обожал черносмородинное мороженое.

– Меня звать Тоня, – сказала она, – вы мне нравитесь.

Кравт не был удивлен этими словами. Иначе и быть не могло.

В общем, они договорились быстро. Когда она ушла, неловко одетая в рабочий комбинезон, Кравт заметил, вернее, почувствовал на себе жесткий и одновременно недоумевающий взгляд ее друга, с которым она была тогда в тире. Тот сидел у входа в цех на лавке, опираясь о стену голым мощным плечом, грелся на солнышке, жмурился, как кот, гладил себе толстое предплечье левой рукой и смотрел на мир пристально. Кравт во второй раз удивил его. Удивляться Толик не любил. От подруги он, если честно, ничего другого и не ждал, они все такие. Но ведь не с этим же нерусским стрелком в очках и шляпе?

И правда.

Она пришла вовремя, вышла из сиреневого воздуха, из толпы на Невском, улыбалась ему навстречу, пожала руку. Кравту она понравилась манерой, формой тела, весом, речью. Поскользнувшись на ступеньках, она ухватилась за локоть Кравта и уже не отпускала его.

– Вам не мешает? – спросила она.

– Что, Тоня? – поинтересовался Кравт.

– Моя рука, которая держит вашу, – сказала она без тени кокетства.

– Наоборот, – сказал Кравт, поправляя шляпу.

– У вас чудная шляпка, сводит меня с ума, – сказала Тоня.

Кравт кивнул, что «да, что понимает ее чувства». Он был в восторге от этой ее «шляпки». В мороженице они поели, выпили «Ркацители». Тоня рассказала Кравту о своих вкусах и привычках.

– Терпеть не могу, когда выпендриваются и не являются теми, кто есть. Толя, вот, например. Над всеми насмехается, издевается, никто ему не указ. А сам кто? Вот то-то. Просто стыд и срам, и думает, что у него больше прав, чем у других. А в медведя в тире не попал, не сумел. А у самого ПТУ за душой, разряд по боксу и все, а гонору, как у космонавта Гагарина, как минимум.

– Это не мало, Тоня, то о чем вы говорите, – сказал Кравт.

– Да что вы, Илья, не шутите. У вас, я понимаю, есть интерес в жизни? Или это секрет? – спросила девушка.

– Это не секрет, Тоня, но я не хочу об этом сейчас говорить. Толя не интересен мне, не загадочен, извините меня, хорошо?

– Да извиняю. На здоровье, – сказала она. Кравт улыбнулся в ответ. Он не был старомоден, наоборот. Его движения и манеры быстро выдавали в нем современного человека. Он немножко подыгрывал образу, который ему нравился и который понравился ей.

– Машины у вас нет, я вижу. Но это ничего, не так важно, Илья. Мне человек важнее всего, а не машина или там деньги. Человек, понимаете! Я в школе сочинение писала, все зачитывались, девочки там, учительница по литературе. Там такие были слова, Илья, вы сразу это поймете, я уверена: «В человеке все должно быть прекрасно, как сказал писатель Горький, но главное в нем, по-моему, это сердце, душа, душа и еще раз душа». Вы согласны, Илья?

Кравт еще раз кивнул в знак согласия и глубокого уважения к незаурядной многообещающей девице. Он смотрел ей прямо в глаза, наблюдая бессмертную и чистую душу. Из-за груди ее можно было покончить с собой на месте. За что ему выпало такое счастье, Кравт не знал. Он с трудом держал себя в руках, ругая за несообразительность. Один глаз у нее был зеленый, другой – голубой. Надо было тут же вести ее куда-нибудь на квартиру, но Кравт заблаговременно не подготовил плацдарм, так как ни в чем не был уверен окончательно.

Но все кончилось хорошо, после нескольких затянувшихся, влажно-сладких от мороженого или еще чего поцелуев по дороге, похожих на затяжные прыжки с парашютом, прикосновений к ее телу в парадном, со слабой лампочкой на третьем этаже и ворчащей старухой на втором, Тоня пригласила его к себе, хотя они, собственно, и шли к ней. Она вплывала к нему в объятия очень мягко и осторожно, так, что мысли о малом знакомстве с ней у Кравта не возникали. Он уже знал, был знаком, в известном смысле, и с нею и с ее телом.

Она снимала комнату у какой-то женщины и настойчиво просила Кравта быть потише.

– Она очень строгая, старая дева или вдова, кто ее знает, в Сталина влюблена, ты ходи на цыпочках и не говори, а впрочем... – и она заливисто засмеялась, как нимфа.

Было еще не поздно, хотя и не темно, потому что в мае в Ленинграде темно не бывает.

По дороге купили бутылку вина и конфет. Кравт хотел выбрать получше, но Тоня торопила: «Да чего там выбирать, сухарь он и есть сухарь, толку от него» и передергивала загривком, как случайно пойманное рыбаком водоплавающее, гладкое, шелковое и мокрое существо. И смеялась невпопад, и говорила не совсем по делу.

Что-то с ней происходило таинственное, трудно объяснимое, важное. Она даже заговаривалась. Этого женского секрета Кравт не знал, хотя очень давно силился понять его.

Некоторые другие дамские тайны он знал и даже на бумаге их не излагал, считая, что тайнами делиться нельзя, потому что тайны.

В комнате хозяйки квартиры, прямо напротив входной двери, горел свет и играло радио. Она вышла им навстречу и остановилась в желтом проеме своей открытой двери, в железнодорожной шинели, накинутой на плечи поверх байкового халата неопределенного цвета, застегнутого до подбородка. Она была мрачна, с трудом кивнула Кравту, внимательно оглядела его с головы до ног и так же молча ушла обратно сторожить свою бессонницу.

Комната Тони была не заперта. Дверь она подперла одним стулом, на второй усадила Кравта. Вино было открыто, разлито по хрустальным фужерам, выпито, заедено конфетками.

Тоня поцеловала Кравта, у которого несколько кружилась голова от ритмов и биотоков происходящего. Она откинула с кровати пикейное покрывало, села и начала раздеваться, глядя на Кравта серьезно и жалостно, как раненая. Кравт не мог понять точно, как она смотрела. Выражение лица девушки в этот момент могло вызвать озабоченность и более опытного любовника, чем Кравт.

Его школьный приятель Альберт, который стал поэтом-песенником, хорошо зарабатывал и все время советовал Кравту, как жить и что делать, иногда рассказывал про походы и победы. С торчащим посреди рта зубом, косоватый, он ходил плечом вперед припадающей походкой комедианта Чарли Чаплина, но Кравт встречал его с девицами, на которых оглядывались мужчины и щерились женщины. Альберт, которого все называли Аликом, был, что называется, ходок. Однажды он даже ехал раненько утром с Кравтом в метро, а потом в автобусе по изнанке городской окраины, позевывая и засыпая на ходу.

– Понимаешь, у нее муж сегодня уехал в командировку на сутки, надо использовать момент, а то добро пропадает. Она в мюзик-холле танцует, так себе танцует, зад у нее, как резиновый, не могу молчать, задыхаюсь, – говорил он Кравту негромко. Кондукторша смотрела на Алика, как на больного.

Он был не злым, доброжелательным малым, организовывал встречи, протекции, пытался помочь Кравту, которого за что-то ценил, хотя ничего из им написанного не читал – хозяин текстов не давал ему их, считая, что тому будет скучно это занятие. Наверное, это мнение Кравта было справедливо.

– Да я все знаю и так, у меня глаз ватерпас. Я в литературе дока, а ты, Илюша – король, – говорил он, глядя на Кравта желтыми веселыми глазами рыночного плута. Читать он умел, но не увлекался.

Кравт не был наивным человеком. Он не расслаблялся, услышав те или иные слова, зная, что люди не относятся к ним так, как относится к ним он. Он понимал и оценивал события и жизнь по своим меркам. Жил, не делая себе и жизни уступок и поблажек. Слабина его, имевшая отношение к страстному желанию большой литературной славы, была если не понятна, то, по крайней мере, объяснима.

Нужно особое мужество и сила, чтобы долго наблюдать чужой праздник, кажется, по праву принадлежащий тебе и только тебе. После многих лет одиночества Кравт хотел знать наверняка, что ничего не сделал просто так, что желает чего-то незаслуженно.

Ему казалось, что у литературного успеха есть какой-то секрет, добравшись до которого, можно достигнуть всего, любой вершины счастья. И, помимо секрета, конечно же, должно быть еще немного удачи, без нее невозможно вообще ничего.

Здесь он прокалывался в своем понимании: до всяких секретов, до карт, улегшихся, как надо, необходимы и другие компоненты успеха. Нужны определенный настрой окружающих людей и редакторский взгляд, не обезображенный сознанием службы. Необходимы смелые, одаренные редакторы, или как там их еще называть?

Говоря иначе, Кравт вместе со всем тем, что он делал, был обречен на неудачу, что виделось всем. Нежин понял, например, это с первого взгляда на первую страницу его рукописи.

Но, Боже мой, присутствовали в полной мере и объеме в его словах и магия, и обаяние, и сила. Невесть откуда взявшиеся. Конечно же, не из этого же собранного, суховатого мужчины средних лет, в застегнутом наглухо китайском плаще и велюровой темно-зеленой шляпе «борсолино», которая очень шла инженеру Кравту.

С женщинами он не разрешал себе ничего, срываясь на грех уже только в совершенно необратимых, непоправимых случаях. В таких случаях, как, например, с Тоней. Кравт ничего не желал и не хотел понимать. Он не хотел ни в чем разбираться, все казалось ему просто. Женщина эта выглядела чудесной, податливой, смешливой. С ней нужно сделать то, что полагается сделать с женщиной мужчине. Кравт это сделал с нею вполне уверенно и твердо, как и должен делать человек в здравии, в любви и в полной мужской силе.

Несмотря на свое большое тело, Тоня оказалась очень подвижна и отзывчива, ее поведение в кровати с Кравтом можно было определить как ласковую, неспортивную акробатику. Но определять что-то и раздавать оценки некому было здесь. Могла, конечно, появиться, как черная птица судьбы, на арене боевых утех и событий мрачноватая хозяйка, но что-то она совсем, и даже радио ее было не слышно. А потом они о ней и вовсе забыли, совсем не до нее им было.

Вздохнув, Тоня вытянулась струной, прогнулась, сжала в кулаках простыню, застыла – судорога поразила ее тело, и выдох женщины был длителен, силен, разителен. Кравт нагнал ее с трудом.

Тоня легко повернулась к нему, поцеловала пониже уха в щеку и зашептала что-то невнятное, благодарное, как бы и не по-русски.

– Фи, видал, русская, а говорит не по-русски, – как сказал бы ее знакомый Толик насмешливо.

Кравт взял в руку ее ладонь, поцеловал, погладил. Очередность его действий значения не имела. Два близких человека благодарили друг друга за существование.

Все получилось естественно и просто, хотя знакомы они были плохо и при всей приязни относились друг к другу на ощупь. Так происходит в молодом возрасте, а если учесть жизнь, характер и кипящие страсти Кравта, то стоит признать происшедшее странным и замечательным. А так, кстати, все и произошло, странно и замечательно. Тоня оказалась моложе его на двадцать три года. Он об этом не помнил.

Затем Кравту еще надо было уйти. Но все прошло гладко и беспрепятственно, как и должно при удаче, которая сопутствовала ему в этот день.

Он ехал домой в метро, смеялся чему-то непонятному и что-то курлыкал из нового сентиментального кино, типа «...мы по палубе бегали, целовались с тобой», что-то вроде этого. Нарядно одетая женщина, стоявшая возле Кравта рядом с мужем, поджала яркие губы, поглядела на него пронзительными синими глазами осуждающе, и он улыбнулся ей в ответ, чего не делал никогда. Она осудила его еще сильнее, сделав свое лицо уже настоящей застывшей маской. Кравт залюбовался ею, продолжая повторять припев «пароход белый беленький, черный дым над трубой...». Женщина отвернулась от возмущения и гнева. Поведение случайной дамы не могло испортить Кравту настроения, которое было просто и необъяснимо прекрасным.

Дома уже все спали, когда Кравт пришел, стараясь не шуметь. За рабочим столом он долго разглядывал снимок, на котором немолодая, все еще замечательно красивая дама в кожаной куртке с подня-

тым воротником, полуобернувшись, демонстрировала под моросящим дождем невидимому журналисту большую фотографию с изображением отчаянно целующейся на тротуаре у фонарного столба молодой пары. «Париж, площадь перед муниципалитетом. Актриса, изображенная на снимке, Франсуаза Б., показывает знаменитое фото, сделанное за тридцать лет до сегодняшнего дня, весной 1950 года известным автором Робертом Д. Сегодня эта пожилая женщина продает свое знаменитое давнее фото за большие деньги для того, чтобы свести концы с концами. Таков их быт, таковы их нравы», – гласила подпись под фотографией.

Кравт не мог оторваться от этого женского лица, все еще прекрасного и желанного, от ее прозрачных, ничего не выражающих глаз, от ее ухоженных рук, с бледным лаком на ногтях, от белоснежного, неправильного ореола легких волос и от этого давнего поцелуя в снующей толпе, откровенного и страстного, сделанного в черно-белом цвете поздней весной фотохудожником Робертом Д. в городе Париже на муниципальной площади. Под несильным парижским дождем, который просматривался на фотографии с большим трудом.

Потом Кравт подумал, срежиссирован ли был тот снимок или просто схвачен в толпе большим фотографом? Решил, что все же снимок срежиссирован, и это не уменьшает его красоты и значимости, потому что какая разница для зрителя?!

Достоверность изображения была абсолютная.

Фотографию эту он обнаружил в иллюстрированном журнале, купленном по дороге домой в газетном киоске на углу их двора и проспекта с просторной площадью на другой стороне его.

На следовавшей за снимком полосе было крупными буквами написано «До открытия московской Олимпиады осталось 64 дня» и поясняющий текст буквами помельче.

– Вот как, – удивился Кравт, с интересом беседуя сам с собой, – до Олимпиады уже 64 дня, а у меня конь не валялся, романы, любовь, переживания. Соберитесь, Илья Семенович, а то так все и пройдет в спортивных баталиях.

Но работа в этот вечер у Кравта откровенно не получалась, несмотря на его напористую настойчивость и привычное усилие. Он посидел еще за столом, все было напрасно, он думал о безумном вечере с Тоней, вспоминая подробности. Как она ему сказала в кровати: «А у тебя лицо, если отсюда смотреть, как у сфинкса, ты не обижаешься?». Потом он пошел спать.

Знаменательная встреча его с Нежиным в ресторане «Чайка» прошла через год и четыре месяца после того замечательного свидания с Тоней, то есть уже в восемьдесят первом, осенью.

Никаких кардинальных изменений в его судьбе не произошло. С Тоней он виделся на работе. Она подходила в обеденный перерыв поболтать, помолчать, посмеяться, поглядеть, заглядывала ему в лицо, смеялась, как горлица, ворковала. Кравт был ей любопытен. Связь их казалась многим на заводе странной и необъяснимой. Кравт смотрел на нее и слушал звуки ее голоса с удовольствием. Но ничего другого между ними не происходило. Они только говорили, причем она, как ей и полагалось, больше него.

Школьный приятель Алик, энергичный «человек с зубом», как называла его жена Кравта, предпринимал попытки устройства литературной судьбы своего товарища. Однажды организовал ему встречу с

редакторшей издательства «Советский писатель». Женщина была строга, даже брезглива. Много курила, держа роскошную руку с сигаретой на отлете, внимательно смотрела на собеседника:

– Мне трудно сказать вам что-либо оптимистическое. Я не знаю, сможете ли вы когда-либо это пробить в печать. Это невозможно по сути. Все всё понимают, и я, и они, и вы, конечно.

– Я не понимаю, – сказал Кравт. Темно-зеленая шляпа «борсолино» покоилась на его колене. Он нервничал и не понимал смысла ее слов. Он выглядел взрослым, соображающим человеком. Происходящее было для него унизительно.

Они сидели в узкой комнате вдвоем. Прическа дамы со стянутыми назад в пучок светлыми волосами соответствовала ее сдержанной сухой речи, как показалось Кравту. Изредка звонил черный, расхлябанный телефон, и женщина отвечала кратко и сурово и вешала трубку, поворачиваясь к Кравту со словами «простите».

– Я ваша поклонница, Илья Семенович, это замечательно и своеобразно, – сказала женщина, – но, к сожалению, это не меняет дела.

– Какое дело? – не понял Кравт.

– Вас в тюрьму за это не посадят, конечно, хотя кто знает. Все может быть здесь. Вы сильный человек? Да, мне кажется, что да, иначе быть не может. Альберт мне сказал, что вы работаете...

– Да, технологом на заводе, – отозвался Кравт рассеянно.

– Простите, что я вас расстроила. У меня есть предложение, Илья. Нам постоянно нужны авторы для внутренних рецензий на рукописи издательства, платят за это неплохо. Ваша манера очень может подойти, этот нейтральный, подробный, тщательный тон. Я прямо сейчас могу вам передать две рукописи на рецензию. У нас очень многие члены СП просят подработки, мы придерживаем это для, для... – сказала женщина, глядя перед собою. Чай ее остывал на столе.

Кравт удивлялся услышанным словам, каждый раз слыша почти одно и то же от разных людей.

«Они все умнее меня», – констатировал он без сожаления. Это уже стало для него почти необходимостью, услышать очередной отказ в издательстве или журнале, сопровождаемый одновременно осторожными, удивленными и восхищенными словами.

Этих событий было не так и много, они не были часты, но откладывались в сознании Кравта, как постоянная цепь болезненных, ожидаемых и необходимых неудач.

К себе Кравт относился раздраженно, как к человеку, не ориентирующемуся на местности и заблудившемуся в знакомой, просвечиваемой насквозь солнцем пригородной роще. Иногда он думал о своем ежедневном сидении за письменным столом как о дурной, вредной привычке. Тогда вечер давался ему очень тяжело, и он отправлялся спать раздраженный и злой. Ничего веселого Кравт от жизни не ждал, хотя он не был человеком ни пессимистичным, ни мрачным.

В комнате, где он беседовал с редакторшей, в углу стояла прикрытая двойным слоем газеты сырая корзина грибов. Кравт не ел их ни в каком виде, ни в каком состоянии, пронзительно чувствуя их запах. Вообще, он все ел, кроме грибов.

Пару раз за время разговора с редакторшей в комнату заглядывал Алик и, не заходя вовнутрь, говорил женщине: «Вы его не обижаете здесь, Клара?», на что та отвечала: «Я вас прошу, Альберт, дайте нам еще несколько минут, нет, я вашего друга не обижаю».

Кравт смотрел на голову Алика непонимающим взглядом, «о чем ты говоришь, кто ты такой», и отворачивался к чаю.

– Вы не могли бы мне показать, Илья, вашу ладонь? – спросила редактор.

Кравт показал ей ладонь, и она довольно долго рассматривала ее и так и так, поворачивая в разные стороны в скудном свете из окна.

– Жизнь ваша долгая, благополучная и удачливая, запомните это, – сказала она низким голосом. Кравт поверил ей и запомнил ее слова.

«Совершенная разночинка», – неожиданно решил про женщину Кравт.

Она вручила ему рукописи, уложенные в картонную папку, и попросила позвонить через неделю.

– Пять-шесть страниц на каждый текст, – напомнила она.

«Больше никогда не зайду сюда, клянусь», – подумал Кравт, не униженный, но растерянный, он кивнул ей и с шляпой в руке, с двумя картонными папками в другой, вышел в коридор. Алик беседовал у окна с каким-то рослым мужчиной, похожим на напуганного бритого хулигана. Он увидел товарища, тут же оставил собеседника и подошел к Кравту.

– Пошли, я обо всем договорился, едем к Стасу, – сказал он оживленно. Алик ни о чем не спрашивал Кравта, все понимая без слов и делая выводы из походки и рассеянного выражения лица товарища.

– К какому Стасу? К нашему? – спросил Кравт. Их школьный знакомый, по имени Стас, неистовый человек, держал в железных рукавицах хозяина целую улицу за памятником С. М. Кирову. И не только одну эту улицу.

– К другому Стасу, который пишет песни на мои слова, большой талант, красавец, умница, ловелас, достойный человек, додекафонист по призванию, – сказал Алик

– Поехали-поехали, хотя мне на сегодня уже должно хватить встреч, – признался Кравт. – А это ты с кем говорил?

– Так, тип некий. Человек, который из-за своих амбиций собирается уехать в Израиль. Но упрямый идиот он не поэтому, а потому что таким родился, безапелляционным кретином, – торопливо пояснил Алик. – Он не стоит твоего внимания. Все, все, едем, давай, Кравт, давай. Без лишних вопросов.

Человек, которого Алик назвал идиотом, смотрел на них во все глаза, как бы пытаясь запомнить навсегда, но что-то важное ускользало от его внимания, и он близоруко щурился. В руке он держал переполненный старомодный портфельчик. Кравт тоже взглянул на него, запоминая, но образ этого нескладного мужчины с массивным серым затылком расплылся и тут же ушел в небытие.

Почему он не понравился Кравту, было неясно, хотя и объяснимо в связи с очередным провалом его перманентных усилий. У Ильи была мгновенная, цепкая, зрелая реакция на людей, которой он доверял. Мужчина этот был слишком уродлив, слишком насторожен, слишком напряжен, чтобы произвести на Кравта хорошее впечатление. Кравт его не забыл, как не забывают досадную помеху. На Израиль и все, что с ним было связано, Кравт реагировал необъективно и даже страстно. Если только у него могла существовать другая страсть, кроме написания на бумаге русских слов.

Додекафонист Стас, действительно, красавец, молодой, с желтого цвета волосами до плеч, жил на Петроградской в огромной квартире с замечательным паркетным полом. В почти пустой гостиной стоял роскошный рояль с откинутой крышкой. Полированные ножки его отражались в желтом паркете изогнутыми опасными стрелами. Медвежья шкура лежала в углу. Две покладистые девушки-подружки, одетые неумеренно свободно, пританцовывали под фортепьянные мелодии, летая в кухню и обратно. Одетый в белую футболку хозяин, с несколько опухшим, порочным лицом, склонившись к инструменту, играл в честь гостей одной правой рукой, левая висела вдоль тела.

Глуховатым, явно не своим голосом хозяин говорил: «Я ехала домой, я думала о вас...». Девушки ловко танцевали парой не то вальс, не то танго. Они имитировали страсть (или не имитировали), держа друг дружку за локти на осторожном расстоянии. Перед финальным аккордом хозяин смог исхитриться и поцеловать, не прекращая музицировать, свое сильное, костлявое плечо, уронив к нему лицо, украшенное платиновой серьгой в правом ухе.

Литография гениального, как считали многие граждане города, художника поощряла композитора к сочинению музыки. Это была иллюстрация к прозе Гоголя. Рассмотрев работу, можно было потерять сон на год-другой. Она висела на стене в дорогой раме, стилизованной под тяжелое обрамление прошлого века.

Художник любил ходить по дому в лакированных сапогах и в голубоватом мундире царского придворного. Мундир выглядел, как только что сшитый крепостным мастером. Или приехавшим на заработки в Петербург французом из, скажем, Лиона. Но сработал все это камзольно-военное добро пожилой плотный еврей, тяжело дышавший, полный, картавый и нервный.

Кравт заулыбался от пережитого и увиденного и негромко сказал Алику, что все это замечательно, хотя пороки присутствующих носят несколько искусственный и театральный характер.

– Что нам, Илюша, до их пороков, у нас свои есть пороки, не хуже, – ответил Альберт достойно.

– Это правда, Алик, – сказал Кравт тихо.

А так все было очень весело в этот день на квартире додекакофониста Стаса с девчонками Розой и Раей. Для песенной симметрии очень не хватало девушки по имени Маруся, но так как Кравт не был расположен идти вразнос уж совсем, помня о вечерней работе, да и вообще, то и двух любовных пар оказалось достаточно для быстротечного лихого счастья. Незаметно как оставшийся один в гостиной Кравт допил бутылку вина, закусил кислым яблоком из корзины на полу и сыграл одним недрогнувшим пальцем «чижика-пыжика», подпевая себе: «Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове».

Медведь скалился Кравту из угла, в смежной комнате за прикрытой дверью вздыхала женщина, над которой трудился мастер своего дела, таинственным образом собрался дождь на улице, хотя, когда ехали сюда, светило бледное солнце.

Кравт терялся на таких вечеринках, не зная, как себя вести.

Каждый вечер он по-прежнему привычно садился к письменному столу. Фотоснимок парижского поцелуя из советского журнала, подстеленного под пишущую машинку, перекочевал на стену, и Илья часто смотрел на него, отвлекаясь от работы.

Еще он читал стихи, которые находились у него в фолианте. Он звал жену, усаживал ее напротив и читал ей стихотворения размеренным сильным голосом.

Про Илью, конечно, никак нельзя было сказать, что он работает исступленно. Труд составлял важную часть его жизни, такую же, как движение или дыхание, питание или сон. Он уставал сочинять фразы и сюжеты, его утомляли длительные упражнения со словом, но эта усталость, скажем точнее, была жизненной необходимостью.

Не совсем было ясно, откуда все это появлялось, этот огромный перебор слов, похожий на избыточное кровяное давление, на повышенный гемоглобин и на другие показатели жизнедеятельности. Причем ничего внешне не демонстрировало отклонений Кравта от обычных людей, окружавших его в жизни. Он был совсем обыкновенный человек, в подпоясанном плаще цвета «беж». Разве что выражение его суховатого лица и взгляд темных строгих глаз могло заставить сделать выводы о его нестандартности. Но это все досужие домыслы, потому что Кравт по настоящему был малозаметен в метро, на заводе или, скажем, в кинотеатре – местах, где бывает больше десяти-двадцати человек одновременно.

У кузнеца Ануфриева в специальном металлическом шкафчике в красном уголке хранился громоздкий трофейный зелено-белый, перламутровый, немыслимый аккордеон, выданный ему месткомом для репетиций самодеятельности. Весной и летом передовик, разыгрывая очередную роль из фильма, просмотренного им на заре юности, лет пятнадцать-двадцать назад, часто музицировал в перерыве, поддавшись уговорам девчат и их потенциальных ухажеров. Пальцы у него были мягкие, гибкие, неожиданные для человека его профессии.

Понять, как Ануфриев играет, было сложно, во всяком случае, он мелодии не перевирал. Играл он громко, пел внятно. Сядет у волейбольной площадки на табуретку рядом с гомонящей молодежью, склонит голову к мехам и, глядя в небо, сыграет.

«Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг. Веселья час и боль разлуки...», – не ласковым, низким голосом умеющего хорошо поработать и на славу отдохнуть человека говорил Ануфриев. Девушки тут же оживлялись, двигали в такт музыке руками и бедрами, веселели и молодые люди, сидевшие подле, уже уничтожившие свои обеды. Они группировались, совершали соответствующие маневры, но массовые танцы не начинались никогда, потому что было светло, почти все были трезвыми, и местком категорически возражал против стихийных проявлений народного творчества, к которым относил и танцы. И потом, это было рабочее место, а не вечерние танцульки во Дворце культуры имени Горького, с решительно нарисованными маслом афишами модных кинофильмов, с проблематичными парнями окрестных улиц Кировского и Ленинского районов, милицейскими усиленными патрулями и группами народных дружинников, с веселыми лицами хозяев всей этой замечательной, веселой советской жизни.

Потом к Ануфриеву солидно подходил кто-нибудь поразвязней, тот же Толик, и говорил:

– Ну что, Дмитрий Иваныч, все вы старье гоните, Цфасман и Цфасман, давайте напоследок Бабаджаняна нам сбацайте, «Город весны» знаете?

– Какой Цфасман, чего порешь, Толя? – сердился Ануфриев, не отрывая щеки от музыки, на молодого и не ученого, наглого пацана.

– Конечно, Цфасман, Дмитрий Иваныч, я точно знаю. Давайте Бабаджаняна, не нужен нам Цфасман какой-то, – громко говорил Толя, смешливо глядя на девушек, певших под музыку.

Ануфриев кивал ему: «понял», и перед самым концом перерыва «бацал» по заявке «Город весны» – зажигательный советский танец, уже не такой и новый, но такой бередящий молодую кровь.

Кравт тоже слушал музыку, жмурясь на солнышке, поглядывая на Тоню, подвижную, белокожую девушку с ярким, скуластым русским лицом. В такт он не притопывал, а уж про прихлоп и говорить нечего. Но сидел и смотрел на все с удовольствием.

«Цфасман – это, конечно, человек из Цфата, в европейском произношении», – сообразил он вдруг относительно советского композитора, упомянутого Толиком. Кравт когда-то, лет четырнадцать назад, настойчиво учил иврит, два раза в месяц платя строгому, даже грозному старику из синагоги за три часовых урока в неделю. Он добился в этом познании определенных и значительных успехов. Он не знал, чем и как объяснить эти уроки, да никто и не спрашивал, только жена смотрела на Кравта, читающего справа налево ивритский текст из учебника начальной школы, издали жалостливо и тревожно, как смотрят на больного.

Два голых по пояс парня, которые тренировались, поднимая двухпудовую гирю с облупленной краской на разы, шуровали с тяжестью быстрее, чем прежде. Трещали их спины, прогибались плечи: «Двадцать один, двадцать два», – говорил свободный из них поднимавшему. «Жми, Коля, до отказа, до верха», – говорил он. Второй уже не жал, но толкал гирю. Пот капал с его подбородка и затылка на брезентовые брюки.

«Нарушаешь, Коля», – говорил второй. Коля бухал гирю о сыроватую землю и говорил: «А пошел ты ...». – «Ну, куда, скажи, идти?» – заводился второй. – «Вот-вот, туда, дай дохнуть кислороду», – говорил первый. Воздух клубился вокруг его почти совершенного торса античного героя. Мышцы у обоих парней были замечательные, но девчонки к ним отчего-то не льнули. Вопрос вопросов о девчонках и их приоритетах.

Под зажигательную музыку Ануфриева все шли обратно в цех на работу по металлу и с металлом. Кузнец тоже сдвинул меха, застегнул ремешок на аккордеоне, тяжело поднялся и понес инструмент к месту хранения. Пошел и Кравт начинать свой труд, думая о Тоне, об Ануфриеве, о Толике и других участниках общего трудового и жизненного процесса не сентиментально и даже сурово.

Тоня, на перерыве забыв что-то во дворе, прошла обратно, покачивая бедрами, как качелями, распевая чудным веселым голосом, улыбаясь в его глаза своими, длинными, зелено-голубыми: «Давай пожмем друг другу руки, и в дальний путь на долгие года...»

У Кравта просто в глазах потемнело. Встреча показалась ему прекрасной и обещающей. Он развернулся, догнал девушку, обогнал ее и быстро, неожиданно для себя спросил в лицо: «Слушай, Тоня, давай встретимся сегодня вечером». Вопроса в его словах не звучало.

Она глянула на него сияющими, не кроткими глазами и ответила без паузы и раздумий: «Можно, конечно, Илюша, встретиться, если ты уверен...». Все она уже думала-передумала. Руки у нее были бе-

лые, гладкие, никак не выдавали в ней рабочего человека. Она тщательно ухаживала за своими руками, считая, не без справедливости, что они не менее важны для женщины, чем лицо, шея или ноги.

– В семь вечера у той мороженицы на Невском, ни в чем я не уверен, только ты приди, Тоня, – сказал Кравт. Она кивнула ему, глядя в пол, и очень быстро прошла дальше, соблюдая полную конспирацию. Кравт отметил это, не придавая никакого значения поведению близкого человека. А Тоня была ему близким человеком, во всех смыслах, куда уж ближе. Это стало ему очевидно и понятно сейчас.

Встреча их была мимолетной, ни для кого в цехе не заметной. Только Толик глядел на них, замерев, внимательно и недобро, в уже гудящем от труда цеху. Он стоял за своим станком, не подглядывал, не скрывался. То, что называется на языке улицы «прихватом», у него очевидно, что было. Он был опасен, куражлив и злобен, как могут быть злобны молодые энергичные люди из пригородов больших городов. Кравт ему и так не очень был понятен, казался посторонним и странным. Смеющаяся же с Кравтом, заискивающая на его взгляд Тоня настолько усугубила эту неприязнь, что иногда Толя даже вздрагивал от силы своей ненависти к этому немолодому, странно уверенному в себе технологу в наглухо застегнутом бежевом плаще китайского производства и велюровой шляпе зеленого цвета.

Весь оставшийся до свидания день Кравт прожил неизвестно как, дышал через раз, забывал отдать проверенные чертежи, ползал по полу в поисках карандаша, садился на чужое рабочее место. Коллеги смотрели на него с интересом и непониманием. Никто не смеялся. Женщины, которых было большинство, шептались о его поведении.

Ровно в семь часов вечера Тоня пришла к кафе. Кравт стоял возле стеклянной двери входа, не курил, не ходил туда и обратно, смотрел вокруг, дисциплинированно ждал ее.

– А вот и я, – сказала Тоня Кравту. Лицо женщины сверкало на свету от молодости и красоты. Было очень светло и празднично, как это обычно бывает в Ленинграде в мае.

Столик в кафе с мраморной поверхностью и цветочком из бесцветной пластмассы в вазочке посередине. Официантка в белом фартуке и кружевной наколке ждала гостей, облокотясь на прилавок с видом, обозначавшим скуку и раздражение одинокой женщины. Ноги ее в короткой юбке были видны много выше колен.. Кровь протекала в ней сегодня вяло. Подойдя к Тоне и Кравту, официантка остановилась в оцепенении. Ей было нечего сказать пришедшим. Кравт поглядел на нее в недоумении, потом нахмурился и сказал:

– Принесите нам, пожалуйста, две порции смородинового мороженого и бутылку «рислинга».

Слово «девушка» или «милая» Кравт сказать официантке не сумел, будучи недостаточно раскованным, даже чопорным человеком.

Повернувшись через левое плечо, девушка ушла дивной женской походкой. Ну, никто, милая, не виноват в твоей скуке и одиночестве, хотел ей сказать Кравт, но, конечно, опять не сказал, потому что у него были особые отношения со словами, да и не очень она его взволновала. Вернулась с заказом эта женщина довольно быстро.

Мороженое было замечательного вкуса, к которому никак невозможно было привыкнуть. Официантка отвернулась от них, будучи не в силах наблюдать пожилого дядьку в шляпе и молодую девицу ниже чем средних внешних данных.

Кравт относился к жизни доверчиво. Он не был наивен и, например, понимал, что с властью ни шутить, ни задавать лишних вопросов, ни приближаться к ней, ни явно задираться с ней нежелательно и даже просто нельзя. Этой власти надо бояться – вот это он понимал и знал. Он властью не интересовался, но так верил произнесенным и написанным словам, так верил в самостоятельную жизнь их и силу, что из-за этого почти всегда попадал в ситуации двусмысленные и неадекватные. Со своими романами и повестями, которых никто не хотел печатать, Кравт автоматически расположился в категории людей недовольных действительностью, взятых благодаря этому на заметку. Эти люди не считались врагами, но находились среди тех, кто легко мог перейти на сторону врага при любом удобном случае.

Брезгливое отчаяние, которое довольно часто посещало его в последнее время, говорило о том, что власть права. Он мог теперь почти трезвым выругаться матом при словах «редактор», «цензор» или «диктатура пролетариата». Не то чтобы он часто слышал или читал эти слова, но личного разочарования было достаточно для превращения его речи в поток матерной брани. Ни с кем и ни с чем он не боролся. С русским языком жил в гармоничной, обоюдной любви. Это была его главная и, наверное, единственная ценность.

Кравт почти смирился со своей судьбой. Она не казалась ему незавидной. Никакие логические объяснения не помогали Кравту распрямиться. Даже история, рассказанная Аликом.

Тот пришел к нему вечером третьего дня, оторвал от работы. Он был не совсем трезв. Выставил на стол со словом «вот» бутылку армянского коньяка «три звёздочки».

– Вот ты знаешь, например, Илюша, что Сталин написал на рукописи Андрея Платонова, не помню точно, какой, одно слово. И слово это было «Сволочь»! – сказал Алик. Он был радостно возбужден.

– Невероятно все же это звериное чутье. Я тебе верю, конечно, но в эту историю поверить не могу, Алик, все же это литература, – сказал Кравт, – я не уверен, что усатый умел вообще читать.

– Ого-го, не дразни меня. Они там все в ВЦК и ВЧК прекрасно читают и разбираются безупречно. И вообще, я уезжаю из СССР навсегда, – вдруг сказал Алик. Кравт уже давно заметил, что приятель его чем-то озабочен и даже удручен.

Он отреагировал на это сообщение без особого удивления.

– А ты-то что? Все, кто хотел, уже уехали давно. Чем тебе здесь не угодили и кто?

Алик закурил полуторную американскую сигарету «Kent», невероятный и очень дорогой дефицит в Ленинграде, выпустил дым и, еще помедлив, признался:

– Я не могу здесь больше оставаться, здесь невозможно жить, а то ты не понимаешь? – сказал Алик в том тоне, в котором говорят «а ты, ты не притворяйся ребенком».

– Что, женщины? Проблемы аранжировки? За новой правдой?! – в этот день Кравт был раздражен. Он не мог терпеть важных новостей, которые могли кардинально изменить жизнь.

– Перестань. Лучше это сделать позже, чем никогда. Я должен сменить обстановку, я посторонний тут, ты не понимаешь, – сказал Алик, – что здесь невозможно жить.

– Тебя активисты-песенники из Союза писателей съедят без соли, ты знаешь это?

– Не смогут, подавятся, – сказал Алик. Он огляделся вокруг себя – конструктивная умеренность убранства комнаты Кравта провозглашала чистоту, скромность, советский беспорядочный быт.

Жена Кравта принесла им, осторожно постучав в тонкую дверь, бутербродов и чаю. Поставила все на стол и, так же беззвучно улыбаясь бледными губами, вышла. В движениях ее ловкого, домашнего тела наблюдался характер, женская суть компромисса.

– Никто меня не тронет, дадут разрешение, как миленькие, кому я нужен тут, уеду, как посторонний, – сказал Алик.

Кравт сразу заметил слово «посторонний», появившееся в речи Алика нежданно. Повесть «Посторонний» Кравт очень любил.

– Я не все знаю и понимаю, но ты не торопись так, не горячись, сейчас они разрешений никому не дают, ты попадаешь в непонятное, как говорит наш Стас, – сказал Кравт примирительно. Он отгонял от себя перипетии жизни, сглаживал их всеми силами.

Стас, их школьный знакомый, держал в руках проблемный ленинградский квартал, будучи сильным человеком с разнообразным уголовным прошлым. Несколько заторможенный, молчаливый, с глубокими залысинами, толстыми руками, неподвижными глазами, с сильным характером человек, который может совершить в любую минуту самый неожиданный поступок. Включая те, которые строго наказываются народными судами согласно уголовному кодексу РФ большими лагерными сроками. Все побаивались Стаса, все, его соратники, милиционеры, случайные прохожие, военные, не говоря о женщинах и детях. Собаки поскуливали при его приближении и приседали.

Из хорошей семьи, отец его был вроде доцент, белолицый, скуластый, в очках, хорошей славянской породы. Сам Стас по молодым годам бегал в голубой майке и белых трусах дистанции сто и двести метров в секции общества «Буревестник». Десять и три десятых секунды – таким был результат Стаса на сотне, он был настоящим мастером спорта в семнадцать лет, на него возлагались надежды. Но он предпочел, еще совсем молодой, из нагрудного кармана пиджака вытягивать указательным и средним пальцами узкий ножик, проводить по лезвию пальцами, и задумчиво улыбаясь, медленно говорить, ни к кому не обращаясь: «А у меня сегодня перышко в сале».

К школьным дружкам, и к Алику, и к Кравту, с которыми вырос вместе, он относился внимательно и хорошо, если это слово может характеризовать чувства Стаса. Во всяком случае, он не отбирал у них кошельки, не бил их по лицу и не приказывал младшим коллегам делать это. Он, улыбаясь, здоровался с ними, беседовал, больше слушая, потом прощался и уходил без слов. Пива Стас не пил, считая этот напиток плебейским. Он был настоящий хладнокровный гангстер, никого не боялся и не щадил тоже никого.

– И что ты собираешься там делать? Слова к песням писать? Куда ты едешь? В Америку? В Австралию? В Новую Зеландию? Куда там все сейчас направляются? – спросил Кравт. Алик помешал ему работать, и он об этом все время разговора помнил.

Они выпили коньяка, продышали и еще раз выпили.

– Я еду в Израиль, – сказал Алик веско, выделив слово «я». Выглядел он молодо, воинственно, убедительно. Зуб его сверкал, как новый. И сам он сверкал тоже.

– Слушай, ну я понимаю все или почти все. Но зачем ты уезжаешь все-таки? Ты не торговый человек, ты в дубленке ходишь, у тебя

женщин много, – Кравт несколько опьянел, ему и вообще немного было надо, он не был пьющим и не считался пьющим по местным жизненным установкам.

– Я хочу быть свободным человеком, хочу делать то, что хочу, говорить что хочу, веровать во что хочу. Этого мало? Я еду для свободы своего поступка, – довольный формулировкой Алик посмотрел на товарища победительно. Тогда еще нужно было объяснять отъезд. Он был странный человек, с выпирающим передним зубом. Сколько он совершил поступков в своей жизни? Можно подумать, что много.

– Ну, ладно, хорошо, что с нею будешь ты делать, со свободой? – спросил Кравт.

– Найду, что делать, ни у кого спрашивать не буду, – отвечал Алик, автор популярных песен, приносивших ему регулярный большой доход. Он несколько путался, но все равно был уверен в себе.

Потом Алик, которого повело от разговора и выпитого, захотел по старой памяти сыграть с Кравтом в шахматы, но Илья отказался категорически. Какие шахматы?!

– Тогда все, тогда ухожу. На посошок? – спросил Алик. Кравт чокнулся с ним и выпил полрюмки. Алик это заметил, но виду не подал.

Потом Алик ушел. Было очень поздно. Кравт провожал гостя до входной двери с тяжелым засовом. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, так ему уже хотелось сесть за работу.

– Ты что, можешь пьяным писать? – полюбопытствовал Алик.

– Могу, вопрос в том, получится что-нибудь или все придется потом выбросить, – ответил Кравт и добавил без паузы, – тебя что, тот несуразный, огромный, из издательства, надоумил уезжать?

– Единственное, что смущает меня в отъезде, это то, что он тоже едет. Я, скорее, еду, несмотря на существование этого идиота. Оскорбление для нормального человека поступать так, как он.

Кравт был все равно в недоумении.

Уже открыв входную дверь, Алик обернулся к хозяину. Вопрос его был важен:

– У вас что, ремонт?

– Почему?

– Да вот ведро стоит, стремянка, санки там, – сказал Алик.

– Я плоскогубцы искал на антресолях, – сказал Кравт. Зачем ему понадобились плоскогубцы, Алик не спросил. А Кравт сам не сказал, потому что и без чужих вопросов у него не находились слова для ответов и потом он забыл, зачем ему были нужны плоскогубцы.

– Плоскогубцы! Ну, хорошо, я пошел, – легко сказал Алик.

Он вышел на улицу с ровным рядом фонарей на проспекте, в котором отсутствовала перспектива, и пошел домой. Жил он неподалеку, метрах в трехстах от Кравта. Воздух был холодный и влажный. Алик проворно шел по тротуару и думал о Кравте и его судьбе. «Эх, Илюха, Илюха, пропадешь ведь с профкомами и месткомами здесь», – вздохнул он.

Потом Алик запел:

– А нам не страшен ни вал девятый, та-ри… ра-ри-ра… ри ра ра… ведь мы ребята, да-да, ведь мы ребята, да-да, шестидесятой широты.

«Или семидесятой, – подумал Алик, – широта сюда, широта туда, какая разница».

Для Кравта выезд за границу так и не стал чем-то реальным. Он никогда не отказывался от своей национальности, от своего призва-

ния, от родителей, от свитка в малиновом шелковом чехле, который лежал в его шкафу на верхней полке, жена прикрыла его пикейным одеялом.

Свиток остался ему от родителей, а тем – от их родителей, и так далее. Но свиток все-таки был не таким древним – ему было лет сто восемьдесят – двести, по понятиям национальной истории, только-только написанным. Раз в год Кравт звал человека из синагоги на Лермонтовском, и тот приходил, выпивал стакан воды и перематывал свиток на столе, накрытым чистой простыней. Кравт стоял рядом и наблюдал за происходящим своими синими северными глазами. Об этих глазах энергичный начальник Кравта задумчиво говорил, после многочасовых производственных совещаний, ни к кому не обращаясь конкретно: «Здесь налицо победа географии над генетикой».

Начальник, конечно, был в плену давно сформировавшихся представлений о людях и расах, но так он думал о евреях, и так все вокруг него думали о евреях – мол, черноволосые, прыткие, смуглые и малопьющие. И дай Бог, чтобы это было самое большое заблуждение об этом народе среди народа русского. Кравта, кстати, все эти мнения, высказанные вслух, написанные, запечатленные в книгах, не интересовали абсолютно. Ну, думает так и думает человек, его право. Мало о чем можно подумать на досуге, да с утра и натощак.

Свое существование и судьбу Кравт воспринимал, как часть этой негромкой жизни в углу Финского залива, в странном городе, в рабочем районе напротив кинотеатра, с памятником вождю в сапогах по колено и в развевающейся солдатской шинели на просторной площади. На другой стороне улицы был парк с заросшим травой, заселенным плодящимися в тине земноводными глубоким прудом с дощатыми мостками и привязанной к ним цепью лодкой без весел. Кравт был человеком привычки и навыка. Он не мог отделить русскую речь, ее густую плоть от жизни здесь. Это было непредставляемо им, об этом невозможно было подумать.

Кравт не искажал и уж точно не исправлял действительность, он видел ее иначе. Очень многое вокруг представляло для него не ту ценность, не тот интерес, чем для всех остальных. Многих людей волновали имя и образ нового секретаря ленинградского обкома, его речь, его манеры, его навыки, привычки, его откровенное лицо лихого человека и прочие сведения.

На богатой и представительной вечеринке у Алика некоторые гости говорили об этом, и Кравт смотрел на них с удивлением. Алик часто приглашал Кравта на свои праздники. Илья ходил на них из любопытства. Он очень любил чувствовать праздник и участвовать в нем.

– Не смотри на меня так, – говорил Кравту Алик.

– Как? – спрашивал Кравт.

– Как посторонний, – говорил Алик.

– Я не посторонний, – отвечал Кравт. – Я не наблюдатель, я, конечно, участник, соучастник, вернее. Я часть этой жизни.

Алик не всегда понимал Кравта и не во всем с ним соглашался. Но любопытство его, внимательный интерес ко всему происходящему видел. Алика очень занимали интересы Кравта, его взгляд на жизнь.

Никто в гостиной не обращал внимания на их разговор. В гостях у Алика находился израильтянин, учившийся в Ленинграде на врача, – молодой человек с бурым лицом, длинными волосами, маоистскими взглядами и толстыми запястьями. Звали его Эйран. По-русски он

говорил неплохо, но не больше того. Иврит его (одна девушка попросила Эйрана сказать какую-нибудь фразу), прозвучал торопливым невнятным гулом знойного незаселенного угла в пустыне Негев, что не прибавило ему симпатий. Он был нервозен и угловат.

Привел его к Алику тот самый нескладный тип с портфелем, которого они встретили в издательстве. Все наблюдали за гостем, выискивая в его чертах и словах необычайный смысл. К молодым непонятным иностранцам в России всегда относятся всерьез.

– Ты часть этой жизни? – спросил Алик.

– Абсолютно в этом уверен, – сказал Кравт, – что за вопросы?

Но собственной уверенности Кравту было мало, вот в чем дело. Ему нужно было, чтобы еще все окружающие люди, рабочие и инженеры, редакторы и редакторши, писатели и милиционеры, дворники и музыканты, танцоры и продавцы с ним согласились. Но куда там они все... Вон Алик с ним не соглашается, а уж участковый милиционер, суровый человек в форме... или редакторша?

Эйран уверенно произносил фразы о победе коммунизма во всем мире, выпивал, активно закусывал. Интерес к нему резко упал, люди выпили, расслабились, разобрались, подивились. Высоченный тип, по фамилии Мрар, заискивающе улыбаясь, корректировал общий смысл слов, что, может быть, все и не так категорично, и что, может быть, еще подождем с победами.

– Нет, не будем ждать, но пасаран, нет оккупации, да здравствует СССР и политбюро коммунистической партии этой страны, – сказал гость из далекой страны и выпил половину рюмки.

– Вы закусывайте, Эйран, и, вообще, будьте осторожны с алкоголем, – сказал ему Алик. Гость посмотрел на него тревожно.

– Вы не согласны с моими тезисами? – спросил он. Акцент у него был раздражающий почему-то, хотя не сильный, не резкий.

– Нет, конечно, – сказал Кравт, – все это дребедень, вы многого не знаете, юноша, и не все понимаете, постороннему это понять трудно.

Он был любезный и вежливый человек, но по некоторым вопросам никогда не уступал. Упрямство его брало верх надо всем.

– Не возражайте, не возражайте же ему, что вы, это важный человек, гость со статусом там у себя, – забормотал длинный Кравту. Он, суетливо двигаясь, оттопырив спину, наливал Эйрану водки. Алик смотрел на то, что происходит, отстраненно, без интереса.

– А вы не вмешивайтесь, кто вы такой? Кто он такой?! Это просто невозможно, он, отвратительный человек, вызывает у меня протест, да и вы тоже вместе с ним, не меньше, – громко сказал Кравт. Он не был склонен шутить. Скандал назрел и был как никогда близок к взрыву. Еще усилие, еще...

Эйран откинулся на стуле и раздраженно сказал, что ожидал услышать антипартийных реакционеров в Ленинграде, «меня предупреждали, что здесь сильная оппозиция». Он сидел и как бы запоминал всех, кто находился в комнате, что выглядело довольно неприятно. И Мрар, похожий на испуганную глазастую гиену, наблюдал за его запоминанием, чтобы помочь при случае опознания. Происходило все это в молчании, под аккомпанемент рояля. Мрар был противен Кравту на уровне физиологии – он был другой масти.

Додекакофонист Стас, роскошный, как всегда, развратный малый в шелковой майке, с перевязанными бечевкой волосами до плеч, наигрывал что-то бессвязное, милое на рояле Алика. Две девицы задум-

чиво висели на его плечах, по каждой на плечо. Изредка Стас лизал свои ключицы, девушки стонали от этого.

Эйран и Мрар выпили вдвоем, чокнувшись, «за правое дело». Скандала не получилось, потому что спорить было не из-за чего и не с кем. Кому они нужны были? Выгнать их тоже было невозможно, Алик был не тот человек, который мог выгнать. Хотя, поди знай. В общем, без скандала обошлось.

После этого Кравт поднялся и ушел. Его время истекло согласно внутренним часам, которые были верны у него почти всегда.

Многих его уход расстроил. К нему относились со странно объяснимым уважением, потому что никто ничего не знал о нем и, конечно же, не читал. Он не выглядел компанейским человеком, активным участником жизни. Мало шутил. Так что симпатии людей были непонятны. Кравт был очень сам по себе – это привлекало посторонних.

Алик проводил его до дверей. За зимним пальто в углу целовались, наблюдалось шевеление и отдельные звуки.

– Ну, чего ты вскочил? – спрашивал Алик.

– Вот накличешь на всех своим демократизмом и неразборчивостью, – отозвался Кравт. Портфель его был с ним.

– Не каркай, милый, – сказал Алик. И на этом они расстались.

Дом, в котором жил Алик, был построен в поздние сороковые для специалистов, как говорили, двух огромных заводов района. Лестничные площадки были широкими, пол выложен желтой плиткой и, пощелкивая, двигался лифт с сожженной кнопкой четвертого этажа. Виднелась детская площадка с качелями и песочницей и крутая насыпь бомбоубежища, построенного после Карибского кризиса 1962 года по указаниям Никиты Сергеевича Хрущева, тогдашнего Генсека.

Когда Кравт выходил с Тоней из кафе, был уже совсем поздний вечер, хотя тусклый свет белого светила хозяйски лидировал на улице. Торжествующая, растворенная в серо-голубом небе ночь, которую здесь издавна называли белой, безоговорочно руководила жизнью. Погодный правопорядок, лишающий влюбленных и любящих, нарушителей порядка и его охранителей, преимущества темноты. Но зато ночь эта создавала ощущение особого праздника у всех, кто ее замечал и проживал.

Выйдя из-за поворота у школы, они шли к ее дому, предварительно ни о чем не договариваясь. Все было очевидно. Тоня держала Кравта под руку, несколько обвисая на нем. Лицом она уткнулась в его плечо, что-то бормотала, совершенно потеряв контроль над собой. Она была немного пьяна от «Рислинга» и от его близости. Кравт не вслушивался в слова.

Двое рослых молодых людей стояли на их пути в расслабленной позе, которую можно было бы обозначить, как «в ожидании». Кого? Сбоку находился еще один юноша, присевший, вытянув ноги, на оградку из крашеных труб вокруг газона. Ничего угрожающего здоровью и безопасности Кравта и Тони эти люди не говорили и не делали. Вот шли-шли по дороге, устали и остановились покурить, отдохнуть.

– Толик вон сидит, – сказала Тоня Кравту. Тот пошел совсем медленно, понимая, что сейчас произойдет. Он вырос здесь и порядки этого района знал очень хорошо. Ситуация усугублялась присутствием Тони, которая и сама все понимала не хуже других. Все же Кравт был устроен так, что до конца не хотел верить в худшее. Он легко мог поверить во все, но не в самое плохое.

Лица парней казались бледно-синими, как будто они были под неоновым светом. Толик посмеивался, поплевывал и рассматривал какой-то продолговатый металлический предмет в руке, подбрасывая его грубым движением довольно высоко над собой.

Он продолжал сидеть на оградке, глядя на Тоню и Кравта, дерзко и злобно улыбаясь.

– Какие встречи, Антонина?! Как вы живете, ухажер? Я вижу, у вас любовь, а? Простите за вмешательство, но я должен поговорить с Тонькой, товарищ Кравт, так что, звиняйте трохи, скажу по-хохляцки, тет а-тет, как говорят, – Толик легко встал и, сделав большой шаг, взял Тоню за запястье.

Кравт положил свою руку на его руку, но остановить движение парня не смог, потому что тот был много сильнее. Тоня отлетела к Толе, и другой ладонью он крепко взял ее за живот. «Лишь рок-н-ролл , гитара и ты согреют меня», – дурачась, пропел он. Женщина оцепенела от происшедшего. Она молчала в его руках. Приятели Толика подошли и взяли Кравта под руки.

– Сам уйдешь? Или они тебе помогут? – деловито спросил Толик. Руки его держали женщину вплотную к своему телу, а с Кравтом он беседовал как бы совсем на другую тему. Но тема была одна.

– Отпусти ее, – хрипло сказал Кравт. Правый парень ударил его с близкого расстояния, коротко и резко кулаком по скуле. Голова у Кравта мотнулась, он ахнул, сплюнул кровь.

– Уходишь? – опять спросил Толик без перерыва, без интонации.

– Отпусти ее, – сказал Кравт, вытирая лицо.

Толик отпустил женщину, сделал скользящий шаг, одновременно наклоняясь, и ударил снизу и сбоку Кравта кулаком по животу. Рука его была согнута прямым углом, и этой скобой Толик тут же нанес быстрый догоняющий падающее тело Кравта повторный удар. Илья ткнулся лицом в асфальт и упал, скрючившись, на бок. Он был без сознания. Толик прыгнул пару раз на Кравта ногами, ударил его еще раз по ребрам, как по футбольному мячу. Кравт дергался всем телом под ударами, не стонал, а как-то вздыхал. «Ах! Ах!» и еще раз «Ах».

Толик взглянул на его лицо, сплюнул, глаза его сверкали от счастья победы или еще чего, и вкрадчиво спросил Тоню:

– Ну что, Антонина, все? Нагулялась, ласточка? Сама пойдешь?

Женщина быстро закивала, потому что говорить не могла. Лицо ее было зеленого оттенка, она дрожала. Идти она тоже сама не могла, и парни повели ее, держа под руки, в переулок. Толик шел сзади и, хихикая, повторял: «А мы, Тоня, не хуже твоего-то, мы лучше. Мы моложе, мы сильнее, мы тебе ровня. А ты все с ним и с ним, вот дурехато, а!». Парни его не смеялись шуткам командира.

Где-то пели в соседнем доме на высоком этаже. Кто-то на четвертом этаже курил в форточку. Слышна была неразборчивая скороговорка немолодого радиоведущего. «Московских окон негасимый свет»... – различимы были слова.

Толик зашел вперед и открыл дверь парадного в черный, неосвещенный подъезд. Здесь уже парни ее волокли. Платье Тони порвалось у плеча и на рукаве. Пружинная дверь хлопнула за ними громко и гулко.

– Вот ведь ЖЭК, пьянь одна бездельная, – сказал Толик, догоняя шедших впереди на лестнице. – А вот мы подмогнем, оп-па, – воскликнул он и, схватив снизу ее ягодицы, стал подталкивать тяжелова-

тое даже для его богатырских рук, безвольное тело. Счастье победы и удовольствия красило его лицо, похожее в эти мгновения на возбужденное лицо большого чемпиона, выигравшего главный бой жизни. Горящая папироса была зажата в углу его прямого, азартного рта.

– Мальчики, пустите, я вас прошу, – сказала Тоня, задыхаясь. Но никто ее не слышал, не хотел слышать, не мог слышать. Ее просьба была неуместна. На лестнице резко пахло жареной рыбой, которую в магазине называли ледяной. Уже поворачивался ключ в двери, и парни топтались у порога, громко сопя, как кони перед скачками.

Кравта подобрали милиционеры, которые и вызвали скорую помощь. Как с ним обошлись в приемном покое, он не помнил. Сестра долго вызывала дежурного врача из хирургического отделения. Потом она протерла Кравту лицо смоченной чем-то марлей, и ему стало легче. Потом пришел деловитый крепкий врач и оглядел Кравта, причмокивая от удовольствия: «Хорошо-то как, а! Вы только посмотрите!» Сестра из приемного покоя качала головой в знак согласия с ним, и правда, хорошо.

К утру Кравта отпустили домой, как он добрел до дома, было непонятно. Неделю после той ночи он не выходил на работу. Отлеживался на больничном, который тут же выписала испуганная его видом докторша. Он выглядел нехорошо, похожий на чужую маску, мрачную и яркую одновременно.

Жена вела себя почти спокойно, только губы ее прыгали, когда укладывала его в кровать и умывала лицо. Твердого он есть не мог, хлебал каши на воде и пил остывающий чай с малиновым вареньем. Лежал на спине, стараясь не ворочаться.

Через два дня после всех событий вечером позвонила Тоня и сказала, чтобы он к ней не подходил, а то им обоим будет еще хуже.

«Этот зверь сказал, что даже смотреть нельзя нам друг на друга. Сказал, что искалечит тебя, Илюша. Ты в милицию не ходил? Не ходи, так лучше. Со мной все в порядке, как ты себя чувствуешь?» – спросила Тоня. Она была совершенно подавлена чужой силой, так слышалось Кравту, человеку с абсолютным слухом, безупречно понимавшему интонации в чужой речи.

– Я поправлюсь. Прости, что так получилось, я никуда не ходил и не пойду заявлять, не бойся, так и передай, – сказал Кравт.

– Я люблю тебя, Илюша, и больше никого, – сказала Тоня странную фразу. Кравту стало совсем плохо. Он повесил трубку. Бешенство тлело в нем на тонкой нити, которая грозила скоро порваться. Он не мог контролировать свою злобу и гнев, что не пугало его.

История эта ослабила Кравта в прямом смысле слова. Он потерял уверенность в себе. Сомнения, и так достаточно частые, сейчас одолели его. Ненависть грызла его, не давая жить. Кравт терзался этим и не знал, что делать.

Потом он придумал, решил и даже успокоился от этого. Бешенство и ненависть помогли ему переступить все.

Пришел Алик, поахал на внешний вид хозяина, повздыхал. Потом они о многом переговорили вполголоса.

– Как я уеду и оставлю тебя здесь? – спросил Алик.

– А ты не уезжай, – сказал Кравт, – оставайся.

– Да у меня и разрешения еще нет. Только Мрар вчера получил уведомление открыткой, что ему разрешен выезд, звонил, просил достать льняные простыни и икру.

– А простыни зачем? Он же заранее все заготовил, – сказал Кравт. Он не улыбался.

– Решил пополнить запасы. В Вене хорошо льняные простыни идут, в Вене пересадка, – сказал Алик.

– А что, едут через Вену?

– Через Вену, а до Вены еще пересадка в Будапеште.

– Надо нашему Стасу срочно позвонить и увидеться, Алик, – сказал Кравт.

Алик знал телефон Стаса наизусть и вообще был с ним накоротке. У Кравта были сложности в отношениях с ним. Кравт все решил, никаких сомнений у него не было.

Алик посмотрел на товарища, кивнул, ничего не сказал.

– Что за спешка? Что случилось? – спросил Стас по телефону. Он был собран как всегда, не ленив.

– Есть важный вопрос, – сказал Алик.

– Хорошо, подъезжайте к «Москве» к шести, – сказал Стас. Он имел в виду кинотеатр «Москва». Рядом с кинотеатром на самом перекрестке, за углом постоянно громыхавшем трамваями, был кафетерий на пять столиков, со стойкой и торшером у занавешенного окна. Стас часто там сиживал, рисовал квадраты и круги на бумаге, отпивая кофе из маленькой чашки, слушая музыку из «Спидолы» на зеркальной полке. Газет он не читал никаких никогда. Раз в час буфетчица, радушно двигая плечами, приносила ему большую рюмку коньяка, грамм на восемьдесят, с тремя дольками лимона на блюдечке.

– Спасибо, Александра Николаевна, – говорил Стас.

– Да ради Бога, Станислав Сергеевич, пейте на здоровье, – отвечала дама, отсвечивая золотым зубом. И осторожно ступая, уходила, пятясь от уважения.

Под проливным, секущим, косым дождем, под хмурым ветром, дувшим с близкого канала, Кравт и Алик вышли из автобуса и, перейдя улицу, зашли в кафе, промокнув до нитки. Стас приветствовал их жестом ладони. Он не был ни добродушен, ни доброжелателен, он был таким, каким был, – Станиславом Сергеевичем Красько, упрямым рабом своих страстей, желаний, интересов.

– Хорошо тебя, Илюха, приложили, хе-хе, – сказал Стас почти умильно. Он обращался так к Кравту на правах старого знакомого.

Кравт был в черных очках, но они только усугубляли его вид. Правая скула и ухо затекли сизо-черной гематомой, уходившей под очками к глазу и лбу. Шел Кравт, сильно хромая, боком, из-за жутких болей в ребрах. Но все же держался неплохо, не морщась, не жалуясь.

Александра Николаевна подошла к ним тут же, придержала Кравту стул. Стас сказал ей про еще два коньяка и два кофе, и она грудным голосом ответила ему: «Немедленно, Станислав Сергеевич, на пуэнтах». Она говорила: «на пуэнтах».

Стас сидел в белой итальянской рубахе с открытым воротом, в золотых массивных часах, волосы расчесаны на пробор, волосок к волоску – руководитель нового типа, энергичный, открытый к творческой дискуссии, как написали бы в газете способные журналисты.

– Конечно, к дискуссии, – подумал Кравт, – конечно, к творческой.

Руки Стаса были смуглыми, сильными, в жилах и венах, настоящие рабочие руки, хотя он ни одного дня в жизни не работал. Сначала бегал спринтерские дистанции, потом сидел, потом опять сидел, потом грабил с применением оружия, потом грабил так, без

оружия, потом опять сидел. Сейчас Стас был на свободе, изучал рынок и жизнь. Он был в солидных очках и, хотя они не были ему нужны, Стас правильно делал, что их носил – откровенный взгляд его желтых глаз мог вызвать инфаркт или что-либо подобное у неподготовленного зрителя.

Мельком оглядев Кравта, Стас сказал, ни к кому не обращаясь:

– Так, преступление и наказание. Пятьсот рублей будет стоить.

– Что? – спросил Алик.

Кравт догадался, о чем говорит Стас. Это была его Кравта больная, горящая тема.

– Ты скажи лучше, чего надо? – сказал Стас.

Они все выпили по неполной рюмке. «За встречу», – сказал Стас. Он был вполне цивилизованным человеком. Очень многое понимал и все помнил.

– Я шел с женщиной, – сказал Кравт, не морщась, – меня встретили у ее дома три человека, избили, ее тоже ...наказали. Теперь угрожают повторить все сначала, если мы опять встретимся. Можно это все разрешить как-нибудь? Я сам это сделать не в состоянии.

– Давай по порядку, Илья. Это ее хахали? Хахаль?

– Хахаль, бывший, – сказал Кравт, – он главный.

– Так. Им что сделать? – поинтересовался Стас. – Побить, как тебя? Сильнее? Слабее? В больницу их? Ты говори, не бойся и не стесняйся.

– Как меня, – ответил Кравт.

– Понятно. Я же говорил, что синяки твои тянут на пятьсот рублей, и выходит пятьсот рублей. Но тебе сделаю скидку на полцены. Две зарплаты твоих, – сказал Стас. Двести пятьдесят рублей, действительно, составили две месячные зарплаты Кравта вместе с таинственной добавкой с названием «прогрессивка».

– Я принесу деньги, – быстро сказал Кравт.

– Погоди. Дай сейчас пятьдесят и расскажи имена, адреса, все, что знаешь. Дома сиди и молчи. Через три дня придет к тебе человек и скажет прийти сюда. Тогда придешь с деньгами, – сказал Стас.

– Это все? – спросил Кравт.

– Да. Александра Николаевна, еще по разку, – сказал Стас. – Все молчат, это ясно. При любом раскладе все молчат, как рыба окунь.

Он опять оглядел их, не узнавая. Потом отвел тигриные бурожелтые глаза. Кличка у него с молодых лет была «зверь». Но все его называли Стас, кто мог, или Станислав Сергеевич, кто не мог, – ему так было удобней. Некоторые иногда называли его Пичугой.

– Давайте, ребята, за нашу молодость, за наш спринт, за нас, за преступление и наказание, – сказал Стас. Он пил коньяк, как воду.

Дождь на улице усилился. Бежали прохожие от трамвайной остановки, разбрызгивая лужи, прикрывая головы сложенными вчетверо газетами и черными папками из кожзаменителя.

– Слух прошел, ты что уезжаешь, Алик? – спросил Стас.

– Подал заявление на выезд, но ответа нет пока. Вот, жду у моря погоды, – легко сказал Алик.

– А ты еще не подал, Илья?

– Нет, – Кравту было не по себе. Его смущало обращение к Стасу. Это было неправильно изначально, не по резьбе, как говорили когда-то в их дворе приблатненные подростки. Примиряло с происходящим лишь то, что Стас попросил денег за услугу. Получалось, платное зло

за бесплатное, почти баш на баш. Бешенство одолевало его по-прежнему.

Кравт боялся этого чувства и того, что не может его подавить. Никак он не мог справиться с видом лица торжествующего Толика, насмешливого и уверенного парня без пощады и милости.

– Стас всегда поможет старым друзьям. Правильный поступок совершил, Алик, даже не сомневайся, – сказал Станислав Сергеевич.

– Сомнений нет совершенно, – сказал Алик, – волнения посещают, тревоги, это да, а сомнений нет.

– А ты что же, Илья? – спросил Стас.

– Я не хочу уезжать, – ответил Илья. «Может быть, я хотел бы приехать туда, но уезжать отсюда не могу», – подумал он. Кравт был недоволен собой, душа его была неспокойна. Еще бы! Но ничего не мог с собою поделать. Буквально ничего. Это все было сильнее его.

Интересно, что Стас относился к отъезду из СССР своих знакомых, как к невероятному гангстерскому налету, которому нужна и большая удача помимо умения. Как и всему в жизни.

Александра Николаевна возилась за стойкой, нарезая французский батон длинным хлебным ножом с ребристым краем. От физических усилий прядь пепельного цвета волос падала на ее молодое лицо, и она безуспешно отдувала их в сторону. Радио пело за ее спиной популярную песню, помогая в работе. Возле нее стояло блюдце с маслом, еще одно блюдце с красной икрой и тарелка со свежекопченой колбасой. Она строила бутерброды для хозяина. Лицо женщины выражало старание и преданность. «Все для вас, дорогой Станислав Сергеевич, все, только будьте сыты и довольны».

– А вот такого Котю Мрара не встречали, он тоже туда едет скоро, деятель на почве не знаю чего, знакомый мой, – сказал Стас, – можно сказать, корешок.

Алик ответил, что знает такого. Кажется, это было опрометчивое признание, но он был недостаточно собран и совершал ошибки.

– Ну и как он, Котя этот? – спросил Стас индифферентно, – можно ему доверять на шестьдесят шестом году Советской власти?

– Трудно так сразу ответить, человек как человек, я с ним мало знаком, – Алик ничем не был обязан Мрару, а Стасу, которого знал лет сорок, обязан. – Мне Мрар не нравится.

– А тебе Илюша, как он, как этот пустяк тебе?

– А мне и подавно. Но я в людях часто ошибаюсь, – сказал Кравт.

«А Стас тебе, значит, нравится? В Стасе ты не ошибаешься?» – подумал Кравт. Голова у него болела чудовищно, раздувшееся ухо пульсировало, он был недоволен всем-всем, и, прежде всего, конечно, самим собой.

Александра Николаевна принесла всем кофе. Она опоздала с кофе совсем немного. Но опоздала. После этого она принесла две тарелки с бутербродами. Все было красиво и празднично.

Стас выпил коньяк и запил его кофе.

– Кофе каким должен быть, мне недавно рассказали. Черным, как ночь, горьким, как ад, крепким, как любовь, и сладким, как поцелуй. А?! – сказал Стас. Он был чего-то расслаблен, разом сдал, коньяк он пил с утра. – Вот у нашей Саши кофе такой, как любовный поцелуй. Остаемся вообще одни. Джона убили, Владимир Семеныч умер, теперь ты, Алик, уезжаешь? Что будет, а? Вот Илюшу обидели, козлы? Что происходит? Где войска ОБХСС и их командир Котя Мрар, а?!

Стас осмотрелся достаточно опасным и не предвещающим ничего хорошего окружающему миру взглядом. Глаза у него были желтые в красных прожилках, узкие, азиатские. Он увидел напротив Алика, не найдя вблизи себя ни Джона, ни Владимир Семеныча.

Никто за все это время в кафе не зашел, даже случайно, даже спрятаться от дождя на время. И после тоже в эту кафешку никто не забредал, даже случайно, даже по ошибке. Как будто люди чувствовали что-то, как будто знак был какой на заведении Александры Николаевны. Вроде цветка в горшке на подоконнике. Но ничего на кафе не было обозначено, была советская власть, наряд милиции на углу, трамвай, вылезающий из-за поворота в снопах искр, райторг в ста метрах и неподкупный, но выпивающий ревизор оттуда.

– Хоть ты, Илюша, не сдавайся, а? Я тебя уважаю. Запомни, – сказал Стас.

Кравт посмотрел на него и запомнил его слова. Когда-то в молодости Стас читал ему вслух свой рассказ под названием «За окнами август», записанный в толстой тетради с коленкоровой обложкой неаккуратным, прыгающим почерком. Дело в этом неожиданном рассказе происходило на взморье. Прибой, мокрый песок, любовь. Девица, которую герой носит по пляжу на руках. Романтические признания, объятия и внезапная сцена орального секса под шквальным дождем и ледяным балтийским ветром. Кравт возбудился и сказал Стасу:

– Наверное, это запрещенный прием в литературе, подмена интереса, а впрочем, не знаю.

– Кем запрещено? – спросил Стас подозрительно. Потом он захохотал: – Девки разве запрещены кем-то? А?! А если это любовь?

– Ну, не знаю, я неправ, – сказал тогда молодой Кравт. Он не знал, что говорить в таких случаях, и ругал себя за то, что согласился на этот разговор.

– Вот. А говоришь, – сказал Стас. Но выглядел он не очень уверенно, кажется, впервые в жизни. Ему понравились слова и чтение их. Интуитивно он понял, что с литературой все не так просто, как кажется. Больше никогда он к этому делу не возвращался, если не считать его последующую деятельность реализацией некоего заигранного драматического сюжета.

Когда они, наконец, ушли из кафе и под дождем торопливо шагали к остановке, Кравт спросил:

– Слушай, ну, вот, кто Владимир Семеныч, я понимаю, Высоцкий. А Джон – это Кеннеди, что ли? Фитцжеральд? Президент?

– Джон – это Леннон из группы «Биттлз», его застрелили в прошлом году в Штатах, а Кеннеди-то нет давно, убрали его, ты чего? Он всегда живой, – сказал Алик.

– Прости, не подумал, – сказал Кравт.

– Помнишь их песни? «Мишель»?! «Вернись в СССР»! Помнишь?!

И стал что-то напевать на ходу.

– Помню, но очень смутно. А то, что ты поешь, всегда похоже на твою песню про ветра, реки и юга.

Остановившись – ему было тяжело идти, Кравт спел куплет из песни, сделавшей Алика знаменитым и популярным. Слова он переврал, мелодию тоже, но Алик был растроган и даже потрясен. Дождь освежил лицо Кравта, сделал его молодым, красивым, нерусским. Все песни, которые он знал, Кравт объединил в одну и увлеченно пел Алику на углу напротив кинотеатра «Москва» под проливным дождем.

А тот подпевал ему, как мог, прихлопывал, двигал плечами, но потом сдался – не успевал за словами и мелодиями. Пробегавшая мимо старуха с сеткой в руке успела, не останавливаясь, недовольно сказать им: «Вы что людей пугаете, пьянь болотная, а?» Но убежала быстро, напрасно боясь наказания и дождя.

Через пять дней к Кравту вечером домой пришел молодой человек, сутуловатый, стриженый, непонятный, и сказал в прихожей, что его ждет Стас «здесь недалеко».

Кравт собрался, он уже восстановился почти полностью, и вышел за парнем, достав деньги из книги Катаева «Белеет парус одинокий», стоявшей на верхней полке. Эта книга ему нравилась. Он чуть хромал, но поспевал за парнем, который шел, не оглядываясь. Они прошли вдоль всего дома к торцу в разводах сиреневой краски. Стас ждал его напротив дверей у входа в ЖЭК, аккуратный, как всегда, глаженый, нарядный, вместе с еще двумя, в рубашках с короткими рукавами, трезвыми славянскими богатырями.

Они отошли с Кравтом в сторону, и Стас деловито сказал ему:

– Все в порядке, что ты просил – сделано. Твари поняли, что ошиблись и жили неверно. Они стали другими людьми. Сердечно извиняются два раза за недоразумение.

– Спасибо Стас, вот деньги, – сказал Кравт, умиравший от любопытства, – это было сложно? – Он протянул Стасу десять лиловеньких, липких от новизны двадцатипятирублевок. Тот положил их в задний карман брюк, не считая. Деньги Кравт одолжил у Алика.

– Все нормально. У меня ребята – исполнительные. Учителя у них хорошие. Ты звони, Илья, так просто звони тоже, не только по нужде. Ну, пока, – сказал Стас. Он повернулся, и они все вместе, энергичной мужской группой ушли со двора в сторону проспекта под светом непонятно почему горевших и ненужных населению в мае месяце фонарей. Тень от этих ребят была прозрачная, быстрая, почти и не тень в общем смысле слова. Лишь некое подобие тени, что являлось ленинградской погодной правдой. Они не были слугами Сатаны. Стас, которого они называли по имени-отчеству, только пытался играть Сатану.

Назавтра на работе ни Толика, ни его друзей не было. Кравт их не заметил, хотя и всматривался и даже искал. Ануфриев сказал в перерыве, что парни загуляли, видно, да «дело такое, молодое, законное, лишь бы без драк и ненужных задержаний органами милиции, а то потом не оберешься».

К вечеру Кравту позвонила Тоня:

– Толик попал в больницу. Никто ничего не знает, но вроде он упал с лестницы и поломал руку и ногу. И вообще, он без сознания, – шептала она в трубку. – С ним еще Лешка из ШИПа в больнице, тоже с увечьями, который тогда бил тебя ...нас, и второй, не помню сейчас, как звать. Не пожалели их дружки-то.

– Почему ты так тихо говоришь? Я не слышу, какие дружки? – сказал Кравт.

– Я переживаю сильно, теряю голос. Дружки их лупили, такие же, как они, кто еще так может? – сказала Тоня, всхлипывая. – Видишь, Илюша, Бог, он все видит. Медленно запрягает, а бьет наотмашь.

– Не так и медленно он запрягает. Я не переживаю. Не смеюсь, но и не переживаю. Инцидент исчерпан, до свидания, – сказал Кравт. Жена его, склонив голову, слушала этот разговор, стоя поодаль в дверях кухни с дымящейся кастрюлькой супа в руке.

В этот вечер ординарная работа за письменным столом абсолютно трезвого Кравта приняла какой-то странный размах и необычное для него в письме возбуждение. Откуда-то появились в его тексте, который ушел от намеченного сюжета далеко в сторону, безжалостные гангстеры с железными скулами, с проборами в набриолиненных волосах. Сюжет заострился до блеска чужого никелированного клинка. Уголовщина полезла отовсюду на первый план, щеря стальные зубы, сплевывая на паркет отремонтированного дома, размашисто гася окурки о столы. Испуганных девок волокли в темные углы здоровые парни, кого-то безжалостно били по лицу кулаком, кого-то топтали лакированными ботинками. Ловко и размеренно, под неразборчивое бормотанье быстрые пособники считали замечательно новые купюры в увесистых пачках, с треском извлекаемые из банковских упаковок, и так далее. Печатал Кравт набело, без написанных заранее страниц. Ему трудно было остановиться, споткнуться.

Жена принесла чаю и, неловко постояв за его спиной, вышла.

Перечитав все это поутру, Кравт удивился. Он выбросил вчерашние три страницы. Остался неприятный осадок, как, став взрослым, неожиданно понимаешь свою прежнюю явную слабость, несамостоятельность. День он ходил на работу, день не ходил. Больничный уже закончился, но он все равно остался утром дома, с удовольствием походил, почитал, подумал, глядя в окно, которое жена уже приспособила для тепла и лета. Она убрала стеганый пыльный материал, лежавший зимой между оконными рамами, тщательно помыла стекла, протерла их скомканными газетами, и теперь Кравт наблюдал жизнь за пределами своего дома в радужной оболочке и сиянии.

Ничего особенного не происходило. В узком просвете между домами ехал троллейбус, вместе с активистом ЖЭКа большими шагами ходила в ботах по двору дворничиха, держа натруженной рукой метлу. Активист, узкогрудый мужчина в шинели и сапогах, кашлял в кулак, выговаривая женщине за пробелы в уборке территории и показывая на них. Она покорно слушала, молча выражая с ним несогласие. От пивного ларька к поликлинике шел, загребая ногами, участковый милиционер дядя Коля. У луж кричали птицы. На лавке у газона сидели две старухи в теплых платках и обсуждали половую жизнь и поведение молодежи вообще. Они осуждали и то и другое, энергично обмениваясь накопившимися за ночь отрицательными эмоциями.

У Кравта не было ощущения, что он работает в литературном окружении, в компании каких-то литературных родственников. Он не чувствовал своих предшественников, если говорить правду. От того, видно, и создавался этот прецедент оригинальности и свежести. Но это, конечно, не совсем правда. Кравт на самом деле выглядел очень сильным, самостоятельным и независимым человеком. Его зрение было пронзительным.

Когда он, не колеблясь, но все-таки смущаясь, брал деньги у Алика, тот попросил у него почитать чего-либо.

– А то нехорошо получается, уеду и не прочитаю, – сказал этот человек. – Нежин вон читал, Клара, даже Мрар откуда-то читал, все читали, а я нет.

Кравт приготовил картонную папку с тремя повестями и передал, когда Алик принес ему деньги для Стаса. Алик отпустил бороду. Недельная щетина была ему к лицу, меняя привычное, расхожее выражение гуляки на мужественное и задумчивое. Он был стильно одет в

полосатые брюки клеш и итальянскую желтую рубашку с большим распахнутым воротником.

– Что так, почему борода? Готовишься к новому облику? – спросил Кравт.

– К новой жизни. Потому что нам нельзя стричься до 22 мая, до пятницы то есть, бриться. Когда-то умирали послушники от чумы, вот поэтому и нельзя, траур. Жениться нельзя в эти дни тоже, – сказал Алик. Он выглядел комично.

– Ну, хорошо, – сказал Кравт, – хорошо. А после 22 мая, после пятницы, можно бриться?

– А после 22 мая можно и даже нужно стричься, бриться. Необходимо жечь костры, прыгать через них, выражать радость, танцевать, жениться и прочее, – сказал Алик.

– Каждый год так? – спросил Кравт. Он удивлялся тому, что есть еще мир кроме этого вокруг. Примерно, как если бы вдруг обнаружилась жизнь на другой планете.

– Каждый год, – сказал Алик, – но даты разные, календарь другой, разница в две-три недели может быть, но дела это не меняет – бриться нельзя.

– Очень странно, – сказал Кравт, – чума, послушники, Боже мой.

– Ничего странного, – сказал Алик, – абсолютно ничего странного.

Через день он позвонил и сказал:

– Нехорошо, что ты мне не давал ничего читать. Не знаю почему, но нехорошо. Конечно, ты местный человек, абсолютно их человек, но и не печатают тебя правильно, Илья. Зачем ты им сдался такой?

Алик был очень умным, образованным, тактичным мужчиной, всегда понимал, как надо и как не надо, что в масть идет, а что – нет.

Однажды ранним августовским утром за тринадцать лет до этого он встретил Кравта и сообщил, что советские танки вошли в Прагу.

– Откуда ты знаешь? – спросил Кравт.

– Би-Би-Си передало ночью.

– Не может быть, – сказал Кравт, потрясенный и скомканный.

– Без этого нельзя, старик, это власть так все видит и правит, нечего тут гулять и кричать «Свобода!». Какая свобода? Какие чехи?! – сказал Алик. – Они будут здесь править еще двести лет, четыреста лет, пожилые люди. Это все будет вечно.

Он обвел рукой небосвод.

Подавленный Кравт с ним согласился. Да и кто бы спорил, когда все это было чистой советской правдой.

– Странно, все-таки, что ты ночами слушаешь неизвестно что, неизвестно кого, вместо того, чтобы спать или любить, Альберт? – сказал Кравт. Он был не совсем в теме, не в актуальном пространстве.

– Так получилось, Илья, не специально, – отозвался Алик.

Они покурили тогда у торца дома Кравта, возле табачного киоска. Мимо них шли на смену хмурые рабочие. Кравт должен был пойти вместе с ними, но у него не было сил собраться, и он все стоял с Аликом и курил в то утро. На работу он опоздал. Начальник ему ничего не сказал, сам был невыспавшийся, с красными глазами, раздраженный. Он был огорчен, или это Кравту показалось? Люди в отделе тревожно шептались. Он слышал в разговорах коллег слова: «танки», «ночь», «свобода», «улица», «Прага», «наши, наши, наши, наши», «им не оставили другого выбора». Кравт весь день хмурился, молчал, работал с трудом, потому что думал совсем о другом. Остальные тоже рабо-

тали кое-как. Только танки работали в СССР хорошо, «ромбом», как написал советский писатель-баталист.

– Возможно, твоя проза и останется после них, но при них ее не будет, это точно. А они вон какие железные, стальные, луженые, с моторами. Они всегда правы. Я читал, затаив дыхание, если это тебе важно.

Алик был уверен, что уезжает совсем. Действительность предполагала ему другую жизнь без отъезда. Отблески его судьбы, прочеркивая полыхающие линии в космическом пространстве ночи, уходили в неизвестность. Направление этих линий случайно угадывал Кравт, глазам было больно от всполохов, и он закрывал их в поисках покоя. Про всех он все видел, а вот про себя – ничего. Этот факт его радовал, как ни странно. Хотя радоваться-то было нечему. – Мне разрешения нет, а Мрар уже все получил. Давай я передам ему твою папку, а?! Ты же не пробовал пробиться ни разу на Запад, – сказал Алик.

– Только не Мрар, только не Мрар, прошу тебя, по нему все ДПЗ плачут, войска НКВД гонятся за ним, Стас его подозревает, и тут Илья Кравт с повестями, нате вам. Только не Мрар, кто угодно, но не он, – восклицал Кравт пылко, но не раздраженно. – Ты неразборчив, Алик, в привязанностях, повторю тебе не в первый раз.

– Могу себе позволить. Наверное, ты прав, но ведь и ты тоже не слишком размышлял, когда шел к Стасу, – отвечал Алик.

– Не сравнивай, не сравнивай, я не мог ждать, мог умереть от беспомощности, – Кравт выглядел и говорил очень убедительно.

Жена, проходя из кухни, мельком сказала, что завтра дочь плывет на чемпионате города и надо придти. Она убедительно несла выдающийся свой стан. Она была женщиной с подавленными эмоциями, которые прорывались очень редко. Чресла ее двигались в лад с мелодиями и ритмами Востока. Сама она была из Белоруссии, и это не есть Восток. Но гены у нее были победительными, гены.

– Каким стилем плывет наша девочка? – спросил Кравт.

– Кролем, а ты что, не знал?

– В бассейне СКА?

– Да, в шесть вечера, позови Алика, – сказала жена, скрываясь в комнате.

– Алик, приглашаем тебя в бассейн СКА, там завтра наша Мариночка плывет вольным стилем сто метров, да? – спросил Кравт.

– Обязательно приду, сколько ей лет, красавице?

– Одиннадцать.

– О-го-го, скоро замуж, а каким стилем плывет?

– Кролем.

– А ты сказал вольным, а?

– Это одно и тоже.

– Ничего себе, как все сложно, движение одно, а названия разные.

– Да, вот так у нас, все не просто, в плавании.

– Обязательно приду.

Мест для зрителей было немного, хотя бассейн был большой. Такие тогда строили в СССР спортивные сооружения, такая была мода на архитектуру. Находился бассейн на Лесном проспекте, много стекла, металла, скульптур – метательница диска, футболист, ведущий мяч, не глядя на него, гордая гимнастка в тренировочном костюме и с флагом. Висели флаги и транспаранты. Не хватало ветерка, который бы хлопал полотнищами.

Пловчих на дистанции Марины Кравт было немного, предварительные заплывы, полуфинал и финал, все в один вечер. Над стартовыми тумбочками висел плакат «Привет участникам соревнований», знамя ЛВО с кистями и новенький флаг СССР, на стене – портрет какого-то деятеля, издали Кравт не мог разобрать, кого. Кажется, это был секретарь Ленинградского обкома. Или член Политбюро. Плеск воды, легкий запах хлора, все было нарядно и празднично.

Марина казалась неожиданно высокого роста, в шерстяном тренировочном костюме, гибкая, серьезная девочка с алым румянцем волнения на скулах. Когда она на разминке крутила прямыми руками вперед и назад, Кравт нашел в ней сходство со своей матерью, которого никогда раньше не наблюдал. Мать, умершая три года назад, была старой комсомолкой, любила свою прошедшую жизнь и не жалела ни о чем. Даже войну она вспоминала без особых эмоций. Только иногда она говорила Кравту, что Сталин, конечно, был большим подлецом, но ведь нельзя думать, что человеческая жизнь состоит из Сталиных и ему подобных.

– А из чего же и из кого состоит наша жизнь, мама? – спрашивал Кравт. Она смотрела на него нежно поверх круглых коминтерновских очков, оправа из металлической проволоки, и говорила:

– Ах, Илюша, ты еще молод и многого не знаешь...

– А все-таки, мама? – настаивал Кравт.

Мама занервничала, ей, похоже, надоело настойчивое непонимание сына. Илья тревожил ее. Она сдвинула очки, расправила скатерть и вздохнула.

– Я помню, как носила тебя и читала в газетах статьи на актуальные политические темы, как поэты требовали расстрелять людей «как бешеных собак», как мы приходили домой и ждали твоего отца с работы, и когда он приходил, мы с ним говорили на идише из боязни стен, соседей, парней Ежова и Бог знает каких сотрудников из невероятных советских контор. Я помню, как началась война, помню голос Молотова, помню, как мы с тобой и моими родителями уезжали в эвакуацию из Питера не помню какого июля, в самом начале, помню, как принесли бумагу о гибели твоего отца, я помню, какой он был, помню, как кончилась война, помню, как в марте умер Сталин, помню, как ты женился, я очень многое помню, – сказала ему мать. Она была статная, курчавая, близорукая женщина, с замечательными плечами, со своими любимыми страстями, привычками, привязанностями.

Алик пришел в бассейн в умопомрачительном кремовом костюме, как на премьеру в оперу. С ним была девица со стянутыми назад волосами, по виду танцовщица, он обожал танцовщиц, считая их лучшими женщинами современной жизни, они тоже жаловали его. Все зрители смотрели на Алика и его даму с высоко открытыми прекрасными ногами, ему это нравилось. Девица очень гордилась своим видом и ни на кого не смотрела. Несмотря на большое число выпасаемых Аликом дам, он все же не выглядел большим пастухом. В нем чувствовался любитель, что, конечно, тоже немало. Вот Стас был пастух-профессионал. Какой из Стасов? А оба.

Алик же был любителем хорошего уровня, таких тоже немного.

Пользуясь новыми знаниями о товарище, Алик громко сказал, стоя у подножия трибуны: «И прячется от взоров, и собственных стыдится книг». С трибун прохладные зрители глядели на него с известным ленинградским скептицизмом: бестактный, мол, и шумный человек.

Кравт же отнесся к этим словам спокойно.

– Присаживайтесь, – показал он Алику и его даме на ряд перед собой. Восьмилетний остриженный наголо сынок Кравта, смешливый, ясноглазый, ловкий, с удивленным и лукавым лицом, сидел возле отца, держась за его пиджак. За ним сидела жена Кравта, усталая от мыслей о жизни, семье и о том, как все будет с ними.

– Я не стыжусь своих книг, это не про меня, – сказал Кравт негромко, наклоняясь к Алику.

– Я сказал про то, как ты прячешься от взоров, а не про книги – объяснил Алик.

Кравт посмотрел на него внимательно и неодобрительно. Как они дожили до заплыва Марины, не поссорившись, было непонятно. Дочь разминалась вместе со всеми, раскручивая руки вперед и назад широкими кругами.

Потом человек в черных нарукавниках выстрелил, и девочки прыгнули в воду, летя в нее почти параллельно поверхности. Гладкие тела пловчих были не тяжелыми, вода вытесняла их на поверхность.

Марина Кравт плыла, как узкая торпеда белого цвета. Длинные руки ее двигались быстро, мягко взлетая над головой. Девиз ее движений был скорость и пластика. Во время заплыва она тянула руки вперед, а не вверх, как это делали остальные пловчихи. Как будто у нее в локтях и плечах вместо суставов были резиновые связки. Брызги не сопровождали ее движение в воде.

Несколько мальчиков и девочек, сидевших на первом ряду скандировали ее имя, отбивая ритм руками о скамьи.

Марина без видимых усилий выиграла подряд все своих три заплыва и стала чемпионкой. Она пользовалась тем, чего у нее было много – гибкостью и пластикой. Она была первой без достойных оппонентов. Из бассейна Марина, улыбаясь, счастливо обвисая на разделительном тросе, махнула рукой семье на трибуне, потом ребятам, потом сдернула шапочку и освободила волосы.

– Олимпийская надежда наша, – сказал Алик восторженно. Все-таки в нем было что-то неистребимо газетное, комсомольское, общественно-жэковское. Уже не дружинник, но все еще агитатор. Можно добавить в этот список и слово «безнадежное». Кравт широко улыбался, но не говорил ничего про дочь, боясь сглазить ребенка.

– Сколько девочке лет, говорите? – почтительно спросил мужчина, сидевший рядом. Завсегдатай всех стадионов и соревнований, от районных до мировых, с приоритетом в сторону районных первенств. Такой бывалый дядя Виталик, который помнит всех и знает все о спорте, о политике, о жизни, который может сварить кашу и приготовить шашлык, починить машину и вспомнить любое событие последних лет пятидесяти. Малоопасный, неухоженный, любопытствующий.

– Одиннадцать лет ей, – сказал Кравт.

– Ну, тогда к восемьдесят восьмому, к Олимпиаде, будет самый раз, – сказал болельщик. Он пригляделся к Илье, что-то понял и улыбнулся себе за догадливость.

– Да она и к восемьдесят четвертому поспеет, она еще в Лос-Анджелесе поплывет, как королева, – сказал Алик мужчине задорно.

– Дело не в ней. В Лос-Анджелес на Олимпиаду наши не поедут, отомстят американцам за Москву, за бойкот, – сказал мужик уверенно.

– Вы так считаете, уважаемый? – спросил Кравт. Он и сам так думал, только не говорил вслух.

– Уверен на все сто, как они к нам, так и мы к ним, так устроено в большой политике, – чеканил дядя. Его мозг шахматиста второго разряда просчитывал все вперед, ставя в тупик прирожденных умников типа Алика. Его больная правая рука, забинтованная до локтя, висела на повязке из полосатого шарфа.

– Возможно, вы правы, но сейчас ничего знать нельзя, давайте возрадуемся Мариночке и ее успеху, – провозгласил Алик. – Тебя Илья, Стас просил позвонить, не сказал зачем.

Марина подошла к ним по обочине бассейна, стесняясь внимания. Она стояла у подножия трибуны, выглядела старше своих лет, с осунувшимся бледным лицом, прической назад и медалью и грамотой в руке, с которыми не знала, что делать.

– Я горжусь тобой, детка, – воскликнул Алик и поцеловал девочку в лоб. Брат скатился с трибуны и пожал ей руку. Лицо у него было восторженное и худое, и Кравт пронзительно пожалел, что не взял с собой фотоаппарата. При всей его необъяснимой настороженной неприязни к фотографии иногда он жалел, что не фиксирует жизнь вокруг себя посредством фотокамеры, скажем, «ФЭД» или «Киев». Номеров их Кравт не знал, просто знал, что общее название их таковое. Видел твердые кожаные футляры с лаковым покрытием.

Он пожалел, что не может сфотографировать своих смеющихся, счастливых в этот миг детей. Ему вдруг показалось, что словами невозможно рассказать блеск и сверкание глаз, восторг и одновременно грусть, свистки и возгласы, синеватый воздух бассейна и сдержанный гомон людей на трибунах, гулкие голоса тренеров и плеск воды. Фотография отразить всего этого, конечно, тоже не могла, но Кравт подумал, что все-таки выражение лица может остаться. Мысли эти не раз посещали его и прежде, но не казались судьбоносными и окончательными. Привязанность к слову была предопределенной и очевидной.

Розовый уют и плюшевая ласка советской жизни иногда менялись в его сознании на азиатские, неповторимые, местные ритмы, на бешеные русские пляски. И тогда, ох, только держитесь за барьеры, господа наблюдатели, господин Кравт, господин Нежин и другие.

Сбоку Кравт вдруг увидел того сутуловатого парня, который вызывал его вечером на встречу со Стасом во дворе. Он сидел в первом ряду, с краю, как гость и посторонний, и во все глаза смотрел на девочек в бассейне, а на Кравта не обращал внимания. Кравт кожей почувствовал, что одинокий этот парень сидит здесь из-за него, а не из-за гладких мерзнущих девочек с прямыми плечами в глухих спортивных купальниках. Илья почувствовал себя плохо, пересохло горло, забилось сердце, застучало в висках. «Эх, пташка, писака, пришло ваше время, пришло», – сказал чей-то пронзительный голос.

– Здрасьте, Илья Семеныч. Станислав Сергеевич вас ждет сейчас, поехали, – сказал парень, подошедшему к нему Кравту.

– Давайте позже, у меня тут дети, жена, – попросил Кравт.

– Он сказал «сейчас», – сказал парень глухо, глядя на Илью сверху вниз.

Кравт неловко попрощался со всеми, сказал Алику, что позвонит потом, и ушел с сутулым парнем на улицу. Кравт был подавлен и расстроен, не будучи в силах объяснить себе, почему так.

Они молча пересекли двор наискосок и сели в припаркованные у ворот чистенькие серенькие «Жигули» популярной первой модели. За рулем сидел здоровый парень со смазанным лицом, про него можно

было сказать, что он не специальный сильный человек, без примет и особенностей. Это было бы неверно, но очень близко к правде. Сутулый открыл Кравту заднюю дверь, а сам сел впереди, сказав выбросившему горящую папиросу шоферу одно слово: «Давай».

Под эстрадную музыку радиоприемника споро поехали по полупустому в этот час проспекту, обсаженному деревьями и стрижеными почти дикими кустами волчьей ягоды.

Расстроенный Кравт наблюдал улицу в окно машины.

«Скажем, что трамвайными блестящими путями и пышными пшеничными усами украшен наш проспект, и пролетарскими ногами утоптан наш асфальт. Цветными, нервными очередями заполнен наш тротуар, и сизыми роскошными ночами расцвечена моя судьба», – бессвязно подумал Кравт, а машина уже поворачивала на улицу Герцена. Он был раздосадован тем, что этот сутулый парень сбил его и увез от мысли, высказанной Аликом чужой строчкой «И собственных стыдится книг». Были в том же стихотворении и такие слова:

Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.

Кравт вспомнил эти слова и примерил на себя:

Он жаждал воли и покоя,
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою,
Где горбился его верстак.

Под стихотворением была поставлена дата – 1935 год, год рождения Кравта. Все сходилось с его жизнью один к одному, как будто было написано с Кравта, за сорок шесть лет до этого дня. Что означали все эти совпадения, Кравт не знал.

Он ехал в машине, которая была тесновата для плеч всех сидевших. Ехал автомобиль очень уверенно. Движение было слабое.

Стас сидел все в том же кафе на том же месте, подняв плечи. Остывший чай, пустое блюдце с крошками белого хлеба. Он выглядел несколько опустошенным, хотя по-прежнему аккуратным и даже симпатичным. По-своему симпатичным, как симпатичным может показаться посетителю зоопарка семиметровый бразильский удав или уссурийский тигр с черным бархатным ртом и белыми клыками размером с человеческий палец.

Александра Николаевна принесла им выпить и закусить. Она была очень хорошая, только жеманная от волнения. Муж ее вернулся из плавания, он был рыбаком на сейнере, по полгода в море, но здесь она волновалась больше, чем во время его возвращения.

– Ты извини, что я тебя дернул. Срочное дело. Мне нужна твоя помощь, Илья. Одолжение. Вот Мрар едет в Тель-Авив через неделю. Я хочу, чтобы ты передал ему две иконки, как бы от себя, попросил о помощи, – сказал Стас и откинулся на спинку стула.

– Иконки старые? – спросил Илья неловко.

– XVIII век. Мне самому не с руки просить его. Адрес я тебе дам.

– А если он не возьмет?

– Возьмет. Заплатишь ему и скажешь: «Там вам, Котя, добавят в валюте». Нет, слова «валюта» не говори. У него деньги должны победить страх. Куда он денется. Сделай, Илья, я тебе буду благодарен.

– У тебя, Стас, он возьмет как миленький, а у меня, не знаю, может быть, так, а может быть иначе, – сказал Кравт.

– Не хочу я светиться с ним, понимаешь, – сказал Стас терпеливо. – Гниловат он, может сдать, а ты не при делах, ничего не знаешь, понял?! Ты здесь остаешься, а ему ехать. Можешь сказать, что это дела третьего человека и оплата от него тоже, да?!

– Хорошо, а если он не возьмет, что я делаю тогда?

– Тогда ты раскланиваешься, говоришь: «Извините, Константин Шмерович, за беспокойство» и уходишь. До свидания. Тебя сейчас Валентин отвезет, – Стас протянул Кравту небольшой плоский пакет из оберточной бумаги. Сверх пакета лежал увесистый незаклеенный конверт. И еще один конверт, потоньше.

– Здесь пятьсот рублей тебе, за работу, – сказал Стас.

– Я денег не возьму с тебя, – сказал Кравт.

– Это я возвращаю долг, – сказал Стас. Руки его подрагивали от нетерпения, он не мог долго сдерживаться – это был его явный недостаток.

– Оставь, не возьму, ты мне ничего не должен, – сказал Кравт.

– Как знаешь, потом возьмешь, – раздраженно сказал Стас, – давай. Валя, поди сюда.

Подошел все тот же сутулый парень, который привез Кравта. Все это время он сосредоточенно сидел в углу над чаем. Оказалось, что он и косил ко всему.

– Отвезете человека на Халтурина, знаешь куда, он пойдет сам, дождетесь его. Ждите с машиной за углом, давай, – сказал Стас. Кравту он добавил:

– С Мраром ты там легче, не напрягайся, если видишь, что он прогибается, вертится, крутит, уходи сразу, я его иначе достану. Давай, Илья. Я тебя здесь жду.

На той же машине, что приехали, они и уехали. Домчались так быстро, что Кравт и не заметил, как они уже аккуратно тормозили у огромного здания на улице Степана Халтурина. От Марсова поля вдоль тротуара стелился сильный ветер с Невы. Кравт легко поднялся на третий этаж и позвонил в дверь. Открыл сам Мрар. Он был небрит, одет в растянутые шаровары и какую-то синюю дамскую кофту. Он не удивился появлению Кравта, с которым даже не был официально знаком. Мрар был уродлив до неприличия. Сочувствия своим видом он не вызывал даже у Кравта, человека доброжелательного.

Вывернутые губы, висящие щеки, бесформенный нос, бессмысленные глаза идиота заставляли даже стойкого и привыкшего ко многому Кравта отводить от Мрара глаза и прятать их долу.

Прошли в гостиную. Мрар прикрыл дверь, и они сели друг против друга. Вокруг стояли полусобранные картонные коробки, вещи, детские игрушки, стопка глубоких тарелок. Возле них лежала мельхиоровая поварешка и одинокая домашняя туфля на правую ногу. Здесь шли большие сборы в другую жизнь. За стеной гремели тарелками.

Кравт коротко рассказал свою просьбу. Стасовы свертки он держал в руках. Деньги выглядывали цветными краями из конверта, как безупречная приманка для Мрара.

– Мне не подходит, уходите, – сказал Мрар без паузы.

– Здесь есть деньги для вас, и там вам добавят еще в валюте, – Кравт удивлялся тому, как легко ему давался этот разговор.

Мрар быстро пересчитал деньги, подумал.

– А сколько там дадут?

«Догонят и еще дадут», – чуть не сказал Кравт фразу, которую говорили у них во дворе старшие ребята. Но не сказал.

В комнату вбежал высокий мальчик лет пяти, в длинных трусах. Он остановился, глядя на Кравта. Тот к детям относился без умиления, и они это тут же чувствовали. Мрар отложил иконы, привлек ребенка к себе, поцеловал в голову и отправил движением ладони из комнаты. Поднялся и прикрыл дверь.

– Вы останетесь довольны, Константин Шмерович, суммой, – сказал Кравт веско, – более чем довольны. – Кравт старался для Стаса.

Мрар взял иконы в руки, внимательно рассмотрел, покрутил в руках, пощелкал пальцем по ребрам их, аккуратно вернул.

– Я хочу в два раза большую цену и там тоже в два раза больше, – сказал он Кравту совершенно спокойно. У того уже голова кружилась от всего, от разговоров и торгов, от дочери, плывущей вольным стилем, от молчаливой жены, от Стаса и его интересов, от Вали-Сутулого, от Мрара, похожего на привидение из плохого сна, от тарелок на полу и мельхиоровых поварешек.

«Стас все просчитал верно с Мраром, – подумал Кравт устало, – Стас очень умный человек».

– Я должен переговорить с хозяином икон, но думаю, что проблем не будет, – сказал Кравт. Он поднял глаза на Мрара, тот олицетворял собой человека, о котором сказано: «Жадность фраера сгубила».

– Когда будет ответ? – спросил Мрар.

– Через час, – сказал Кравт. Спустился на улицу он уже легко.

Дорога к Стасу была повеселее, чем к Мрару, не могла быть иной. Играла инструментальная музыка, потом в приемнике запели хором.

– Вы не могли бы сделать чуть громче? – попросил Кравт шофера. Тот кивнул и невероятный шлягер Алика «от реки до реки, от зари до зари» засиял в салоне машины с новой, дикарской силой.

– Какая песня, – сказал шофер, вертя головой и припадая к рулю. Ему тоже хотелось расслабиться, а то все машина и руль, руль и машина. Сутулый молчал неодобрительно. Он озирался по сторонам, демонстрируя мускулистую шею. Кравт подпевал про себя, неслышно постукивая ботинком по резиновому коврику. Настроение у него исправилось необъяснимо. Плутовской роман выстраивался у Кравта из всех этих дел, чему он был рад. В конце романа все должны были разбогатеть, подлецы должны были быть наказаны, в Сарагоссе находили рукопись и все жили весело и богато по сто двадцать лет.

Стас, выслушав точный и скудный рассказ Кравта, длинно выругался и сразу ничего не ответил.

– Так, – сказал он, – так. Вот ведь гнида. Все правильно сделал, Илья, я очень тебе благодарен. Звони ему, скажи «да». Он у меня за это «да» еще станцует польку с бабочкой. Кстати, что это такое «мрар», что это за еврей с такой фамилией, а, Илья?

– Не знаю, Стас. Предполагаю, что это означает «мрак кромешный», что еще может быть?

– Это правда, что еще?! Может быть он не еврей, Мрар этот? Ну, не важно, не переживай, Илья, – сказал Стас. В кафе сидели еще люди, один – мелко-кудрявый, быстроглазый, другой – жутковатый, одновременно смешной, с наколками на кистях и пальцах. И сутулый Валя вдобавок. Все они были его людьми, Стас распоясался от своего могущества. Машина ждала на улице с шофером-богатырем.

– Я совершенно не переживаю, – сказал Кравт.

– Тогда возьми свои деньги, не обижай меня, – попросил Стас неожиданно.

Кравт, у которого заклинило с этими деньгами, помялся и сказал, поняв, что отказываться нельзя:

– Давай потом, Стас, решим про деньги. Мне ведь надо ехать к этому, забыл его имя.

– Хорошо, давай. Не расслабляйся только. Давай. Валя! – воскликнул он.

Сутулый, который кормил печеньем тигровой масти хозяйскую кошку Касю, жмурившуюся от счастья, мягко отодвинул ладонью животное. Он явно любил котов больше людей. Его можно было понять, учитывая род занятий и контингент общения. Сутулый шагнул к хозяину прямой ногой, как будто собрался играть в классы. Он встал по стойке «смирно» и смотрел на Стаса, как на картину Брюллова в Русском музее. Восторженно.

– Уехали обратно. Сейчас, – сказал Стас коротко. – Илью бережешь, как меня. Все, давай. Двушки у тебя есть?

Кравту Стас вручил конверт с изменившимся в плюс объемом. После звонка из уличного телефона-автомата на другой стороне улицы они выехали обратно к Мрару. Было уже совсем поздно. Все еще светло. Все прошло по знакомой схеме.

Мрар ждал Илью Кравта, разглядывая его с жадностью. Он не волновался, не боялся, был уверен, силен. Толстые губы его с редкими зубами за ними были отвратительны, как и прежде. То же самое можно было сказать и о его глазах, взятых от крупного насекомого.

Кравту стало смешно от своей неприязни к этому человеку.

«Бедный Израиль», – подумал он, глядя на чудовищный складчатый затылок Мрара. Тот шел прямо, без затей по коридору, не сталкиваясь со стеной впереди, как механический слон в джунглях.

– Вот деньги, вот адрес, а вот иконы. Будьте здоровы, – сказал Кравт в комнате.

– А если у меня это отнимут на границе? – спросил Мрар. Он немного играл в неведомую игру. Глаза его ничего не выражали по-прежнему, но в голосе можно было разобрать без усилий и вкрадчивость, и хитрость.

Кравт пожал плечами.

– Не знаю, что и сказать вам, но лучше пусть не отнимают, – сказал он.

– Вы понимаете, как я рискую? – спросил Мрар горько.

– Кто не рискует, тот не пьет шампанское, – сказал Кравт. Он не попадал в тональность Мрара, не собирался попадать. – Вы до войны родились? – спросил он.

– После войны, а что?

– Так. А выглядите, как будто довоенный, Константин Шмерович, – сказал Кравт. Он сам родился до войны. И Алик, и Стас, и Нежин и многие другие тоже родились в середине 30-х. Может быть, поэтому их поколению как бы недоставало радости, столь присущей родившимся после окончания той большой войны.

– Внешний вид обманчив, как хорошо известно, – сказал Мрар почти обиженно.

– Не волнуйтесь так, я уверен, что вы там не пропадете, адрес у Эйтана возьмите, он кажется влиятельным человеком на родине, –

сказал Кравт, как добрый сосед уезжающему в отпуск на Кавказ приятелю по курению на лестничной площадке.

– У меня уже целая книжка распухла от тамошних телефонов и адресов, надеюсь, что устроюсь неплохо, – сказал Мрар не без гордости, неожиданно расслабляясь.

– Тогда хорошо, тогда я пошел, – сказал Кравт, – а то уже поздно.

– Погодите, а что же с... посылкой? – спросил Мрар. Он вдруг начал нервничать, осознав, что не все так просто с его почтовой миссией и что бесплатных обедов не бывает.

– Вас найдут там, Константин Шмерович, и расплатятся с вами сполна, не волнуйтесь, – сказал Кравт, – не волнуйтесь.

Он подавил в себе жалость к нему и вышел прочь, считая, что больше его не увидит. Больше Кравт не видел этого человека никогда, только слышал о нем. Он думал о Мраре мельком, вспоминал его походку, речь, тупое выражение лица, багровый складчатый затылок. Кравт очень окреп, ожесточился за последние недели. Да и то, пора!

Ребята отвезли его по пустым улицам к дому, где он вышел наружу у закрытого пивного ларька, простившись с ними за руку. На свой этаж он поднимался тяжело, колени сгибались с трудом, спина не держала, день этот дался ему тяжко.

Дверь он открыл тихо и зашел в прихожую без особых шумов. Двухкомнатная крепость его сонно дышала в открытые майские окна. Тянуло зеленой свежестью, какими-то цветами, мокрой мостовой.

Жена, молчаливая женщина замечательных личных качеств, встретила его в рабочей комнате со стаканом чая в руке, у телевизора. Он сел подле нее и поглядев немного на экран, спросил со своей стыдливой, юношеской улыбкой:

– Ну, что дают, Аня, в столь поздний час?

– «Укрощение строптивой», я тебе сделаю чай, дети спят, ждали тебя, – сказала она. – Марина очень просит щенка купить.

– Давай о щенках потом, а? – сказал Кравт, неожиданно засмеявшись. Он взял ее руку, поцеловал, потерся подбородком, глядя, как собачонка, пересадил к себе на колени, обнял. Так они посидели некоторое время, не шевелясь. Потом они пошли спать, держась руками друг за друга.

– У тебя, вон, морщины какие железные у рта появились, – сказала она и провела пальцем по его лицу.

– Я знаю, – отозвался он, желая эту привычную женщину с полными губами, с сильной, все еще тонкой талией и всегда горячим для него лоном, больше всего. Больше других своих грешных страстей.

На другой день на работе Тоня подошла к нему в обеденный перерыв, никого не боясь, не стесняясь, и рассказала, заглядывая Кравту в лицо и дергаясь от волнения, что вчера к ней приходил домой Толик. Он был на костылях, синий, жалкий, просил прощения, извинялся за все, плакал и говорил «о страшных ошибках молодости».

– Глаза у него были такие... несчастные, больные, принес мне букет цветов, спрашивал, не надо ли чего, потом ушел, мне его жалко стало, ты что с ним сделал, Илья? – спросила она осторожно.

Толика на работе все еще не было. Наблюдательный человек из месткома или зам начальника цеха могли бы связать воедино все эти отсутствия, травмы, синяки разных людей воедино. Но столько было людей в цеху и за столькими надо было следить одновременно, а еще работа... Никто ничего не заметил и не соединил в одну картину

все эти больничные, сумрачные картины. Только Ануфриев, кажется, догадался, но не вмешивался, потому что это было не его дело. Он покачал головой и прищурил синие глаза, увидев Кравта с отходящими от первоначального, пронзительного цвета синяками в пол-лица.

Тоня не слишком много двигалась по территории цеха, предпочитая углы и стенки. Она стыдилась своего вида, в котором только очень опытный человек мог разглядеть женский непорядок и растерзанность души. Толика еще не было на работе, как будто его и не было там совсем. Парни его, братья молочные, друзья сердечные, тоже легко приболели и находились дома на заслуженном больничном листе.

А тут Тоня нарушила всю конспирацию и стояла напротив Кравта, глядя ему в глаза, ждала ответа.

– Я не знаю ничего про него, Тоня, я не знаю, что с ним случилось, он меня не интересует, – сказал Кравт через силу. Да и что он еще мог сказать ей? Он не чувствовал себя уверенно в этом разговоре. Он прекрасно представлял себе, что сделали с Толиком ребята Стаса. Он помнил сверкающие от торжества глаза Толика, когда тот бил его. «Как меня, так и его», – думал Кравт.

Говорить на эту тему Кравт не мог, не хотел.

Тоня посмотрела на него удивленным, изучающим взглядом, каким смотрят молодые женщины на безмерно удививших их людей, и покачала головой.

– Ну, нет, так нет, что поделать, – вздохнула она. – Очень мне нехорошо, Илюшенька, очень, не знаю, что со всем этим делать мне и как жить, – пожаловалась, потопталась и ушла, не простившись.

Кравт смотрел ей вслед молча и растерянно, будучи сам раненым и растерзанным человеком. Вернуть себя в прежнюю жизнь, в которой он жил до всей истории с Толиком и Стасом, у него не получалось. Все эти передвижения во времени и пространстве стоят очень дорого и даются безумно тяжело путешественникам, если вообще даются кому-нибудь.

Алик встретил его у проходной, у него была теперь масса свободного времени. Он стал неожиданным человеком вдруг, то есть совершал поступки, которых от него никто не ждал, даже он сам.

– Пойдем, друг мой, помолимся, – сказал он Кравту негромко. Тот принял это сообщение настороженно. Оно было более чем неожиданно. Люди вокруг торопились домой. Многие собирались принять «по пивку», легко. Другие были настроены более серьезно. Вряд ли кто думал о молитве.

На Алике были брюки в полоску, типа клеш, популярного в те годы фасона, рубаха с распахнутым воротником, золотая цепочка на шее. Щетину он свою уже сбрил. Он был похож на эстрадного артиста из Одессы, работающего в жанре чечетки. Заводские люди на него поглядывали, посмеивались, проходили мимо без замечаний.

Доехали до места на метро, а потом в переполненном автобусе без приключений. С горластой кондукторшей, настойчиво просившей «не толпиться» Алик поладил. У остановки напротив Института физкультуры автобус въехал, качнувшись в неглубокую, но обширную лужу, обдал водой людей, стоявших на остановке. Кто-то из них пустил в шофера матерком, но без сильной злобы, по привычке.

Алик сказал, что все, кто должен был уехать, уже уехали отсюда, остались только он, да Кравт, да еще один человек, сейчас познакомишься.

– Ты тоже скоро уедешь, – пробормотал Кравт. Алик продвигался вперед без страха и упрека. В железных распахнутых воротах синагоги стоял плотный служивый человек в суровом пиджаке и оглядывал пришедших без видимого интереса. Они прошли через синагогальный двор, заваленный заляпанными досками, кирпичами, арматурой и прочими предметами из тех, что называются широким понятием строительный мусор.

Подошли к боковой двери, спрятанной слева в глубине двора. Однажды в детстве Кравт был здесь вместе с братом мамы, отставным офицером, и именно отсюда они проходили в большой молельный зал, году примерно в сорок шестом – сорок седьмом. Наверное, тогда дядя Аркадий боялся появляться в синагоге с главного входа, потому что время не соответствовало никакой религии, и, вероятно, еврейской религии особенно, а, может быть, была и другая причина. Кравт запомнил, что входили с черного хода.

Перед входом стоял румяный крупный белолицый парень лет тридцати пяти, бородатый, усатый, в черной шляпе набекрень, с мешком в мускулистых белых руках, часто заштрихованных волосами. Кравт таких людей не видел никогда, точнее, видел очень редко.

– Это Довид, смело можно его назвать праведником, – пояснил Алик. Он поздоровался с парнем за руку и сказал про Кравта – «это Илья, мой лучший друг, благослови его, пожалуйста, Довид».

– Вы не думайте, мне мой раввин-наставник из Нью-Йорка сказал, чтобы я благословлял евреев, мы – хабадники, слышали про таких; Любавичи, да? – быстро спросил Довид. Кравту понравилась его торопливая, правильная речь, и сам Довид тоже понравился. Он не все понял из его слов, но переспросить о значении их Кравт постеснялся.

Прибежала какая-то щекастая, колченогая женщина в платке до бровей и позвала Довида в дом, сказав ему на идише, что надо срочно что-то исправлять, а то будет катастрофа. «Что-то сделайте, а то пропадем», – сказала женщина, сверкая глазами. Она объяснила Довиду, что надо исправить. Дослушав, он пошел за женщиной, сказав Кравту, чтобы тот извинил его, что сейчас он вернется.

Они потоптались у двери, которая свободно открывалась и закрывалась без постороннего участия, осмотрели углы. Из подвала, куда Довид ушел вслед за женщиной, доносились гулкие звуки, происхождение которых в синагоге было непонятно и необъяснимо.

– Давай зайдем, потом найдем его, – сказал Алик, терпение которого кончалось очень быстро.

В зале было темновато. Молились несколько человек, группировавшихся возле небольшой сцены. Они стояли нестройно и невнятно бормотали текст молитвы. Незначительность их, малочисленность бросались в глаза сразу. Кравт не приближался к ним, оставшись почти у входа. Алик, надевший берет, смело пошел к молящимся с видом человека, утверждающего своим жизненным принципом: «А чего бояться-то! Я такой же и так же могу».

«Дисциплины мало и пиетета перед Ним, куда им против русских?» – подумал Кравт. Он второй раз в жизни был в синагоге и наблюдал за молитвой с непонятным интересом. Ему было важно видеть, как люди стоят перед Ним, что говорят друг другу, как смотрят, что говорят Ему.

Неожиданно все вместе, громко и слаженно, молящиеся сказали в одной интонации, в одном ритме, по нарастающей, отрывок текста –

это было уверенно, отчаянно и очень сильно произнесено и протянуто во времени. Звуки поднялись в сводчатом большом пространстве и возвратились вниз, усиленные и увеличенные до отказа.

Кравт вздрогнул от неожиданности, встал по стойке смирно, накрыл голову рукой, закрыл глаза и сам забормотал что-то... забормотал.

«Вот народ, у которого есть Бог», – подумал он непривычно торжественно, внятно и ясно. Наиболее вероятное продолжение этой фразы смутило Кравта, привело его в смятение. Он вышел на улицу и стал ждать во дворе у входа. Никого вокруг не было. По Лермонтовскому проспекту изредка проезжали легковые автомашины с засоренными карбюраторами. Так определил Кравт, в юности конструировавший и собиравший двигатели внутреннего сгорания. Алик вышел скоро, начал озираться, дергаться, и дождаться Довида Кравту, конечно, не дал, все в нем горело и безумствовало.

Так без благословения они и ушли.

Опять они попали к композитору-додекакофонисту Стасу, Алик любил этого человека. Там произошло то, что происходило прежде уже много раз. Это не было скучно никогда.

Одна из девушек, прибежавших по звонку хозяина, рослая, яркая, похожая на итальянку, казалась вялой, но в комнате со Стасом упражнялась так энергично, так шумно, что можно было диву даться. Или это была заслуга Стаса? Наверное, это было их общей заслугой.

Когда потом любопытный Кравт спросил у Алика: «Кто такая, солистка, наверное, балета?», тот ответил с гордостью: «Нет, завлит театра, наша гордость, большая любительница, можешь пристроить пьесу, если у тебя она есть, конечно». Кравт удивился, потому что театральный завлит всегда казался ему мужчиной средних лет, в теплом пиджаке, с накладными плечами, с редкими волосами, с пустой трубкой, а тут такое... такая.... вздыхающая и таящая...

Позже Кравт сидел один в гостиной, наливал себе «Ркацители» и рассеянно листал альбом Матисса под музыку ливерпульского ансамбля. «Возвращайтесь в СССР, там самые красивые девушки», – замечательно пели молодые люди в пиджаках без ворота.

Все пили коньяк, который расширил им сосуды донельзя. Вино сосудов не расширяло, во всяком случае, делало это много медленнее, чем коньяк. Потом Кравт собрался с силами и уехал домой, будучи трезвым, раздраженным стонами, проникавшими из комнат, женским смехом, вздохами, влажными весомыми шлепками и прочим всем, что сопровождает безудержный свальный секс пьяных людей.

Музыка была у Стаса замечательная, сам он не играл, не пел, рубашка его была застегнута на все пуговицы. «Я зачехлен сегодня», – сказал он Алику и Кравту сразу, когда они пришли. «Сейчас нагоним девок», – добавил он, хмурясь.

Как Стас писал свою музыку, не подходившую ни этому городскому пейзажу, ни, наверное, времени, ни пьяной жизни, Кравт понять не мог. Стас занимал его очень. Он был как бы его родственником.

В радиоле пели испанские бородатые люди, вроде цыгане, ритм, ритм, красота, гитара, тоска, томление, страсть. Даже голова кружилась от этой музыки. Кравт два раза ставил пластинку, но сколько можно?! Он злился на себя за этот приезд сюда, за время, проведенное здесь, но ему так много нужно было злиться. И вот сидела в нем еще заноза, что он не дождался благословения Довида, хотя мог бы, если бы не Алик с его безумными юношескими страстями. На Алика

Кравт очень злился, на себя злился еще больше. Все это вместе давалось ему очень тяжело. Слабости одолевали его без особого труда.

Как ни странно, дома он смог несколько часов отлично поработать, несмотря на раздражение. Три больших абзаца показались ему близкими к совершенству. Дети его и жена тихо спали за прикрытой дверью второй комнаты. Существование и присутствие этих людей возле сердца было важно для него. Литература была ему очень важна. Все это вместе входило в корзину его, Кравта, клада. Еще там была свобода, твердо очерченное жизненное понятие.

Утром, до ухода на работу он внимательно перечитал все, написанное ночью, и мнение его осталось тем же, не изменилось за прошедшие часы. Счастливым он ушел на свой заводской труд.

Толик на работе все еще не появлялся. Тоня ходила более уверенно, чем прежде, но глаз от пола не поднимала.

– Ты что, беременна, мать? – спросила ее подруга по труду, которая была единственной ленинградкой в их бригаде. Многое себе позволяла. Была похожа на какую-то послевоенную, в завивке, артистку кино, считала себя умницей, красавицей и в хорошие дни – интеллигенткой. Была в ней эта чудная женская стервозность, которая могла привлечь некоторых. Всех других девушек вокруг она в лицо называла «деревней», перед ней заискивали, и даже Ануфриев внимательно и молча выслушивал ее «подколы». У нее был женский изъян, о котором Тоня могла только догадываться. Нравился интеллигентке Толик, но тот в ее сторону даже не смотрел.

Не хотел и все.

«Да в голодный год с приплатой не соглашусь», – цедил он друзьям.

– Согласишься, если с коньяком, – говорил ему друг.

– Ну, если с коньяком, то, может быть, – посмеивался Толик. Все-то они чувствовали про людей, особенно про женщин, эти хитрые сильные парни. Кличка у Толи среди ребят была странная «Казган», кажется производное от названия его родного города или республики, не то Казахстан, не то Джезказган.

– Я не беременна нисколечко, просто задумалась, – ответила Тоня.

– Главное, Тонька, знать, от кого. Как профессор ты, Тонька, думаешь, умная очень, вот почему. А главное чтоб хорошенький был мальчик, черненький, ласковый, прелесть, ручки-ножки толстые, у-тю-тю, дайте сисю малышу, – смеялась безжалостная подруга, злой человек не от одиночества, а от рождения.

Тоня тоже смеялась с ней. А что ей прикажете делать, плакать? Наплакалась уже, слезы кончились, синяки с груди и бедер почти совсем сошли, душа болит беспрерывно. И ничего от этого не помогает.

Мокрое лицо свое она вытерла после этого смеха ладонью.

Кравт не любил праздники – они выбивали его из рабочего состояния. При всей его нарочитой сухости, даже жесткости, музыка, веселье, выпивка и любовь действовали на него очень сильно, влияли на ток его крови, на его готовность к работе и на саму эту работу.

Во второй половине дня начальник мельком сказал, стоя посреди комнаты, что привезли деньги и можно пойти и получить зарплату. «Только не все сразу», – попросил он. Кравт поднялся из-за стола и, надев пиджак, пошел по этажу в кассу, которая располагалась за лестницей в углу. Очередь была небольшой, народ еще про деньги не знал, хотя и ждал их с утра. Две женщины с косынками на плечах из их отдела беседовали о чем-то парфюмерно-мануфактурном. Какой-

то согнутый парень, обвисая на костылях, пересчитывал, шевеля губами, свою получку. Это был Толик. Уйти Кравт уже не мог. Увидев его, Толик заторопился, заулыбался и приветливо сказал:

– Илья Семеныч, дорогой, давайте вместо меня.

Никогда до этого Толик так с ним не говорил, никогда. Было неясно, что он имеет в виду, потому что его очередь уже прошла. Кассир замешкался. Женщины ждали, когда он их подзовет за деньгами.

Кравт затоптался на месте, показав рукой, что не стоит беспокоиться. Толик поймал его на неожиданности. Кравт быстро перестраиваться не умел, считал это огромным недостатком. Одна из женщин пригнулась к окошку после восклицания невидимого кассира.

– Илья Семеныч, можно вас на минутку, – спросил Толик, бодро простучав костылями по линолеуму. От напряжения рук и спины он клонил голову к левому плечу. Дальше все происходило быстро и неотвратимо, как скандал в общественном транспорте.

Кравт послушно отошел за колонну у второй лестницы. Как уже говорилось, он не умел быстро перестраиваться.

Толик, изогнувшись навстречу, попытался схватить и поцеловать ему руку. Кравт испугался так, что у него застучали зубы.

– Простите меня, Илья Семенович, простите, – плакал Толик, – скажите, что прощаете, а?

Слезы его часто и беззвучно падали на пол.

Кравт пытался вырвать у него свою руку и не мог. Его способность к компромиссу была, несмотря на ограниченность действий, весьма важным моментом биографии. Весьма и весьма важным моментом. Он платил сейчас по всем своим счетам. Сполна.

В коридоре было довольно душно, хотя окно в конце коридора было приоткрыто.

– Что мне сделать для вас, только скажите, – просил Толик. Самое интересное, что при всем надрыве этой ненатуральной, ужасной сцены Толик был искренен и достоверен. Он хотел прощения, он раскаивался, он боялся, что все закончится безрезультатно, и Кравт уйдет так просто. Помимо всего, он до дрожи боялся парней Стаса.

– Прекратите, Толя, прекратите немедленно, – сказал Кравт глухо.

– Не прекратю, – запинаясь, выговорил Казган, – ни за что не прекратю. Не прекращу никогда. Простите меня, Илья Семеныч.

Он искренне горевал на своих костылях. На колени Толик встать не мог из-за гипса. К тому же он дрожал. Но он был, конечно, на коленях. Весь он был на коленях, вся суть, вся плоть, весь его дух, все ползло на коленях вокруг Кравта, извиваясь и дрожа.

Кравту не удавалось уйти. Он дергал рукой, но Толик держал ее, как будто стальными тисками, бормоча при этом непонятные слова:

– Я могу сказать ему, что вы меня прощаете, Илья Семеныч, а то мне жизни не будет?

Кравт отчетливо вспомнил, как Толик бил его кулаком согнутой в локте руки, что было с ним после этого, как он подпрыгнул вверх от удара и приземлился обратно на землю.

– Кому ты должен это сказать? – спросил Кравт.

– Одному молодому человеку, он послезавтра придет. Мне плохо будет, если вы не простите. Это поручение, требование, Илья Семеныч... – хныкал Толик. Рубашка его была мокрой у ворота.

– Прощаю я тебя, прощаю, – ненавидя себя, сказал Кравт.

Толик отпустил его руку, прислонился к стене и, охлопывая карманы, начал искать спички. Он постарел за эти две недели, повзрослел. Он был чисто выбрит, глаза потеряли блеск.

Лицо его стало осмысленнее и мягче. Кравт наблюдал за ним без жалости. «Что они должны были с ним сделать, с Толиком, парни Стаса, чтобы он просил у меня вот так прощения?» – подумал Кравт. Он закурил. Женщины от кассы, переговариваясь излишне оживленно, прошли мимо них, оставляя жидкую, бесформенную тень от своих итээровских взрослых фигур на полу и стене.

Победителем Кравт себя не чувствовал. Думал о том, что в мире все устроено более чем просто – сегодня ты пан, а завтра вполне может быть, что ты и пропал. И ничего с этим нельзя поделать, но помнить об этом стоит всегда. Но нелады с совестью у него были, были.

Проходя к цеху, Кравт заметил, что его не слишком густая тень в слабом солнечном цвете много больше собственно фигуры.

«Это не хорошо, – подумал он. – Мне это не нравится».

Как это можно изменить, он не знал.

Он был человеком сильного характера, Илья Кравт. Его занятие не оставляло для него другого выхода. Он ни о чем не сожалел. Болезненные уколы в сердце не в счет, для этого наготове был валидол. Кравт не шел ни у кого на поводу. После истории с Толиком он понимал, что сделал шаг к черной бездонной пропасти. Каждый день за пишущей машинкой он делал подобные шаги.

Как он доработал до конца смены, одному Богу известно. Ануфриев откуда-то сбоку подошел неожиданно и позвал обсудить цеховой план и его перспективы: «Без начальства, Семеныч, сами поговорим, а?», но Кравт слушал вяло, неохотно и сказал, что в другой раз они поговорят: «Сегодня у меня срочное дело».

– Какие еще дела? – удивился Ануфриев. Он про себя уверенно считал, что Кравт сектант, хотя и еврей. Никому о своих догадках не говорил. «В секте они дела делают, ну да Бог с ними, сектант и сектант, тоже ведь люди, сектанты эти», – думал Ануфриев с сомнением.

Он был жуткий фантазер, Ануфриев, даром что партийный передовик производства. Наверное, это было с ним оттого, что в юности он пил водку натощак. Так говорили между собой бабки-кумушки, заседавшие с утра до вечера на лавочках во дворах, в его ануфриевском дворе.

– Вот если, например, с утра кто принял стакан не евши, то будет он болтать ерунду весь день, – объясняли старухи друг другу.

А Ануфриев пил водку натощак не только в молодые годы, но и сейчас позволял себе, будучи пожилым заслуженным человеком, депутатом районного совета.

– Ты Толика-то нашего видел, видал, до чего человека бабы довели и пьянка, на костыли встал. В цех стыдится заходить, инвалидом себя показать, тяжелая жизнь какая, о-хо-хо, – сказал Ануфриев Кравту.

Тот промолчал, наверное, в знак согласия.

Ануфриеву еще нужно было доковать сложную деталь, хотя силы к концу смены у него поубавились. К Кравту он, если честно, ходил поболтать, отдохнуть, сил подсобрать, но тот сегодня был не в настроении. Разговор получился так себе.

По дороге обратно на свой участок он выключил ненужный свет в проходе, а в уборной завернул хлеставший радужными брызгами в

металлическую раковину кран. Покряхтев, нагнулся и поднял с пола обмылок в черно-бурых прожилках и осторожно положил его на подоконник. Он старел, старел, Ануфриев. Неизбежности этого процесса он не понимал.

Когда Кравт вышел после смены на свободный воздух из стен завода, то сразу на другой стороне улицы увидел Толика, который, присев на каменную тумбу у метро, пил пиво из кружки, окуная губы в жидкость, осторожно сдувая пену. Он был расслаблен, костыли прислонены рядом, но по сторонам зыркал, как загнанный волк. Немного его отпустило от тревог и забот, так это выглядело на первый взгляд.

Народ шел в метро, не отвлекаясь на подробности вроде пива, компании, пейзажа или беседы. Но очень многие смотрели на Толика, смотрели, выглядывая переломы и синяки. Потому что падение с кровати должно сопровождаться синяками, правда или нет?

Все его знали, все с ним пересекались так или иначе, все удивлялись переменам, которые произошли с ним в одночасье. Большинство людей из тех, что работали на заводе, были мужчинами от двадцати пяти до шестидесяти. Женщины же выглядели моложе, в светлых платьях, белолицые. Их можно было принять за дочек, или на крайний случай, младших сестер этих людей. Женщины шли парами и тройками, бодро шагая навстречу жизни вне кормящего их труда.

Кравт увидел, как прошла Тоня. Она шла одна, неловко ступая, будто преодолевая боль. Одета она была невнятно. Ничего белого.

Кравт увидел, как Тоня споткнулась, увидев Толика. Он поглядел на нее снизу ничего не выражающим взглядом, вроде как не узнал. Она осмотрела его странными глазами снизу доверху, лицо ее скривилось, она сделала по инерции еще шаг-другой, остановилась... Кравт мысленно приказал ей: «Иди, милая, иди скорее дальше, нечего здесь делать, слюни распускать».

Прощения просить у женщины ребята Стаса от Толика, видно, не требовали. Он легко отвернулся от нее, держа кружку с пивом на весу. «Не знаю такую, не знаком, – выражал он всем своим видом, – иди, тебя здесь не ждут, кто ты такая, девка? Здесь не подают».

Тоня прошла дальше, поднялась по ступеням и скрылась в здании метро.

«Слава Богу, Тонечка, слава Богу», – с облегчением подумал Кравт на другой стороне проспекта, по которому гнали груженые самосвалы и катился пустой бесшумный троллейбус – он шел в ненужную людям сторону.

Как Кравт разглядел эту сцену в движущейся толпе из сотен людей, тоже непонятно. У него было особое зрение, наработанное стрельбой, жизнью и литературой. Или от рождения. Неизвестно. Он поехал домой, собрав себя воедино. Ему нужно было срочно домой, потому что к нему должен был приехать Нежин.

Приехал не один. Он напросился за день до этого по телефону, предупредив, что визит имеет большое значение для Кравта. «Простите меня за назойливость», – добавил Нежин в конце разговора.

Кравт пытался перенести место встречи, но Нежин категорически заявил: «Место встречи изменить нельзя». Кравт улыбнулся, телефильм с этим названием прошел недавно, имел бешеный успех и завладел умами не только рабочих ребят из цеха, но даже Нежина и подобных ему людей тоже. Вся Россия говорила фразами из этого

фильма. Да и сам Кравт говорил додекафонисту Стасу: «А «Мурку» можешь?» И Стас кивал в ответ: «Могу».

– Чему улыбаетесь, Илья Семенович? – спросил Нежин.

– Взвешиваю силу телевидения, и весы все время зашкаливают, – ответил Кравт.

– А я намеренно, – сказал Нежин. – Так в семь у вас дома?

– В семь у меня, – сказал Кравт.

Нежин пришел без пяти семь. С ним вместе был небольшой человек, смугловатый, субтильный, мрачный, обритый наголо, с правильной формы черепом и синими глазами. Кравт узнал его по фотографии на обложке «Огонька», который читал почти регулярно, как и другую прессу. Он называл эти издания фоном жизни в СССР.

Нежина тоже можно было узнать по фотографиям в газете, но в цвете сходство получалось более подробным.

Нежин достал из портфеля бутылку трехзвездочного коньяка, два лимона, две банки «Сайры».

Оба гостя поцеловали руку жене хозяина, не смутив ее этим нисколько. Можно было подумать по реакции, что всю жизнь этой женщине только и целовали руки знаменитые советские писатели. Была в ней порода, как у многих других красивых дам.

Сели в комнате с раскрытым окном. Был накрыт белой скатертью стол с тремя тарелками и рюмками. Хозяин разлил белое вино.

– Ну, вот, Илья Семенович, это Трошкин Иван Евгеньевич, как вы, наверное, знаете. Он писатель, руководитель семинара в Литинституте, я вам говорил, он мой друг, сибиряк, честнейший и талантливейший человек, – сказал Нежин.

– Очень приятно, – сказал Кравт и разлил коньяк. Вид селедки на продолговатом блюде согревал притязательные взгляды всех без исключения присутствующих.

– Наш визит носит ознакомительный и обязательный характер, – сказал Нежин непонятно.

Трошкин достал из внутреннего кармана пиджака курительную трубку, подул в нее и крепко схватил отличными не своими зубами лакированный черный мундштук. Таким, задумчивым и привлекательным, он и был сфотографирован в глянцевом журнале.

Подпись гласила: «Портрет лауреата Ленинской премии, писателя Ивана Евгеньевича Трошкина». В нем было что-то актерское, вторичное. Но это был, прежде всего, очень взрослый человек. Как и Нежин.

– Я выяснял, ваша литературная ситуация не изменилась, все отзываются о вас более чем положительно. В альманахе вы участия не принимали, слава Богу, в аксеновском? – сказал Нежин и вопросительно посмотрел на Кравта.

– Мне никто и не предлагал, это все дела московские, да меня и не знает никто, ни там, ни здесь, ни в Ленинграде, ни в Москве, – признался Кравт. Речь шла о московской писательской инициативе, воспринятой властью резко отрицательно.

Трошкин смотрел через стол на Кравта своими синими глазами очень внимательно.

– Не скажите, Илья Семенович, не скажите. Слухами земля полнится. Повторим?

Повторили.

– Извините, Илья Семенович, но я должен выяснить определенно, наверняка даже – вы не собираетесь уезжать? – спросил Нежин.

– Куда уезжать? Что вы имеете в виду? – Нежин нравился Кравту, производя впечатление человека, заплутавшего в редком сосняке. Да Кравт и сам заплутал так, что дорогу с трудом было видно. Он сосну любил, ее сухой, солнечный запах. «Еврей, он сосну любит», – как сказал однажды в электричке подвыпивший грибник в присутствии московского поэта, дальнего знакомого Кравта. Правильно, между прочим, сказал.

– Ну, отсюда уезжать не собираетесь? На Запад, в Израиль? – Нежину тоже тяжело давался этот тон и эти вопросы. Он многое знал и стеснялся этого знания.

– Почему вы спрашиваете? Это вообще мое личное дело, но я нет, не собираюсь, – сказал Кравт.

– Потому что от этого многое зависит, Илья Семенович, это не праздное любопытство, – сказал Нежин.

– У вас можно курить? – спросил Трошкин тихо. Он смотрел на хозяина, оценивая масштаб его личности как бы снаружи. Тот выглядел непривычно, не казался советским, вообще не казался человеком, в известном смысле.

– Я не собираюсь никуда уезжать, почему я должен уезжать? Я здесь родился, здесь и умру, мне сорок шесть лет, почему я должен уезжать? – нервно сказал Кравт. Он кивнул Трошкину, что можно курить здесь, все можно здесь. Он забыл, что клясться нельзя, как учила его мама. «Можно и просто сказать, что я сделаю то-то и то-то, и сделать так. А клясться нельзя», – говорила она ему в детстве.

– Не нервничайте, сейчас ведь многие уезжают, Илья Семенович, а это намерение может вам очень помешать. Мы вам не враги совсем. Наоборот, – терпеливо, как ребенку, объяснил Кравту Нежин.

Кравт все понял. Он был благодарен Нежину за трогательную и трудно объяснимую заботу, Трошкину – за доброжелательный и совершенно непонятный интерес. Кравт знал, что бесплатных обедов не бывает и за все нужно рано или поздно платить.

– В общем, я верно о вас думал. Иван Евгеньевич приглашает вас в свой семинар, все же это не завод, а Москва, литературная жизнь, какие-то возможности, все, что вы хотите, Илья Семенович. Делается это из уважения к вашему редкому дарованию, оно нужно нам всем, оно нужно стране, с которой у вас нет конфликта, извините за напыщенность, – сказал Нежин. Он вздохнул, громко выдохнул.

– А с кем у меня конфликт? – поинтересовался Кравт. Он считал себя и был на самом деле не конфликтным, мирным человеком.

Было слышно, как жена стучит на кухне посудой. Раздражающе равномерно, неумолимо, отстукивали время стенные часы, надежные, простые, довоенные. Пылинки на них не было. Часы достались Кравту от матери.

Подошла очередь сказать Трошкину. Он придвинулся к столу и недоумевающим тоном сказал, отставив руку с легко и вкусно дымящейся трубкой.

– Позвольте, Илья Семеныч. Мы оба за вас. Всей душой. Нам ничего не надо. Понятно, кому чего от вас может понадобиться, какой конторе, каким соколам, а нам нужно ваше благополучие и спокойствие, ваша проза. Дайте мне несколько рассказов для разговора с приемной комиссией. Вы же человек разумный, как мне видится. Разговор должен быть с ними предметным, хотя мне и верят на слово. Но это ведь дело такое... к-хм...к-хм... Дней через десять, я думаю,

вам придет по почте приглашение на вступительные экзамены. А может, из деканата позвонят, не знаю, как там принято сейчас.

Трошкин откинулся назад и пыхнул трубкой, выпустив ароматное облачко «капитанского» табачка. Синие глаза его пылали писательским огнем созидания. В литературе вообще популярны синие глаза. Смотря по каким временным периодам, конечно, но в принципе популярны очень.

Оба гостя оставляли хорошее впечатление людей порядочных, прямых, способных, что в литературе не являлось очень распространенным явлением. Было все же не совсем ясно, что привело этих маститых людей к Кравту. Чего им надо от него? Неужели просто так?

За несколько лет до этого дня подобное предложение сделало бы Кравта счастливым человеком. Или все-таки нет, счастливым бы его это не сделало? Это было для него частью официального признания, этого было достаточно для счастья. Кравт не был наивен или неумен. Но он был по-детски внимателен ко всем проявлениям коллегиальности, которые выказывались ему даже сквозь зубы людьми причастными или теми, кого он считал причастными. Слова значили для него непомерно много. Их ноша была невыносима.

Как говорила про Кравта его жена институтской подруге за чаем с ореховым тортом на девичьих посиделках:

– Он просто взрослый ребенок, при всей сдержанности, суровости. Потом как улыбнется, как мальчик... и все... Меня всегда это сражает.

– Наповал сражает? – спрашивала подруга.

– Да, наповал, не смейся, – отвечала жена Кравта.

– Хорошо, – говорила подруга, – как хорошо. Я совсем не смеюсь, а завидую.

Сейчас Кравт сидел расслабленный, растроганный и, недоуменно глядя в стол, пытался разобраться в происходящем.

– Что значит – я разумный человек? Конечно, я разумный человек, не сомневайтесь, Иван Евгеньевич. Я более чем разумен. Может быть, не сообразителен, но разумен. Я вам с Виктором Сергеевичем очень благодарен. Думать нельзя обо всем этом? – спросил Кравт неразумно. Чего-то он не понимал в корне о жизни, с этим ничего нельзя было поделать.

Трошкин укоризненно взглянул на Нежина, «мол, что я тебе говорил», а сам загадочно сказал не без тени обиды в низком голосе:

– Ради Бога, Илья Семенович, думайте. Время все ваше, оно стерпит.

Нежин подобрался, как будто перед прыжком, и довольно резко, как провинившемуся ребенку, выговорил:

– Вы, наверное, не так нас поняли, Илья. Времени на раздумья у вас как раз нет. Нет этого времени у вас. Ваш друг уезжает из СССР в государство Израиль на постоянное место жительства, еще какой-то знакомый едет, вы ходите в молитвенные дома, общаетесь неизвестно с кем. Меня и Ивана никто не уполномочивал, но я знаю многое. Помимо этого я читал ваши произведения и убедился. Я вас очень прошу, не играйте с огнем, не будьте наивны, вас никто не прикроет, ничто не спасет, понимаете, это замечательный шанс для вас. Вы ничем не должны поступиться, это главное. Литература – часть жизненной игры, это вы понимаете, Илья? Помните?

Кравт услышал в прихожей Марину, которая вернулась со щенком с улицы. Щенка ей купили после соревнований. Ему было полтора

месяца от роду. Назвали Бобби. Он был толстоног и трогателен. Принадлежал к немецким овчаркам. Марина ходила за ним с тряпкой. Счастья у детей было много из-за Бобби. Брат Марины Гриша говорил, сидя на полу в обнимку со щенком, что хорошо, когда у тебя есть четвероногий друг. По ночам Бобби просыпался, сонно ковылял к работающему Кравту и писал возле письменного стола. Кравт, кряхтя, выпрямлялся, шел в кухню за тряпкой, вытирал лужу и подливал в блюдце молока. Глядя, как щенок, щелкая, лакает молоко, Кравт, вздыхая, говорил ему: «Бедный ты, бедный, рук у тебя нет, да и умный ты не шибко, как будешь жить?» Бобби лакал молоко с нейтральным видом, который сообщал Кравту только одно очень важное собачье правило: «Думай только о себе, главный хозяин».

– Поймите меня, пожалуйста, я просто потрясен вашим предложением. Оно замечательно и очень лестно для меня. Я, конечно, согласен со всем, не о чем говорить. Но у меня семья, я должен обсудить все с женой, решить на работе и так далее, – сказал Кравт торопливо.

– Ну и хорошо, я рад, Иван Евгеньевич рад тоже. Дайте нам пока два-три ваших рассказа, у меня есть машинистка, она завтра же все перепечатает до отъезда Ивана Евгеньевича. Ну и никому, кроме родных, о нашем предложении пока ни слова, а то знаете коллег! – воскликнул Нежин. Его раздражение прошло, он очень радовался, что все так получилось.

– Сегодня какое число? – спросил Трошкин.

– Восьмое июня, понедельник, – ответил Кравт автоматически. Он напряженно думал о чем-то.

– Числа одиннадцатого получите приглашение из института, поверьте мне, все это к лучшему, – медленно сказал Трошкин. Он явно тяготился пребыванием в этой тесноватой комнате с открытым окном.

– Давайте рассказы, Илья, – попросил Нежин.

«Неужели они что-то задумали? Зачем я им? Не может быть, кому я нужен со своими повестушками, совсем с ума сошел от одиночества», – решил Кравт. Он достал из нижнего ящика письменного стола салатную папку с тремя своими повестями, взвесил ее на руке и, посмотрев на Нежина, сказал тому:

– У меня есть второй и третий экземпляры, но я бы хотел эти получить назад. Они неплохие, я их люблю и не откажусь от них.

– Вы не должны ничего подобного думать, все это для вашего блага, – искренне сказал Нежин. Трошкин задумчиво глядел на них через стол из прозрачного облака чудного «капитанского» табака.

Гости Ильи Кравта, потрясенные читатели его, не скрываясь, рассматривали этого человека, проживавшего жизнь и временно не битого ею – жизнь естественного и вольного наблюдателя.

– Мне больше всего по душе отсутствие романтизма и неестественная приближенность взгляда к объекту, – твердо сказал знающий толк Трошкин хозяину. Он наблюдал этого человека с понятным, почти звериным любопытством. Он подозревал появление литературного монстра, в рамках, конечно, своего понимания и отношения к подобным людям. Кравт, на его взгляд, не зависел ни от чего, и, наверное, ни от кого, разве что от таинственных игр судьбы только.

Кравт не успел все расслышать, не сделал вида, что понял. Он был возбужден и нервен, не совсем в себе. Он кивнул как деревянная кукла с живыми глазами. Таким его увидели и запомнили гости.

Гости ушли в хорошем расположении духа, не попив чаю, который уже был для них приготовлен женою Кравта. Не поев торта, не договорив. Коньяк был выпит.

Трошкин опять целовал руки жене Кравта, Нежин небрежно смотрел на приковылявшего Бобби, не выказывая никакого расположения к небольшому животному. Это нравилось Кравту отчего-то. Длительные прикосновения рта Трошкина к невероятно сексуальному, белоснежно-полному запястью жены раздражали Кравта безумно. Салатная папка Кравта была зажата крепкой рукой Нежина накрепко, внушая доверие к происшедшему. «Ну чего надо дураку, ступайте уже», – думал Кравт нетерпеливо. Гости ушли наконец.

Потом Кравт сидел на диване, совершенно трезвый, мрачный, несколько потерянный.

«Учеба в институте в сорок шесть лет все-таки довольно смешна. Ну куда? Понятно, что все это довольно условно, но все же. Куда нестись за ними всеми? Но это прогресс, признание, путь наверх... или нет?» – думал Кравт. Он не верил, что страсть его победила достоинство, он все еще надеялся, что проскочит так, безбилетником.

Жена позвала его к телефону.

– Так, – сказал Алик так азартно, что Кравт почувствовал, как загорелась в его руке телефонная трубка, – две новости: одна – очень хорошая, другая – потрясающая. Я получил разрешение выехать в течение месяца и одной недели из СССР. Вторая – наши вчера вечером разбомбили атомный реактор под Багдадом. Реактор должен был заработать через месяц, и Саддам обещал первую бомбу сбросить на Тель-Авив. Прилетели восемь самолетов под прикрытием еще шести, спикировали и разбомбили этот реактор на хер. Вот так.

Действительно так.

Слышно было, как Алик восторженно дышит в трубку.

Кравт тоже молчал, потому что многих слов для этого разговора у него не было.

– М-да, – наконец сказал он, – большие дела. Большая жизнь. Ты бы хоть паузы, Алик, делал, а то я не привык к таким темпам.

– Никаких скидок и поблажек никому, даже тебе, мой дорогой. Готовь тексты, Илюша, еще толк выйдет из всего, – сказал Алик.

– Слушай, а наши передавали об этом или нет? – спросил Кравт. Его это не интересовало вовсе, он стал говорить, как Алик, для заполнения пустот и пауз в разговорах.

– Наши передали с утра разок, потом молчали. Как они справляются со всем этим? Как переживают события, а то все мимо них? «Голос Америки» сообщает подробности, что летели над землей низко, через Иорданию откуда-то с юга, звезды на крыльях были ясно видны с земли...

– А о тебе они передали?

– Мне это ни к чему, я тихий человек, скромный, меня не трогают и я доволен, мы уже начали паковаться, – сказал Алик.. – Много волнений в доме.

– Ну, и что теперь будет, а?

– Ничего не будет. Я уеду отсюда навсегда, вот что будет, – сказал Алик.

– Теперь я в это поверил окончательно, – сказал Кравт. – Можно еще обсудить понятие «наши».

– Не надо обсуждать, наши и есть наши. Понятие постоянное и устойчивое, – сказал Алик. – Провожал вот Мрара в аэропорту. Никого не было, только ее сестра и мама, в смысле, жены его. Вообще без людей проводы. Прошел он как по маслу, таможню и всё остальное. С концами. Уехал с победной улыбкой на устах, надо так уметь.

– Уехал и уехал, и Бог с ним, мне нет дела до него, – раздражаясь, сказал на прощанье Кравт.

Приковылял Бобби, за которым пришел быстрым шагом Гриша. Голову поднять щенку было трудно, но он настойчиво тыкался в ноги Кравта. Стоять долго на лапах он еще тоже не умел.

– Здоровается с тобой, – объяснил сын Кравту. Он был острижен наголо, очень ловкий, с подвижным лицом мальчик, похожий на медвежонка-панду.

– Мы уже с ним беседовали сегодня на разные темы, все он понимает, только писает, где ни попадя, иди спать, поздно уже, – сказал Кравт.

Гриша взял щенка на руки и унес.

– На руках его не таскай очень, а то разбалуется совсем, – вслед ему сказал Кравт. Он хорошо знал, что маленьких детей надо баловать как можно больше, потому что потом их кто побалует? Никто.

И все равно сказал, так как был растерян больше обычного.

Жена пришла за ним в комнату и села напротив него, сложив руки на коленях.

– Что, Илюша, плохо? – спросила она. – Не знаешь, что делать?

– Не знаю, – сказал он. Глаза его закрывались от усталости, он засыпал. Он пытался бороться с собой, но ему не удалось справиться с чугунной тяжестью, и он заснул. Жена накрыла его старым пледом и вышла, задернув тюлевую занавеску на распахнутом окне.

Кравту приснилось, что он быстрым шагом идет по городу с Аликом, где-то в районе старого Невского. Какая-то душная июньская погода перед дождем. Навстречу им бегут Стас и его сутулый помощник.

– Вы чего плететесь, догоняйте, – кричит им Стас, улыбаясь до ушей. Они разворачиваются и начинают бежать. Кравт вдруг видит, что на Стасе золотые кроссовки. Хорошего покроя дорогой костюм в полоску и кроссовки, на которые невозможно смотреть по причине излишней яркости.

– Ты же профессиональный спринтер, Пичуга, за тобой не угнаться, – восклицает Алик.

– Бегите, как можете, – отвечает Стас. Скорости он не сбавляет.

– А куда бежим-то, – спрашивает Кравт, – куда торопимся? Сил уже нет, сейчас упаду.

– А еще знаменитый писатель, физподготовкой надо заниматься, а не дома сидеть, – говорит Стас. А уже добежали вроде как до метро «Восстания».

– Еще чуть-чуть, давай, Илья, – подбадривает Алик. Он бодр и свеж. Раскраснелся.

– Я пешком пойду, не могу больше, умру сейчас, – говорит Кравт, останавливается и сгибается в пояснице, держа руки на бедрах локтями вверх. Все останавливаются рядом и смотрят на него с любопытством. Кравт тяжело дышит, не может никак надышаться.

– И чего ты дышишь так глубоко? – спрашивает Стас с досадой.

– А что?

– Так ведь ты умер уже. А дышишь, не бежишь, – говорит Стас.

Кравт оглянулся на Алика. Тот виновато и раздраженно пожал худыми плечами, что «чему ты удивляешься, да, все давно знают, только ты никак не можешь сообразить».

И здесь Кравт проснулся, часто дыша.

Была середина ночи. Он впервые за долгое время не работал вечером за столом. Он чувствовал себя разбитым, растерзанным, никчемным маленьким человеком.. Что делать, он не знал. Было прохладно, но подняться и закрыть окно он не мог из-за полного отсутствия сил. Через некоторое время Кравт снова заснул, уже без снов и кошмаров, просто в тревоге. Встал он в шесть утра, стараясь не шуметь, принял душ, попил чай и пошел на работу, как всегда.

Улица, влажная свежесть ее подействовали на него хорошо. Ничего у Кравта не болело, ничего не волновало, бывают такие минуты счастья. Доехал без давки в транспорте, без лишних контактов с людьми. Металлически скрипел троллейбус на некрутых поворотах. У входа в цех столкнулся с Тоней. Она мельком посмотрела на него, опустила голову в платке и быстро проскользнула внутрь, со странным лицом. Кравт удивился, что-то у него кольнуло в груди, как бы предчувствие, но он справился с собой и ровным шагом прошел на свой второй этаж сначала по лестнице, а потом по коридору.

В дверях он столкнулся со своим начальником.

Тот вгляделся в сотрудника, который был, кажется, трезв и вполне нормален, и отошел ни с чем. Нина, безоговорочная красавица отдела, «лужская Мерилин», как точно называли ее недоброжелательницы в отделе, сидевшая от него через стол, принесла Кравту чаю с лимоном: «Вы, наверное, не завтракали, Илья Семенович, у меня есть сушки сегодня». Кравт онемел, он не ожидал такого категорически. Все в комнате смотрели на него с большим интересом.

Нина принесла ему сушки на блюдце, чудные такие, обжаренные соленые сухарики с дыркой посередине, и, кажется, только она расслышала его слова.

Нина пожала плечами и отошла, ласково покачиваясь от собственной смелости и привычки соблазнять любого мужчину, как говорят профессионалы, категорически. Она была на высоких каблуках, и эффектные, крепдешиновые ягодицы ее двигались чудесным маятником на уровне синих глаз Кравта, как по палубе прогулочного судна в трехбалльную непогоду. Нина была похожа на Тоню, только та была моложе и спокойнее и выглядела не так откровенно. Хотя зависит от взгляда, времени года, части суток и некоторых привычек и примет смотрящего.

Начальник еще раз за это утро завел разговор на нескончаемую тему агрессии небольшого народа. Кравт реагировал вяло и нескладно. Разговора не получилось. Начальник почему-то сказал ему: «Я честный человек, я из интеллигентного дома, прошу об этом помнить, Илья Семенович», и вернулся в свой отгороженный закуток с недовольным видом.

Кравт ничего не понял из этих слов, а потом только сообразил, что начальник его предупреждает об отсутствии последствий.

– Я знаю, кто вы, какой вы человек, Константин Алексеевич, ценю это, – сказал ему, стоя в дверях Кравт. Все-таки время было не кровавое, мягче, чем прежде, и граждане этим смягчением пользовались, если не напропалую, но достаточно много и эффективно для инертных советских людей.

Начальник посмотрел на Кравта с благодарностью. Как-то незаметно из защищающегося молчуна Кравт перешел в разряд независимых либералов со странной для советского служащего характеристикой то ли аристократа, то ли борца за справедливость.

– Я форточку прикрою, Илья Семенович, а то сквозняк сильный, еще надует с утра, – спросила Кравта Нина, стоя на цыпочках у окна. Поза на цыпочках была ей к лицу, впрочем, как и любые другие позы.

– Нина, как хотите, так и делайте, мне все подходит, – сказал Кравт, быстро выходя из комнаты. Он хотел найти Тоню. Она тревожила его сегодня. Спустился вниз по гулкой железной лестнице, держась за витой металлический поручень, и тут же ее увидел.

Тоня крутила никелированную ручку расточного станка, поднимая вверх зубчатую башенку, и сердито сдувала прядь волос, выбившуюся из-под платка. Увидев Кравта, она испугалась. Тоня перестала стесняться себя. Она выпрямилась. Взгляд ее проходил по касательной возле его лица в огромное цеховое окно.

– Что-то случилась, Тоня? – спросил Кравт мягко. Она посмотрела на него с усилием.

– Я к Толе вернулась, вы меня извините, Илья Семенович. Я сама так решила, вы не думайте, никто меня не заставлял, я его люблю. Он сначала испугался, говорил, что я его загублю, но потом согласился. Он уже все заплатил сполна, ведь так, Илья Семенович?

– Да, – сказал Кравт.

– Ему ничего не будет больше?

– Ничего ему не будет, – сказал Кравт автоматически.

– Мне работать надо. Спасибо вам за все, – сказала Тоня, потом неожиданно прильнула к нему грудью и животом, поцеловала в щеку, погладила по голове и вернулась к труду. Кравт постоял-постоял, потом повернулся и пошел обратно, тоже работать.

«Работа есть работа, работа есть всегда ...», – как пел ясным голосом, московской скороговоркой, известный поэт под собственный гитарный аккомпанемент.

Ануфриев, выскочивший откуда-то сбоку, как чумазый пролетарский черт из табакерки, пробасил Кравту: «Сладкая какая баба!» Он глядел доверительно и лукаво, как знающий многое и еще больше понимающий человек, легко качая головой «да, парень, жизнь непростая штука». При этом он двусмысленно причмокнул губами, что получилось довольно странно – Ануфриев все же был старым человеком по всем меркам.

Кравт не понял, о чем он, а, сообразив, ответил: «Мед просто липовый, а не дама». Ануфриев прищурился на него, ожидая подробностей и пояснений, но Кравт ничего не добавил, и они разошлись. Ануфриев остался недоволен, потому что очень любил поговорить. А говорить-то не с кем, хотя и есть о чем.

Помимо сильного расстройства, Кравт еще и не понимал происшедшего. Он не мог себе объяснить всего, хотя догадки у него были. Он женщин не пытался понять, считая, что у них природа другая и поступки их мотивируются инáче, чем у мужчин.

Мысль эта не глубокая и не оригинальная, но сильная и, по всей вероятности, верная. Хотя в истории с Тоней все было просто, если взглянуть трезво и со стороны.

Кравт чувствовал, как все катится в пропасть, уверенность в равновесии у него исчезла. Он знал, что это надо пережить, но не был

уверен, что сумеет пережить, слишком уж все накатилось разом. Ощущение собственной правоты, с которым он жил много лет, никуда не ушло, но перестало доминировать.

Рабочий день прошел скомканно. Кравта не оставляли и мучили слова Тони. Сидели в нем, как заноза. Только соседка Нина радовала глаз. Она обращалась к нему часто, спрашивала красный карандаш, логарифмическую линейку, энергично дефилировала перед ним, как на подиуме, ласково двигая крепдешиновыми прелестями. От сердечной боли не помогало, но временно отвлекало. Разгляделa ли она вдруг в соседе мужчину после пятнадцати лет работы, от смертельной дамской скуки, от скандала дома с мужем, было неизвестно, но то, что она заинтересовалась Кравтом, было очевидно. Кравт был подчеркнуто нейтрален. Он был сильным человеком. Вероятно. Ну, почти человеком.

Тоню он больше не видел. Вообще никогда. Даже когда видел – не видел. Он перестал узнавать ее в лицо, она стала для него незнакомым человеком. Кравт забыл запах ее тела, вкус ее мягких губ, длительный мокрый спазм ее. Все забыл. Ну, может быть, вспоминал иногда, но необязательно и без тоски.

У дома Гриша гулял со щенком. Старухи на лавке наблюдали за ними одобрительно. «Ишь, – сказала одна, – собачонку завели, славная, да и пацанчик вроде ничего, тихий, не хулиганит». – «Им нельзя, они не хулиганят, они по другой части», – сказала другая бабка, всегдашняя оппонентка первой. Тут из-за угла вышел Кравт, и старухи замолчали. Гриша подбежал, смеясь, к отцу, Бобби шел за ним боком, но уже уверенно и споро.

Дома сначала был звонок Алика, который сказал, что есть срочный разговор. Тут же пришел сутулый посланник Стаса и вызвал Кравта на улицу для разговора с хозяином. Кравт вышел, и Стас двинулся ему навстречу, широкий, толстоплечий блондин в белом костюме, в шелковой белой рубахе с расстегнутым воротом, так он любил, такой исповедовал колониальный стиль в одежде.

Двое его парней стояли в сторонке, покуривая и изредка сплевывая. Один из них был в кепке, озирался, другой – острижен коротко, как на зоне. Выглядели они не слишком привлекательно. Коротко стриженый был в пиджаке, надетом на белую майку, наряд для колыбели трех революций, для города героя Ленинграда – необычный. Кумушки на лавке у парадного глядели на них обоих огромными глазами, разрываясь от любопытства.

– Инженер-то наш чего с ними не поделил? Или нашел? – спрашивали они друг дружку, качая сивыми головами в платках. Только воздух рябил от их голосов. – Дела у них, видишь, общие.

– Слушай, Илья, Мрар-то не подвел, передал, что просили, подозрения были напрасными. Так что полагается тебе премия за работу. Вот, тысяча рублей тебе, и не вздумай даже, это святое дело – расплатиться. Заработал, да бери скорее, а то увидят сплетницы ваши, бери, – сказал Стас, передавая Кравту тяжеленький пакет с деньгами.

– Спасибо. Хотел тебя спросить, Стас, а иконы те, которые у Мрара, были не настоящими, ведь правда? – спросил Кравт.

Стас запнулся на полуслове.

– С тобой нужно держать ухо востро, друг Илюша, – сказал он, посмеиваясь. – Они были, конечно, не настоящими. Тебе скажу. Прове-

рил я его на гниль, Котю Мрара, понимаешь? Ты молчи на эту тему. Чего смеешься?

– Я так и думал, Стас. Но Мрар твой все равно не шибко какой... праведник, – разговорился Кравт.

– Мои дела, – пробурчал Стас, косясь на Кравта, – разберусь. Праведник! Ты, конечно, оригинал, Илья. Еще раз спасибо.

Все же Стас был своим человеком, насколько только гангстер может быть своим человеком.

Стремительно пролетела ласточка, высоко крича. За ней пролетела еще одна, так же гневаясь.

– Дождь собирается, вечер уже, а жара не спала, – сказал Стас. – Ладно, давай, прощаться. Алик-то, слышал, уезжает. Это не Мрар, не поверишь, буду скучать по нему. Я на строгом режиме его вспоминал. Он к моим ходил домой, рассказывал, какой я большой души человек. Отец мой покойный хохотал до слез. Ну, все, давай, звони, Илюша.

Стас отошел к парням, и они сразу пошли навстречу вечерней питерской жизни, навстречу праздным мужчинам и женщинам, навстречу участковому дяде Коле, который прошел мимо них прыгающим шагом человека, отбившего сорок три года службы. Он ощупывал на ходу кобуру, проверяя, не увели ли ребята у него табельное оружие походя. Он выпил немного на службе и забыл, что пистолета у него нет, а в кобуре давно лежит нарезанная газетная бумага.

Потом к Кравту домой пришел Алик, а с ним темнолицый собранный мужчина, не говоривший по-русски ни слова. Он приехал из города Хайфа на философский конгресс, посвященный какой-то дате, связанной с Марксом. На таможне в Москве у него отобрали том «Капитала» на иврите, и он был раздражен на советскую правоохранительную систему. Его звали Офир.

– Ты вообще не думай, он настоящий профессор, выпускник Гарварда, – сказал Алик.

Телефон Алика ему дал в Тель-Авиве человек по имени Яка.

– Кто такой Яка? В Тель-Авиве? Не знаю такого, – отреагировал Кравт. Досада и раздражение от обилия иностранцев и отъезжающих, с которыми он общался в последнее время, настойчиво влияли на его душевное равновесие. Что такое? Куда они все гонят? Что за суета?

– Яка говорит по-русски хорошо, – сказал Офир по-английски. – Сказал, что Алик будет моим проводником в вашем краю, ему это можно из-за отъезда, терять уже нечего.

Он расслабился и заговорил о своих приключениях на таможне.

– Что случилось? Они с ума сошли? – спрашивал он по-английски. – Это «Капитал», написал Карл Маркс, говорю им, знаете такого, они пожимают плечами.

– Кто они? – интересовался Кравт.

– Ваши люди в синей форме таможни не отличают добра от зла, – горячился Офир. Вообще-то он был негромкий человек, с внимательным взглядом светлых глаз. Алик перевел, но Кравт понял и так.

Офир ему понравился, такой типичный нервный антигерой на ставке профессора. Лобастый упрямец с залысинами, худыми щеками, не красивый, но не неказистый.

– Они отличают добро от зла, просто боятся ошибиться, они на службе, – объяснил Кравт тихо. Алик перевел, как по писаному.

– Вам нравится эта страна? – спросил Кравт и неопределенным жестом показал худой рукой на окно. Алик перевел и добавил по-

русски: «Вот с ним можно передать твои бумаги, потому что это будет наверняка, он надежный человек, человек от Яки».

«Что еще за Яка такой?» – опять подумал Кравт. Яка был сионистский начальник, человек со сложной судьбой бывшего советского заключенного.

Офир посмотрел на Кравта с интересом и сказал:

– Очень нравится. Выводов у меня нет пока, а так все здесь непонятно, очень мило и, кажется, безнадежно. Очень мило, но я новичок на этом поле.

– А у вас там как? Не так? – спросил Кравт.

– Не так, совсем не так, – перевел ответ Офира Алик.

– У вас не безнадежно? – спросил Кравт.

– Понятия не имею. Но совершенно не так, не так скучно, как мне показалось здесь, – странно и несколько опрометчиво сказал Офир. Но у него, конечно, было право на такую ошибку.

Он выглядел совершенно как несоветский человек, была в его повадке какая-то несобранность, даже расхлябанность, которая должна была раздражать народных дружинников и одиноких советских дам с капроновыми шарфиками и маленькими сумочками на концерте какого-нибудь вдохновенного еврея, со сверкающими карими глазами, с драгоценной скрипкой в кисти левой руки и бурым пятном на шее под левой скулой. Почти гения, со вздорным, так называемым артистическим бурным характером, очень схожим с женским.

Кравт, человек с неспокойным послевоенным детством, полным страхов, недоедания, снега на улице, пьяных соседей по дому, голодных и плохо одетых мальчиков в классе, диких игр в школьном дворе, мамы, закуривающей папиросу «Север», ржавого велосипеда, висящего в коридоре, корыта за ним и Бог знает чего еще в коридоре и на антресолях, почти не реагировал на прошлое. Все эти воспоминания как бы висели на заднем плане, не отражаясь на его жизни никак.

Что было в памяти Офира из собственного детства? Очень и очень многое.

Зеленые кроны деревьев, просеивающие солнечные лучи, отец, который водит его в выходные на море с зеленого цвета водой метрах в ста пятидесяти от дома, мать, беседующая с ним, пятилетним, по-французски и по-английски, хохочущий зубастый приятель, активно интересующийся законами физики и женским телосложением, сестра с кудрявыми светлыми патлами, рисующая акварелью и изредка прекращающая с ним разговаривать, вечерний футбол на баскетбольной площадке возле дома в садике два раза в неделю со взрослыми ребятами, три года армии, вымотавшие тело и освежившие душу, подруга с музыкальной формы телом, ставшая потом женою, университет с неназойливым наставником, мучительная смерть матери…

И теперь вот он приехал в СССР, странную, неизмеримую страну, которая так сильно отличалась от всех других виденных им в прошлом стран и видом, и цветом, и звуком, и своими женщинами и мужчинами, и вообще всем, что казалась ему обитаемым островом в центре мирового океана.

Офир помнил все. Собирал и аккуратно складывал все в свой короб памяти, чтобы обязательно сохранилось. Он не пользовался постоянно этой памятью, только по необходимости. Но это всегда было с ним, и он мог извлечь любой эпизод, любую деталь, в любой момент и воспользоваться с замечательно воспитанным с годами эгоизмом.

Кравт показался ему близким человеком, если только такие люди, внимательные наблюдатели, могут быть кому-либо близкими. Это было очевидно, про наблюдателей для Офира, как дважды два. Не надо было знать язык для этого.

Офир сидел в рассеянном бледном луче вечернего света и наслаждался запахом цветущих деревьев, который потоком гнал ветер в створ окна. Дождь, собиравшийся весь день, так и не пошел.

Из соседней квартиры доносились звуки вальса с незатейливым рефреном из одного слова «Александра». Офир играл пальцами по столу в такт музыке. Он неожиданно получил то, что искал в этой стране, – собеседника и собрата, коллегу и соученика.

Они относились к жизни и понимали ее похоже. Офир не был модернистом, не искал популярности наотмашь, не говорил по-русски, не был политологом. Он догадался о многом в этой стране, о чем не хотели знать и еще меньше хотели догадаться многие люди, проживавшие в ней постоянно.

Он был пуганым западным туристом, приехавшим ненадолго в СССР по одноразовой визе, выдаваемой научным работникам из капстран. Приглашением от Академии Наук СССР он не гордился. Без приглашения в СССР он бы не поехал, считая эту страну невозможной для понимания. Опасной. Не Китай, конечно, но и не Индия. Он бывал всюду, этот Офир, любопытство вело его своими путями.

На диване сидел почти напротив Офира Алик и читал книжку, взятую с полки.

– Послушайте, Офир, а вы там такого Мрара не встречали, в Израиле? Он две недели как уехал отсюда, но все-таки, а вдруг? – спросил Алик, подняв глаза на гостя.

– Такой длинный, называет себя интеллектуалом? Всех поучает? Довольно неприятный тип, я с ним общался случайно в одном доме, извините, если я вас огорчил, – сказал Офир серьезно.

– Отчего же, не огорчили совсем, – ответил Алик, – он нам никто. И звать его никак. Вы меня, наоборот, обрадовали своим умом.

– Мрар этот собирается заняться культурой, как я понял, развить и поднять ее на должный уровень с нынешнего провинциального, очень уверенный и энергичный человек, борец за мир и прогресс, наставник жизни, – рассказал Офир нейтральным тоном, поглядывая на Алика несколько иронически. – Можно я закурю?

Вопрос и ответ на него не были праздными.

– Эх, курите, Офир, – Кравт с удовольствием засмеялся тому, что угадал относительно этого человека. Он и сам закурил с ним свои, болгарские. Американские сигареты Офира лежали перед ним на столе. Кравт курил «Опал». Гость его – «Мальборо». Оба были очень довольны, несмотря на разницу в потребляемом табаке. Они сидели и тихонько курили, глядя перед собой.

– У меня к вам, Офир, есть просьба, – сказал Кравт наконец. Офир взглянул на него более продолжительно, чем прежде, и по-прежнему внимательно. Он на все и всех смотрел внимательно, надо сказать. Потом он наклонил голову в знак того, что слушает.

– У меня есть несколько не напечатанных художественных книг, которые я просил бы вас вывезти на Запад. Это не политика, не пасквили, не открытые письма, просто литература. Здесь это не печатают по непонятным мне причинам. Мне кажется, что книги эти имеют художественную ценность. Через пару месяцев в Тель-Авиве

появится Алик и заберет рукописи у вас. Ему вывести это много сложнее, вы – иностранец, а у него на таможне досмотр будет серьезнее. Я буду вам очень признателен и очень обязан за эту услугу. Если вы откажетесь от моей просьбы, то я это тоже смогу понять, – так сказал Кравт гостю и перевел дыхание. Алик перевел его речь слово в слово.

Офир посмотрел в окно, раздумывая над ответом.

– Покажите мне, пожалуйста, рукопись, Илья, – сказал он, наконец. Вся комната была в насыщенном сине-сером дыму, который с нарастающей скоростью сдвигался к окну и вытекал наружу подвижными прозрачными кусками облачков с рваными краями. В верхних углах комнаты дым висел плотной массой, не рассеиваясь и не двигаясь, такова была сила их курения.

Кравт достал из нижнего ящика внушительных размеров пачку бумаги в огромном коричневом не заклеенном конверте.

– И здесь у вас?.. – спросил Офир, забирая конверт.

– Здесь роман и три повести, – отозвался Кравт.

– У вас есть еще копии?

– Да, конечно, но это первый лист в закладке, – ответил Кравт.

Офир мельком просмотрел листы, полистал их, расправил ладонью и аккуратно сказал Кравту:

– Я это беру с собою, выполню вашу просьбу. Запишите мой адрес в Тель-Авиве, Илья.

– Подождите, большое спасибо, огромное спасибо. Я должен вам сказать, что здесь действительно нет политики, я ею не занимаюсь. Это просто литература такая, не отмененное внимание к человеку. Не знаю, чего она стоит, только догадываюсь, но для меня это важно, я очень признателен вам, Офир, – сказал Кравт. Он, действительно, был растроган этим Офиром, которого видел первый раз в жизни. Пока Алик переводил, Кравт смотрел перед собой с видом человека, который пережил сильное потрясение. Офир приподнялся со стула и пожал ему руку своею, неожиданно маленькой и очень крепкой для профессора философии.

– Я завтра возвращаюсь в Москву, а послезавтра лечу домой, через Хельсинки. Поднапрягусь для литературы и для вас, Илья. У меня есть план, близкий к идеальному, так что не волнуйтесь, Илья.

– Я не волнуюсь, я просто растроган, – ответил Кравт. Офир сидел невозмутимо. Курил, глядя перед собой. Был похож на англичанина-аспиранта.

– Скажите, Илья, это меня занимает. Вас не печатают, потому что вы… э-э.. другой веры?

– Вы имеете в виду, еврей? Вера в принципе здесь никого не интересует. Все может быть, конечно, но, нет. Я не знаю, почему не печатают меня, но моя национальность не главная для них причина, вообще не причина. А какая? Я не знаю и не думаю об этом, – ответил Кравт. – Может быть, нас и не очень жалуют здесь, я имею в виду евреев, меня это не волнует. Я говорю вам правду. Я думаю о евреях в третьем лице, как о «них», если говорить о притеснениях или о чем-либо подобном. Никто никого не обязан любить. Они меня не занимают, евреи. Они не первые у меня.

Офир кивнул ему, что понял и согласен с ответом.

Они ушли, как пришли, обменявшись телефонами и адресами. Почерк у Офира был ясный, прямой, без завитушек и ухищрений, по-

черк человека уверенной мысли. Только писал он справа налево, а так, все как у всех, у обычных людей, не боящихся жизни.

Кравт смотрел, как они спускались по лестнице. «Прямо как "Путники в ночи"», – подумал он расслабленно.

«Как вообще этот Офир не боится жить, как я, например?» – подумал Кравт, глядя в спину гостям. Офир выглядел молодым бойцом в ответственном марш-броске. Алик же показался опять Кравту праведником – узкая спина, неконцентрированный взгляд, бородка, берет.

«Таким, как Довид, ему уже не стать, да и не надо, что меняться, каким родился, таким и умер, или нет?» – подумал Кравт об Алике, вспомнив вид того человека со шляпой набекрень во дворе синагоги и несостоявшееся благословение его.

Перед тем как начать работу, Кравт немного посидел за столом и подумал о том, что произошло. Все случилось с ним в один день, и такая нагрузка была великовата для него одного. «От меня осталось немного, – подумал он. – Но все-таки осталось».

Это он понимал отчетливо.

«Если примут в институт к Трошкину, пойду учиться, как и что надо писать, сломя голову, как юноша. Рукописи пусть лежат в Тель-Авиве на всякий случай. Кто знает?! Чтобы не сгорели невзначай, не утонули, да мало ли что может случиться с ними, со мной? А то неизвестно что. Проходили уже, изучали, знаем их повадки, – думал Кравт. – С Офиром ничего не должно произойти экстраординарного, он не из тех людей, с которыми случаются катаклизмы. Я все же не просил его ни о чем уголовно наказуемом и ужасном. Но с этими, в мундирах, конечно, ничего знать наверняка нельзя. Надо надеяться. Ну, все, хватит. Больше не расслабляемся, вдыхаем воздух, дышим, собираемся с силами, начинаем...»

Кравт собрался и перестал непривычно думать о жизни.

Он вздохнул глубоко, выдохнул, сделал это еще раз. Потом помассировал как бы вырезанные из матового мрамора кисти своих рук, несильно сжатые в кулаки, придвинулся к благословенной, чистенькой пишущей машинке, которая выглядела молодой и новой, и начал работать в ритме странного танца, не то вальса, не то рок-н-рола, не то польки-бабочки. Он довольно часто сверялся, зорко глядя, в густо исписанные им авторучкой листы справа от машинки. Иногда он откидывался на стуле и внимательно всматривался в написанное, будучи не совсем доволен. Иногда он вытаскивал лист, с треском откручивая ручку машинки сбоку, и рвал его на части, отстраненно комкая куски в кулаке. Но, в общем, работа его выглядела и звучала достаточно ровно и последовательно, без срывов.

Никто ему оценок не давал, имеется в виду широкая читающая публика, но тот, кто знал и понимал в этом толк, тот признавал наличие огня, интереса, сердцебиения.

Главное же состояло в том, что мнение понимающих и знающих литературный толк Кравта как раз и не так интересовало. Постольку поскольку интересовало. Ему больше всего было нужно как раз мнение и признание так называемого народа, Ануфриева, Константина Алексеевича, Сутулого, обоих Стасов, девушки Тони. И других им подобных. Это было его затаенной мечтой.

Через день ему позвонил вечером домой Трошкин. Вздохнув, затянувшись трубкой, посопев, покрякав и покхекав, все было хорошо слышно в трубку, сказал:

– Я прочитал ваши рассказы, Илья Семенович. С большим интересом и не отрываясь, как простой читатель и как заинтересованное лицо. Что ж, сильно, очень сильно, конечно. И вот у меня возник тут вопрос: а вы сами-то хотите учиться в нашем институте, в классе Трошкина, Илья Семенович? Мне как-то неясно стало вдруг.

Почему ему вдруг стало неясно после прочтения рассказов, было непонятно. Хотя при известном напряжении можно было бы и догадаться.

Кравт вспомнил его сидящие близко друг от друга странные глаза, его твердое актерское лицо, его отличную одежду, его курительную трубку, его изучающий взгляд, фразы и абзацы из некоторых его книг. Образ Трошкина, средних лет сибарита, умного, прагматичного человека с хорошей памятью, со средними способностями, предстал перед глазами Кравта в полную силу и мощь, в устойчивом запахе хорошего мужского одеколона, название которого Илье было неизвестно.

При всем этом Нежин казался Кравту много ближе, родственнее, знакомее, чем Трошкин, который был слишком посторонним, типичным, московским. Человеческая интонация у него была тоже другой. Интонация его речи определялась на звук и взгляд, не наверняка.

– Почему вы спрашиваете? – тихо сказал Кравт.

– Значит, спросим иначе: вы хотите у нас учиться, Илья Семенович, и ничего другого не желаете? – спросил Трошкин. Что-то в его голосе выдавало смущение. Роль была не совсем по его человеческому масштабу.

– Да, я вам так и сказал третьего дня, – сказал Кравт.

– Тогда все, вас пригласят на экзамены бумагой из приемной комиссии. И будьте сдержанны, – попросил Трошкин. Он не договаривал чего-то, но Кравт этого понимать не хотел. В конце концов, его право говорить и не договаривать что-нибудь или чего-нибудь.

– Я вообще, золотую медаль получил в школе… учился неплохо, – смущенно сказал Кравт.

– Еще лучше, но дела не меняет. Я завтра уезжаю на две-три недели до июля, ваше имя уже стоит в списках, так что поздравляю. Я еще вас попрошу об одолжении, да? Хотя бы до приема в вуз ограничьте свой круг общения, да? Сузьте его, пожалуйста, – сказал Трошкин, не запнувшись. Он знал, конечно, слишком много постороннего для человека, который пишет оригинальную прозу, пусть даже советскую. Это знание утяжеляло его жизнь. Но что делать. Или знаешь много, или вообще ничего и ты сам ничто.

Кто хочет быть ничем?

Кравт тяжело молчал.

– Я воспринимаю ваше молчание как согласие, Илья Семенович, до скорого свидания, – сказал Трошкин. Он был светский человек. Он повесил трубку, не дождавшись ответа. Он торопился говорить, что было ему не свойственно. Он торопился, иначе говоря, делать добро. Делать добрые дела в его положении надо было быстро, чтобы никто не успел передумать. Он делал доброе дело сразу для нескольких сторон одновременно, в этом была сложность и оригинальность ситуации. Свою задачу Трошкин, спаситель судеб и душ, выполнил хорошо и был доволен этим и собою.

Когда позже пришел Алик, который появлялся теперь каждый день, и Кравт, возбужденный разговорами и событиями, ему все рас-

сказал, то тот, посмеявшись и похихикав, отклонившись к спинке дивана, вальяжно сказал:

– Вообще, нельзя никого судить, Илья.

У Кравта не был завершен абзац, и он напряженно думал об этом тоже, раздражаясь на то, что приходится отвлекаться.

– Про Трошкина есть история, которую ты должен знать. Его отец был самым ярым собирателем марок в Союзе. Коллекционер. Состоятельный человек, кажется, архитектор, вся Москва его знала, и он знал всю Москву. Так вот Сталин перед встречей в Ялте, кажется, с Рузвельтом и Черчиллем захотел коллег одарить по-царски. Он был человек кавказский, широкий, а они второй фронт открыли, подсобили, чем могли. Что подарить? Узнал, что Рузвельт собирает марки. Приказал собрать достойную коллекцию марок для американца. Тут же забрали нескольких филателистов, из самых крупных в Москве и Ленинграде. Арестовали. Из их коллекций собрали роскошные альбомы для Рузвельта. Марочников тех посадили, и отца Трошкина, конечно, тоже. В лагере тот умер. Рузвельт получил марки, был очень доволен. Сын Трошкина Иван рос в жутких условиях, в бедности и голоде. В литературе пробивался наверх с огромными усилиями, непомерно напрягаясь. Запомнил свою юность он хорошо, потому что писательская память – качество профессиональное. Ни в чем предосудительном замечен не был, но наверняка знать нельзя, конечно. Помни об этом, Илюша, – сказал Алик. – Офир просил тебе поклониться, сказал, что твою просьбу исполнит.

Кравт сидел за письменным столом с нейтральным лицом «не гневного певца городских окраин», как его назвала редакторша Клара из издательства. Комната его была лишена уюта, но ему нравилось так. Полка с книгами, этажерка с книгами, черно-белая, довоенная фотография мамы в косынке, письменный стол с пишущей машинкой в чехле, в углу дивана стопка книг, радиоприемник с матерчатой поверхностью поверх динамиков, лампа под бежевым абажуром, тюлевые занавески из ГДР, зеленоватые обои, четыре тяжеленных стула, обеденный стол на восемь мест с хрустальной вазой в виде старинной ладьи на серебряной бурой подставке, которая досталась им от родителей жены Кравта в качестве приданого. Пепельница представляла собою фаянсовую фигуру игрушечного медведя на задних лапах, который стал в СССР символом московских Олимпийских игр и летал летом 1980 года над Воробьевыми горами, летал. Пепел надлежало сбрасывать в большое лукошко, которое медведь держал в лапах.

– Знаешь, Илья, что следователи конторы в тридцать седьмом году после следствия сами должны были стрелять осужденных. Это, по идее, укрепляло их связи с революцией. Ты это запомни. Все-таки мы простимся с тобою, не надо их дразнить, – добавил Алик. – Так будет лучше. Наверное, это верно. Ты должен пойти учиться к Трошкину, потому что это твой шанс. Ничего в этом нет зазорного.

– Ты так считаешь? Хорошо. Старайся не обижать меня. Я этого не заслужил, – ответил Кравт, который считал мнение товарища важным, но всегда поступал по своему.

– Тебе Стас просил поклониться, с кем-то он говорил из своих композиторов. Они признали твою полную гениальность и пожелали только здоровья, остальное все есть.

– А я уж подумал, что наш Стас мне кланяется.

– Наш Стас не кланяется, как тебе известно, никому. Ему самому все кланяются, даже на площади Урицкого кланяются. Не совсем на площади, но возле нее, ха-ха. О тебе отзывается хорошо. Сказал мне, что Мрар оправдал доверие и ему это зачтется.

– Композиторам ты рукописи давал, или кто еще? – спросил Кравт подозрительно.

Алик не испугался, но напрягся.

– Это плохо? Я хочу как лучше. Тебя должны знать в обществе. Я, когда ты мне дал папку, сразу отдал перепечатать одной даме и храню этот экземпляр в надежном месте. Ничего страшного не произошло. Офиру ты ведь отдал экземпляр, Трошкину тоже, между прочим. Рукописи живут своей жизнью, от тебя не зависящей, – сказал Алик.

– Ты должен был мне сказать. Никакой самостоятельной жизни без меня у моих рукописей нет. Пока я жив, они существуют только с моего решения. Это плохо, то, что ты сделал, – скрипучим, неприятным голосом отозвался Кравт, отворачиваясь от товарища и злобно глядя в сторону.

– Да, я все забываю. Хорошо, извини меня, я виноват, – сказал Алик.

– Не извиняю. Я тебя просил о чем-то, а ты делаешь, как пожелаешь. Я сам виноват, конечно, но ты пользуешься моим доверием, эх, не должен был я расслабляться, не знаю, что со мной такое? – отвечал расстроенный Кравт очень мрачно. Его отношение к написанному слову превосходило осторожностью легкомыслие Алика.

«Нужно сегодня же переписать завещание, – подумал Кравт . У него было завещание, запечатанное в толстом конверте и заклеенное сургучом. Лежало оно под папками с рукописями на дне нижнего ящика письменного стола. На конверте от руки черной тушью было выведено «Завещание Кравта И. С.».

Алик смотрел на него, почти не узнавая. Выражение лица его можно было отразить словами: «Какой ты?! Так вот ты какой!».

Алик уже был не здесь. Он находился в дивном тенистом саду, в котором пели райские хвостатые птицы. С моря прилетал легкий ветерок. Он лежал на замечательном изумрудном газоне, в тени высоких лавровых кустов, смотрел в синее небо и от удовольствия грыз починенными доктором Бильштейном советскими зубами соломинку, думая о красоте и счастье жизни.

Но он собрался, отвлекся от мечтаний и рассказал Кравту следующее:

– Прочитал в журнале, что пьяные американские офицеры недавно, пару лет назад, сидя в пабе в городе Гонолулу, или нет такого города, не знаю, придумали новый вид спорта. Ты слушаешь меня, Илья? Называется триатлон. Состоит из четырех километров плавания в открытом море, за этим без перерыва сто восемьдесят кэмэ велогонки, а потом полный марафон – сорок два километра и сто с чем-то метров бега. Представляешь! За один раз примерно десять-пятнадцать часов полного физического напряжения. Уже прошли первые соревнования. Я приеду туда и начну заниматься триатлоном, это моя цель, я настойчивый. Для этого я, в известном смысле, еду...

– Цель, однако. Живы участники? – спросил Кравт все еще мрачно.

– Об этом не пишут, да и сколько там участников, десять-двадцать. Все живы, – ответил Алик. – Я тоже буду триатлонистом. Уже начал тренироваться, бегаю от своего дома к твоему и обратно.

– Это немного, нет?

– Метров четыреста. Если туда и обратно.

– Надо, чтобы только туда, – сказал Кравт и засмеялся. На Алика он не мог долго злиться и обижаться.

В половине седьмого утра перед проходной его огромного завода стояла под еще до войны посаженным тополем на свежем асфальте тротуара любовная парочка и целовалась, держась друг за друга, отчаянно и дерзко. Народ шел, толком не проснувшись, покуривая, на работу тесной толпою.

Некоторые рабочие, люди в кепках, пиджаках и брюках клеш, пошучивали над любовниками, но не зло, потому что с утра злости в них не накопилось. Кравт прошел мимо них, как обычно, не ускоряя и не замедляя шаг. Он их не знал, они не знали его. Ветер принес с завода резкий запах жженого металла, который быстро растворился в свежем ветре, прилетевшем с противоположной стороны, из района Стрельны, с недалекого залива. Было прохладно, дышалось легко, Кравт чувствовал себя хорошо. Шаг его был длинный и сильный, начинался от поясницы и шел дальше от бедра к колену к стопе. И..и-рраз-два-три-четыре. И..и-рраз-два-три-четыре. Вот сейчас мы наработаем на заводе больших производственных дел. И..и-рраз...

Через два дня в одиннадцать утра на работу Кравта позвонила женщина.

– Вас к телефону, Илья Семенович, из Москвы, – почтительным шепотом сказала Нина, сидевшая у телефона, как на посту. – Из института имени Алексея Максимовича Горького.

«Что за институт такой?», – подумал Кравт, взял трубку и сказал:

– Да, я слушаю.

– Илья Семенович Кравт? – спросил низкий женский голос.

– Да, он самый, – сказал Кравт.

– Если вы тот самый Кравт, то слушайте меня, все утро вас разыскиваю. Я секретарь приемной комиссии Высших литературных курсов Гуськова. Вы должны приехать со всеми документами о вашем образовании до 15 июля, – сказала женщина деловито. – Я понимаю, что вы на работе сейчас, когда я могу поговорить с вами подробнее?

– Сегодня после пяти я должен быть дома, если вас не затруднит, товарищ Гуськова, не знаю вашего имени-отчества, – отозвался Кравт. Он не думал, что все это произойдет так быстро, что изменения в его жизни грянут необратимо. Повесив трубку, он остановился в задумчивости у стола Нины, держа себя рукой за подбородок. Потом он обвел взглядом комнату, привычные стены с репродукцией смертельного ратного подвига усталых, чумазых юношей в касках, и с другой репродукцией мускулистого целинного труда, и с третьей репродукцией юной, счастливой мамы с улыбающимся ребенком, узнал происходящее и пошел к своему столу. Прямо напротив него висел портрет пожилого руководителя партии и правительства с неестественно-кремовым оттенком большого лица.

Нина спросила немолодого абитуриента Кравта особым грудным голосом, предназначенным у нее для специальных случаев с мужчинами всех возрастов от пятнадцати до семидесяти:

– Хорошие новости, Илья Семенович?

– Неплохие новости, Нина, только вот что мне с ними делать, не знаю, – отвечал Кравт, подтягивая под себя стул. Перед ним лежали на столе рабочие бумаги, сегодня у него было много работы. Он за-

стывшим взглядом оглядел стол. Нина принесла ему чай, осторожно поставила перед ним и, склонившись к нему, негромко сказала:

– Я всегда верила в вас, в вашу планиду, Илья. Вы позволяете мне вас так называть? Накоротке?

Она прикоснулась к его плечу своим постоянно гудящим бедром и заглянула ему в лицо большими, чуть блеклыми глазами.

– Вчера мне подруга гадала на картах, пиковый король, любовь, любовь без оглядки, – продолжила Нина, – ох, опасно это.

– Я верю в предсказания, Нина, – сказал Кравт.

Пожилой человек с большим лицом, грубовато подкрашенным ретушером, властно смотрел на них со стены, не выказывая никаких чувств по отношению к происходящему. У него была своя большая жизнь, наполненная победами, орденами, свершениями. Нина ни о чем совершенном не жалела.

Нина отчего-то засмеялась, показав золотой зуб в углу рта, который хищно, но не опасно блеснул в утреннем июльском свете. От одного блеска этого зуба можно было потерять голову. Кравт сумел справиться с собой, он многому научился за прошедшие недели.

Нина взобралась на свой стул, двигая телом по сторонам и вздыхая. Она раскраснелась от усилий, стул был мал для ее седалища и слишком высок. Насмотревшись на это чудесное зрелище, прочистив взгляд, Кравт вернулся к своим бумагам и делам.

«Мне полагается радоваться. Я рад», – подумал Кравт. В то же время он очень хорошо понимал, что с ним произошло что-то не то, что он зашел в своих страстях слишком далеко. – Но назад ведь тоже не отыграть, не по-мужски будет, подведу достойных людей, и все эти метания...» – растерянно думал он, бессмысленно глядя в рабочий документ на столе. – Все это выглядит неприлично, по-мальчишески, как какой-то, тьфу, провинциальный маленький южанин, примчавшийся завоевывать литературную столицу, тьфу», – он горевал, Кравт, искренне горевал.

Хотя он был сильнее вина, как это и должно быть, но поведение людей вокруг и привычная любовь к алкоголю, профессиональная у всех писателей, требовала немедленного успокоения в виде стакана вина или трех четвертей стакана водки. Граненого, простого, девятиглоткового стакана водки, выпитого в одиночестве и закушенного кусочком черного хлеба, всего, что нашлось.

Но стакана этого не нашлось. И, наверное, это хорошо, потому что вразнос идти с утра на работе тоже не дело.

Нина, говорливая белая фея, конечно, рассказала всей округе, что Илье звонили из Москвы, из Литинститута имени Горького, и что он сам не в себе из-за большого успеха, и к нему лучше сейчас не подходить. Никто к Кравту не подходил, не совался. На него смотрели осторожно, как на больного человека, у которого не было шансов на выживание. Даже ходили чуть ли не на цыпочках мимо его стола.

В перерыв Кравт сидел у забора, трехметровой каменной стены, обрамленной металлическим узорным литьем поверху, и, покусывая травинку, пытался сообразить, как ему поступить.

Начальник вызвал его в свой кабинетик посредством той же Нины, которая вышла на солнце из здания, близоруко щурясь.

– Я слышал, что вы уходите от нас в Москву, Илья Семенович? – спросил он. Его славянское лицо с ровными эстрадными усиками, стареющими глазами, правильными чертами выражало внимание.

– Еще не решил окончательно, но склоняюсь к отъезду в столицу, Константин Алексеевич. Мечта всей моей жизни, можно сказать, – ответил Кравт. Произносимые им слова были почти не принадлежали ему.

– Вы садитесь. Может, скажете мне о мечте вашей, а то столько лет работаем вместе, и ничего не знаем, нехорошо. Выпьете рюмку за успех? – Константин Алексеевич был человеком хорошим, порядочным, со своим отношением к жизни, с порывами и стремлениями. Хотя недруги его и утверждали, что «один у него порыв, одно устремление, нажраться до потери человеческого лица, только дай повод». От этой страсти у него бывали известные проблемы, которые пока были нечасты и еще находили на работе положительное разрешение на уровне разговоров и переговоров. Он еще «держал фасон», как говорили старухи на лавочках во дворах у клумб и тополей.

Кравт кивнул: «С удовольствием выпью». Константин Алексеевич оказался более чем вовремя, подоспел кстати. Он любил поговорить, но с этим Кравт считал, что справится.

– Я так рад, Илья, что вы не ступили на стезю антисоветчины, что не поддались модным веяниям, что не занимаетесь политикой, вы не представляете... Так вы что же? Литератор? Литература?! Да?! А я всегда вас подозревал, но думал, что вы диссидент, политик или сектант какой религиозный, в Бога веруете, не атеист... но писатель?! От этого я был далек... клянусь, не думал, ваше здоровье, Илья, – он легко опрокинул стакан. Кравт выпил более чем охотно. Пили «Охотничью», закусывали неправильной формы, сладковатыми сушками. Да кто разбирал, что и чем?

– Подождите, а может быть, вы поэт? – воскликнул начальник. – А?! Очень прошу вас, раскройтесь, признайтесь, я обожаю поэзию, Рождественский, оба Рождественских, Луговской, Дудин, Сергей Давыдов... обожаю, просто обожаю. «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат», а! Так вы поэт, Илья Семенович?

– Нет, совершенно нет, – сказал Кравт. Он жевал сушку, энергично борясь с ее сутью. Его лицо немного расслабилось, потемнело и приняло выражение покоя. Константин Алексеевич оживился, седые волосы его растрепались, усы оттопырились.

– Но вашу руку я держал, и мне она была подарком Бога, – сказал он и разлил по еще порции.

– А это кто написал? – вежливо поинтересовался Кравт.

– Простите, это я написал, – агрессивно сказал начальник, – про безответную любовь.

Так-то начальник был вполне покладистым и приличным дядькой.

Кравт, совершенно трезвый, смотрел на него без всякой надежды на благополучный исход встречи. Они допили бутылку, начальник вытряхнул последние капли, и Кравт поднялся без сожаления. Ему все-таки стало спокойнее и легче жить. Он для себя все решил.

– Что, уже? – спросил начальник.

– Пора и честь знать, Константин Алексеевич, – сказал Кравт, – работать мне надо.

– Да-да, конечно. Имейте в виду, что я рад за вас от всего сердца, Илья. Не забывайте нас здесь, провинциалов, в своих столичных далях, – сказал начальник.

– Высях, – не удержался Кравт.

– Что вы сказали, Илья? – поинтересовался начальник.

– Я говорю «в столичных высях», – объяснил Кравт.

– Да, в высях, – поскучнел начальник, – вам виднее.

Галстук начальника, подаренный ему дочерью к юбилею Октября, развязался сам собою.

Обеденный перерыв кончился, надо было возвращаться к работе. Кравт вышел на минуту во двор, заполненный гулкими и как бы далекими звуками механизмов, подошел к месту у каменного забора, на котором сидел двадцать минут назад, и вернулся на скамью. Все уже разошлись по рабочим местам, и он был один здесь, в этом углу заводского пространства. Время громоздко и равномерно передвигалось по морю и суше, перекрывая путь воздуху. Кравт заглядывал в свою жизнь, ища ответа на несколько важных вопросов.

– Видно, иначе никак нельзя, – подумал он. Не без тоски Кравт огляделся кругом и сразу заметил Нину в боковых дверях здания, которая, улыбаясь и блистая золотым клычком, привставая на цыпочки, звала его поступательным движением мягкой руки. Она показывала свои ноги при этом, и от полного, бежевого вида их Кравт чувствовал могучие токи жизни.

Цех, в котором он работал, был сложен из серого кирпича, перекрытия были темно-бордового цвета, огромные окна под крышей были испачканы сажей, по навесным рельсам двигался с посвистом подъемный кран. Всю эту картину Кравт увидел вместе с двумя средних лет мужчинами в костюмах и темных галстуках, быстрой походкой пересекавшими двор наискосок по направлению к ШИПу – цеху Штампов и Приспособлений. Клеши их щелкали при ходьбе. Ботинки с набойками стучали об асфальт. Они смотрели перед собой и говорили междометиями на ходу.

– Сейчас дождь пойдет, – подумал Кравт, всегда угадывавший погоду из-за болей в спине безошибочно.

Он вернулся на рабочее место, мельком увидев по дороге, как Ануфриев, полный утренней энергии и сил, прищурившись, внимательно разглядывает, отстраняясь подальше, какой-то предмет на масляной, блестящей поверхности стола. Кравт разглядел азарт во взгляде Ануфриева, который сопровождал трудную задачу, необходимую ему для разрешения.

Начальник ходил по комнате широкими кругами, нервно забрасывал руками волосы назад и останавливался у отдельных столов, глядя на сидевших инженеров и инженерш долго и удивленно. Те отвечали ему неловкими взглядами, теряясь от вида возбужденного растрепанного старшого.

Он был неопасен, но неуклюж.

Кравт оглядел комнату со своего места, разобрался в ситуации и начал работать, предварительно сняв пиджак и повесив его на вешалку, за ширмой у входа. Начальник подошел к нему, постоял перед столом, покачиваясь вперед и назад, встретился взглядом с Кравтом, который смотрел на него с интересом и не более того, и отошел, качая головой, как бы не веря себе.

«Вот ведь как бывает, из грязи в князи», – довольно громко бурчал он, закрываясь в кабинетике. Нина пригнулась к столу, как это делали в школе, чтобы сказать секрет, и негромко сказала Кравту: «А я так перепугалась за вас, Илья Семенович, когда он приполз».

– Спасибо, Нина, вам, – ответил Кравт, – он приличный человек. Его не надо бояться.

– Да, приличный, но выпивший. Не знаете вы русских людей, Илья, да и вообще людей не слишком понимаете, – отозвалась Нина не без резона. Она полулежала на своем столе и выглядела очень соблазнительно с высоко уложенными волосами и распахнутыми серыми глазами, в позе поварихи, закладывающей в печь противень. Ягодицы ее в этой позе были несколько выше головы. Языком она инстинктивно облизнула губы. Кравт отвернулся от нее с трудом.

– Какой вы странный, ей-богу, Илья, – вздохнув, сказала Нина, – отшельник настоящий.

Про жизнь и законы ее она все понимала правильно, а вот про людей, проживающих вокруг, Нина понимала не все. Конечно, интуиция у нее была развита очень, но ошибалась она тоже часто. Стоило взглянуть на штампы о замужестве и разводе в ее паспорте, чтобы убедиться в ее ошибках. Нина гордилась своими прошлыми поступками. Работала она старательно, даже язык высовывала, когда оформляла документацию. Женщиной она была роскошной, можно сказать, чудной, когда надо податливой, когда надо строго-податливой, а когда надо – кремень в человеческом виде.

Кравт не был ни отшельником, ни затворником. Он даже не был брезглив, ел абсолютно все. Ему многое не нравилось в жизни, но еще больше нравилось.

Алик давно раз хотел снять его на кинокамеру, которую купил со своего еще второго песенного гонорара. Кравт отвечал, что фотографироваться не любит, не приучен.

– При чем здесь приучен? – спрашивал Алик. – Хочу оставить память.

– Я стесняюсь своего изображения, – говорил Кравт, – мне неловко на себя смотреть.

Алик этого не понимал, принимая за странные капризы взрослого человека с неожиданных характером

– Я буду смотреть на это, а не ты, Илья, – говорил он Кравту, который с ним был категорически не согласен и в этом вопросе тоже.

Вот теперь, уже будучи несоветским человеком официально (он заплатил по закону огромные деньги за отказ от советского гражданства для себя и всей семьи, по семьсот рублей за человека), Алик дождался будним утром, выходящего из парадной на работу Кравта и заснял его своей камерой размеренно шагающего к остановке. Кравт остановился, увидев товарища со стрекочущей камерой, сделал выразительный жест, засмеялся и пошел дальше. Алик неловко семенил за ним, повторяя в возбуждении:

– Да я просто хочу кадры с тобою на память, понимаешь?! На память!

Кравт шага не замедлял, но и не убыстрял, только махал рукою на него, как на досадливую, любимую помеху. Алику он по привычке прощал почти все.

Так и остался на пленке собранный, идущий по раннему, влажному питерскому холодку на работу в светлой советской рубахе прощающий Алику все человек, изредка взглядывающий в камеру. Лицо его было не отечное, не слишком волевое, не слишком местное, но и не постороннее. Лицо жителя этих мест. Лицо не идеолога, не борца, просто лицо сочинителя, в некотором смысле шута. Хотя шутом он никак в жизни не был, смеха ни у кого не вызывал. А, кстати, мог бы, вполне, если бы все сложилось иначе.

Шел он споро, без песни, огибая лужи ночного дождя, которые сильная, но не гибкая, даже можно сказать, прямолинейная дворничиха еще не смела жесткой метлой в решетку сточного канала, что между мостовой и тротуаром.

Потертый портфель с накладными карманами в его прямой, худой руке был почти недвижим. Вот он поздоровался с двумя мужчинами, которые зябко поеживаясь, закуривали у газетного ларька, облокотясь на узкий прилавок, вот зашагнул в переполненный троллейбус. Тех двух мужиков бил похмельный, ухающий озноб, воспаленные глаза их смотрели вниз, поэтому они не заметили аккуратного соседа. Вот Кравт сжал поручень, вот улыбнулся, наконец, Алику широким, худым ртом. Вот уехал.

Слава Богу, что хоть эти кадры остались.

Потом уже, через несколько лет, живя в городе Нетания, на берегу Средиземного моря, Алик перегнал ту отснятую ранним, не пасмурным утром, пленку на видеокассету, но стал за это время крайне религиозным человеком и не показывал ее никому, да и кому показывать-то, и сам смотрел очень редко. Только когда вспоминалось прошлое, Ленинград, жизнь в нем, смотрел. Триатлонистом он не стал, нет. Хотя со временем этот вид спорта набрал огромную популярность и силу, но Алика в нем не было, у него не хватило характера. Ну, куда, скажите, носиться на этих велосипедах по жарище?! Вы этого Алика видали хотя бы издали? А велосипед?!

Вот в Ленинграде он бы мог поехать и побежать куда-нибудь в сторону Комарова. А вернуться оттуда на велосипеде. Только плыть четыре километра было бы Алику негде. Но этот разговор все равно пустой, потому что Алик живет не в Ленинграде, а в другом месте. И Алик другой, и Ленинград уже не Ленинград, и вообще.

Во вторник вечером прошли проводы Алика, который уезжал в Средиземноморье за новой правдой и жизнью. В его почти пустой квартире с сумками у пустых стен и пятнами из-под снятых картин и фотографий собралось много людей. Сидели на продавленном диване, на низких подоконниках и вокруг обеденного лакированного стола. Все остальное уже было сложено и отправлено обычным и авиационным багажом в другую страну далеко отсюда. На количестве водки и вина в доме это не отразилось. Три женщины средних лет, среди них усталая, красная от волнения жена Алика, нервно и суетливо двигаясь в небольшом пространстве, быстро делали бутерброды с кильками, колбасой и крутыми яйцами, на кухне с зажженной голой лампочкой под потолком. Варилась картошка вместе с лавровым листом и английским перцем в чане. На полу стоял противень с покупным, сильно и хорошо пахнувшим зеленью и чесноком холодцом из фабрики-кухни напротив станции метро. Алик уезжал, чтобы никогда не возвращаться больше сюда. Складывалось впечатление, что он не совсем отдает себе отчет в реальности происходящего.

– И хорошо, и чище воздух будет, – сказала их соседка днем другой соседке при виде торопящихся Алика и жены его, и отмахнулась рукой от них, как от надоедливых мух. Никто не расслышал ее слов, кроме шустрого Алика, проходившего возле и приветливо теткам кивнувшего, что «правильно, дамы, правильно вы говорите, чище будет, но вы как-то очень уж суровы, Антонина Андреевна, честное слово».

– Видишь, какой ловкач, – сказала соседка подруге, но явно смутилась – обижать ни за что ни про что людей в глаза очень тяжело. Да и потом у каждого человека есть душа, нет? А как же. Или?...

Пришел додекафонист Стас, строгий, бритый, мрачный, похожий на отставного белого офицера старшего ранга. Кисти рук его заметно подрагивали. Все любили Стаса, даже мужчины. И девушки и женщины подпрыгивали в нетерпении в прихожей в очереди поцеловать его в щеку и прижаться к чудесно пахнувшей рубахе на плоской, твердой груди. Он был вроде как царь. Пришел другой Стас, одетый в белый костюм, с мягкой улыбкой на лице, от которой хотелось спрятаться в угол. Он старался понравиться, шутил. Глаза у него были малоподвижные, стылые какие-то. Он походил на ученое, ловкое человекообразное, обрызганное дорогим одеколоном, носил дамам бутерброды, пропускал их в дверях. Ходил он мягко, чуть приседая при шаге, руки у него были очень длинные, как ни смотреть, он походил на сообразительную, страшную обезьяну, хотя был вроде довольно привлекателен внешне.

Пришел растерянный, бледный Нежин, который не знал, как себя вести, что говорить. А что говорить? Все здесь вели себя так, как хотели. Дом этот уже был как бы вне этой власти и страны. Несоветский остров. В руке у Виктора Сергеевича был портфель, который он неловко пристроил у ноги. Кравт присел возле него и сказал: «Ничего такого здесь не происходит, завтра Алик уедет и все забудется».

– Как это все забудется?! Мы не забудем, они не забудут, эх, какая жизнь проклятая, Илья, я знаю, что вам звонили из института, хоть что-то хорошее произошло, будьте здоровы, – сказал он. В руке Нежин крутил черную доминошину с белыми точками «один-два», которую нашел на полу. Можно было многое найти на этом полу у Алика сейчас: детские игрушки с отломанными частями, одиночные шахматные фигуры, разодранную картонную коробку, пачку старых газет «Советская культура», шарф хозяина, кастрюлю без ручки.

– Вы поджары, Илья, много ходите пешком? – спросил Нежин. Кравт пожал плечами.

– Очень полезно для здоровья, – сказал Нежин. Как-то он не попадал в такт происходившему. Он потерял здесь образ знатока русской жизни. Боком к столу сидел патлатый израильский маоист Эйран со стаканом в руке, по-прежнему несуразен, бессмысленно важен и агрессивен. Прелестной зеленоглазой девушке с открытыми смуглыми плечами он толковал о социальных достоинствах местной власти. Она смотрела на него испуганно и недоверчиво. Он ей не нравился, несмотря на апломб. Эйран потерял к ней интерес, заметив ее реакцию на себя. Его интересовали только соратники и соратницы по идее, а не какие-то примитивные, реакционные шоколадницы.

Вечеринка быстро вышла из-под контроля хозяина, да тот того и хотел. Это был красный день его календаря. Если бы за происходившим в доме Алика вечером кто-то наблюдал, то он мог увидеть много интересного. Эйран невнимательно слушал Алика, который показывал всем своим видом, что он всюду бывший, бывший, бывший хозяин дома, бывший гражданин СССР, бывший автор слов к эстрадным советским песням про веселье, ветер, весну, любовь, бывший житель города Ленинграда, «города над вольной Невой».

– Вы не подведите, Илья, за вас ручались, – неожиданно сказал Нежин. Он совсем потерялся, бедный, после своих слов. Он, как и

Трошкин, не был чекистом. Кравт понял его, неловко кивнул, что «не подведет, никогда не подводил». Он не мог смотреть на Нежина, а тот, кажется, не мог смотреть на него. Нежин не знал, что говорить и делать здесь, он не понимал того, что здесь происходит, что он делает в этом месте. Провожает? Кого? Куда? Известно куда.

– Дело это чистое, Илья, во всех отношениях, по всем параметрам, не сомневайтесь даже, но вы же знаете, как у нас все делается, – зачем Нежин затеял разговор сейчас и на эту тему, было непонятно. И что значило слово «параметры», неизвестно откуда появившееся в его лексике.

Кравт поворочался на стуле, посмотрел по сторонам, покрутив головой, как недисциплинированный школьник, потом с аппетитом закурил сигаретку. Ему было очевидно, что два достойных, важных человека, Трошкин и Нежин, поручились за него, за то, что он не враг СССР, что он не попросит разрешения на выезд заграницу, не напишет прокламацию. Они сказали кому-то важному в костюме, шляпе, с горящим значком Ильича в лацкане пиджака, что Кравт одарен выше всех принятых в этом месте при этой власти норм. Они поручились за него лично.

С Гуськовой из приемной комиссии он второй раз не переговорил, они так и не смогли совпасть. Она доложила Трошкину, что «документов Кравта еще нет и что он себе думает». Трошкин просил ее не беспокоиться, «все будет хорошо, творческие люди всегда, знаете, рассеянны, никуда он не денется», – сказал он женщине, и она сбавила тон на примирительный. С Нежиным он переговорил, и тот обещал ему выяснить.

К Кравту подошел розовощекий малый, круглолицый, голубоглазый. Это был Довид. Он бормотал что-то, некий незнакомый Кравту мотив. Много было странных необычных людей в этот вечер у Алика, да ведь и контингент такой особый.

– Я о вас все время думаю, мне необходимо ваше благословение, Довид, – обрадовался Кравт.

– Конечно, Илья, конечно, вот сейчас, – пробормотал Довид. При всех своих огромным руках, плечах, кистях, он выглядел кротким человеком, и он был кротким человеком. Он был необходим Кравту, как глоток морского воздуха в жаркий питерский день у залива. Сегодня, позавчера и вчера были именно такие дни. Жизнь его менялась.

Илье Кравту очень повезло – ведь все могло случиться в его жизни ровно наоборот. Сам он уже убедился, что в этой стране с почти отмененными товарно-денежными отношениями надо за все платить. Он заметил, что Нежин поднялся, нащупав после некоторых усилий портфель на полу и боком-боком, глядя только вперед и ни на кого в отдельности, пошел к выходу. В коридоре Нежин столкнулся с Аликом, который нес студень.

– Милый, я желаю тебе счастья и благоденствия, – сказал Нежин торопливо.

Алик передал противень жене и подал руку Нежину. Тот обнял его в ответ, они сказали что-то друг другу, плакали. Потом Нежин ушел, Алик смотрел ему вслед из двери. Нежин проскочил мимо целовавшейся на лестничной площадке этажом ниже пары. Девка была остролицая, спортивная, легко одетая, по летнему сезону. В синем слабом свете лампочки она внимательно осмотрела Нежина с головы до ног, не забывая держать партнера за ягодицы. У парадного стояла

легковая машина, в которой курили двое мужчин с неясными лицами, Нежин в ужасе пробежал двор к остановке за углом пивного ларька.

«Суки, загнали меня, – думал Нежин, ожидая автобуса номер два. – Но эти тоже хороши, чего уезжать отсюда, родился и живи, и терпи до конца, да и почему терпи? Я, конечно, хорош человек, мерзавец. Пи-са-тель, от слова «худо»! Инженер человеческих душ, тьфу! Жизнь сучья! Тереби вас тать, блядь. Тьфу!»

Он был тяжело и окончательно пьян. Шнурки на его башмаках развязались.

Грудь ему непривычно ломило. Никогда прежде с ним ничего подобного не было, никаких таблеток он с собой не носил. Нежин присел на лавку, прижавшись спиной к столбу с желтой табличкой, на которой было написано «Финляндский вокзал». До вокзала было еще ехать на автобусе минут сорок. Почему он сюда сел, Нежин не знал. На вокзал ему было не нужно. Помимо боли в груди у него была еще одна центральная мысль: уехать отсюда скорее. Прочь. Он вспомнил, как с непонятной усмешкой смотрел на него, когда он прощался в коридоре, наглый, похожий на обезьяну жутковатый школьный приятель Алика, явный русак по виду.

За автобусной остановкой было пустое асфальтированное пространство, а далее начинался небольшой парк с прудом посередине. Девушка в красивом платье белом, держа под руку своего кривоногого кавалера, уменьшалась, удаляясь по освещенной аллее от проспекта. Шуршал троллейбус, который шел в другую сторону от нужной Нежину.

В конце концов, он смог уехать, даже довольно быстро, добрался до метро, пересек болезненно-чуткий взгляд милиционера в новой шинели, спустился по эскалатору, не упав, и через час был дома, лязгал ключом о замок. Семья была на даче. Он сидел, отмачивал ноги в горячей воде, пил крепкий чай, глядел на пишущую машинку на столе с листом белоснежной бумаги, думал о Кравте, Алике, о его отъезде, о своей жизни. Ни до чего хорошего он не додумался. Пошел спать.

Ему приснилось, что он идет по горячей земле босой, где-то за городом. Рядом с ним идет Алик. Позади них идет Кравт. Очень жарко. По земле бегают быстрее человеческого взгляда, фьюить-фьюить, маленькие желто-зеленые ящерицы. «Надо воды попить», – говорит Нежин. Алик достает фляжку с водой, взбалтывает ее. «Мало осталось», – говорит он.

Кравт протягивает руку за питьем. «А ты что, тебе зачем пить? Мертвые не пьют», – говорит Алик ему. Нежин оборачивается и близко видит худое, небритое лицо Кравта в черных разводах пота. «Я живой, ты что говоришь, дай воды», – говорит Кравт. «Нечего тут просить, – говорит Нежин, – самим мало, видишь, какая жара». «Вы что, оба с ума сошли?» – спрашивает Кравт. «Мертвым не даем», – говорит Нежин и начинает жадно пить из фляги, держа ее двумя руками.

Кравт скрывается за деревьями без листьев, уходя, он не оборачивается. Потом начинает идти дождь. После этого Нежин не проснулся, хотя его и пробил здесь мгновенный приступ страха, которые случаются во сне нередко со многими и от которых внезапно вскакивают в постели, как от отсутствия воздуха. Как будто кто-то властно и безоговорочно перекрыл кислород невидимой рукой.

Пробудился он с головной болью около одиннадцати утра. Было душно, шумели птицы, и Нежин никак не мог вспомнить подробностей

ни вчерашнего вечера, ни ночного сна. Так, общее впечатление от недовольства собой. Может быть, это и было к лучшему.

В этот раз Кравт от Довида благословение получил. Сложилось не без труда, но все-таки сложилось. Их разделяли какие-то трепетные дамы в кофточках из крепа. Они настойчиво искали Всевышнего. Довид терпеливо толковал что-то грузному, внимательному Стасу, который глядел не то удивленно на него, не то надменно. Читалась и некоторая насмешка в углах его рта, но он не возражал, не спорил, молчал, терпел, едва заметно двигая плечами, как застоявшееся саблезубое животное с огромными лапами.

Догадывались о Довиде многие, русские люди тоже. У него никогда не было уличных происшествий, которые с человеком такого внешнего вида в Ленинграде могли происходить постоянно. Однажды группа пьяных ребят в центре города, недалеко от метро Владимирская, начала его задевать и оскорблять. «У-у, бес нерусский», – восторженно мычал главный из них, похожий на рака, ловкий пацан. Довид прислонился к желтой стене дома, молча отбивался, пару раз попал. Его прилично побили, но он не упал, никто не вмешивался, только прохожие тетки с кирзовыми сумками вскрикивали в такт ударам. Парни, недостаточно заведенные на Довида, отвлеклись на другую цель и ушли прочь, разгорячено размахивая руками, не оборачиваясь. Главарь их похоже свистел, уходя, песню «Сиреневый туман над нами проплывает». Добросердечная женщина неопределенного вида, подала Довиду упавшую шляпу, он гневно встряхнул ее. Руки его тряслись.

– Это шпана с улицы Правды, – сказала женщина, – в баню идут – пьянь болотная.

«Баня» насмешила Довида, и он улыбнулся. Женщина тоже засмеялась облегченно. Ей хотелось уйти отсюда, с места происшествия, и она повернулась уходить. Все хорошо кончилось, без последствий, без больницы и милиции, и, слава Богу, что так.

Никаких особых изменений в себе Кравт после благословения Довида не почувствовал, но что-то его как бы отпустило, в глазах прояснилось, если так можно сказать. Прошла головная боль.

– Вы не думайте, пожалуйста, Илья, что не уполномочен я, – вдруг сказал Довид. Он был очень скромным человеком. С другой стороны, да куда же ему лезть с таким лицом и общим внешним видом?

– Спасибо вам большое, – сказал Кравт.

– Мне один раввин большой сказал, чтобы я людей благословлял, потому я так последовательно выполняю его просьбу, которую скорее можно назвать приказом, – непонятно сказал Довид. Тон его речи был извиняющийся, смиренный.

«Где он нашел великого раввина, разве власть вместе с добрыми людьми не перебила их всех?» – неожиданно подумал Кравт. Но его сомнения не были сильными. Он вообще был доверчив. Всю жизнь он многое принимал на веру и ничего, сходилось. Это смущало и раздражало многих знавших его людей.

Тетку свою он раздражал.

Родная тетка Кравта, пожилая вдова майора, который когда-то водил десятилетнего Илью после войны в синагогу на осенний праздник через запасной вход, была доктором литературоведения и пользовалась известностью. Муж ее давно умер, она жила одна. Ходила пешком в Публичку. Она была совсем маленькой, с небольшим, ис-

панского типа лицом женщиной. Характер у нее был тяжелый. Она была склонна к скандалу и разрыву отношений. С Кравтом они почти не общались. Пару лет назад он неожиданно для себя отнес ей папку с повестью для прочтения. Через неделю она позвонила и попросила его придти. Кравт поехал к ней на Лиговку после работы, выпив дома чаю и съев бутерброд. У нее были две смежные комнаты в коммунальной квартире, трое соседей, большое трюмо в спальне и круглый стол, за которым она работала и обедала. Детей у нее не было.

– Я не поклонница этого, Илья, если тебе интересно. Это не мой кусок пирога, как говорят. Не знаю, куда это можно отнести, я имею в виду, течение, направление. Тебя никогда здесь не напечатают, если тебе это важно, ты понимаешь, конечно? – сказала она, глядя на него строго. – Это конечно, необычно, но не более того. Тебе сколько лет? Сорок четыре, я так и думала. Мое мнение, оставь это занятие, послушай меня, только неприятности наживешь, это никому не нужно.

Глаза у нее были суровые, яркие для ее возраста, лицо серьезное, одежда темная, можно было вполне испугаться этой дамы, если увидеть неожиданно. Она была атеисткой. Своего мужа она ревновала при жизни ко всем женщинам. Даже к депутатам райсовета. Справедливо ревновала.

– Хорошо, спасибо вам, Ирина Соломоновна, за внимание, – сказал Кравт. Он ожидал от нее услышать нечто подобное, не удивился, но все равно расстроился.

– Я пойду, – сказал Кравт, поднимаясь.

– А рукопись ты мне оставь, Илья, пусть у меня полежит пока, – сказала тетка.

– Я заберу, – сказал Кравт.

Тетка посмотрела на него сердито, полезла в книжный шкаф и достала папку. Сверху лежал мелко исписанный от руки лист бумаги. На улице скрежетал трамвай, тяжко тормозя и гулко открывая двери.

– Это я отмечала твои огрехи и достижения, погляди, если пожелаешь, – сказала тетка обиженно, – их не так много, как можно представить.

– Погляжу, – сказал Кравт. Он был в бешенстве. Эта старуха с каталонским, нежным лицом, сидевшая под черно-белым портретом тридцатилетней давности, на котором были изображены ее демобилизованный муж в советском мундире без погон и она в шляпке с негустой вуалью и чернобурке на плечах. Не молодые и не такие уж красивые люди. Еще жив генсек Сталин и тревога от его существования и того, что нового оно может принести гражданам, явственно читаема на их семитских лицах.

– Я знаю, Илья, как ты упрям и настойчив, я не зря прожила столько лет с твоим дядей, я знаю вашу породу, я прошу тебя, подумай о том, что я тебе сказала, смири гордыню, это грех большой, гордыня, – проговорила женщина.

– Обязательно подумаю, – пообещал Кравт, он был раздражен на себя, на свою суетливость, глупость, неприкаянность.

Больше он с ней не общался и ничего о ней не слышал. Жена Кравта разговаривала с ней по телефону, возила лекарства и еду, когда та заболевала, но Кравт в этом не участвовал. Не от обиды или горечи, просто вычеркнул ее, как потом сделал с Тоней, с другими людьми. Считал, что все должно быть симметрично. Толик ему отбил внутренности, Толику за это сломали ногу. Справедливо. С властью

он еще, к счастью для себя, так не придумал себя вести. Симметрия с советской властью в его случае была невозможна. Он безупречно чувствовал расстояние, перспективу, собственную правоту.

Отъезд Алика обнаружил грохочущую пустоту в жизни Кравта. Он с этим смириться не мог. Он не знал, что делать. Аликов самолет на Вену улетал в 9 часов 55 минут.

От дома Алика уходило три заказанных такси. Кравт сел во второе из них с родителями Аликовой жены. Пожилая интеллигентная пара, мама в блузке из шелка, папа в пиджаке и галстуке с грошовой пластиковой застежкой, молодой парень лет тридцати, брат, по виду прогрессивный умник в свитере и очках. Они оставались в Ленинграде и пребывали в некоторой прострации от близкой разлуки с сестрой, дочерью, внуками навсегда. У Алика было двое совсем маленьких сыновей, одетых в костюмы и причесанных на пробор. Они ожидали поездки, смеясь. Лица у них были как гуттаперчевые, очень похожие на отцовское взрослое лицо. Приехал Стас, вышел из машины и отнес две сумки в багажник первого такси. Недовольный с утра шофер, увидев издали походку Стаса и его лицо, смягчился, стал суетливее, приветливее. «Давайте донесу», – сказал он Аликовой жене и почти силой вырвал у той громоздкий пакет. Вообще вещей было много, навсегда уезжали. Дворничиха, сжимая двумя руками метлу, смотрела на происходящее с интересом, превышающим женское любопытство и известный профессиональный навык. Из соседнего парадного вышел коренастый мужик в неловком пиджаке и на ходу, закуривая, двинулся мимо, отбросив спичку в сторону. Дворничиха встрепенулась и шагнула к предмету возможного раздора.

Возле Алика мужик приостановился и спросил его:

– Переезжаешь, что ли, Альберт?

– Уезжаю насовсем, в Иерусалим жить, – сразу сказал Алик.

– Опа-на, – воскликнул мужик. Новость сразила его. От неожиданности он застыл. Он постоял возле Алика, потоптался и глухо сказал, кажется, с испугом в голосе:

– Не ожидал от тебя. Значит, уезжаешь, да? Тогда прощай, всего тебе.

Он протянул руку, и Алик пожал ее. Дворничиха смотрела. Кравт знал этого человека, они учились вместе в школе, звали его Алексеем, но фамилию его Кравт забыл, не видел лет тридцать.

– И ты, Стас, тоже здесь, ты что же, тоже валишь отсюда? – спросил мужик Стаса неосторожно. Тот посмотрел на него как на помеху, мужик взгляда не отвел. Никак Кравт не мог вспомнить его фамилии.

– Ну ладно, бывайте, парни, – сказал мужик и, оглядев всю группу людей еще раз, ушел. Кравта он не узнал или просто проглядел.

– Давайте и мы поедем, а то уже опаздываем, – сказал Алик. Все расселись, и четыре машины, проехав двор насквозь, обогнули дом справа, одна за другой, и, выбравшись в ленинградском прозрачном тумане на пустой проспект, покатили, мощно урча движками, в аэропорт. Дворничиха резко заметала асфальт. Она всегда так работала с утра, чтобы войти в ритм труда, чтобы согреться или по привычке.

В машине тихо и слаженно пел по радио большой, слаженный хор: «Летят они в дальние страны, а я не хочу улетать...»

– Выключите, пожалуйста, – попросил отец жены Алика раздраженно. – Играют, понимаешь, на дорогу.

И выругался, и сплюнул в открытое окошко, человек в очках, в галстуке и шляпе, далеко не молодой. Видно задела песня еврея за живое. Тоже нервы у них, оказывается, как у людей. Ничего себе, что делается.

Шофер удивился, но послушно радио выключил. Приехали в Пулковский аэропорт, торжественное здание с колоннами и чугунными колосьями над ними. Уборщица в халате мыла мраморные ступеньки, демонстрируя стать не скучавшему постовому. В углу стеклянной двери темнела трещина, будто камень кто кинул и не смог разбить.

В аэропорту пахло хорошим кофе. По залу ходили люди в форме. А также просто люди. Все смотрели друг на друга, не стесняясь. Перед тем, как пойти на таможню, Алик отвел Кравта в сторону и сказал на ухо:

– Мне Стас подарил пятьсот марок на дорогу, умоляю, возьми их себе. Они сложены в квадрат и лежат в нагрудном кармане, возьми.

– Я не слышал тебя, забудь. Напиши письмо мне, Алик, – слабым голосом сказал Кравт.

– Все сделаю, не волнуйся. Береги себя, никому не верь, только себе. Я ухожу, давай, – он некрасиво сморщился, заплакал и, не оборачиваясь, пошел к семье, которая собралась перед прилавком рослого кудрявого таможенника, похожего на русского витязя.

– Не курите, здесь нельзя, разве не видно, – сказал таможенник Алику. Тот загасил сигарету и открыл чемодан, щелкнув (одновременно и почти слитно со звуком «счелк-счелк») двойным замком. Первый чемодан раскрылся перед скромным блондином со славным архангельским лицом, с бритвенным взглядом пограничного правдолюбца, чопорным, несколько брезгливым ленинградцем. После каждого ныряния в недра вывозимого чемодана он задумчиво протирал руки безукоризненным носовым платком. Но ничего предосудительного не нашел и сказал Альберту и его небольшой, но мало дисциплинированной семье коротко: «Можете следовать далее, граждане». Досмотр был так себе, Алик не производил впечатления потенциального нарушителя законов, хотя, поди знай их. Это то, что было видно Кравту снаружи. Одна из двух дежурных буфетчиц сказала вышедшей поглазеть поварихе с красными кистями рук:

– Смотри, Лида, какие кадры уезжают.

Та не откликнулась, горько вздохнула о своей женской доле.

Поблагодарив таможенника Алик прошел к непроницаемому пограничнику с невнятным юным лицом, с примкнутым к автомату матового цвета штыком и показал ему розовую бумагу документа. Тот рассмотрел всех по очереди и кивнул, ступайте. Алик скрылся за дверью, не оборачиваясь. Его жена и дети шли за ним. В зале негромко играла популярная советская песня. Россия вообще музыкальная, поющая страна, если кто не знает. Кажется, слова к музыке написал уезжавший сейчас из СССР навсегда, вот как раз именно Алик, но за это Кравт не мог бы поручиться. Ну, так другой Алик написал.

«Поехали, Илья, домой, нечего тут делать», – сказал Кравту Стас Пичуга. Он был раздражен. Он не любил людей в форме, у него на них была аллергия, на псов, как он повторял.

Кравт хотел дождаться отлета самолета, но два с половиной часа ничего не делая, он ждать не мог, не был способен.

– Мне Алик предлагал твои немецкие марки, – сказал Кравт Стасу. Тот посмотрел без удивления.

– Я не взял, не думай, – сказал Кравт.

– Мне не важно это, – сказал Стас. – Алик уехал, оставил нас. Музыка, видишь, как надрывается?

Музыка в зале играла знакомые советские песни, различные по красоте и популярности, но одинаково лирические и мелодичные сверх всякой меры. Одернув китель, таможенник докладывал своему прямому начальнику результаты рекогносцировки, а что же еще он мог ему говорить в семь тридцать утра?

– Я бы сейчас выпил, – сказал Кравт.

– Половина восьмого утра, – уточнил Стас. – У меня есть в машине.

– Я знаю, потому и говорю.

Они выпили из горла грамм по двести двадцать – двести тридцать молдавского коньяка, закусили карамелькой. Потом Пичуга отвез Кравта на работу. Они простились, как близкие друзья, да так оно и было, близкие друзья, одинокие люди.

Вечером он, как всегда, сел за работу к столу, слова ему не наскучивали никогда. Жена спросила его:

– Ну, как они уехали, Илюша?

– Чудно уехали. Музыка играла. Они сели в самолет и улетели, – сказал Кравт. Он взял ее кисть и поцеловал. Потом он поглядел на нее, отвернулся и спел сильным, чуть фальшивым голосом бывшего инженера, будущего советского студента литературного факультета и, возможно, писателя:

– А я остаюся с тобою, родная моя сторона, не нужен мне берег турецкий...

Он был совершенно трезв.

Жена вышла озадаченная. Она его не всегда понимала, но чувствовала его хорошо. Что не менее важно в жизни. За окном лил дождь, начавшийся с самого утра, часов с девяти. Ей было холодновато и она куталась в пуховый платок. В ванной она озабоченно оглядела в зеркале свое лицо, в котором не нашла ничего лишнего, ни линии, ни оттенка цвета, ни морщинки. Ее занимала собственная привлекательность и отношение к ней родного мужа. У нее была своя непростая женская жизнь при неполной автономии.

Через полчаса после начала работы Кравт вдруг почувствовал резкий толчок, а затем укол в сердце. Боль была невыносимой.

– Аня! – позвал он. – Аня! Иди сюда... – позвал он, но звук не получился. Он упал лицом в машинку, сильно ударившись переносицей о тяжелый металл. Боли Кравт уже не почувствовал. Все было отменено. Когда через час жена зашла к нему с чаем, он был мертв.

С непонятным шорохом он ушел в черную пустоту. Где-то лязгнули, открываясь ворота, пропуская то, что было Кравтом внутрь. Также быстро лязгнув, они замкнулись.

Замечательная неудача его жизни, которой он настойчиво ставил памятник как своей главной ошибке, завершилась. Маятник судьбы Ильи Семеновича, средних лет питерского жителя, споткнулся и остановился. Кравт неблагополучно ушел в небытие.

Это все, что можно было рассказать об Илье Кравте. Небольшое послесловие к этому рассказу.

Офир выполнил свои обещания переправить рукописи Кравта в Тель-Авив, попросив об этом прогрессивного арабского философа, который приехал с ним на конгресс в СССР. Араб, честный, наивный человек, усатый мечтатель из Галилеи, переживший потом несколько

метаморфоз, достойных подробного романа какого-нибудь пожилого египтянина из кофейни в Александрии, был искренне влюблен в советский коммунизм, все об этом знали. Араб этот не вызывал раздражения, непонятно почему. Он небрежно перевез рукописи Кравта через границу и передал их Офиру в университетском коридоре. Алик, приехав в Израиль и оглядевшись, нашел Офира и встретился с ним. Встреча их была тревожной. Алик забрал у Офира рукописи Кравта и начал искать, где их можно опубликовать.

Алик нашел общественно-политический журнал на русском языке, выходивший в Тель-Авиве. В редакции курила, укутанная в шаль, несмотря на жару, нервная дама. «Через неделю ответ», – сказала она, не глядя на Алика. Он ушел огорченный, предчувствуя неудачу. Одну повесть в журнале все же напечатали, снабдив суровой вступительной статьей.

Никто ничего не заметил, кроме Мрара Константина Шмеровича.

После выхода журнала Мрар, ставший важным чиновником в культурном ведомстве, позвонил и насмешливо сказал:

– А я и не знал, что Кравт боролся за демократию.

– Это не я написал, – мрачно сказал Алик.

– Я тебя не обвиняю, но надо быть точнее в фактах, – важно сказал Мрар.

– Не звони мне больше и иди к черту, – сказал Алик. У него категорически быстро и необратимо портился характер.

Знакомый Алика по Ленинграду, работавший в Лондоне на Би-Би-Си, решил стать издателем и попросил рукопись Кравта. Он оплатил перевод и издал на английском языке большую повесть Ильи тиражом в пятьсот экземпляров. Потом сделал семиминутную передачу об этой книге. Было несколько телефонных звонков в русскую редакцию службы Би-Би-Си по этому поводу. Звонил профессор из знаменитого американского университета. Но на том дело остановилось.

Через десять лет после смерти Ильи Кравта в Ленинграде, в августе 1991 года, его сын Гриша издал в небольшом местном издательстве тиражом в тысячу экземпляров книгу отца. Выход книги совпал с путчем врагов демократии в Москве.

Стас-додекафонист стал очень известным и влиятельным в России композитором, но здоровье его испортилось. Пьет теперь только минеральную воду и натуральные соки. Сутулого зарезали при странных обстоятельствах, убийц не нашли. Его хозяин Стас Пичуга получил двенадцать лет за какую-то бодягу с грабежом коллекционеров. Нежин стал лауреатом премии президента. Трошкин вошел в президентскую комиссию по демократизации России. Клара из издательства ушла в торговлю антиквариатом и процветает. Мрар располнел. Он остался тем же человеком, что был прежде – беспардонным, хамским начальником возле культуры. Сидит, обхватив ладонью подбородок, кого-то изображает. Вроде бы идиота. Живет судорожно, на ощупь, по причинам, известным только ему одному. Не торжествует, и на том спасибо.

Офир написал хорошую книгу о массовой культуре и невероятной популярности ее. Часто высказывается по радио и на ТВ. Всегда точен, выразителен, краток. Алик стал религиозным человеком. Он производит впечатление очень достойное в своем лапсердаке, черной кипе и черных башмаках на пластиковой подошве. Как бы убрал от себя все лишнее и остался таким, каким надо быть. Дети

его религиозны, но в меру. А он – без меры, по словам старых знакомых. Кравта помнит очень хорошо.

Довид остался в Ленинграде, никуда не уехал, потому что ему сказали жить в России. Кто? Кто надо, тот и сказал. Он благословляет всех, кто об этом просит, с утра до вечера находится в синагоге, его жизнь хорошая. Все, что ему надо, у него есть.

Дочь Кравта Марина выросла, стала красивой женщиной, вышла замуж и родила девочку. Плавание она оставила после того, как в восемьдесят четвертом Союз отказался от участия в Олимпиаде в США в отместку американцам за московский бойкот. Хотя она и без этого не могла бы стать великой спортсменкой, ее способности к плаванию были не абсолютными. Отца она помнит. До сих пор Марина похожа на фаянсовую, аляповатую, советскую статуэтку танцовщицы народных танцев, представительницу одной из Балканских стран.

Тоня вышла замуж за Толика. Она его любит. У них родились двое детей. О прошлом они никогда не говорят и не вспоминают, да и не помнят, наверное, ничего, потому что все помнить очень вредно для жизни. Забот у них много. Константин Алексеевич вышел недавно на пенсию. Его проводили с почетом. Подарили от дирекции корейский телевизор. Он стал похож на располневшего, недовольного жизнью народовольца. Недовольство его объяснимо просто, никакой загадки тут нет. Про политику он не говорит, потому что «потерял ориентиры», по его словам. Да и не с кем.

Ануфриев уехал в деревню. Пьет умеренно – сил у него стало меньше. Но любит это дело по-прежнему. Завел козу и кур, пропалывает грядки, косит траву, хотя уже немного начал сдавать – возраст.

Ирина Соломоновна жива и проживает там же, на Лиговке. Она часто разговаривает с Аней вечерами по телефону и повторяет ей низким голосом зловещей старухи, как рефрен: «Я его предупреждала, вот в этом самом доме, за этим столом я ему говорила, как близкому человеку, но он был отвратительно упрям, как все Кравты, считал себя самым умным, а самым умным он не был, гордыня его сгубила, вот что я тебе, Анна, скажу». Аня никогда ей на эти слова не отвечает, не хочет спорить с упрямой старухой и травить себе душу. Но хоть разговоры эти разнообразят как-то ее жизнь, и она вспоминает их содержание без сожаления.

Эйран совсем пропал, по слухам, живет в Англии на ренту. Пьет пиво, ходит на футбол, болеет за «Арсенал», пишет бесконечные воспоминания о жизни в России, очень резок в высказываниях, которые ему некому высказать из-за одиночества.

Жена Кравта больше замуж не вышла, хотя варианты у нее в этом плане были, и неплохие. Сын Кравта Гриша, поджарый, как отец, усатый человек из северо-западного угла болотного края, хранит непроданные экземпляры изданной книги отца в своей комнате. Это аккуратный прямоугольный буфет из брикетов в оберточной бумаге, перевязанных грубой бечевкой. На приклеенной к каждой пачке накладной черная надпись – «Крафт. Литература». Но на самих книгах в перевязанных пачках фамилия Кравта написана правильно, и Гриша этим доволен. Он аккуратен, как его отец, и считает, что все должно быть сделано правильно до конца.

2005-2010

Марк Вейцман

РЕЦЕПТ ВЫЖИВАНИЯ

* * *

В стране избыточной жестикуляции,
Излишней громкости, чрезмерной мимики
При попустительстве администрации
Цветут акации и зреют финики.

А страны ближние и страны дальние
Внушают мысли ей суицидальные
Насчёт смирения, непротивления
И отступления без промедления.

Клянут и требуют, стращают карами,
Питают ненависть, пылают злобою.
– Предполагается обмен ударами?
– Не очень хочется, но я попробую.

Авось, погрязшие в своей ничтожности,
Неразличимые в своей суспензии,
Вы вновь оцените мои возможности
И вновь умерите свои претензии.

* * *

Ходят по земле нечеловеки,
Жгут леса и отравляют реки.
Кто не стал бандитом или вором,
Занят контрабандой иль террором.
Именем Всевышнего торгуют
И, сбиваясь в стаи, митингуют,
То есть скачут, воя, как маралы.
В них души не чают либералы,
Как всегда, к вселенским катаклизмам
Путь торя своим либерализмом.
Чтобы мир не рухнул, в бездну канув,
Надо их морить, как тараканов.
Я не человеконенавистник,
Я – н е ч е л о в е к о н е н а в и с т н и к!..

* * *

С младых ногтей жалею Греку,
Провинциального Кусто,
Который ехал через реку,
но не учёл, бедняга, что,
куда попало сунув руку –
с условным именем «река»,
всегда какую-нибудь суку
введёшь в соблазн наверняка.

Потом пришёл однажды к мысли,
Что, дикой кличке вопреки,
Коль и не родственники мы с ним,
То уж, конечно, земляки,
Потомки сирых и убогих,
Переходивших Лету вброд,
И невзлюбил членистоногих
Всех видов, званий и пород.

Хотя без них парнишка бравый,
По фазе сдвинутый слегка,
Не удостоился бы права
Войти в анналы на века,
И некий бард, увы, безвестный,
Не сочинил о нём катрен,
Могущий стать противовесом
В челне судьбы, дающем крен.

* * *

Обречённость осы
В лимонадном стакане
Иль, допустим, хамсы –
На продетом сквозь жабры кукане
Абсолютно иная,
Чем, скажем, лисы
В браконьерском капкане,
Потому что нема.

И твоя такова.
Коль к окну от тебя отвернуться,
То несложно забыть,
Что ты можешь, уснув, не проснуться
И домой,
Как увязший в буране ямщик, не вернуться,
Потому что зима.

Ординатор ворчит:
С отоплением вновь неполадки.
Из книжонки торчит
Куцый хвостик картонной закладки,
Но её дочитать
Ты не сможешь уже никогда.

Твои очи ясны,
Твои речи отнюдь не унылы.
Вот на что ты отважно
Транжиришь последние силы.
Потому что горда.

САМАРИЯ

Что творил, не ведал. Каяться
Было недосуг.
Но, давясь от пыли каменной,
Поразился вдруг
Ощущению причастности
К тем, что, грунт долбя,
Строят «стену безопасности» –
От самих себя.

СЕГЕН СОНИН

Объект, в который целил сеген[1] Сонин,
Практически был безынерционен,
Ракета под названием «Стрела»
С ним в скорости тягаться не могла.

И тут в расположеньи третьей роты
Возник какой-то тип сребробородый,
Столь схожий с Элиягу а-нави[2],
Что впору возопить: «Благослови!»

Дабы не ошибиться, скажем – Некто,
Впадающий в провидческий кураж.
«Лупить по неопознанным объектам, –
вскричал он, – непростительная блажь!

Вас просто уничтожат, и за дело!
Мне брать вас на поруки надоело!»

[1] Сеген – воинское звание в Армии обороны Израиля, соответствующее российскому «лейтенант».
[2] Элиягу а-нави (*иврит*) – Илья-пророк.

И с тем вознёсся в небо и пропал.
А сеген Сонин в обморок упал.

Ночами по-над корпусом больничным
Светила застигает он с поличным
И куполу небесному тайком
Грозит тяжеловесным кулаком.

ОТКРОВЕНИЯ СИНДБАДА

...Здесь взятки принимаются натурою,
А те, кто не считаются с затратами,
Срастаются с военной диктатурою.
Но это между нами, демократами.

Дувалы разворочены снарядами,
Расходы не стыкуются с доходами,
А нищие – с военными парадами.
Но это между нами, мореходами.

И нет благоволения Господнего,
И коршуны кружатся над могилами,
И девочки гуляют без исподнего.
Но это между нами, педофилами...

НАУЧНЫЙ АТЕИЗМ

Ах, что, доцент Гришаев,
Ты делаешь со мной,
За что меня лишаешь
Юдоли внеземной,
Отцовского надела
И чаши на пиру,
Обманчивой надежды,
Что весь я не умру?!

Твой взор и облик жуток,
Ты вечно на посту,
Архангелов, как уток,
Сшибаешь на лету.
Ни дать ни взять – Всевышний,
Ввергающий во прах!
Но если Кришна лишний,
И Будда, и Аллах,
И Страж Садов Запретных,
И даже Вечный Жид, –
В кого из них конкретно
Не верить надлежит?!

РОМАНС

Не утешайся без следа
В пучину канувшей монетой:
По крайней мере в жизни этой
Ты не воротишься сюда.

Пусть запах сохнущих сетей
И стен, шпаклёванных левкасом,
Последний раз скользнёт по трассам
Твоих дыхательных путей.

Упрямым фактам вопреки,
Не доверяй мечте стыдливой
О жизни более счастливой
На берегу иной реки.

Ну а последнее «прости»,
Потуже затянув постромки,
Пером пристрастным, но негромким
В шестнадцать строчек умести.

ПРЕМЬЕРА

Все билеты проданы
Тем, кто не чета вам .
Дуйте, беспородные,
В степь за Кокчетавом!

Нити судеб мойрами
Ежели прядутся,
То места пристойные,
Может, и найдутся.

Пусть не в ложе бархатной,
Но, по крайней мере, –
На земельке пахотной
Или же в карьере.

А ещё – нуждается
Родина в защите.
А ещё рождается...
Словом – не взыщите!

Жизнь такая краткая,
Столько в ней помарок...
У администратора
Нету контрамарок!

* * *

Лесов осенних мощи
Вдоль выбитых дорог.
Финал намного проще,
Чем ты представить мог.

Лиловым оторочен
Меж тучами прогал.
И жизнь куда короче,
Чем ты предполагал.

* * *

Смерть настигала старика,
И с нею в споре
Впадал он в детство, как река
Впадает в море.

А град стучал,
А пёс рычал,
А дом качался.
И – «Мама, мама!» – он кричал.
И докричался.

И мать возникла впереди,
За гор грядою.
И он припал к её груди
Башкой седою.

МОЛИТВА

Дай мне, Батя, трошечки,
Жертве суесловья,
Жареной картошечки,
Вредной для здоровья,

Спеси победительной
Вместо чувства меры,
Ярости, губительной
Для моей карьеры,

Наскреби чуток добра
По своим сусекам,
И тогда я, хрен с бугра,
Стану человеком!

* * *

А. Малинскому

Доска и два соска.
Наставница. Училка.
Стращает и грубит.
В глазах её тоска,
В сиденье стула вилка,
В чернильнице карбид.

Когда звонок вернёт
Коней ретивых к стойлам,
Вздохнувши глубоко,
Она рукой взмахнёт
И всех наделит пойлом
Из Ленина и Ко.

Унылая пора.
Наклонности дурные.
Но следует учесть,
Что перьев номера
Уже совсем иные,
Чем восемьдесят шесть.

И если допустить,
Что гёзам к отступленью
Отрезаны пути, –
Уже не отвратить
Того, что, к сожаленью,
Должно произойти.

* * *

Разговор о хворобах и внуках в гостях
Поддержав, ты невольно сигналишь:
Дескать, порох подмок, а источник иссяк,
И на донышке жизни семья лишь.

А точнее – семья и, её окромя, –
Стойка в баре и койка в больнице,
У крылечка бадья, у калитки скамья,
Да фрагментик созвездья в кринице.

Плюс крамольная тяга – собрать рюкзачок,
Пробудиться поближе к восходу,
Пришпандорить к штормовке дурацкий значок,
Отодвинуть засовы – и ходу!

Лорина Дымова

А ВТАЙНЕ ОН МЕЧТАЛ...

НЕ СБЫЛОСЬ

Так и не сбылось.

Он не женился на ней.

Они не жили вдвоем у озера, и она по вечерам не отпускала на волю свои рыжие волосы.

Они не слушали дождь, стучавший по крыше.

У них не родились дети. Девочка и мальчик.

Они не провожали их по утрам в школу, а вечером не сидели все вместе за столом под оранжевым абажуром.

Они не справляли дни рождения друг друга, он не дарил ей кольца с бирюзой, которые она так любила, а она ему галстуки, которые он терпеть не мог, а ей нравилось...

Они не жили долго и счастливо и не умерли в один день.

Всё произошло наоборот.

Он женился на другой женщине с волосами, черными, как сажа.

Они жили в большом городе, на двадцать первом этаже высотки, и поэтому когда шел дождь, им было не слышно, что он стучит по крыше.

У них родилась дочка, но она жила у бабушки, и они видели ее только по выходным.

В день рождения он чаще всего бывал один, потому что у женщины с черными волосами была такая работа, что она все время ездила в командировки и могла поздравить мужа только по телефону.

Ей некогда было бегать по магазинам за галстуками, и поэтому он ходил в свитере и был этим очень доволен, тем более что ей было все равно, в чем он ходит – она думала о работе, а не о каких-то там галстуках.

Они не умерли в один день, а наоборот – все живут, живут и живут, и, наверное, будут жить вечно.

Так может быть, хорошо, что не сбылось?..

КО ВСЕМУ МОЖНО ПРИВЫКНУТЬ

– Ну, до свидания, дорогая, – наконец сказала тетя и взяла свою девочку за руку. – Мы уже везде опоздали.

– До свидания, – наконец сказала мама и взяла за руку Вовика.

И они пошли – тоже, наконец.

– Мам, а тетя художница? – спросил Вовик, когда они перешли дорогу.

– Художница! – удивилась мама. – А откуда ты знаешь?

– Она плохая художница? – не унимался Вовик.

– Очень плохая! – еще сильнее удивилась мама. – А кто тебе сказал?

– Никто не сказал, я сам вижу.

– Видишь? Как?

– Она себе лицо нарисовала очень некрасиво. – Вовик неодобрительно покачал головой. – Над глазами всё закрасила черным, а так не бывает. И губы слишком размазала. Они у нее стали, как у лягушки.

– У какой лягушки? – рассердилась мама. – Не говори глупости!

Вовик умолк и стал считать шаги. Но на двадцать пятом не выдержал.

– Мам, а правда, я смелый?

– Почему? – мама подозрительно на него посмотрела.

– Я стоял с ней рядом и не боялся.

– С кем рядом, с тетей? – на этот раз мама проявила сообразительность.

– С тетей. Хоть у нее над глазами все черное, как у Кощея Бессмертного.

– А ее и не нужно бояться.

– Ну... – Вовик неопределенно пожал плечами. – А знаешь, почему я не боялся? Я подумал, что даже эта девчонка, ну которая с ней была, даже она не боится, а я все-таки мальчик.

– Но она ее дочка, – неожиданно для себя мама ввязалась в обсуждение. – Она с ней живет, привыкла.

– И я привыкну! – убежденно сказал Вовик. – Вот еще раз встретимся, ты с ней поговоришь, и я совсем привыкну.

НУ ЧТО ЗА ЛЮДИ!..

– Скажите, пожалуйста, чем отличается вот эта желтая пачка печенья от синей?

Продавец с удивлением посмотрел на меня и сказал:

– Возьмите курицу на гриле!

– Вы не поняли, – улыбнулась я. – Я спрашиваю про печенье.

– Скоро закрываем, поэтому дешево, – ответил продавец. – Вкусная!

– Но я про печенье! – попыталась я все-таки прорваться сквозь курицу.

– Знаете, за сколько продаем? – сам удивляясь, проговорил продавец. – За двадцать шекелей! А?! Берете?

– Но я вас спрашиваю про печенье, – напомнила я.

– Про печенье? – удивился продавец. – А при чем тут печенье?

– Но мне нужно именно печенье...

– А-а, печенье... – разочарованно протянул он. – Ну так покупайте, кто вам мешает?

Он мгновенно потерял ко мне всякий интерес.

– Но я хочу знать, чем отличается вот это желтое от синего? – сделала я еще одну попытку.

– А кто его знает! – пожал плечами продавец. – Ну так берете или нет?

– Печенье?

– Курицу! Ку-ри-цу! Господи, боже ты мой! Ну что за люди! – проговорил он плачущим голосом. – Ничего не соображают!

И, горестно покачав головой, отвернулся.

Я положила пачку обратно на полку и тихонько вышла из магазина. Мне было неловко, что я его так расстроила.

И КОГДА ЭТО НАЧАЛОСЬ?..

Свои рецензии он непременно начинал фразой: «В этой книге мне не понравилось ни одно стихотворение, но особенно мне не нравится "Стихотворение о птицах"».

Жене на вопрос о новой блузке отвечал: «Было бы красиво, если бы только подбородок у тебя не переходил без предупреждения в шею».

Сослуживцам, приглашавшим его в гости, говорил: «Мы бы с удовольствием, но после вашей еды у нас изжога».

Знакомым женщинам сообщал: «То, что вы кокетливо называете женской логикой, на самом деле женская тупость, вы уж поверьте, я все-таки не слесарь какой-нибудь, а критик».

Но это всё то, что было видимо глазу. А втайне мечтал он о преданных друзьях, о благодарных товарищах-поэтах, о любящей жене и влюбленных в него женщинах. Но его не любили, не ценили, не приглашали, и ни один человек на свете не радовался, когда он переступал порог.

А как его могли любить, когда он говорил и писал такие гадости?

А как он мог петь нежные песни, если его не любили?

Вот и разберись, в чем тут причина, а в чем следствие.

А родился он, между прочим, спокойным белоголовым младенцем, который всегда и всем улыбался.

И когда это началось?..

ОН И ОНА

Серый помятый немолодой мужик. Идет, вернее, бредет по улице, глядя себе под ноги. И никому даже в голову не приходит, что на самом-то деле он смел, отчаян, остроумен и даже высок ростом – просто в его жизни не было случая это проявить.

И она, идущая по той же улице, немолодая, слегка расплывшаяся, с плохо покрашенными волосами, в старом немодном пальто.

Ах, и тут ошибка! Она совершенно другая! Ей просто не для кого встать на каблуки и накрасить губы.

Они входят в автобус, набитый до отказа, и волей судьбы оказываются рядом. Молчат, смотрят куда-то вдаль, не замечая друг друга, но тут рядом с мужчиной освобождается место. Прежде чем сесть, он автоматически оглядывается: не претендует ли на это место какая-нибудь женщина. Встречается взглядом с нашей знакомой и кивком показывает на кресло. Женщина нерешительно пожимает плечами, делает шаг, но в это время бойкая старушка бесцеремонно отталкивает ее и плюхается на вожделенное место.

Мужчина растерянно смотрит на женщину и виновато улыбается. Она тоже улыбается и говорит что-то ободряющее: дескать, ну

что вы, вы ни в чем не виноваты, пустяки... Я просто рада, говорит, убедиться, что еще не перевелись мужчины, которые уступают женщине место.

– Ну что вы! – говорит теперь уже он. – Как можно!

Она взглядывает на его растерянное лицо и вдруг замечает, какие у него густые ресницы. Совсем как у юноши. Сам повзрослел, а ресницы нет.

Мужчина чувствует, что взгляд его спутницы потеплел, и тоже, наконец, смотрит на нее. Ух, ты! Какие губы! Он видел такие только у красоток на обложках журналов. Жалко, что она их не подкрашивает, а то бы дала фору всем этим свистушкам с голыми пупками.

Женщина тоже видит, что ее спутник смотрит на нее как-то иначе, распрямляет плечи, поправляет волосы.

Смотри-ка, а она высокая! – еще сильнее удивляется мужчина и тоже выпрямляется и подтягивает живот.

Через несколько остановок из автобуса легко выпрыгивает немолодой, но элегантный, хорошо одетый мужчина и протягивает руку женщине, выходящей из автобуса – стройной, молодой и чертовски привлекательной!

И СНОВА ОН, И СНОВА ОНА...

Молоденькая, на редкость симпатичная девушка, с лицом и фигуркой подростка.

И долговязый, бесцветный, унылый тип в очках. Сколько ему? Сорок? Сорок пять?

Ну на что он ей сдался?

Ладно, если бы никому, кроме него, она не была нужна. Так ведь нет, вон какой хвост желающих!

А он, конечно, мужик не промах. Какую женщину заполучил – даже обидно!

Гости на свадьбе только переглядывались: уж больно явным было несоответствие. А невеста взглядов будто и не замечала, счастливо улыбалась и становилась от этого еще более неотразимой.

...На серебряной свадьбе те, кто их знал не очень давно, недоуменно переглядывались: и как это такой обыкновенной, расплывшейся женщине удалось подцепить такого мужа? Известный писатель, талантлив, богат да и собой хорош! Высокий, подтянутый, с проблесками седины. Больше сорока ему не дашь ни за какие коврижки! Ну ладно, сорок пять.

...По солнечной стороне улицы идут старичок и старушка.

– Какой прекрасный день, ты не находишь?

– Да, замечательный. Но уже завтра обещают дождь.

Они идут в ближайший сквер на свою скамейку, и ничей, абсолютно ничей взгляд не останавливается на медленно бредущей паре.

Ну идут.

Ну старичок и старушка.

Они ведь, как китайцы, все одинаковые.

О чем тут говорить?

Елена Аксельрод

А ЧТО ЖЕ ОСТАЛОСЬ...

* * *

В каких отчаянных усильях будущее
пытается прорваться сквозь торосы
сегодняшнего, тонет, как Титаник –
дрейфуют шлюпки, мечутся матросы –
но сколько этот Голливуд протянет,
какие нам понадобятся траты
на иллюзорный мир, когда иллюзий
цена все убывает, и пираты,
объединившись в безымянном шлюзе,
весь плавающий мир и весь пернатый
гуртом загнали в тонущий ковчег –
и оттолкнули в двадцать первый век.

НЕ ПИШЕТСЯ

1

В расплавленное олово,
иль головой с моста –
всё лучше слова голого
на паперти листа.
В тряпье из рифм корячится
и молча клянчит смысла.

С ног валится раздатчица,
и варево прокисло.

2

Как стекло судьбы протрёшь,
обретений ни на грош.
Как напялишь окуляры,
влезешь в свой письмовник старый,
в свой рифмовник – тары-бары –
и отвалишься, замрёшь –
черной зелени амбары,
подорожник, а не рожь.

ОПЯТЬ ПРО СУББОТУ

Отмолились близнецы Господни,
гомоня, идут из синагоги.
Звездный плат по расписанью поднят
и светильник вывешен двурогий.
Расстаются белые сорочки,
исчезают с улицы прохладной,
ждут их дома сыновья и дочки,
стол, накрытый скатертью нарядной.
Слышно пенье вместо телефона,
лишь одна патрульная машина
шарит вдоль по улицам бессонно
и напоминает ночью длинной,
что назавтра встретим на экране
чьи-то судьбы, каждую отдельно...
Как спокойно этой ночью ранней
мы толкуем суть главы недельной...

ЗДЕСЬ ВСЁ НАВЫВОРОТ НАДЕТО

1

Включила люстру спозаранку,
надела блузку наизнанку
(что обнаружила потом) –
и в парк тишком сквозь темный дом.

Уткнулась в марево парное,
в молочную подстилку зноя –
он – сам большой – придёт вот-вот
и ливнем мне в лицо плеснёт.

Два колпачка – две земляники,
две перехожие калики
краснеют в зелени кустов,
кивают мне из детских снов.

Для пленницы другого лета
здесь все навыворот надето,
здесь августовская жара
не по-израильски мокра.

Но мне навстречу по аллейке
шажками мелкими к скамейке,
стряхнув последки забытья,
идёт-бредёт другая я.

2

Лес за окном – зеленая заплата
на платье, прохудившемся когда-то,
мне сшитом в детстве из льняных лоскутьев...
Но мой язык соскучившийся скуден,
как деревце ленивое граната,
надумавшее вдруг на третий год
краснеть и зеленеть, да вяжет рот.
О чем я? Как сравнить густой настой
июньской зелени в оправе голубой
с тем морсом розовым, в бутылке разведенном,
клен неуемный с тем ро-до-ден-дроном,
что чувствовать спешит, покуда жив,
и жить торопится, скупой воды испив...

Переделкино,

* * *

– Сгорели помойка, и мойка, и стройка.
– И койка моя? – И подушки, и койка.
– И письменный стол, и рисунки, и книжки?
– А как же? И стены, и крыша, и крышки
кастрюль, задремавших в пузатом буфете,
и все макароны в бумажном пакете.
– А что же осталось?
– Осталась лишь дымка,
лишь облачко-мысль
и строка-невидимка.

* * *

Глицинии, скромны, как никогда,
прикрылись пятипалым виноградом.
Цветы, морская тихая вода,
вскипевшая от судорог – всё рядом.
И первые слова, и первая строка
всё хочет жить, всё хочет сохраниться.
Как прихотливо вьются облака,
рисуют бледные, родные лица.
И каждый голубеющий сорняк,
и придорожный камень грузно-серый –
всё ловит в небе ободренья знак,
как я сегодня – с безнадёжной верой.

* * *

– Хочу домой!
– Домой? Куда?
– На гору на Кудыкину!
Как пыль, как пепел, как вода
запрятала следы она.
– На кой же ляд она нужна,
кого в потёмках сыщешь?
Сложи-ка лучше новый дом,
да с расстановкой, да с умом,
забудь про пепелище.
– Забыл, и дом завёл я свой,
живу в нём с новою женой,
тепло, и вдоволь пищи.
– Так что ж твердишь ты, как чумной,
«Хочу домой! Хочу домой...»?
Чего ты, братец, ищешь?

СОНЕТ МАРГИНАЛЬНЫЙ

Здесь русские непрошеные строки
В привычный ямб улечься норовят.
В два такта вырос мой нерусский сад,
В два такта суховей мостит дороги.

Влюбленной парой прибегают слоги.
Бывает, что и третий лишний рад.
Наверное, нелеп на здешний взгляд
Сонетов старомодных голос строгий.

И заключительные две терцины
Мне, право, неохота сочинять,
А то мне давний друг – эстет и циник,
Со всей суровостью начнет пенять:
– Поверь мне, мать, проблема медицины
Зачем в свой фрак рядишься ты опять.

* * *

О шорохе лет, о хворях
Всё известно. Зачем повторять?
Вот бы строчек оборванных ворох
Разгрести и собрать в тетрадь...

День прошёл... Завтра станет лучше.
Жар смягчится, на шаг отойдя.
И надежды стремительный лучик
вколет в плоть мою пляска дождя.

НОВОГОДНЕЕ

Чуть розовеют фонари,
округлые, как луны.
За тонкой стенкой – раз-два-три –
подросток мучит струны.

Не спит мой музыкальный пёс,
Равелю подвывает.
В окошке шарканье колёс.
Над книгой муж зевает...

За дверью в небе светляки
молчат, и немы луны.
Вдоль улицы, как вдоль реки,
январь струится юный.

В тишайшем запахе зимы
неспешной, долгожданной
забуду, что на грани мы,
что радоваться рано.

И, право же, на что роптать?
Прелюды, книжек груда –
не почитать, так полистать,
но в сотне верст отсюда...

Играй, солдатик, – раз-два-три.
Пусть непослушны звуки,
спокойно в нотный лист смотри –
в прелюдию разлуки.

Владимир Вестер

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА *

За много лет до авиакатастрофы в безоблачном небе над Средиземным морем осеннее полнолуние было в городе нашего детства и юности – громадной столичной Москве. Я в небольшой моей комнате сидел за столом, зажав в правой руке черную телефонную трубку. Откуда отголоски музыки? Кто поет?

Под утро убедился: опять мне две алюминиевые вилки мыть и оба стакана граненых! А также в том, что надо бы пару раз растянуть резиновый эспандер на заре. Шкаф же мой с двумя створками стоял у правой стены и относился к деревянной мебели советского производства. В то же время стеклянная бутылка портвейна, бесшумно потеплевшая во тьме этого шкафа, являлась заначкой «партийного», аккуратно засунутой под белье мое нательное. В ожидании праздника.

А тот, кто в юности мечтал попасть в подвальное помещение бывшего бомбоубежища на просмотр кинокартины производства США «Авиационная неделя насекомых», – тот пусть мне сам скажет. И на «Последнее танго в Париже», и на «Голубые Гаваи», и на «Джи-ай блюз», и на «Скромное очарование буржуазии», и на «Пусть никогда не кончаются эти веселые времена рок-н-ролла!», и на прочее «закрытое» черт знает почему великое кино.

Ну да бог с ним. Разглядывание движущихся на экране картинок – любимое развлечение человечества, хотя нормальный и будничный его представитель не проведет всю жизнь в обнимку с изобретением великих французов. Далекий от философского осмысления действительности, он часть своего личного времени способен убить у витрины с двумя манекенами за толстым витринным стеклом. Стоит человек перед этой витриной, и манекены за стеклом, а сверху дождик мелкий. А мимо люди проходят: женщины, мужчины, дети. И если ни мужчин, ни детей он почти не замечает, то женщины привлекают его. Но отчего-то более всего вон та рослая брюнетка в черных кожаных перчатках. При свете фонарей он видит ее отражение в витринном стекле. «Вот это красавица! Откуда взялась?». Он оглядывается, а она уже совсем прошла, даже перчаток не видно в толпе... И уж совсем невероятно... Мда... Вы знаете, что более всего невероятно в Москве? Не знаете. Тогда я вам скажу. Это – не холод грядущей зимы и не пропавшая куда-то брюнетка, а чтобы ночью позвонить подручному геодезиста (мне) и спросить:

– Ты, Армяков, свою заначку еще не откупорил?

А чего стоила пересадка на Комсомольской площади! И не одна, а две. Одна утром, другая вечером. Плотная и влажная толпа, тяжелая от поклажи и мыслей. А как у нас мужики умели навонять в каптерке! Как вдохновенно и виртуозно могли они навонять!..

---

* Из романа «Тыквин и праздники». Журнальный вариант.

А пели как! Протяжно и про фонарики. И в воображение моем качались эти фонарики.

Начальника моего звали Сергей Львович Стёгин. Из-за давней контузии, настигшей его на берегу монгольской реки Халхин-Гол, где, по его словам, в качестве полковника служил Сергей Львович в красных бронетанковых войсках, он вышел в отставку и стал бывшим полковником, упорнейшим фанатиком геодезической разметки, а также вдохновенным автором невероятной истории, в которую мне еще предстоит поверить, хотя не до конца. В фуражке без звезды он выходил на крыльцо служебного помещения и стоял там, глядя то на Восток, то на Запад. Тьма вокруг, насколько глаз хватало, и только огоньки мерцающие, и гудки за лесом. Он возвращался в каптерку, садился на промасленные телогрейки и говорил о месте человека в жизни, о дождливой Родине, о том, что сердце болит, а Родине служить все равно хочется. Он курил крепкие папиросы, выкуривая не менее двух штук подряд, и двумя пальцами очищал от фольги плавленый сырок «Дружба». Кроме этого, с большим вдохновением и с какой-то невероятной силой умел Сергей Львович по столу кулаком стукнуть. «Супруга Галина Аркадьевна!» – и кулаком по столу – «Ты для чего покинула меня в самом начале хрущевской реформы!» – и еще раз кулаком по столу.

Казалось, от полноты чувств он выхватит наган из невидимой кобуры и станет стрелять из именного стрелкового оружия по грачам и бутылкам. И полетят погибшие грачи в одну сторону, а раздробленные бутылки в другую.

Короче говоря, мы в те далекие годы, а затем и не в такие далекие, так и не достроили огромное и, в перспективе, красивое, со множеством шпилей, колонн и горельефов высотное здание – «Отель Разбитых Сердец». Так, наверное, можно про него сказать, если еще раз припомнить одно из задушевных высказываний моего неуемного друга или еще кого-то. Все они были правы. В той же степени, в какой правы теперь изрядно поредевшие толпы их честных последователей.

Так что даже близко не просматривалось никакого «Отеля разбитых сердец». Ни тебе шпилей, ни тебе горельефов, ни тебе девятьсот девяносто девяти этажей. На том же месте гигантский пустырь простирался с кое-где пожелтевшей травой и останками одноэтажного домика, должно быть, хозяйственного назначения. Полузасыпанная траншея уходила вдаль, к лесу и терялась среди высоких хвойных и лиственных деревьев. Заметил я и бывшее окошко нашей строительной кассы, и ржавую печку-буржуйку, на обломке трубы которой навеки застыли процентов на восемьдесят истлевшие чьи-то хлопчатобумажные носки. Темный осенний грач сидел на чудом уцелевшем заборе. Он позабыл улететь туда, где юг, скалы и море.

Гудела за лесом невидимая железнодорожная станция, и – то ли казалось мне, то ли на самом деле – слышно было, с какой заунывной тоской кричат сцепщики на «страшных путях сообщений». Сколько лет тому!

Первое официальное описание объекта я где-то потерял, и в грубом здании архива на окраине Москвы мне выдали копию, заверенную за обитой жестью дверью маленьким печальным человеком в

черном помятом костюме. Человек этот много курил, но еще больше кашлял.

Насчет утраченного оригинала. Сидя у себя в комнате и размышляя о своем тернистом жизненном пути, не могу отделаться от ощущения, что подобного оригинала никогда не существовало, а если и существовал, то бог весть где, бог знает в каких захолустных спецхранах. Очевидней то, что Шумелыч или, скажем, Михалыч, равно как Мигалыч или, скажем, Бубнилыч входили в состав нашей бригады, и вся эта бригада с чудовищной силой накуривала в нашей каптерке, и дверь заклинивало из-за спертости воздушной среды, и в этой невыносимой атмосфере пропадал куда-то длинный стальной гвоздодер, принадлежавший нашим двум плотникам, Смирнову и Кузякину.

Наша (единственная?) кадровичка являлась именно кадровичкой на всей беспримерной площади объекта. Звали ее Наталья Николаевна Голубятникова. Женщиной она была довольно-таки плотной, приземистой, белокурой, с высшим юридическим образованием и выщипанными бровями. С начала осени до конца весны она ходила в накинутой на плечи зимней шубе из ненастоящей рыжей лисы, а ноги обувала в сапоги типа «чулок», модные в те годы. Я до сих пор не понимаю, как она ухитрялась так ловко передвигаться по нашей стройплощадке, по которой и взрослому работоспособному мужику не то что в модных сапогах, а и в рабочей грубой обуви передвигаться было сложно и опасно. Всякий мужик имел все шансы запросто в траншею навернуться, вырыв ее предварительно.

Согласно гулявшим по площадке слухам, наша приземистая кадровичка проживала в рабочем поселке, куда три раза в день с самого большого вокзала Москвы отправлялась гремящая пригородная электричка. Перед одноэтажным зданием сельмага, отмеченным датой запуска в строй «20.07.1914», находилась небольшая площадь, облагороженная низкорослым памятником В. И. Ленину в каменном пиджаке и беспечной зеленой травкой, пробивавшейся по весне между булыжниками. Были у Голубятниковой из вещей два стула, несколько обеденных тарелок, швейная машинка и электрический утюг, а от двух мужей остались несколько быстроногих вихрастых мальчиков на полном иждивении.

В ту осень, о которой речь, эта многодетная женщина очень нравилась мне, да и не только мне. Во-первых, от нее зависела подача в Головное управление официального списка на денежное премирование мужиков из нашей бригады. Во-вторых, она еще в начале позапрошлого сентября должна была подписать этот список, но так и не подписала, ссылаясь на неясность персонального состава. Она, по ее признанию, терялась в догадках, кого из мужиков из нашей бригады на денежную премию подавать, а кого не подавать. Словом, по разным параметрам нравилась она мне настолько, что я несколько раз собирался предложить ей на все плюнуть и отдаться мне в каптёрке на промасленных телогрейках. И всякий раз терпел крах. Из-за того, что, в первую очередь, боялся первой в жизни любовной неудачи, а во вторую очередь, потому что уверен был, что в самый ответственный момент внесется со двора в каптерку мой непосредственный начальник-геодезист и, не сорвав фуражки с головы, с порога закричит: «Где это вас, Армяков, опять с астролябией

носит? Куда это вы с прибором пропали?». От этого крика мне станет не по себе, и мой настрой на беспримерное любовное приключение на производстве сменится страхом и неуверенностью.

Усиливало мою неуверенность еще и то, что наша кадровичка, кроме шубы из рыжей фальшивой лисы, носила безобразную зеленую шляпу с широкими полями. Она в этой шляпе вставала из-за стола и, не стесняясь полковника, ходила по дощатому полу не до конца еще спроектированного отдела кадров, весело отзываясь не по поводу многоэтажного «Отеля разбитых сердец», а по поводу намечавшегося моего с ней романа. Еще непринужденней она отзывалась в отношении списка на премиальные, что ни в коем случае не вызывало у Сергея Львовича даже тени улыбки. – «Вы уж, Наталья Николаевна, подписали бы хоть разок... Нельзя же в самом деле. Что это за херня-то за такая?». – «Так я же ведь женщина с юмором, – не улыбаясь совсем, отвечала она. – Вы, Сергей Львович, сами посудите: мужики у вас в бригаде есть, а премии нет. Это куда годится? А ежели посерьезней, то вот что я вам скажу: вы как с людским составом определитесь, так сразу дайте мне знать. А то вы сами никак определиться не можете, а всё на меня валите. А я тут причем? Я-то причем тут? Я, между прочим, мать многодетная, чтоб вы знали. Откуда я знаю, кого из ваших людей на премию подавать, а кого не подавать?». А когда я с объекта увольнялся, она в той же юмористической манере меня напугала, что могли бы мне в кадрах выдать не положительный документ, а отрицательный. – «Большое спасибо вам, – сказала она, – за то, что вы, товарищ Армяков, все годы дурака валяли, а так и не удосужились освоить тонкостей разметочного дела. Из-за таких, как вы, империи распадаются». Я тотчас от этих слов об стул споткнулся и металлический чайник на пол уронил, а как-нибудь посущественней не возразил. Я не понял, во-первых, ни шута. О какой империи идет речь? Для чего она должна распасться? Во-вторых, я был уверен, что положительный письменный отзыв мне крайне необходим для подачи всех нужных документов с целью моего поступления в картографический техникум. Сразу на третий курс.

Моя характеристика «типовой» оказалась, и я бы мог привести обширный отрывок из неё, однако не стану этого делать. По той причине, что вся она от первой буквы до последней точки всем хорошо известна, а в особой степени тем, кто в молодости получал какую-либо письменную и, в сущности, объективную характеристику.

Диван в моей комнате совсем иным характеризовался. Это был объективно пружинный диван, бугристый, одетый в желтую обивку, потертую на углах, и весь настолько звучный, что и в дальнем конце общей квартиры было слышно его. От звуков моего дивана соседка, ходившая весь день с вечным полотенцем на голове и имевшая привычку петь голосом Эдиты Пьехи (почему-то поитальянски), внезапно в ночи просыпалась. Она зажигала небольшую продолговатую стеклянную лампочку над собой и лежавшему рядом с ней дяде Пете Сандальеву говорила: – «Какая у нашего Николая очередная сумасшедшая любовь!» – «Да спи ты, е... тебя в кочегарку», – отвечал ей дядя Петя Сандальев. – «Да самого тебя в кочегарку, – произносила она и, выключив лампочку, добав-

ляла: – Ишь ты какой! Неведома тебе, мудаку старому, сумасшедшая любовь!».

Соседка была права и насчет «мудака старого», и насчет «сумасшедшей любви», хотя дядя Петя Сандальев, человек с покатыми плечами, зимой и летом в фиолетовой майке без рукавов, не так уж был стар.

Прав был и я в своем пока еще неустойчивом предположении, что не всякий мудак является обязательно мужчиной пожилого возраста: есть более молодые и упертые. А есть и мечтатели. Почти такие же безудержные, какие обнаруживаются то там, то тут и навсегда пропадают в безвестности, бесследно исчезают в окружающей атмосфере. А некоторые, чтобы как-то приблизиться к своей мечте, посещают ближайший к нашему дому кинотеатр. О кинотеатре скажу: попадать туда было одно удовольствие. Это не был душный сырой подвал, под тяжкими сводами которого властвуют громадные серо-коричневые крысы и подпольно демонстрируют «Последнее танго в Париже». Это был официальный московский государственный кинотеатр. Внутри его царствовали профессиональные билетерши, а не громадные серо-коричневые крысы, и даже подпольно не демонстрировали «Авиационную неделю насекомых» – в связи с запретом выхода на отечественные экраны. Кинотеатр назывался «Центральный», и давным-давно его снесли вместе с буфетом на втором этаже. А ведь было время, когда в «Центральном» кинопроекционная установка стрекотала, и зрители кашляли в полутьме, и темный сладковатый «Портер» продавали в буфете, и «Амурские волны» плавно накатывали с открытой эстрады на слушателей в фойе. А потом огромную люстру в зале медленно гасили с помощью мощного реостата, и на экране действовали все эти загадочные, удивительные, странные, полногрудые, остроумные и прекрасные женщины, каких не так-то просто было встретить на осенних улицах социалистической Москвы.

Помимо этого, мой названный выше шкаф с двумя створками из советского дерева и скромной фурнитурой. А где еще хранить стеклянную заначку «партийного», этот заветный стеклянный пузырь из ближайшего к нашему дому гастронома «У летчиков», и всё самое нательное, что нужно человеку в жизни?

Белый фарфоровый заварной чайник с утренней грузинской заваркой внутри. Заварной чайник стоял на газете «Правда» за вчерашнее число. Под ним на газетной бумаге образовалось бурое пятно с неровными краями. Надо сказать, что и у этого фарфорового чайника – своя история, которая напрочь могла бы выветриться из моей шаткой памяти, но отчего-то не выветрилась.

А с какой грустью мой старый школьный пиджак висел на спинке стула! Приятно школьный пиджачишко вспоминать, приятно размышлять о том, что я носил его когда-то, что я его когда-то снимал, надевал, вдыхал его запах, застегивал то на одну, то на три пуговицы, расстегивал на столько же пуговиц и с такой аккуратностью вешал на спинку стула, словно боялся помять не серое его сукно, но мое нынешнее воспоминание о нем.

Неподалеку от пиджака стоял на полу мой старенький ламповый радиоприемник в деревянном трофейном корпусе. Об этом приемнике и об особенностях звучавших по нему радиостанций

разговор особый. Я обещаю: он состоится ниже. Это так же верно, как и то, что ниже состоятся все прочие разговоры. А в настоящую минуту следует признать: вся комната имела площадь не более двенадцати квадратных метров, включая фикус, заварной чайник, мою вчерашнюю «Правду», шкаф и диван.

Ни номера аудитории, ни цокольного этажа с распахнутыми окнами решительно не могу вспомнить. Полностью забыты и звонки в коридоре, и шум голосов трех сотен с лишним моих сверстников, и столовая с липкими подносами, неистребимым запахом серого хозяйственного мыла и огромным, как паровозный котел, чаном «кофе с молоком»; и широкие лестничные пролеты, казалось, вели в бескрайнюю неизвестность. А вот и гипсовый бюст в вестибюле. Он отчего-то мною тоже забыт, однако не совсем. Это был выдающийся гипсовый бюст человека с мощным высоким лбом, загнутым книзу крупным носом и густыми всклокоченными бакенбардами, как у помещика Ноздрева. И стильно украшал его бурый засохший венок с выгоревшей похоронной лентой. Возможно, что это гипсовое изображение являлось изображением доблестного путешественника Пржевальского. А возможно, что этот выразительнейший гипсовый портрет являлся портретом не совсем путешественника Пржевальского, а все ж таки помещика Ноздрева или еще кого-то, кто ж их всех разберет.

Из вступительных экзаменов запомнились два. Первый – по физике. Весьма наглядный, словно скрип диванных пружин в моей комнате и пение соседки за стеной. Второй – письменное сочинение на вольную тему. Вроде той, которую я сам придумал: «Твой друг астролябия». Это такой старинный оптический прибор для правильной ориентации по небесным светилам. В качестве геодезического инструмента он применялся в то далекое и незабываемое время для разметки огромной площадки под будущее строительство. Он был весьма популярен в те годы.

А то, что в молодости хочется всего и сразу, так об этом все знают, и популярней этого на свете нет ничего и быть не может. И размечать огромную площадку не так сильно хочется, как терпкой столичной любви, как новых и прекрасных приключений и помоднее одеться. А еще – повкуснее покушать и много денег. Их, кстати сказать, и в зрелом возрасте хочется, а в молодости уж тем более. Молодость она ведь дорогого стоит. Юный формирующийся человек должен быть сказочно богат.

Потом мы старше стали, да и ситуация изменилась в стране. На смену всеобщему социализму пришел еще более всеобщий капитализм. Деньги стали легче доставаться. Не всем, безусловно, а небольшому проценту населения. Входил ли я в этот процент? Об этом история умалчивает. Наверное, чаще не входил, чем входил. И тем не менее чей-то голос, похожий на голос моего приятеля, кричал мне в ночи: «Бери, Армяков, сколько хочешь, сколько у тебя в каждом кармане поместится!» Тотчас кто-то в белом модном шарфе и с оттопыренными ушами нагибался ко мне и тем же голосом снова кричал: «Ты, если хочешь, свою заработную плату можешь долларами взять, фунтами стерлингов, шведскими кронами или французскими франками, а можешь и в рублях получить. Это уж как ты сам решишь. Как тебе больше нравится. Но ты

смотри, Армяков! Ты смотри, чтобы тебя по дороге не ограбили. Сам знаешь: нехорошие ребята выбегут из ближней подворотни, нож к горлу, холодный кольт тридцать девятого калибра в бок, и заорут: «А ну давай сюда бабло своё!» Я просыпался от этого крика и видел темный силуэт фикуса на подоконнике.

И десятки людей, известных мне, только теперь признались в том, что они, как и я в молодости, деньги тяжким трудом зарабатывали. Где они этим занимались? А кто где. Одни где-то на Севере, другие где-то на Юге. А кто-то недавно предпринял усилия, чтобы побольше денег заработать где-то на Востоке. А то возьмут и станут зарабатывать на Западе. Или в Испанию улетят. Могут и в Португалию, но отчего-то чаще в Испанию улетают, где в каждом маленьком городе не меньше восьми публичных домов, а вот летних вечеров нет таких, как у нас. И грибов. И все это с учетом продажи недвижимости и участков земли под строительство. Эти люди, отмечу, и сейчас повсюду этим занимаются. А некоторые уже бросили, почувствовав, должно быть, физическое отвращение к денежным знакам.

А в смысле моей получки, до которой в конце октября того же года по-прежнему оставалось дней восемь, не меньше, то я о ней уже говорил. Напомню, что в присутствии одной приятной маленькой девушки, приезжавшей ко мне из ближайшего Подмосковья, я откровенно врал, что до получки уже семь дней, а не восемь. Она этому верила и оставалась у меня еще на сутки. Утром она говорила, что теперь до получки уже шесть дней. Мне нравился этот подсчет. Еще больше нравились ее гладкая кожа и маленькая грудь, от вида которой я готов был голову потерять. Чтобы ее окончательно не потерять, я пообещал подарить ей лифчик, когда у меня будут деньги, а после мягко и нежно постарался ее убедить, что лучше ей ходить вообще без лифчика – как женщине, у которой такая красивая грудь. Она соглашалась и просила приготовить чай. Я шел в кухню, куда она стеснялась ходить, считая себя еще не вправе попадаться на глаза соседям, поскольку она мне еще не законная жена. Потом она куда-то пропала, перестала звонить, и я просыпался и видел в окне большую, желтую и круглую луну, освещавшую угол моего шкафа. Свет был беспокойный, отблески его еще беспокойней. Я лежал и думал о том, что вскоре мы, наверное, с ней расстанемся навсегда, или уже расстались, поскольку вряд ли я смогу из моих семидесяти пяти рублей что-нибудь выкроить на покупку лифчика. Или же выкрою, но на покупку не лифчика, а, скажем, спортивной чугунной гири килограммов, скажем, на шестнадцать. Это чтобы уже не эспандер растягивать на заре, а гирю тягать, наращивая силу мышц и, стало быть, выносливость в тяжком труде на площадке и сексуальных утехах по ночам.

А то, что получку мне выдавали километрах в двадцати от Центра, так это, наверное, к делу не относилось. Для этого у нас имелось специальное полуовальное окошко в нашей строительной кассе. Это окошко с помощью двуручной плоской пилы выпилили два наших плотника – Смирнов и Кузякин. Там же мне и аванс выдавали. Не ошибусь, сказав, что выдача аванса ни в какое сравнение не шла с получением получки. И наоборот.

Тем не менее дважды в месяц огонек мерцал вдали. Он манил меня, он звал меня. Но призывал он безмолвным мерцанием своим

не только меня. Все наши мужики, все наши парни, все наши ребята шли на этот огонек. Идут они на него и теперь.

Как-то пронесли мимо черный концертный рояль, а также чей-то портрет в позолоченной раме. (Я понимал, что это, наверное, для будущего «Отеля разбитых сердец», но не понимал, для чего рояль и портрет заранее заносить.) Пытался один солидный взрослый дядя в пластмассовых очках доехать до этого огонька на велосипеде. Безуспешно. Двухколесное изобретение человечества завязло в грязи и не доехало до заветного огонька. К тому же этот неудачливый велосипедист оказался человеком пришлым, вообще из другого города и заехал к нам, сбившись с пути. Он сильно заикался и был совсем не из нашей бригады.

А наши мужики из нашей бригады все были в казённых телогрейках, в сапогах и с лопатами. Были наши мужики и без лопат, но все равно в сапогах и телогрейках. Осень! Остановишь какого-нибудь на темной дороге и спросишь: «Куда идешь, дядя? Куда тебя нелегкая несет?». И он покажет, куда, а еще и скажет что-нибудь музыкальное, незабываемое. А потом – шум в очереди, смех, анекдоты. Умели подзагнуть! А потом ручкой, привязанной веревочкой к гвоздю, в бухгалтерской ведомости против своей фамилии распишешься и бабки, не отходя от волшебной кассы, в боковой карман положишь, а после в состоянии достигнутого финансового благополучия идешь по всем улицам и во все витрины заглядываешь. Все ж таки в бухгалтерском окошке семьдесят пять рублей получил. Это ведь, знаете ли, не шестьдесят восемь!

И весь мир у ног твоих.

Но ни лифчика для девушки, ни для себя чего-нибудь, вроде чугунной гири с цифрами, выдавленными на выпуклом металлическом боку, я так и не купил. Мне не денег стало жаль – мне себя стало жаль. Силы-то человеку какие нужны, чтобы переть шестнадцатикилограммовый чугунный спортивный снаряд сперва в автобусе, а после в трамвае... Товарищ по старому дому, которому я позвонил, помочь в переноске спортивного снаряда наотрез отказался. Он сказал, что руки у него из тела не для того растут, чтобы снаряды по Москве таскать, да и занят он слишком. Он к ближайшему празднику еще блестящий реферат не написал по разметочному коммунизму; и вот он пишет сидит, а деталей, штришков, мелочей, оттенков всё не хватает и не хватает. Он уж и так, и сяк, а ни черта не получается. Он уже и у матери хронологические ведомости все пересмотрел, и к пятидесятому тому В. И. Ленина обращался, и в «Книгу о вкусной и здоровой пище» заглядывал, а и там, хотя всё конкретно, а что-то вроде не то. Из-за этого он ничего не понимает, обескураживается, а потому весь теперь такой злой и трезвый. Ламповый радиоприемник пришлось выключить. И вот он, значит, сидит за столом в своём «джазовом» пиджаке, мама постоянно за шторой на пишущей машинке стучит, дворники, мать их по голове, орут под окном, трамваи гремят, Москва живет своей жизнью, покурить нечего, денег нет, дух сиятельного Бенкендорфа особенно буйствует в кухонном колпаке, а он сидит и пишет этот чертов реферат, и перед его мысленным взором маячат различные эпизоды нашего с ним недалекого будущего.

Я, короче говоря, притомился с ним говорить и телефонную трубку повесил. Как раз в ту осеннюю ночь я и повесил ее на рычаг

темного аппарата, когда до авиакатастрофы в безоблачном небе над Средиземным морем оставалось лет двадцать пять, а то и того меньше. Сколько именно – не вспомню теперь.

А деньги все равно потратил. В том же октябре того же года. Тогда же были мною приобретены чрезвычайно разные, но максимально полезные для жизни вещи. Их было больше, чем три, но три помню лучше: новый растяжной резиновый эспандер, шарфик полушерстяной на шею и только еще входившие в моду экспериментальные стельки от плоскостопия. Сюда же попадает вещь четвертая, с запахом псины: шапочка зимняя. Её я приобрел в комиссионном магазине в Столешниковом переулке, напротив кованых железных ворот в Генеральную прокуратуру СССР. Эта шапка была сперва напялена на голую голову какого-то манекена без туловища, потом я ее – уже после праздников – напялил на свою голову, то есть человека с туловищем, и ощущение пронзительно-влажного холода московского куда-то подевалось от меня.... Ну и, безусловно, вещь в хозяйстве незаменимая: белый фарфоровый чайник с мелкой грузинской заваркой внутри. Его я ещё тёплым купил в магазине, неподалеку от задней стены Комитета Государственной Безопасности. Так что и этот заварной чайник – в списке вещей.

И потом, когда годы уже пронеслись, не раз я про все это думал. Дома и на работе, на людях и в одиночестве. В транспорте, в Планетарии, в Нескучном саду и в самом ближнем к нашему дому кинотеатре, который давно уже снесён в связи с окончанием последнего сеанса. И даже когда спать ложился, опять про это думал, а после утром вставал и, вместо того чтобы растягивать резиновый эспандер, сидел на диване и снова думал о том же самом. И пришел к выводу, что в конце октября, в году приблизительно том же... Нет, нет! Опять не хочу уточнять позабытую дату. Скажу одно: ни в коем случае нельзя было ничего бросать. Ни однажды начатых романов, ни фантазий, ни странных, сумбурных ассоциаций, ни всего остального и прочего. Воспоминаний тоже нельзя было бросать, и если все-таки кто-то из нас что-то бросил, то, наверное, с единственной целью: снова начать, но уже в ином качестве, в ином виде, в иное время. Вроде разметки еще более грандиозной площадки под новое строительство или очередного романтического приключения с какой-нибудь девушкой или женщиной. Да, да! Именно так! Ведь что-то было и у нас в Москве, и под Москвой, и ночью, и днем, и было что-то на влажном и душном берегу далекого Черного моря с одной из них, которая была из тихого и приземистого городка. А еще было там, где он, по его личным рассказам, трогал пальцами дамские ключицы и тер её обе голени, мысленно восхищаясь старинными каналами и разводными мостами... Но все это – потом. А того, самого давнего и самого бурного романа, бросать было нельзя. Ни в коем случае! Хотя и он позади, и центр великого города, который был дан нам в одних ощущениях, но отнят в других. Памятник, фонари, кинотеатр напротив, цветочный магазин «Букет Абхазии», кондитерская в доме с неповторимым названием «Отель разбитых сердец». Все это – там. И из-за этого, из-за дистанции непреодолимой мои воспоминания печальны и смутны. Но кто опровергнет меня?

Никольский

ГЛЯДЯ СО СТОРОНЫ

ЖИЗНЬ

Задевая бортами, разбивая мои представленья,
изменяя твои представленья, даёт представленье.
Не затянешь болтами, не спрячешься с краю
и не выкрикнешь «я не играю!»
Исцарапает кузов, изменит привычки и вкус искорёжит
(не о разнице вкусов...). Придумает серные спички,
в придорожных гостиницах станет скучней и дороже,
не останется денег к утру на билет электрички.
Повышает давленье, и люди беззубыми ртами...
Белозубые в прошлом, здоровые, умные люди –
все мечтают отсрочить крушенье: евреи в галуте,
европейцы холодные после крещенья в воде иордани,
африканцы голодные, сытые американцы
и голодные американцы хотят отбрехаться,
сделать вид, что они не знакомы, они не отсюда,
от греха схорониться подальше и выпросить новую ссуду.

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Порядок рухнул. Это был подарок,
случайная удача, лотерея.
Теперь не маршируют на парадах,
зверея, чёткий шаг не отбивают.
Евреи щук уже не фаршируют
и русские почти не выпивают.
Растаяли последние химеры,
в Австралии не включишь вентилятор,
закрылся в музыкальной Вене театр,
не помогли планете полумеры.
Порва́лась плёнка, что держала вместе
больных, врачей, лекарства и воронки,
лекарства, колбы, пломбы и коронки,
нежирную начинку в пресном тесте,
бензин в колонке, предложенья в тексте.
Разорвана пружина, лента, связка,
не соберёшь, не свяжешь воедино,
без смазки не покатится машина,

чего бубнить про лето в Сан-Марино –
попробуй доберись до Новоспасска!
Таксистов нету, не видать красоток,
не строят небоскрёбов и высоток,
ютятся в неказистых, смежных, тесных,
приезжих опасаются и местных.
Пропало, будто не бывало рядом,
что было нужно и чего не надо –
духи, кино, наряды и помада
побиты градом.
Что было ясно, чётко, очевидно,
обычно, просто, даже не завидно,
с чем соглашались и чему кивали
и мельком говорили: «Да, конечно!» –
теперь не навсегда, не бесконечно,
теперь едва ли.

* * *

Толпа озлобленных и ослабленных
у неба требует послаблений,
толпа оскорблённых и искривлённых
у неба требует исправлений,
в натопленных комнатах за утеплёнными рамами
требует привилегий.
Хотят быть влюблёнными исступлёнными
из романов или элегий.
Толпа обособленных и насупленных
средь груды вещей накупленных
твердит о годах погубленных, друзьях изрубленных,
предъявляет справки, требует слуг, охраны,
хочет добавки и сверх программы.

* * *

Мне иногда мерещится страна –
на маршале блистают ордена,
которые надраил ординарец.
Там диктор говорит, не запинаясь.
Там чутко охраняют кобеля
седые башни гордого Кремля.
Там окружен почётом каждый старец.
Ударники представлены к награде,
печенья выпекают в Танкограде,
печеньям рукоплещет вся земля.

Лекарства от спины и головы
везут в столицу длинные составы,
там день и ночь топорщатся штыки,
на эмках едут грозные наркомы,
в полях огромный урожай травы
(вредители погибли от отравы),
ЧеКи боятся злые остряки,
работают до ночи избиркомы,
чтоб доказать: они во всем правы,
кругом правы и стопроцентно пра́вы!

* * *

Захмелевшие, осмелевшие,
глядят в бокалы свои обмелевшие,
наливают розовое, как роза,
громыхает кончерто гроссо,
смущенье идет на убыль,
певца обнимает принцесса Грёза,
и жизнь незакончена, словно Врубель.
В голову непрестанно
лезут строчки из французского драматурга,
затурканные арестанты из Пакистана
освобождаются, ассимилируются. Из турка
получается доктор, его микстура
помогает от кашля и аллергии,
проклятая квадратура
круга решается.
Решаются и другие:
стало чисто, можно забыть о стирке,
соседи в полночь не сверлят дырки,
дети звонят почаще, но сначала рождаются,
а ещё раньше трепетно ожидаются,
а ещё раньше нам ссора не помешала
и ты не ушла, и я с тобой допоздна...
а турка и не сажали – ура, иншалла!
Коро́че, весна, весна!

* * *

Выпитое красное проступает через загар,
ее пальцы ищут серебряный портсигар.
Этой ли он клялся и присягал?
К ней ли крался и вселенную предлагал!
А теперь он страшнее, чем прокурор,
закурил и сердце ей проколол,

а она с ним ходила за косогор,
привозила исчезнувший корвалол.
Вот такой они затеяли разговор,
вот такой построили частокол.
Каждый стал упрямец и радикал,
А союз их рассыпáлся и протекал.
Этот спор их пронизывал, протыкал,
словно льдину – атомный ледокол.
Не столкуются москаль и хохол,
не поднять упавшую вертикаль –
не дождаться помощи от властей,
не избавиться от несвязностей и чернот.
Даже напоминание про детей
вряд ли чего-нибудь повернёт.

ПЕРЕМЕНА АДРЕСА

Когда-то,
не сейчас и вдалеке.
Сто лет назад. На третьем этаже.
Не наш язык. На этом языке
и в самом ненадёжном падеже
сообщено, обещано. Спина
распрямлена. А бешеный порыв
не поломал. Исполнилось сполна
и катит дальше, прошлое зарыв.

* * *

Никуда не денешься от безденежья,
потому что существование – всамделишно.
Делишь на части содержимое кошелька.
Думаешь, как дотянешь, во что оденешься.
Всё действительное – мечтаемо и желаемо:
это жилая площадь на юге Ерушалаима,
шало глядишь на неподражаемые шелка,
на то, что богатыми по телевизору пожираемо.
Но потом решаешь, что всё – мираж.
Замираешь, смотришь, а там – муляж.
Принцесса оказывается замарашкой,
а милашку выручает лишь макияж.
И когда тебя ласкают винительным падежом –
это чтоб у тебя переждать и не вымокнуть под дождем,
а ты будешь распотрошён, как при ударе шашкой,
и смешон, как Пат или Паташон.

* * *

В библиотеке – старцы... Кому там писать записки?
Ей надо пьянеть быстрее, ходить на танцы,
избегать трений и обострений... Учить английский,
потому что бывают американцы...
Есть несколько любвеобильных наций...
Годится и работяга, а не патриций...
Если б не там родиться, с другими знаться...
И раньше лет на пятнадцать, а то на тридцать...
Не из-за талии, что бы там ни гутарили,
что-то другое – удача, химия... а не линия.
Да и глаза у неё карие, веселые и так далее.
А пропасть – неодолимая.

* * *

May the Force be with you

Вырасти, вырастить сына,
а когда ему стукнет десять,
разыскать DVD и почти насильно
усадить и комнату занавесить.
Объяснить, что даже тебе когда-то,
эта актриса... а впрочем, ладно...
Что четвертое мая – такая дата,
что было весело и нарядно,
что в кино на него много раз ходили...
А он в ответ на твои упрёки
скажет, чтоб завтра до двенадцати не будили,
а сейчас у него уроки.

СТИХИ О СИОНЕ

Да отсохнет правая длань моя, если хоть раз в подлунном
я тебя забуду, уеду в Шую,
найду барышню на ситцевом комбинате.
Ибо только твоя, ударяющая по струнам,
впадающая в большую...
И заведу с ней сына, перестану тебя вспоминать и
оставлю детей в продлённой,
стану в супермаркете по субботам...
И, взбодрённый чаем, не затоскую.
Мы с ней поселимся в утеплённой...
Участок будет засажен и обработан,
и мы будем ценить дольнюю и мирскую.

Евсей Цейтлин

ШАТИ СТЯЩИХ

Из дневников этих лет

– Ну зачем, зачем вам нужны мои сны? – настойчиво убеждает меня старческий голос.

Тут и я спрашиваю себя: зачем?

Отдельные листы, листочки, иногда – несколько слов на магазинном чеке, врачебном рецепте... Записи снов. Кое-что уже не помню и недоверчиво перечитываю по несколько раз.

Правда, когда-то думал: это будет огромный архив, а в нем – тысячи снов.

Почему я сначала мечтаю создать такой архив (около двадцати лет назад), а потом охладеваю к этой идее?

Начинаю делать записи снов, думая о запутанной истории советского еврейства. Сколько бы сегодня мы ни пытались прочесть ее, многое так и останется загадкой. Может быть, хотя бы сны, – рассуждаю я наивно, – способны что-нибудь прояснить? И то, что люди раньше не могли говорить. И то, что уже забыли. И то, что до сих пор старательно прячут – даже от себя самих.

ВОРОНЫ

На снежном поле, сразу за своим домом (там, где хотели когда-то возводить очередную пятиэтажку, да так и не начали), он увидел стаю ворон. Сначала со свойственным ему нудным педантизмом решил сосчитать их, но сбился. И был очень удивлен этим. Вороны кричали истошно, почти невыносимо.

Тут он проснулся.

Тем летним утром, делая за завтраком любимый свой бутерброд (хлеб, масло, творог, сверху – повидло), он услышал по радио: на Ближнем Востоке началась война.

Тогда он был начальником планового отдела треста, не зря почти всерьез называл себя «нужным евреем» (его, действительно, не трогали ни при каких реорганизациях), обо всем и всех судил не просто безоговорочно – с резким, для многих неприятным апломбом.

Была у него тогда и семья: жена, дочь (между прочим, родные дали ему по-своему редкое прозвище – коммунист; бывая в их доме, я не раз слышал такое обращение к отцу и мужу: «Коммунист, иди сюда!».

Жена давно умерла, дочь зачем-то уехала на север. А сам он теперь старик: встречая незнакомых людей, вглядывается в их лица с непонятным испугом, который тут же пытается спрятать.

Многое в его жизни потерялось за ненадобностью, однако тот – в четверть века давности – сон хранится все еще в глубинах его существа и чем-то постоянно тревожит, как бы царапает память.

Рассказывая мне этот сон, сам В. соединяет его с ближневосточным конфликтом. Считает: это было предчувствие. И опять удивляется: почему? Ведь в Израиле никогда не был, никогда не имел там ни родных, ни друзей, да и страна эта вызывала у него только устойчивое раздражение.

Когда-то на собрании он коротко, но веско обличал сионизм. Причем, делал это без всякой подсказки начальства. А дома говорил близким – тем же своим скрипучим голосом:

– ...Воюют, удовлетворяют амбиции, а нас тут из-за них ненавидят.

Сколько искренней боли растворилось, навсегда перегорело в этих его словах.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Свои сны она решается рассказать мне в кафе. До этого мы бродим по мокрым улочкам литовского курорта Друскининкай – поздней, с хриплыми ветрами осенью.

За сорок минут до закрытия входим в пустую кондитерскую.

Несу от стойки мороженое и кофе (от торта она отказывается – «диета»).

И вот сидим напротив друг друга. Замечаю вдруг, что нависшая тишина ничуть не тягостна с ней: часто, видно, помогает ей эта мягкая, скрадывающая все улыбка. Она раскалывает ложечкой белую горку. Без жеманства, по-детски наслаждается послевкусием сладких комочков.

Ну, конечно, обаятельной ее делает именно отсутствие лукавства. Днем еще призналась: сейчас только, перед отъездом в Америку, может быть откровенна с посторонним человеком. Пусть и раньше никому не лгала, но никому – никому! – «не хотела давать лишнюю информацию о себе».

Впрочем, она осознает закономерность в моем интересе к сновидениям евреев. Убеждаюсь в этом вскоре. Перебрав в цепкой своей памяти разные сны собственной тридцатипятилетней жизни, она отбрасывает их один за другим. Потом задумывается. И – неожиданно – все с той же улыбкой:

– Можно я расскажу... нет, не сон... одно свое пробуждение? Знаете, мне сейчас показалось: это утро повлияло на всю мою жизнь. Ко мне пришла тогда редкая ясность – такая бывает именно после сна! И, может быть, тогда я сумела решить самый больной вопрос своего существования. Вы улыбаетесь? Удивлены? Удивитесь сейчас еще больше: мне было всего семь лет!

Она молчит, проверяет:

– Ну да, я не ошибаюсь: шел шестьдесят пятый год. Лето, раннее утро. Я просыпаюсь сама – без звонка будильника. Наступили каникулы, мне не надо торопиться в школу. Комната залита солнцем, и я вижу перед собой соседний дом, где уже открываются окна, слышу с улицы редкие, но все какие-то бодрые голоса. И сама – физически, телом – ощущаю легкость. Между прочим, потом я часто вспоминала это состояние, даже пыталась вернуть его – во время занятий йогой... А тогда подумала: какое счастье, что я живу в Советской стране! Вы улыбаетесь снова? Но, представьте, такими именно и были мои мысли. Однако тут же почувствовала: что-то мешает этой радо-

сти, моему – как в те годы любили выражаться – светлому завтрашнему дню. Сосредоточилась и – вспомнила: я еврейка! Где-то в подсознании, наверное, возникло решение: надо это преодолеть!

Не спрашиваю ее ни о чем. Вдруг замолчит привычно? Но, наверное, мы думаем с ней об одном – вся ее последующая жизнь и была преодолением.

Странные ее поступки выстраиваются для меня – один к другому: рано вышла замуж за еврея с русской фамилией и славянской внешностью, изучала зачем-то систему Станиславского, потом – йогу...

Она смотрит на меня, чуть прищурившись:

– Это был марафон – бегство от детских страхов. И пустая цель: переделать свою природу. Но ничего, ничего... К себе я еще вернусь. Я ведь еще молода, правда?

Веселы в полумраке ее глаза, в которых все же трудно прочесть будущее.

МОТИВ ПОГОНИ

Жду повторяющихся снов. В них – нередко – пророчество. И – всегда – метафора чьей-то судьбы.

Типичный сюжет. И повторяется часто. Так часто, что я уже не записываю его полностью: только новые детали и повороты:

-...С двадцати пяти до тридцати лет мне снилось все одно: за мной гонятся! И хотят не просто избить – уничтожить! Лица преследователей я легко узнаю и сейчас, если встречу где-нибудь. Они были всегда одни и те же. А я убегал! Спасался, правда, лишь в самый последний момент, когда, кажется, не было уже надежды.

Никому о тех снах не говорил. Но удивительно: то же самое – про меня! – снилось не раз моей приятельнице... Да, вы угадали: у нас была с ней недолгая любовь, которая без всякой драмы, я бы сказал, счастливо перешла в дружбу. Так вот, сначала и она мне ничего не рассказывала, но потом однажды призналась: «Я боюсь за тебя!»

...В том сне мы пришли с ней вечером в ресторан – маленький, с претензией на моду, плохо освещенный подвальчик. Сделали заказ, еще не успели принести, как моя еврейская физиономия привлекла внимание. И кто-то громко сказал: «Раньше их распинали, а теперь они путаются под ногами!»

Моя приятельница была находчивой. И тут схитрила – шуточками, кокетством сумела оттянуть время.

Потом мы убегали – переулками, прячась, в основном, в подъездах. У одного из преследователей был в руке нож.

Спаслись чудом – как всегда в моих снах.

Между прочим, подруга моя (она – украинка) раньше – когда мы только познакомились – говорила снисходительно, что евреи, мол, преувеличивают антисемитизм.

Потом мы с ней уже никогда не обсуждали эту тему. Мне неловко было – вроде принижаю себя этим. А она стеснялась, наверное, жалеть меня.

Почему появились наши сны-близнецы? Что они значили? Не знаю. В моей жизни в ту пору было все хорошо: рядом со мной – жена, сынишка и та подруга... Жили одной семьей. И, казалось, все были счастливы.

У ОЗЕРА

Идем вдоль озера. Она кормит лебедей хлебом.

– Как хорошо здесь! – И жадно втягивает воздух. – Как хорошо... – И летит в воду серый хлебный мякиш.

Я поотстал чуть. Она это чувствует и, пожалуй, себе самой неожиданно отвечает после очередного «как хорошо»:

– ...Но лучше всего перестать видеть сны.

Смотрю на нее вопросительно. Она уже остановилась. Раскладывает маленький складной стульчик, который на прогулках носит за собой всюду. Из-под капюшона зеленой, похожей на охотничью, куртки выбились пряди крашеных в какой-то неестественный – желтый – цвет волос. Она улыбается мне серыми маленькими глазками, покрытыми сетью красных прожилок, достает из большой, точно рюкзак, сумки пачку «примы», затягивается.

Она добра, даже сентиментальна, но уж очень трудна в общении: то излишне откровенна со всеми, то замыкается в себе – в ответ на вопросы хмуро бурчит что-то под нос.

Я знаю: была когда-то она журналисткой, выпустила даже книжку очерков. Замуж не вышла. Однако вышла рано на пенсию – по инвалидности.

Сны ее замучили после войны. Когда, вернувшись из эвакуации, совсем юной, стала собирать – в память о погибших родных – материалы о гетто и концлагерях Прибалтики.

Чем были эти сны необычны, а может, как раз закономерны?

В них оживали те детали, которые не могли войти в ее очерки: тогда это называли «натуралистическими подробностями», противопоказанными советской журналистике.

Любопытно: нередко она видела себя во сне тоже спящей.

Несколько раз будто бы долго спала в одной из «малин» гетто – особом укрытии, куда попасть можно было только через печь. Набилось туда человек двадцать. От нехватки воздуха некоторые теряли сознание, впадали в бред. Потому друг за другом следили: зажигали время от времени свечи, освещая серые полумертвые лица. Счастьем было заснуть, чтобы перестать ощущать обязательные потребности жизни.

И это счастье однажды выпало ей. Сон был долог. Проснулась она от крика грудного ребенка, которого держала на руках соседка. Но крик вскоре стих. Кто-то в темноте, не раздумывая, накрыл малыша подушкой. Жутко сказать, но против приговора никто не протестовал. В соседней с «малиной» комнате немцы вели обыск.

Это был только сон. Хотя подобное не так уж редко происходило в «малинах» – я слышал от узников гетто то же самое не раз и не два. Почему же история эта, повторяясь в сновидениях, именно ее довела до больницы? Может, все дело в творческой лаборатории литератора? Тщательно продуманные, озаренные воображением, но ненаписанные сюжеты подчас в буквальном смысле слова не дают автору жить...

Она встает. И мы снова идем медленно вдоль озера.

Угадывает мои мысли:

– Не волнуйтесь, дорогой, теперь я научилась справляться с этим. Главное – знать себя, свои возможные сны, их время. Самые

страшные бывают обычно с четырех до шести утра. Самые тяжкие мысли тоже тогда приходят. Раньше я боялась тех часов, потом выучилась подкарауливать их – просыпаюсь заранее, будто будильник заведен... Зажгу свет, детектив почитаю. Затем уж, утром, подремлю немного. Сны утром идут совсем другие: теплые, ровные. Не замечали?

ФОРМУЛА СНА

«Долгая прогулка в вечность». Это название романа К. Воннегута, разумеется, не имеющего никакого отношения к снам.

ВСТРЕЧА

Мысли и образы, которые приходят во сне, имеют, конечно, свою логику. Какую?

Например, когда мне снится отец, я сразу же вспоминаю: его давно нет с нами. Но при этом никогда не помню, что он *уже* умер и сам же я его хоронил.

Кажется всегда: он только куда-то уехал надолго. И точно пропал без вести.

Отец появляется в моих снах тихо, почти незаметно. Спокойный, но неулыбчивый. Обычно он сидит чуть в стороне от всех – присматривается, слушает. Молчит.

В одном из снов – недавних – все иначе.

Я замечаю отца, когда он еще только входит в комнату. Иду навстречу. Мы бросаемся друг к другу, долго не разнимаем объятий, у обоих на глазах слезы, которые пытаемся скрыть.

Обычно отец не носит галстука (совсем редко, в «парадных случаях», надевает тот, что на резиночке, с уже завязанным узлом). Две верхние пуговки на отцовской рубашке вечно расстегнуты. Почему-то я внимательно смотрю сейчас туда: на его загорелую, в морщинах, шею, на покрытую веснушками и рыже-седой поросльюю грудь. Но откуда эти большие разрезы? Грубо зашиты, еще не зажили – заклеены лейкопластырем.

Удивленно начинаю рассуждать про себя: такие разрезы появляются на теле в результате патологоанатомического вскрытия. Но ведь мы решили не делать этого! Так и похоронили его.

Непонятная логика сновидений упряма. Даже после мыслей о смерти отца не вижу его мертвым. Однако – впервые во сне – прихожу на его могилу.

Вот оно, кладбище. Прожженная солнцем возвышенность на окрайне киргизского городка Джалал-Абад. Жесткая, колючая трава вокруг. Маленький тополек за тридцать лет разросся – сумел поглотить почти все пространство внутри металлической оградки.

Под тополем – скамейка. Только сидеть здесь теперь некому. Мы долго когда-то выбирали это место. Искали такой участок, чтобы весной редкие, но бурные дожди не размыли могилу.

Тогда мы старались не думать о том, что отец, приехавший сюда из Сибири, в Средней Азии так и не прижился. Он бы, конечно, не хотел остаться здесь навсегда, на песчаном этом холме.

ОТКУДА ПРИХОДЯТ НОЧНЫЕ СТРАХИ

В эти годы я прочитал все, что можно было прочесть о сновидениях. От Фрейда и Юнга до Борхеса и Кастанеды, от Учителей востока до авторов различных сонников. Однажды, естественно, задал вопрос: что говорит о снах иудаизм?

Один из тех, с кем вместе ищу ответ, – Мойша Б.

Сколько лет я его знаю? Пожалуй, без малого четырнадцать.

Еще лет шесть до того он оставил в России все – в том числе себя прежнего, типичного московского интеллигента. В Америке Миша стал Мойшей – хасидом Любавичского Ребе. Работа программиста, небольшой, но хорошо обустроенный двухэтажный дом нисколько не мешают Мойше и его жене Либе жить так, как жили единоверцы по меньшей мере лет сто назад. В теплом мире хасидских преданий, в настойчивом, простодушном стремлении делать добро, в постоянном ожидании Машиаха.

– Куда мы отправляемся ночью вслед за своими снами? – переспрашивает Мойша. – Наверное, очень далеко.

В книге «Кицур Шулхан Арух», где изложены кратко законы еврейского образа жизни, читаем: «...Во время сна наша святая душа покидает тело, оно оказывается во власти духовных сил скверны...»

– Вот почему, проснувшись, мы должны как можно быстрее омыть руки – именно на наших пальцах еще остаются следы умирания.

«Согласно Каббале, человек, который, не омыв рук после сна, прошел расстояние хотя бы в четыре локтя (около двух метров), подвергает свою душу смертельной опасности».

Вот откуда приходят ночные страхи.

КТО-ТО ПОМНИТ

Если вдуматься, сны похожи на наши прошлые жизни.

Рассказ Л. Б.:

– ...В Австро-Венгрии в старину решили породниться две еврейские семьи, жившие в разных городах. Никогда раньше не виделись. Все устроили, как принято было, сваты (шадхены). Жених должен был приехать за неделю до свадьбы, но задержался – появился только за несколько часов до хупы. Невеста, понятно, волновалась, не отходила от окна. Наконец, увидела жениха и – расплакалась: «Не пойду за него...» Войдя в дом, жених сразу все понял: «Мне надо срочно поговорить с невестой...» Поговорили. Через десять минут она была уже счастлива и готова идти под хупу. В чем тут дело? Жених был горбатым, точнее – он имел два горба. А что же он сказал невесте, почему она успокоилась и обрадовалась? «Когда на небе решалось, кто станет моей женой, я увидел: девочка, предназначенная мне, будет с горбом. Я знал уже, что тоже буду иметь горб, но вот по поводу своей будущей жены начал спорить и просить: пусть уж лучше у меня вырастет два горба...»

Что самое интересное в рассказе Л.? Жених (мудрец из известной еврейской семьи), конечно же, не хитрил, не пытался разжалобить невесту. Она сама вдруг припомнила, точно старый, давно виденный сон: так все и было.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Мне одиннадцать лет. Большой сибирский город, в котором летом от жары становится мягким асфальт и который в газетах почему-то называют «городом-садом». Школа в старинном двухэтажном доме с резными наличниками. В нашем классе – только двое евреев: Г. Ф. (умная, спокойная девочка с серыми глазами и длинными косичками) и я...

Разумеется, евреем дразнят только меня.

Я долго ни о чем не говорю родителям. Во-первых, почему-то стыдно. Во-вторых, ведь все – правда: я действительно еврей.

Наконец, решаюсь. Мама и папа советуются весь вечер. Назавтра они отправляются к моему классному руководителю. Причем не в школу – домой. Я плетусь вслед за ними (видимо, для того, чтобы в случае надобности дать показания).

Учительница встречает нас с вялым радушием, но с полным пониманием:

– Это безобразие!

Добавляет, вздыхая:

– Что же я могу сделать? Ведь я тоже – еврейка...

Учительнице лет сорок. У нее – желтовато-застывшее лицо, муж–офицер, в нашей школе учатся две ее дочери (как-то незаметно и тихо). На еврейку классная руководительница совсем не похожа.

Я рассказываю все это только для того, чтобы передать атмосферу своего детства – так сказать, *предысторию* сна.

Именно в это время я вижу себя во сне, в котором вроде бы ничего не происходит. Передо мной – как бы движущаяся фотография... Там мне лет тридцать. Одет в красивый полушубок (сейчас бы сказал: дубленка, но тогда слова такого не знал). Говорю с кем-то по маленькому складному телефону. И еще – главное: откуда-то точно знаю, что нахожусь в Америке.

Сон тот я запомнил на всю жизнь, вспоминал его время от времени (то с удивлением, то с усмешкой), но никогда никому не рассказывал. Сейчас не удержался. Может, потому что сон сбылся?

Правда, в Америку я попал в сорок семь лет. Однако все остальное совпало. Даже дубленка, которую мне сразу после переезда подарила мама. Даже вот этот мобильник, по которому только что звонил дочке.

МЁД

Сорок лет не могла она избавиться от этого сна. И вот мне рассказали недавно: умирая, отходя медленно в беспамятство, она стонала:

– Мёд... сладко... пить...

Поначалу сон казался ей обычным. Одно из тысяч безответственных сновидений, которые в течение жизни являются любому из нас.

Сон этот всегда четко помнился – до мелких деталей, до слюны в горле: из большой, трехлитровой банки кто-то медленно переливал мед по маленьким, буквально крохотным баночкам.

Сон повторялся регулярно: пропав на месяцы, возвращался с теми же подробностями. Мед искрился сквозь стекло банки: еще не успев загустеть, был совсем жидкий – как хотелось его тут же пить, приставив край банки ко рту, а потом заесть свежим белым хлебом!

Несколько лет она была уверена: сон этот – последствие постóянной (в ленинградскую-то блокаду!) голодухи. Однако в сорок восьмом ей, как само собой разумеющееся, открыла цыганка: мед обычно снится к какой-то усладе. Цыганке она сначала поверила, но после, вспомнив день за днем блокаду, истерично – до слез – смеялась: усла-а-да!

Значение того сна она, как ей показалось, поняла в пятьдесят шестом, встретив в московской булочной, что на улице Горького, Фирку Каган. Та сумела в войну выползти из рва, куда закопали все их местечко.

– ...Рассказала Фира, как погибла сестреночка моя Ривка. Мы с ней двойняшки; перед расстрелом, значит, ей исполнилось девятнадцать. У нас у обеих была собачья тяга: выжить. Я в блокаду еду тащила – откуда могла, инстинкт говорил: где, у кого, когда. И ведь не попалась ни разу! А Ривка, перед смертью уже, скинув в общую кучу одежду, голая ползала на коленях – ловила руками сапоги полицаев... Не пожалели, конечно!

Тогда, если отсчитывать с середины пятидесятых, у нее была еще впереди половина жизни. «Сладкая», – уверенно говорила она мне.

По-моему, однако, она слишком прямолинейно толковала свой сон.

Она всегда любила поговорить, не давая никому вставить слово в свои монологи. Отбрасывая, словно шелуху, эти облеплявшие ее слова, я снова пытаюсь уловить главное: восемь ее переездов из одного конца страны в другой; пестрая – теперь плохо различимая в лицо – череда ее поклонников и мужей; наконец, опухоль, обнаруженная – конечно, слишком поздно – в Ташкенте.

Неужели все? Наверное, я просто что-то забыл.

Свой сон рассказала мне вскоре после нашего знакомства. И сразу упредила вопрос: «У меня никогда не было диабета».

Мне она приходилась дальней родственницей – такой дальней, что, пожалуй, не смогу сейчас объяснить степень нашего родства. Познакомился я с ней случайно, года за два до ее смерти. Она уже вышла на пенсию, а прежде работала парикмахером в разных городах, городках, поселках. Сразу понравилось мне в ней то, что она ничего не боится: ни переездов, ни резкого, навсегда, расставания с людьми. Это не было первым, случайным впечатлением. Потом не убоялась она даже раковой опухоли – добилась от врачей точного диагноза, поняла, что есть уже метастазы, спокойно перенесла тяжелую, ненужную операцию. С тем же спокойствием совершила и последнее – обменяла свою квартиру (с большей площади на меньшую, взяв доплату), продала почти всю мебель. Немалые эти деньги завещала одной супружеской паре – тихим людям, которых, уже больная, где-то нашла и которые стали за ней ухаживать, твердо пообещав приходить на могилу.

Ее одинокая бесстрашная смерть была мне понятной. Но все же: чем была ее жизнь? Символом чего был – многие годы – ее такой простой сон?

Лена Штерн

*МЕЖДУ МИРАМИ**

Среда. Последний день праздника Песах... Вчера вечером был сильный ветер, почти буря, свистело, летало, громыхало, пошел дождь, очень непродолжительный, но дождь... И сегодня, после того, как хамсин сломался, – прохладно, чисто, свежо.

Вышла на балкон и, привычно бросив взгляд на картонную коробку, в которой уже много дней сидела голубка, увидела на полке трех голубей – они, не обращая на меня никакого внимания, совершенно неподвижно смотрели вперед своими выпуклыми горошинками: да, мы здесь, а что, разве ты находишь в этом что-то странное?..

Конечно, нахожу! Ну одна, ну высиживает, но целая стая? Им понравился мой дом, или они не чувствуют моего присутствия?

Как раз вчера я сожгла в очередном погребальном костре несколько корзинок, хранившихся с незапамятных времен цветочного магазина, потерявших цвет от дождя и солнца, ставших хрупкими и ломкими... Они стояли много лет на полке между одеревеневшими ветвями лозы, которые я тоже храню неизвестно для чего – когда-то использовала их в своих бесконечных композициях – но сейчас?

Коллекция корзин, ваз, вазочек, сосудов... Только я вижу, как их можно использовать в будущих абстрактных скульптурах, но уже давно начала подозревать, что этого не произойдет никогда, и можно просто очистить полки...

Вчерашнее исчезновение в костре плетеных корзин напомнило мне, как однажды в самом начале нашей совместной жизни на Просторной улице Юра обнаружил непривычную пустоту на книжной полке.

После свадьбы мы соединили сделанные моим папой собственноручно два неуклюжих, но прочных диванчика, покрытых зелеными матрасиками и клетчатыми шотландскими пледами в сине-черно-красную клетку, казавшимися тогда предметами заграничного быта. Эта конструкция была нашим прибежищем, кораблем, в который надо было забираться, залезать, чуть ли не запрыгивать... Иногда пространство между диванчиками увеличивалось, и приходилось среди ночи сдвигать наши лодки поплотнее, превращая их вновь в единое пространство любви... Слева возвышался застекленный книжный шкаф – его содержание было предметом нашей гордости.

В те времена за продавщицами книжных магазинов иногда ухаживали куда усерднее, чем за невестами. Шоколад, цветы, билеты в театр (разговоры и комплименты не в счет) и просто деньги – тогда и рубль был вполне полноценным платежным средством. Помню продавщицу Галочку в Сотом книжном на Горького. Полная милая жен-

---

* Из книги «Спустя три года», готовящейся к печати в *«Библиотеке ИЖ»*. Журнальный вариант.

щина, она делилась с нами проблемами непростой личной жизни, а «на закуску» вытаскивала из-под прилавка припрятанные редкости, как ныряльщики достают жемчужины с морского дна...

Юра стал собирать книги лет с восьми и, требуя сочувствия, всем рассказывал, как в детстве он, отказывая себе в пирожках с ливером или повидлом, покупал поэтические сборники.

Когда мы познакомились, книжные страсти были в самом разгаре. Книги «доставались», «выменивались». Это было своего рода священнодействием. На книжном рынке можно было найти нужную книгу, продать, поменять, завязать связи, не только деловые, но и вполне дружеские. Людям, выросшим на Западе, не понять, что означает «записываться в очередь» на книгу, которую должны «выбросить» в том или ином магазине. Что зачастую люди в этих очередях понятия не имели, кто такой Акутагава или Жорж Амаду, но зато твердо знали, что это книги «ходовые»... Как это ни смешно, детские книги мы начали покупать задолго до рождения Полинки, не говоря уже о Марике. В годы советской власти многие талантливые художники могли найти себе применение лишь в качестве книжных графиков, иллюстрируя сказки, стихи для детей. Те же «Винни-Пух» или «Алиса в стране чудес»... (Накануне отъезда в Израиль нам пришлось расстаться не только с семьей и друзьями, но и с нашей библиотекой, и это тоже было частью драмы...)

Как-то утром, наверняка это было субботнее утро, Юра взглянул на полки и почувствовал дисгармонию, несоответствие, провал. Чего-то недоставало в привычном порядке. Какие-то книги отсутствовали, то ли я их одолжила друзьям, то ли еще что-то... Но это пустое пространство тревожило, как вырванный зуб, и пока порядок не был восстановлен, Юра не мог успокоиться...

Так вот, вчера я бросила в костер несколько разваливающихся корзин, среди них особенно мне дорогую – большую, с невысокими краями, сплетенную в бедуинском селе из оливковых ветвей, грубоватую, но удивительно гармоничную, как говорят сейчас, аутентичную... Я использовала ее для демонстрации полевых подсолнечников, ярких и свежих оранжевых лилий и всякой мелочи вроде ромашек, которые прекрасно сочетались с естественностью оливковых серо-коричневых веток. В этих композициях было место и для больших листьев аспидистры, и филодендрона, и для той же причудливой виноградной лозы...

Пару лет тому назад в этой корзине, действительно похожей на огромное гнездо, поселилась первая на моем балконе голубка, высидела голубенка и улетела. Корзина давно была загажена птичьим пометом и решительно непригодна ни для какой экспозиции, но лежала себе наверху, на полке, сооруженной, конечно же, папой и опоясывавшей пространство балкона. Там хранились мои «сокровища», накопленные годами. Взгляд привычно отдыхал на мягких очертаниях корзин, на вычурных корешках и вазах. Но вчера я сожгла, почти церемониально сожгла эти корзины. Вчера было очень жарко. Даже в шесть вечера жар струями поднимался с земли. Несмотря на всю несуразность идеи

разжигать костер в хамсин, я все-таки устроила себе этот маленький праздник. Из-за боли в пояснице я не смогла прыгать с песнями вокруг костра, как это делают настоящие ведьмы. Просто сидела и смотрела на выросший, как по мановению волшебника, повелевающего пламенем, смертью, духами и Бог знает чем еще огненный столб. Он вздымался к небу и распространял почти непереносимый жар. Пламя пожирало то, что было когда-то вместилищем многих букетов и хранило ауру любви и восхищения формой и цветом, изящными сплетениями ветвей и веревок. Все это мгновенно вспыхнуло, и еще довольно долгое время куски корзинок хранили свою структуру, не распадаясь. Этот феномен я наблюдала не раз. Газетные листы сохраняли в пламени свою форму, иногда отдельные строчки прямо таки повисали в воздухе, не желая расставаться с буквами. Они жили, дыша огнем и жаром. То же самое произошло вчера. Корзины были охвачены пламенем, но какое-то время сохраняли прекрасную сущность предметов, отслуживших долгую жизнь, некогда созданных руками из простых веток, веревок, дощечек... Мне вдруг представилось, что в конце жизни это же происходит и с нашими душами. Они обитают между мирами, сохраняя свою форму, но наполняясь совершенно иным, воздушным содержанием, становясь пламенем, прозрачными колебаниями. Состояние «бытие-небытие», когда происходит та самая трансформация, тот непостижимый переход из мира в мир, из сущности в сущность...

...Палата № 19 в больнице «Адасса»... Юра говорит днем и ночью, по много часов подряд. Его взгляд кажется вполне осмысленным. Юрины речи кажутся иногда настолько складными, что мы, родные и друзья, не можем ему не ответить. Но он не видит нас в обычном смысле слова. Он не слышит нас в обычном смысле слова. Все происходит как будто в параллельных мирах. Параллельных в грубом, геометрическом смысле слова. На самом деле все это живет и дышит одновременно, как мириады песчинок в воздухе, как невидимые глазу молекулы. Как мираж, который лишь в особенные минуты прорывается сквозь заслон действительности. Юра уже там – между мирами...

Глаза блестят, смотрит куда-то вверх, в сторону, на стену, где на фоне цветной, на первый взгляд, безобидной картины разыгрываются бои, невидимые постороннему взору. И полная моя беспомощность – как проникнуть через эту невидимую стену?.. Как его заставить увидеть меня, услышать?.. Юра видит другие миры, ведет беседы с невидимыми, но для него вполне реальными собеседниками, переходя с русского на иврит, на английский... Спорит, что-то рассказывает, на виду у всех, не за загородкой ночи, не под покровом сновидений.. Здесь, посреди этой комнаты, нет даже занавески, за которой можно укрыться – и тем беззащитнее обе стороны: и он, видящий нечто, и мы, не умеющие ответить. Тем острее одиночество, невозможность перейти грань, разделяющую тот мир и этот. Через несколько дней даже это как бы общение начало происходить все реже и реже, все короче и короче, а сон все плотнее забирал Юру к себе...

Боязно подступиться и боязно растерять эти воспоминания. Осколки мгновений. Минуты встреч и часы ожидания...

Леонид Кацис

НАЧАЛО ПУТИ

История часто распоряжается так, что наиболее значимые фигуры своей эпохи оказываются не слишком видны из-за шеренг их не столь ярких современников. Да и современники эти прилагают к тому немало усилий, особенно если они впоследствии приходят к реальной политической власти.

Так произошло с Владимиром Жаботинским, который умер в 1940 году в Америке. Он завещал перезахоронить себя в будущем еврейском государстве, однако произошло это лишь спустя шестнадцать лет после провозглашения независимости Израиля, в 1964-м, когда завершилась политическая деятельность Бен-Гуриона, одного из самых непримиримых противников Жаботинского.

Политическая борьба вокруг имени и деятельности Жаботинского продолжается и сегодня. Действительно, если вспомнить название его статьи «О железной стене» и сегодняшнюю стену, отделяющую Израиль от его «миролюбивых» соседей, то ситуацию эту даже близкой аналогией не назовешь. Это уже актуальная политика.

Вряд ли труды Бен-Гуриона или Берла Кацнельсона могут быть сегодня столь же злободневны... А работа над изучением и даже собиранием наследия автора концепции «железной стены» все еще находится в самом зачаточном состоянии.

Казалось, что уже никто и никогда не обратится к старым подшивкам русских газет и эмигрантских журналов начала XX века. Но история сделала очередной разворот, и сегодня, сменяя симулякр постсионизма, вновь нарастает интерес к творчеству лидера ревизионистского сионизма. За последнее время только роман Жаботинского «Пятеро» переиздан не менее пяти раз в России и на Украине, переиздаются «Фельетоны» и даже снимается блокбастер «Самсон Назорей». Те же «Пятеро» недавно вышли на английском и французском, публикуются новые биографии Жаботинского на итальянском и японском языках.

Однако корпус текстов Жаботинского, доступных читателям и даже специалистам, остается еще очень и очень ограниченным.

На этом фоне начало публикации Полного собрания сочинений Владимира (Зеэва) Жаботинского на русском языке представляет собой событие неординарное. Ведь даже те немногие, кто держал в руках библиографию его трудов, не могли не видеть, что количество отмеченных там статей Жаботинского в десятки раз превышает то, что входит в доступные сборники на любых языках.

Разумеется, можно сказать, что плоды поденной работы журналиста провинциальной прессы, даже ставшего впоследствии крупным политиком и писателем, совершенно не обязательно должны быть собраны и напечатаны. Более того, среди специалистов всегда найдутся те, кто скажет: «А выдержит ли ваш автор испытание Полным

собранием сочинений? Не лучше ли ограничиться разного рода сборниками и хрестоматиями?».

Нет, не лучше, и причин тому много. Посмотрите, какой серьезной фигурой выступает Жаботинский в воспоминаниях К. Чуковского, М. Горького, А. Амфитеатрова, В. Розанова, П. Струве, М. Осоргина и др.

Чем вызвано это повышенное внимание? Почему никакие другие российские сионисты не вызывали подобного интереса у деятелей русской культуры? Возможно, потому, что никто из этих «других» не сумел так перевести Х.-Н. Бялика на русский язык, что и еврейство было потрясено, и сам Бялик стал актуален для русской культуры?

А в каких газетах печатался Жаботинский? В «Одесских новостях», «Руси», «Нашей жизни», «Речи», «Русских ведомостях», в журналах «Южные записки», «Русская мысль», «Освобождение»...

Ясно, что *русская* составляющая творчества Жаботинского (которая еще до эмиграции сопровождала его *еврейскую* деятельность в «Рассвете», «Еврейской жизни», «Хронике еврейской жизни» и прочих еврейских журналах на разных языках) оказывается достаточно серьезной для того, чтобы счесть Жаботинского фигурой поистине уникальной. Тем более печально, что до сих пор выявлены далеко не все тексты Жаботинского, а многих газет и журналов, где он печатался, в библиографиях нет вообще.

Существует и еще одна важная и сложная проблема: различное восприятие Жаботинского в русском, русско-еврейском и еврейском нерусскоязычном мире.

Например, ивритскому читателю, как правило, неинтересны тексты, написанные в России и о России, если они не касаются собственно еврейских проблем. Или, еще не так давно даже самый просвещенный русский и русско-еврейский читатель, поклонявшийся О. Мандельштаму, Б. Пастернаку или М. Булгакову, был абсолютно уверен в том, что в русско-еврейском мире нет ничего важного и интересного, если вообще подозревал о существовании такового. А если что из наследия Жаботинского и было известно такому читателю, то лишь сборник «Фельетоны», ярчайший, но очень ограниченный по набору тем и текстов. Наконец, ивритский читатель не хотел замечать, что даже в годы самой активной сионистской деятельности Жаботинского в России 1900-х – 1910-х годов количество его текстов на российские темы превышало или было соизмеримо с текстами на темы еврейские во всех их возможных видах.

Есть и другая проблема: Жаботинский российских лет был довольно последовательным марксистом, начавшим свою деятельность еще в Италии, в газете «Avanti!», а затем в русских «Жизни» или «Освобождении». Для будущего лидера брутального и милитаристского, на первый взгляд, ревизионистского сионизма, такой контекст выглядел, по меньшей мере, неуместным. В «Повести моих дней» Жаботинский все это довольно откровенно объяснил, однако «Повесть» вышла в свет только на иврите (1936), а на русский была переведена лишь в 1985. С другой стороны, на русском языке еще с 1920-х годов существует «Слово о полку», т. е. история еврейского легиона, которая совершенно не связана с марксизмом.

Так, по воле то ли автора, то ли неуправляемых исторических обстоятельств, идейная биография «русского» Жаботинского оказалась разорвана. Понятно, что у ивритского читателя не может возникнуть ассоциаций с другим «Словом» – о другом, древнерусском «полку» (на иврите книга называлась «*сипур ямай*» – дословно: «повесть моих дней»), а, следовательно, терялись и многие идейные и стилистические обертоны этого текста. В свою очередь, без предыстории в виде «Повести моих дней», пропадали втуне и многие сюжеты «Слова».

Однако до этих лет наше собрание, выходящее под редакцией Феликса Дектора, дойдет еще не скоро. Слишком много нового обнаружилось уже при подготовке первых томов, которые на сегодняшний день охватывают 1897-1902 годы. На подходе и тома 1903 и 1904 годов.

Разумеется, уже здесь можно было бы рассказать о том, как еще в 1901 году юный Altalena (наиболее известный псевдоним раннего Жаботинского) создал едва ли не первый литературный портрет своего будущего постоянного антагониста В. В. Розанова, что само по себе значимо и интересно. Когда в середине 1990-х годов мы пытались показать, что позорная книга В. В. Розанова «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (куда вошли и статьи о. Павла Флоренского), посвященная «богословскому» доказательству употребления евреями христианской крови, была во многом ответом на знаменитые статьи Жаботинского о деле Бейлиса (в частности, на статью «Вместо апологии»), то эти умозаключения в лучшем случае встречались коллегами с улыбкой. Но позже нашлась статья Розанова 1908 года о молодом Жаботинском, где Розанов рассказывал об их знакомстве в Риме в 1901 году (познакомил их Манасевич-Мануйлов, печально известный шпион и провокатор). Затем нашлась еще одна статья, из газеты «Речь», и не напечатанный текст Розанова 1911 года, обращенный к Жаботинскому. Можно обнаружить очевидные следы Розанова и в романе Жаботинского «Пятеро». И вот результат: наша статья «Владимир Жаботинский» уже входит в недавно изданную «Розановскую энциклопедию».

И это всего лишь один сюжет, раскрывшийся за последние годы и охвативший тридцать пять лет жизни Жаботинского. Вообще говоря, линии его жизни и литературного творчества почти всегда тянутся от первых лет до последних. И это тоже затрудняет понимание Жаботинского, ибо приходится держать в уме слишком много разных контекстов (литературных, исторических и политических), соединять имена и события, кажущиеся не связанными друг с другом. Внимательный читатель не может не заметить, что главная проза Жаботинского посвящена России и Одессе, даже если автор уже давным-давно интересуется строительством электростанций в Палестине или доставкой оружия своим сторонникам. Вообще говоря, есть смысл прочесть романы Жаботинского (и «Пятеро», и «Самсон Назорей») на фоне тех статей в «Рассвете», которые их сопровождали. Тогда само собой проявится и актуальное политическое содержание этой прозы.

Теперь несколько слов о текстах, которые предлагаются вниманию читателей «Иерусалимского журнала». Казалось бы, среди них не может быть чего-то, о чем не подозревали исследователи. Но оказалось не так.

Известно высказывание Жаботинского в «Повести» о том, что он во многом случайно произнес свою первую сионистскую речь еще в Берне на некоей неожиданной для него самого сходке. Однако в дальнейшем он подчеркивал, что именно кишиневский погром 1903 года сделал его сионистом. Между тем, из библиографии, а теперь и из тома с текстами 1902 года, мы можем без труда узнать, что статья «О сионизме» была опубликована за год до кишиневского погрома. Следующая знаменитая статья – «Кадима», вошедшая в сборник «Недругам Сиона» (1904), была известна до сих пор лишь в немецком варианте, опубликованном в Вене перед Сионистским конгрессом (1903), который, как известно, отказался принять предложенный Теодором Герцлем «Угандийский» проект. Однако впервые эта статья была опубликована, пусть и в несколько иной редакции, по-русски – в журнале «Южные записки», почти за полгода до вышеописанных событий.

Этот факт свидетельствует, что рассказ Жаботинского о будто бы случайном его появлении на Конгрессе, мягко говоря, не соответствует действительности. Его статья уже и в первой публикации выглядела как программа русской делегации на Конгрессе. А уж в немецком варианте, после Кишинева, и вовсе ею являлась.

Однако между двумя публикациями «Кадимы» был еще один текст, который стал нам известен только во время работы над Собранием. Пример, который мы сейчас приведем, показывает, какие находки и догадки могут быть сделаны при работе с максимально полным собранием текстов Жаботинского на всех языках.

В одной из статей упоминавшейся уже газеты «Avanti!» Vladimiro Giabotinski писал о том, с каким нетерпением русские революционно настроенные студенты ждут каждый новый номер марксистского журнала «Жизнь». Отчего бы не предположить, что и сам Жаботинский участвовал в этом журнале? Тем более, что «Жизнь» упоминалась и в переписке Жаботинского, например, с В. Короленко.

И вот, при просмотре журнала выяснилось, что в самых последних номерах перед его закрытием в 1901 году там появились примерно десять рецензий, подписанных «А.». Одна из них, посвященная творчеству поэта К. Фофанова, оказалась практически параллельной тексту Altalen'ы из «Одесских новостей» – на сей раз о поэтессе Мирре Лохвицкой. Сомнений не оставалось: «А.» из «Жизни» – это Жаботинский!

Из истории русской журналистики мы знаем, что после закрытия в России журнал «Жизнь» стал издаваться в эмиграции. Часть редакции, впоследствии связавшая свою судьбу с большевиками, во главе с В. Поссе и В. Бонч-Бруевичем выпускала новую «Жизнь» в Женеве.

Зато другая часть, которая ассоциировалась с конституционалистами-демократами, примкнула к журналу «Освобождение», издаваемом в Штутгарте Петром Струве, создателем РСДРП. А Жаботинский, как известно из материалов Особого отдела Департамента полиции, был главой кружка РСДРП Дальницкого района города Одессы. Поэтому связи Струве с Жаботинским не должны нас удивлять, тем более, что были они далеко не только сугубо марксистскими.

Так, Жаботинский являлся активным членом Одесского литературно-артистического общества, которое очень быстро откликалось

на события в культурной жизни страны. Именно в Одессе – ранее, чем где-либо в России – состоялось обсуждение знаменитого сборника «Проблемы идеализма», в котором участвовали Петр Струве и другие авторы журнала «Освобождение». Кстати, псевдонимы авторов «Освобождения» до сих пор еще расшифровываются историками. Называются имена П. Милюкова, С. Франка, В. Короленко... Зато авторство многих статей провинциальных корреспондентов журнала, охватывавших пространство от Одессы до Приморья, не установлено и по сей день. Нет там и имени В. Жаботинского.

Наше внимание привлек ряд пока еще не атрибутированных текстов – в частности, таких, где речь идет о событиях, связанных с Одессой и подписанных «Аноним», либо не подписанных вовсе. Здесь не место обсуждать технические проблемы атрибуции, заметим лишь, что многие эпизоды этих корреспонденций являются предшественниками знаменитых статей из будущих «Фельетонов».

Но в связи с данной публикацией в «ИЖ» мы скажем лишь несколько слов о тексте, подписанном «Г.» и представляющем собой реакцию на неожиданное и резкое выступление Петра Струве (главного редактора «Освобождения») по поводу кишиневского погрома.

Для того чтобы стала понятна резкость статьи Струве, необходимо подчеркнуть, что информация о погроме была в русской печати минимальна, а уж дискуссии на эту тему и вовсе невозможны за пределами некоторых еврейских органов типа «Восхода» или специального журнала «Право». И вдруг Струве буквально сразу после погрома заявил, что одной из его причин явилась рабская покорность евреев, их готовность терпеть издевательства, и что особо всем этим грешит еврейская интеллигенция. Более того, отрицая в целом вооруженные методы борьбы, в данном случае П. Струве провозгласил необходимость организации еврейской самообороны.

Эта статья вызвала на страницах эмигрантского «Освобождения» бурную дискуссию, невозможную в российских условиях. Отклики были разные: от возмущенных до сочувствующих. А в заключение дискуссии выступил некий «патриот своего народа» сионист «Г.». Его выступление резко отличается от всего тона дискуссии. Этот текст напоминает полемические статьи, вошедшие в брошюру «Недругам Сиона», где Жаботинский полемизирует с тогдашними критиками сионизма (Бикерманом, Каутским, Изгоевым и др.). Текст, с которым «Г.» (сравним с «G» – первой буквой итальянской подписи Жаботинского) обрушивается на Струве, можно прочитать теперь на страницах «ИЖ».

И здесь необходимо вспомнить, что рассуждения о «еврейской трусости» нередко встречали острую реакцию Жаботинского, причем, именно в связи с кишиневскими событиями. Напомним, что в 1906 году впервые вышел в свет его перевод поэмы Х.-Н. Бялика «Сказание о погроме». Некоторые его фрагменты печатались и ранее, однако именно полный текст с предисловиями Жаботинского (стихотворным и прозаическими) буквально взорвал русско-еврейское культурное сообщество.

Есть смысл задуматься и над тем, почему в своих предисловиях уже к книге стихов и поэм Бялика 1911 и последующих годов Жабо-

тинский с таким жаром доказывает, что презрение к «еврейской трусости» было выражено Бяликом еще в стихах 1897 года:

Так погиб мой народ... Срама жаждет он сам.
Нет опоры стопе, нет мерила делам.
Сбились люди с дороги, устали бродить,
И пропала в веках путеводная нить.
Рождены под бичом и бичом вскормлены,
Что им стыд, что им боль, кроме боли спины?
В черной яме чужбин копошатся на дне,
Воспарит ли душа над заботой о дне,
Возвестит ли рассвет, возведет ли престол,
Завещает ли веку великий глагол?'
Раб уснул, и отвык пробуждаться на клич,
Подымают его только палка да бич.
Мох на камне руин, лист увядший в лесу –
Не расцвесть им вовек, не зови к ним росу.
Даже в утро Борьбы, под раскатами труб,
Не проснется мертвец, и не двинется труп...

Это было написано Бяликом в год Первого Сионистского конгресса. Слово «чужбина» звучит здесь наряду со словом «рабство». Вообще, топика переводов Жаботинским Бялика еще ждет своего максимально подробного анализа. Ведь бяликовское «Сказание о Немирове», перевод которого был начат в 1904 году, лишь по прошествии лет стало знаменитым «Сказанием о погроме». Вольное, даже декларативно вольное обращение Жаботинского с текстом Бялика заставляет задуматься о его роли в идейном развитии поэта от их первой встречи сразу после кишиневского погрома до последующих десятилетий общения и совместной работы.

Но вернемся к Струве. Он сопроводил письмо «Г.» осуждающим послесловием, обращенным к сионистам-нейтралистам, которые полагали, что евреям не следует участвовать в русской революции и даже агитации. Именно к ним и принадлежал Жаботинский, хотя в революционные годы 1903-1907 он еще и сам пока толком не определил, каких он станов боец: двух, т.е. русского и еврейского, или только одного, еврейского. Рубежом здесь стала, безусловно, известная дискуссия о евреях в русской литературе, с одной стороны, и статья «Еврейская крамола» (1906), в которой автор выступал против участия евреев в российской революционной агитации, с другой. Ведь в 1904 году, уезжая в Петербург, он еще размышлял о выборе своего (русского или еврейского) пути. Русский путь мог быть для Жаботинского только путем «еврея в русской литературе». Все это можно рассматривать как продолжение полемики со Струве, начатой на страницах «Освобождения» в статье сиониста «Г.» о еврейской трусости и продолженной там же в заметках «Анонима» об одесской забастовке 1903 года и о «потемкинских днях» 1905-го. Полемика эта получила еще более известное развитие во время дискуссии «о евреях и русской литературе» и в «Четырех статьях о "чириковском инциденте"», ставших впоследствии центральным сюжетом в «Фельетонах».

Спровоцированная статьей К. Чуковского в «Свободных мыслях» дискуссия «о евреях и русской литературе» приобрела особо резкий характер именно после выступления Жаботинского, который тогда подписывался «Господин Ж.». Именно ему жестко отвечали и П. Струве, и П. Милюков. Именно ответы им составили раздел о «чириковском инциденте» в знаменитых «Фельетонах». А специальный сборник, выпущенный по следам этой дискуссии, далеко не случайно назывался «По вехам», словно в ответ на знаменитый сборник статей о русской интеллигенции «Вехи» (1909), развивавший идеи вышеупомянутого сборника «Проблемы идеализма» (1902).

Таким образом, частный спор о том, должен ли еврейский писатель Шолом Аш читать свою идишскую пьесу перед русскими (а не еврейскими) писателями в доме артиста Н. Ходотова в присутствии Е. Чирикова (кстати, автора популярной пьесы «Евреи») далеко не случайно перерос из спора о «евреях в русской литературе» в широкую всероссийскую дискуссию «о национальном лице русского народа». Тогда же Жаботинский писал о «национальной сытости великороссов», а его коллега-литератор В. Ульянов – об их же «национальной гордости».

Но это уже следующий этап жизни и работы Жаботинского, хотя и прямо вытекающий из ранних одесских лет. А в 1903 году он публикует в «Одесских новостях» еще один важнейший цикл статей, который ускользнул от многих исследователей его творчества. Это очерки о евреях в стране, где практически не существовало антисемитизма, где и еврея уже невозможно было отличить от итальянца. И называет он этот газетный цикл «Гетто». Этот же корпус статей, собранный в отдельной брошюре того же года, Жаботинский публикует под названием «Гетто. Чужие. Очерки одного «счастливого» гетто. Посвящено всем недругам Сиона». Сравните последнее посвящение с названием брошюры «Недругам Сиона» того же 1903 года, вышедшей в издательстве с недвусмысленным названием «Eretz Israel»*.

По ранним статьям Жаботинского можно отчетливо проследить его путь от юного газетного репортера к невероятно быстрому формированию национальной идеологии, которая теперь навсегда связана с его именем. От 19 до 23 лет – всего лишь. Впереди почти две трети жизни, в том числе и полтора десятка российских лет, которые позднее, в 1930-х, найдут свое отражение в «Пятеро» и «Повести моих дней» параллельно с борьбой Жаботинского за эвакуацию европейских евреев в преддверии неизбежной катастрофы. Тогда его никто не хотел слушать. Не очень-то хотят и сейчас. Но, быть может, времена изменятся. Этому и должно послужить первое Полное собрание сочинений Жаботинского, которое выходит сейчас на русском языке, и, будем надеяться, новое многотомное собрание его текстов на иврите, подготовка которого еще только начинается.

---

* Интересно сравнить эти очерки и с заметками Жаботинского «Римское гетто», опубликованными 3. 04. 1899 г. в газете «Одесский листок» и вошедшими в первую книгу второго тома Полного собрания сочинений. В заметках тех – взгляд постороннего, туриста, который никак не соотносит себя с обитателями гетто и их судьбой. И какой контраст в 1903-м!

«НАУЧНОСТЬ» И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Редколлегия «ИЖа» крайне редко отступает от своего правила не перепечатывать тексты, уже увидевшие свет в других журналах и книгах. Но в данном случае мы решили сделать исключение. Статья, которую двадцатидвухлетний автор опубликовал в газете «Одесские новости» от 8 сентября 1902 года, вошла в первую книгу второго тома Полного собрания сочинений В. Жаботинского. Это самое первое из известных сионистских выступлений будущего прославленного писателя, мыслителя, общественного деятеля и политического лидера. Как и все «самое первое», работа эта имеет в первую очередь немалую историографическую ценность. Но не только. Публикуя обширные выдержки из статьи, мы предлагаем читателю оценить вместе с нами непреходящую актуальность как этого, так и других публикуемых в номере текстов Владимира Евгеньевича Жаботинского.

Жаботинский писал не только о сионизме – его волновали и литература, и театр, и общественно-политические события в России и во всем мире, и естественно, любимая Одесса – с удовольствием отсылаем читателей к будущему тому Собрания сочинений.

В журнальную подборку его сочинений 1903 года мы включили и статьи Жаботинского о российском национализме и российской журналистике, статьи, которые и сегодня не менее своевременны не только для российских, но и для израильских, украинских, американских, немецких и прочая читателей «ИЖа».

О СИОНИЗМЕ

Статья г-на Бикермана[1] в «Русском Богатстве»[2] произвела большое впечатление.

– О! – слышатся мнения. – Это опыт настоящей научной оценки сионизма.

– О! – говорят другие. – В этой статье научно доказано, что сионизм – утопия.

«Научно». Интересное это модное словечко – «научность». <.. >

Стихи непоэта – это альбомная литература, это не стихи, а стишки.

И точно так же эта научность за полтинник, научность собственноручной домашней выделки, научность, аранжированная для балалайки, и потому доступная первому встречному, – все это альбомная и туалетная научность, годная для кокетничанья перед барышнями, а не для веского добросовестного спора. <.. >

Чтобы научно мыслить, надо быть ученым, то есть производителем на полях науки, а не простым потребителем ее продуктов. <.. >

Обыкновенному человеку не дано гарцевать на Пегасе научного мышления, но собственная голова на плечах ему дана, глаза и наблю-

---

[1] Бикерман Иосиф Менассиевич (1867–1942) – публицист и общественный деятель; выступал резким противником сионистского движения и идишизма.

[2] «Русское богатство» (СПб., 1876–1918) – ежемесячный журнал.

дательность ему даны, и он мог бы самостоятельно черпать смысл из жизни, которая перед ним, и отзываться на нее своими объяснениями, догадками, создавать свои мечты и идеалы. И не во всех случаях, но часто – эти догадки живого человека могут быть ценны и правдивы.

Но это возбраняется. Сейчас же начинается затюкивание:

– Он мыслит ненаучно! – Пусть докажет научно!

– Это утопия! <.. >

Полно уже, в самом деле, бояться этого окрика: «Утопия!» Глупое слово из словаря трусов. Многое, что сотню лет тому назад казалось утопией, окрепло теперь и шествует, и наступает, и завоевывает.

История не знает утопий. <.. >

И когда масса людей в унисон охватывается вся одним идеалом, это значит, что не «фельетонисты» ей нашептали его.

Ей нашептала сила вещей.

Те идеалы, которые нашептаны силою вещей, – они не утопия.

Они – действительная потребность.

Они – будущая действительность.

Посмотрим, однако, ближе на эту «научность».

В конце концов, довод против сионизма у нее один:

– Всемирная история, – пишет г-н Бикерман, – не знает случая, когда бы какая-либо группа людей – род, племя, народ, орда – вздумала бы в одно прекрасное утро создать государство, а вздумав, создала бы его. И в древние, и в новые времена государства являлись *результатом* деятельности человеческих масс, но никогда не служили *целью* этой деятельности.

То есть:

– Чего до сих пор не бывало, того и впредь быть не может.

То есть:

– Все законы исторического движения нам уже известны, и ничему такому, чего бы мы еще не видели и не предвидели, произойти не полагается.

Я не думаю, чтобы это было научно.

Потому что, напротив, все школы, разрабатывающие философию истории, открыто признают молодость и неполноту этой науки.

Твердо настаивая на незыблемости своих основных положений, каждая из них, однако, подчеркивает, что многочисленные влияния и причины, обусловливающие ход истории, могут составлять самые неожиданные комбинации и, значит, приводить к самым непредвиденным результатам.

Ни один серьезный теоретик истории не позволил бы себе категорически заявить, что того, чего до сих пор не бывало, и впредь не будет.

Только самодовольное полузнание, не обязанное дорожить ни достоинством, ни престижем науки, способно изрекать от ее имени такие пророчества... <.. >

Примеры массовой эмиграции повторялись и в древнейшие, и в ближайшие времена. Сионизм и предлагает массовую эмиграцию.

Но во дни оны такие эмигранты – от времен великого переселения народов и до первых поселенцев Нового Света в XVIII веке – шли в

чужую страну вооруженными и, если исконные хозяева им мешали, расправлялись с ними силой. <...>

Сионизм слагается из двух элементов. Первый – массовая эмиграция – не новость. И второй – гарантия самоуправления – тоже не новость. <...>

Г-н Бикерман упрекает сионистов еще в том, что они пытаются увлечь свой народ по пути наибольшего сопротивления. А это бесплодно, ибо непреодолимый закон природы велит всякой энергии направляться по пути наименьшего сопротивления. Это, конечно, правильно. По пути наибольшего сопротивления никакая энергия не пойдет. <...>

Почему первые христиане в Риме, или те же евреи на Пиренейском полуострове, или гугеноты во Франции – предпочли гонения и эмиграцию вместо того, чтобы тихо и спокойно ассимилироваться, то есть принять веру сильнейшего? Это, конечно, не значит, что все они шли по пути наибольшего сопротивления, ибо идти по пути наибольшего сопротивления логически немыслимо. Это просто значит, что им, по многим разным причинам, было легче и выгоднее переносить гонения, умирать на кострах, разоряться и эмигрировать, чем уступить.

Никогда нельзя точно знать, какой путь в данную минуту представляет наибольшее или наименьшее сопротивление.

Для этого надо было бы распутать гордиев узел тысячи влияний, могущих увеличить сопротивление, – влияний, коренящихся и непосредственно в самой основной подпочве – экономике, и в ее психологических надслоях, – распутать, рассортировать, взвесить, оценить.

Если это и возможно, то это – задача для ученых, а не для г-на Бикермана.

Другое дело – чисто практические возражения против сионизма.

Они делаются без претенциозного тона, они вытекают из трезвых соображений здравомыслящих людей, и на такие возражения и отвечать приятно. Эти возражения часто очень вески.

– Уступит ли Турция?

– Позволят ли державы?

– Прокормит ли Палестина?

– Способны ли евреи к земледелию?

Все это – вопросы важные и сложные, и категорически о них ничего нельзя сказать уже потому, что о будущем никогда ничего уверенно утверждать нельзя. Но, во всяком случае, практических доводов *за*, и веских доводов, нисколько не меньше, чем *против*. <...>

...сделают ли евреи Палестину «страной меда и млека», нет ли, – но, во всяком случае, они сделают ее более оживленной, более культурной и, значит, более доходной областью, чем теперь. <...>

Для держав нет никакой причины «не допускать».

Та часть евреев, которой они могут дорожить, – та, которая оживляет торговлю, – та, вероятно, не поедет в Палестину, потому что ей сносно и в Европе. <...>

Способны ли евреи к земледелию, способна ли почва Палестины производить злаки в достаточном количестве – на все вопросы ответить можно было бы только с цифрами в руках.

Я могу только напомнить, что в Финляндии есть совершенно голые утесы, куда люди нанесли чернозема и живут плодами этого чернозема.

Приспособиться же, не сразу, конечно, а через два-три поколения, можно ко всему, не только к земледелию.

Особенно евреям, которые давно доказали свое умение приспособляться ко всяким, даже самым невероятным условиям существования.

Над игрой в бабки термином «научность» можно посмеяться, с практическими доводами следует обдуманно и серьезно считаться и спорить, но против третьей категории возражений, вызываемых сионизмом, можно только возмущенно и непримиримо протестовать.

Я намекаю на вопли о реакционности сионизма.

Есть люди, девиз которых: «Только и свету, что в моем окошке».

Несогласно мыслящего они готовы растоптать и предать проклятию.

Бесполезно было бы внушать им:

– Своя своих не познаша... Мы с вами идем разными дорогами, но к одной цели.

Они не признают двух дорог. Они отвечают:

– Ты не с нами? Значит, ты против нас.

Они весь мир хотели бы остричь под одну и ту же гребенку и на всех надеть один и тот же ярлык – из всех людей на свете сделать таких же узких, прямолинейных, правоверных рядовых, как они сами, неспособных и не имеющих права рассуждать собственной головой. <.. >

Разве национализм регрессивен?

Любить свою народность больше всех других народностей – это так же естественно, как любить свою мать больше всех других матерей.

Как человек вправе охранять и развивать свои индивидуальные особенности, так точно и нация вправе дорожить своими национальными особенностями. <.. >

– Сионизм отвлекает евреев от общечеловеческой культурной работы, от заботы об интересах всего человечества.

Странная претензия, чтобы все люди непременно работали на одной и той же ниве. Можно быть другом всего человечества, но работать для блага одной народности, потому что благо одной народности есть часть блага человечества. Разве сионизм мечтает оторвать евреев от духовной близости с Европой? Сионизм хочет дать евреям место, где бы они могли поддерживать эту близость, развивать ее, наслаждаться ею, – только не подвергаясь унижениям, не терпя гонений, не рискуя лишиться своей национальной сущности.

Можно спорить против сионизма – находить его неосуществимым или нежелательным.

Но говорить о его реакционности, видеть в его деятелях изменников идеалам общечеловеческого блага – это значит не спорить, а позорить, грубо и легкомысленно позорить мечту, рожденную из всех рыданий, из всех страданий еврейского народа; это значит зазывать людей в свою лавочку не мытьем, так катаньем; это значит отозваться ругательством на слезную молитву измученного Агасфера и очернить изветом и клеветою его многостолетний заповедный идеал.

Ругайтесь! Идеалы стоят выше изветов и не боятся клеветы.

Владимир (Зеэв) Жаботинский

*ИЗ СОЧИНЕНИЙ 1903 ГОДА**

С НОВЫМ ГОДОМ![1]

Будьте добры.

Может быть, на вас насело много разных неприятностей.

Но будьте добры.

И тогда вы распутаете все сети и выйдете на волю.

Никогда не опускайте рук.

Не уподобляйтесь человеку, который зимой, в степи, усталый и иззябший, садится, махнув на все рукой, в сугроб и добровольно отдается смерти.

Он говорит себе:

– Еще десять верст до жилья... Эх! Не стоит идти. Я слишком измучен. Лучше сяду и замерзну.

Но вы должны говорить себе:

– Еще десять верст до жилья? Что ж, пройдем еще десять верст.

Никогда не сдавайтесь, не бросайтесь на землю сами.

Пусть вьюга вас опрокинет, если может, но вы сами не ложитесь перед нею.

Много, может быть, неприятностей насело на иного из вас.

Пусть он будет добр.

Пусть он прежде всего разберется в этих неприятностях.

Нет ли в их числе таких, которые только потому неприятны, что ему угодно обращать на них внимание, а если пожать на них презрительно плечами, то сами собой разлетятся в пух и пыль?

Пожимать презрительно плечами – великая наука в жизни. Учитесь ей.

И когда вы таким путем отделите истинные неприятности и вычеркните воображаемые, тогда обновите в себе бодрость и вооружитесь ею.

Расставьте все, что вам угрожает, в правильном порядке перед глазами.

И неустанно, шаг за шагом, побеждайте одного врага за другим.

Все может победить бодрый человек.

И нельзя победить бодрого человека.

Убить его можно, а пока он жив, никогда никто ему не скажет:

– Я тебя победил.

Потому что он улыбнется и ответит:

---

* Статьи и рассказы планируются к публикации в третьем томе «Полного собрания сочинений» Владимира Жаботинского, который готовится к выходу в свет осенью этого года. Редакция ИЖ благодарит инициатора, составителя и главного редактора издания Феликса Дектора за предоставленные материалы. Большинство примечаний подготовлены сотрудниками ПСС. Часть примечаний, сделанных в газетах и журналах 1903 года, опущена.

[1] «Одесские новости»; 1.01.1903.

– Как же ты меня победил, когда я еще борюсь против тебя?

Будьте добры и не ленитесь.

Не останавливайтесь перед сложной задачей, не говорите:

– Это слишком сложно для меня.

Сложное состоит из множества простейших, расположенных в известном порядке.

Обдумайте этот порядок, а потом бодро и спокойно примитесь по порядку за простейшие.

Справьтесь с одним, перейдите к другому и третьему и уверенной поступью дойдите до последнего.

И вы победите самую сложную задачу.

Чтобы быть хорошим и полезным работником в жизни, вовсе не нужно ни ума, ни таланта, нужна только бодрость.

Бодрого человека любят и боги, и мужчины, и женщины.

Будьте бодры.

С Новым годом.

Знаете, чего я пожелаю вам и себе в новом году?

Я мог бы пожелать вам удачи во всем добром.

Но ведь удачи во всем добром я желаю вам ежедневно круглый год.

Нет смысла сказать:

– Желаю вам всего хорошего в 1903 году.

Почему именно в 1903-м? Не в 1903-м, а всегда надо желать человеку всего хорошего.

Нет. В первый день Нового года я пожелаю вам и себе – *хорошего года.*

Такого года, который было бы потом чем вспомнить.

Славы и величия желаю, но не нам, а этому году.

Тускло живя нудный год за годом, давно уже мы ждем яркого года.

Давно уже мы тоскуем о таком годе, на который 31 декабря можно было бы оглянуться и сказать:

– Господа, мы прожили интересный и великий год.

Деды наши и старые отцы переживали такие годы, а нам еще не довелось. Неужели обойдет нас судьба и не выпадет на нашу долю года великого и громкого?

Нет горшего позора для поколения, как прожить свою жизнь без такого года.

Поколение, прожившее без такого года, будет забыто и презрено.

Я верю, что наше поколение не будет презрено и забыто.

Я верю, что судьба нам пошлет такой год, о котором будет вспоминать потомок и говорить с благоговением:

– Как я завидую людям, жившим в то время!

Мы с вами, читатель, встречаемся каждый день, и, чтобы выразить друг другу добрые пожелания, нам не нужен первый день января месяца.

Но некто новый предстал нам в эту полночь, некто, с кем мы еще никогда не встречались: этот некто – новый год, и ему должны мы принести наши пожелания.

Здравствуй, новый год. Желаю тебе силы и блеска. Не пройди бесследно. Соверши великое.

ВСКОЛЬЗЬ[2]

Третьего дня благосклонный читатель прочел у меня в фельетоне:

– Будьте добры.

И, вероятно, сейчас же зевнул.

Я бы тоже зевнул.

Право, я в этом не виноват.

Это, что называется, «досадная опечатка».

Ибо я написал не «будьте *добры*», а «будьте *бодры*».

Бодры, понимаете?

Фразы: будьте *добры* – я ни за что бы не написал.

Я считал бы гражданским преступлением – проповедовать доброту.

Слишком много у нас и без того добрых людей.

И слишком много видов доброты.

Есть, например, такой – очень распространенный – вид доброты.

Идет по улице согбенный человек, а у согбенного человека на шее сидит другой человек.

– Согбенный! – спрашиваете вы, – отчего ты не сбросишь в преисподнюю сидящего на тебе верхом?

И отвечает согбенный:

– Жалко мне его. Уж так он удобно тут у меня на шее устроился. Как же это взять да лишить его удобного места?

Обдумайте вы этого согбенного человека.

И увидите вы, что он подобен французскому судну под немецким флагом. Потому что он есть сосуд трусости, выступающей под флагом доброты.

И другой есть вид доброты.

В лазурных волнах моря один господин топит другого господина.

Третий господин сидит на берегу и закусывает бутербродами.

– Третий господин! – спрашиваете вы, – почто нейдешь на помощь топимому?

– Жалко топимого, – отвечает, прожевывая, третий господин, – но и топящего жалко. Не подымается рука моя ни на того, ни на другого.

И сей подобен судну английскому под флагом персидским. Ибо есть он сосуд эгоизма под флагом доброты.

Много дряни плавает по свету под флагом доброты.

И дряблость, и слабость, и попустительство, и предательство, и всякая подлость.

И особенно глупость.

Итальянцы даже так и выражаются о глупом человеке:

– 'E tre volte buono. Он трижды добр.

Нет, господа, то была «досадная опечатка». Я не решился бы сказать вам:

– Будьте добры.

Уж если на то пошло, я сказал бы скорее:

– Будьте злы!

Ибо, наоборот, под флагом зла выступает много хороших вещей.

---

[2] «Одесские новости»; 3.01.1903.

Например, зависть и мстительность.

Зависть, которая свята потому, что она есть противовес поруганному равенству.

И мстительность, которая есть ответ и рычаг оскорбленной справедливости.

– Будьте злы, – сказал бы я.

Когда видите, что равенство поругано и справедливость оскорблена, пусть злое чувство сделает ваше сердце жестким и твердым, как камень, и наполнит его завистью и местью.

И не давайте расплывчатой доброте согреть ваше отвердевшее сердце своей нездоровой теплотою и сделать из него вместо камня жидкую кашицу.

Будьте *бодры*.

AMOROSA TRINITÁ[3]

Нет большего удовольствия, как смотреть и слушать оперу «Богема».

Не могу себе вообразить такого господина, которому «Богема» не напоминала бы о лучших его днях.

Разве уж это будет какой-нибудь совсем пустой и безжизненный господин.

Я не знаю всей «Богемы». Сыграйте мне что-нибудь из третьего акта – я, возможно, спрошу:

– Это из какой оперы?

А слышал я «Богему» много раз.

Но я слушаю только первый акт, а потом до четвертого занавеса уж только сижу в театре и ничего определенного не вижу и не слышу.

Я думаю под музыку.

Первый акт уносит меня в мое доброе прошлое.

И так я там и плаваю, в этом прошлом, пока соседи, торопливо выходя и наступая мне на ноги, не вернут меня к настоящему.

Что в этом прошлом? В чем его очарование?

Трудно было бы сказать. Ни крупных событий, ни возвышенных интересов ведь нет в этом прошлом.

Мелкие волнения, много ребячества, много бестактностей.

Но оттенок другой и аромат другой – не тот, которым окрашена теперь наша с вами жизнь и наша с вами среда.

Ничего мещанского, беззаботная искренность, свежее дыхание юности... словом, «что-то такое», чего теперь у нас с вами больше нет и не будет.

Нам остались воспоминания. Будемте ж изредка вспоминать.

Мы тогда жили тоже на чердаках, Гоффредо и я.

У меня из окна был вид на весь Борго, где мы тогда жили, и на весь огромный седой Рим над рекою, – тот самый вид, которым вы любуетесь в последнем действии «Тоски», только еще лучше.

---

[3] «Одесские новости»; 6.01.1903.

У Гоффредо из окна был вид на равнину.

Равнина была темно-зеленая, почти синяя, величавая, скорбная; по ней редко стояли пинии, похожие на букву Т, и иногда проходили римские волы, тяжелые, огромные, тоже скорбные и величавые, – «благочестивые» волы, как назвал их поэт Кардуччи.

Был тогда конец зимы; и пальмы на Пинчо, и равнина были почти так же зелены, как летом, но по вечерам дула резкая трамонтана и часто шли дожди.

И вот в эти дождливые вечера мы обыкновенно сидели с Гоффредо вдвоем у него на чердачке.

Всегда у него, потому что я тогда был еще корреспондентом «Одесского листка» и зарабатывал до 27 рублей в месяц, а Гоффредо из дому получал больше, так что у него и убранство было лучше, и всякая нужная утварь имелась.

Убранство у него было шикарное.

Он тогда недавно вернулся из Парижа, где кокотки научили его особенным образом драпировать ковры по стенам.

И он накупил дешевых плохеньких ковриков и устроил из них такую драпировку, что даже хозяйка, сора Ливия, вдова околоточного надзирателя – и та восхищалась.

Гоффредо покупал много книг, но не расставлял на полочке, а развешивал на разноцветных лентах по задрапированным стенам.

Тут у него висели в красивом беспорядке Ницше, Д'Аннунцио, Стриндберг, два романа Gyp и его собственные рукописи.

Между книгами были прибиты фотографические карточки нескольких его невест и тех парижских кокоток, что научили его драпировать комнаты.

Из утвари у него была машинка для чая, полдюжины приборов из дешевой лавки на Via Nazionale, где все продается по 48 сантимов, много стаканов и лампа, а у меня всего этого не было.

И еще у него была цитра.

Оттого мы и сидели всегда по вечерам у Гоффредо.

Он читал или писал, я читал или писал: я писал или корреспонденции, или пьесу, в которую вложил столько души и которую потом освистали; он писал или конспекты речей для одного депутата правой, который ни за что не хотел понижения хлебных пошлин, или тоже пьесу – драму «Ницше».

Я даже помню канву этой драмы.

Там была героиня Джулиана, которая прежде пела в опере, потом, в расцвете голоса, перешла в оперетку, а через год – в кафешантан.

И никто, и она сама не могли понять, что повлекло ее, с прекрасным голосом, из оперы в кафешантан.

Вдруг в одной газете появился о ней фельетон, предлагавший разгадку этой странной непоседливости – в слове:

– Женственность.

Джулиана, по мнению автора, инстинктивно искала той арены, где всего ярче могла проявить свою торжествующую женственность.

Джулиана прочла эту статью и была поражена. Автор заглянул ей в душу так глубоко, как она сама не умела.

Ей представили автора. Он оказался хилым и тоненьким литератором, с большим талантом и узкой грудью.

Однако Джулиана стала его любовницей, потому что он изумительно тонко мог говорить о любви и женственности. Но скоро она поняла, что он, хорошо говоривший о любви, был чересчур слаб, чтобы уметь любить. И ей захотелось бросить его, но она боялась убить этого хрупкого человека горем.

Тогда приехал друг его, красивый, сильный бретер, и победил Джулиану.

Я помню сцену, которую Гоффредо считал очень сильной и оригинальной, – где этот человек и Джулиана все время сидели в полутьме в разных концах большой комнаты и где он, не прикасаясь к ней, не подходя к ней, одними словами, одним лучистым пламенем своей страсти овладел Джулианой и в ее отдающемся взгляде взял в свою власть ее тело и душу.

На следующий день его ранили на дуэли с кем-то и обезобразили его лицо.

И тогда Джулиана ушла от обоих, от постылого слабого и от обезображенного сильного, и сказала им на прощанье:

– То, что идет не от сердца, а от жалости, то есть милостыня. Я слишком ценю вас обоих и не хочу, чтобы вы предо мною были нищими...

Гоффредо писал эту пьесу, а я строчил мои корреспонденции, где расправлялся, как мне было угодно, с министрами и генералами; но оба мы думали, главным образом, не о министрах и не о Джулиане, а о том, придет или не придет Диана.

И Диана приходила. Ударял ее бодрый и вместе с тем нежный стук медным кольцом в дверь.

И она показывалась на пороге, небольшая, стройная, с высокой каштановой прической на непокрытой голове, в простеньком красном лифе, без верхней кофточки, только с лисичкой на шее и под зонтиком.

– Добрый вечер! – говорила она весело, и нам всем троим становилось так хорошо, что не сиделось на месте.

Гоффредо говорил ей:

– Я уже думал, что тебе сегодня вечером не удастся ускользнуть из дому.

И она оживленно рассказывала:

– Нет, я сказала маме, что иду к Ольге доканчивать заказанную шляпку. А что если Ольга придет к нам? Пропала я тогда!

И мы смеялись.

– Гоффредо, у тебя страшный беспорядок. Разве так перемывают чашку?

– Дай сюда бутылку с керосином, я поставлю чайник. А сахар есть?

– А у вас все не пришита третья пуговица? Я всегда говорила, что вы неряха. Снимите пиджак, я пришью.

Я снимал пиджак и отдавал ей, если в этот вечер была очередь Гоффредо идти за хлебом и колбасой.

И мы оставались с нею вдвоем: она шила и болтала про то, что сегодня было в их мастерской, или пела римские песенки с такими ритурнелями:

Природа ждет рассвета,
но не видать ей солнца,
покуда из оконца
не выглянула ты!

Ей было восемнадцать лет; она немножко считалась невестой Гоффредо, хотя сама, я думаю, не верила, чтобы он, студент, драматург и бахвал с большими надеждами, женился на модисточке; она была с ним и со мной одинакова, и мы оба относились к ней одинаково платонически – ласково, тепло и шаловливо.

И вот она шила и болтала или пела, а я смеялся с нею и любовался ею и тем сверкающим римским акцентом, с которым она говорила и который я люблю лучше всякой музыки.

Пуговица была пришита; Диана отдавала мне сюртук и спрашивала:

– А что мне за это следует?

Я отвечал:

– Два поцелуя.

А она говорила:

– Нет, только один.

И, получив эту плату, она устраивалась у меня на коленях и дразнила:

– Вы меня не боитесь? Я вас не искушаю?

– Нет, – говорил я, – пока еще не так страшно.

– А какую сказку вы нам сегодня расскажете?

– Хорошую.

– А что пишут ваши родные из России? Они все здоровы?

– Да, все здоровы, Диана, спасибо…

Стук.

– Тсс! – говорила тихо Диана, – не отпирайте и затаим оба дыхание. Пусть Гоффредо научится ревновать.

Но Гоффредо знал эти штуки и начинал так стучать в дверь сапогами, что Диана первая бросалась отворять.

Он приносил с собой чудесный пресный хлеб, за который я теперь отдал бы все деликатесы Робина, и чудесную жирную колбасу и поллитра чудесного сладкого красного вина Гротта-Феррата.

И мы ужинали, с хохотом и песнями – римскими, неаполитанскими, сицилийскими, русскими, парижскими – и пили вино и запивали чаем.

Потом мы помогали Диане убрать и перемыть тарелки и чашки, мыли руки, утирались одним полотенцем.

И Гоффредо говорил:

– Теперь сказка.

Тогда я садился в кресло; Диана садилась на мягкой скамеечке у моих ног и клала мне голову на колени, а Гоффредо разваливался на диване и держал ее руки в своих.

Лампа тушилась, зажигался красный фонарик, оставшийся от фотографического аппарата, который был теперь в ломбарде.

И они оба стихали и слушали, увлекаясь, как дети, а я им рассказывал «Вия», или «Майскую ночь», или «Милу и Нолли».

Я держал руки близко у лица Дианы, и она беззвучно заигрывала и шалила с моими пальцами, ловя их в свои свежие губы и даже слегка прикусывая, когда сказка была страшная.

Кончалась сказка, и пора было идти домой.

Мы провожали ее оба. Она жила тут же в Борго, и надо было прятаться в тени, чтобы никто не заметил и не узнал ее.

Мы доводили ее до ступенек ее portone, в мрачном переулке, прорубленном в папской стене, и иногда, если в переулке было пустынно, на носочках подымались по темной лестнице до самой двери, за которой слышались голоса ее матери и сестер.

– Ух, если бы мама теперь вдруг отворила дверь!..– шептала нам Диана, вся дрожа от беззвучного хохота.

И она прощалась с нами, целуя его и меня долгими ласковыми поцелуями, и иногда шептала нам:

– У нас дома так нехорошо... Я умерла бы, если бы у меня не было вас...

И мы оба тихонько спускались к выходу, а она стучалась, показывалась на мгновение в свете отпертой двери, небольшая, грациозная, и пропадала.

О НАЦИОНАЛИЗМЕ[4]

Газета «Отечество», имея в виду российских патриотов-охранителей, говорит: «Многим из них кажется, что если люди не коренного русского происхождения выказывают горячую приверженность к своему родному краю, своей земле, к языку, Богом им данному, и ко всем особенностям своего родного быта и потребностей, то в этой преданности их инородческой особенности скрывается непременно какое-то злоумышление против России»...

Действительно, так смотрят на дело российские охранители. И за такой взгляд на дело им часто достается от российских прогрессистов.

И вот, когда охранителям достается от прогрессистов по этому вопросу, мне всегда хочется сказать: «Своя своих не познаша и побиша».

Ибо надо отдать справедливость российским прогрессистам: они в этом пункте мыслят совершенно так же, как российские охранители.

Полнейшее согласие. Позвольте мне подменить в тираде газеты «Отечество» только два-три слова, и эту тираду, обращенную к охранителям, смело можно будет отнести по адресу либералов:

«Многим из них кажется, что если люди *известной народности* выказывают горячую приверженность к своему родному краю, своей земле, к языку, Богом им данному, и ко всем особенностям своего родного быта и потребностей, то в этой преданности их *национальной* особенности скрывается какое-то злоумышление против *прогресса*»...

Только подчеркнутые слова изменены – и из точки зрения рядового патриота-охранителя получилась точка зрения рядового прогрессиста.

Того самого рядового прогрессиста, который всюду настаивает, что идеалами порядочного человека должны быть идеалы общественные, а отнюдь не националистические, и что национализм – тьфу.

Я осведомился у этих рядовых:

[4] «Одесские новости»; 30.01.1903.

– А нельзя ли, господа, как-нибудь этак сочетать националистические симпатии с вашими широкими общественными идеалами?

И рядовые качали головами и определяли:

– Никак нельзя.

И доказывали мне это следующим сопоставлением:

– Мы, прогрессисты, желаем, между прочим, чтобы не стало ни войн, ни национальных гонений, чтобы отдельные народности братски слились и забыли разделяющие их межи и границы. А националисты тормозят слияние, силясь сохранить для каждой народности ее обособленность. Их идеал прямо враждебен нашему...

Оттого-то и хочется сказать: «своя своих не познаша», когда этот самый прогрессист через минуту обрушивается на охранителя за непочтение к инородцу.

Поскольку он защищает инородца, он, собственно, прав, но что за цена этой защите, когда она лишена естественной почвы, когда она зиждется не на уважении к национальным особенностям вообще, а на совершенно постороннем принципе?...

Славная вещь – российский прогрессизм и славные люди – российские прогрессисты. Но не люблю я в них одного качества – прямолинейности. Им всегда кажется, что путь логики есть однообразная прямая линия. Но путь логики есть линия сложная, извилистая, богатая неожиданностями.

Этот путь то поведет вас направо и там укажет вам точку истины, то перебросит вас налево и здесь тоже натолкнет вас на крупицу правды.

А прямолинейная близорукость, важно и раз навсегда шагая в направлении собственного носа, строго осудит вас за это и скажет:

– Вы сами себе противоречите!

Сакраментальная фраза, которой стреляют во всякого, кто решился снять с себя лошадиные наглазники и хорошенько оглянуться по всем сторонам жизни... Я думаю, что можно быть сторонником широких общественных идеалов нашего времени, желать братства народов и в то же время оставаться завзятым националистом.

Российские прогрессисты весьма обильно употребляют слово «научность». И это не мешает им смотреть на национальный вопрос как-то совсем по-детски. Я не о том говорю, что будущее им представляется в розовом свете. Это вполне законный оптимизм. Мне тоже будущее рисуется сравнительно в довольно приятном освещении.

Я тоже надеюсь, что в будущем устроится такой порядок, когда создастся та общественная почва, на которой человечество поздоровеет телом и духом. И я тоже полагаю, что тогда не будет войны и не будет национальных гонений.

И что тогда, в какую глушь чужой страны я ни попал бы, всюду я почувствую себя среди добрых соседей и товарищей.

Но ведь для российского прогрессиста этого мало. Он мечтает о большем. Ему хочется, чтобы я, попав в эти будущие блаженные дни в чужую землю, не только не почувствовал враждебного отношения к себе, но даже не заметил вообще никакой разницы между тамошним людом и моими соотечественниками.

Чтобы я там оказался совершенно как у себя дома.

«Ни звука нового, ни нового лица: такой же толк у дам, такие же наряды»[5]...

Словом, как будто и не выезжал из Одессы.

А национальные особенности?

– Басни! – говорит прогрессист. – Уже и теперь эти национальные особенности мало-помалу атрофируются под влиянием общей культуры. Интеллигентный русский уже и теперь больше похож на интеллигентного англичанина, чем на соплеменного ему русского же крестьянина. А со временем это еще усилится и наконец постепенно сведет ваши хваленые «национальные особенности» к незаметному minimum'у...

Вот образчик той упрощенной прямолинейности, о которой я говорю выше.

Ведь, действительно, правда, что теперь между двумя интеллигентами разных наций гораздо больше общего, чем между двумя представителями разных общественных слоев одной и той же страны.

Русскому интеллигенту гораздо ближе и понятнее мысли и настроения интеллигента норвежского, испанского или какого угодно, чем мысли и настроения своего же русского деревенского простолюдина.

Но почему?

Потому, что в нашем обществе между отдельными классами лежит целая пропасть.

Потому, что народные массы вырастают и воспитываются далеко не в той улучшенной атмосфере, не в тех утонченных условиях, среди которых, как-никак, развиваемся мы с вами.

И потому, конечно, нам с вами не понять мужика и в то же время очень легко понять европейского интеллигента, который с детства спал на таких же матрасах, как и мы, посещал такие же театры и учился по таким же книгам.

И если бы так продолжалось и дальше, если бы пропасть между общественными слоями должна была все углубляться, то, действительно, «вертикальные» подразделения человечества, т. е. национальные различия, скоро совсем стушевались бы перед громадностью «горизонтальных» подразделений классовой дифференциации.

Но... но ведь, кажется, не в этом направлении катится фура прогресса, а как раз в обратном, и меньше всего пристало забывать об этом именно прогрессистам. Человечество идет к тому, чтобы смягчить и мало-помалу совсем сгладить классовые перегородки. Чтобы дать всем гражданам одинаково благоприятные условия для развития духа и тела.

Вот, по всему смыслу моей веры, направление истории. И чем дальше пройдем мы по этому направлению, тем ближе духовно станут друг к другу интеллигент и мужик. Пока, наконец, не очутятся рядом и не заговорят, как равный с равным, мыслями одного и того же диапазона.

Вся механика того, что мы называем прогрессом, направляется к устранению классового несходства.

И когда оно устранится – что же тогда получится?

И теперь русский интеллигент далеко не подобен французскому, немецкий – английскому. Но их несходство так мало в сравнении с

[5] Искаженная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

классовыми несходствами внутри одной и той же нации, что из-за громадности второго мы почти не замечаем первого.

Но когда классовые несходства исчезнут, именно тогда мы особенно ясно увидим несходства национальные.

Ибо ведь не устранить прогресс этих несходств.

Прогресс внушит нациям одинаково справедливые взгляды на общественные вопросы, прогресс даст им одинаково сильные технические средства для борьбы с природой. Но прогресс не выкрасит итальянского неба в один цвет с небом Финляндии, не заведет в Швейцарии равнин и не превратит Россию в гористую страну.

Естественные факторы создают *расу*.

Сложная, кипучая путаница экономических факторов коверкает и видоизменяет расовые признаки до того, что влияние расы почти совершенно исчезает в историческом процессе. До того, что в наше время понятие расы почти игнорируется наукой.

Но если прогресс когда-нибудь урегулирует этот водоворот многоразличных экономических интересов, сочетав их в одном синтезе, именно тогда принцип расы, до тех пор заслоненный другими влияниями, выпрямится и расцветет.

Не только не сгладятся прогрессом национальные особенности, но, напротив, получат больший простор, большую свободу развиваться...

Так оно, по-моему, будет; и я нахожу, что тем лучше.

Чем разнообразнее состав оркестра, тем прекраснее симфония, потому что скрипка передает то, чего не передала бы флейта, и есть такие места, которые для кларнета не подходят и должны исполняться на арфе. Для развития наук, искусств и поэзии, для всей этой симфонии творческого человеческого духа тоже нужен богатый оркестр, и чем полнее и разнообразнее, тем лучше. У каждого инструмента есть свой тембр, и у каждой народности свой особенный духовный склад.

Надо дорожить этими тембрами наций, усовершенствовать их и не допускать, чтобы скрипка заиграла тромбоном, чтобы чех стал похож на француза.

Жизнь не в стрижке всех под одну мерку, а в разнообразии, в гармонии мириад несходных индивидуальностей.

Национализм – это индивидуализм народов.

ПЕРЕЛОМ ЖУРНАЛИСТИКИ[6]

Изложение реферата, читанного в лит.-арт. клубе 20 марта

Обыкновенно считается неудобным и даже неблаговидным – порицать огулом передовую российскую журналистику.

– Во-первых, – говорят порицающие, – это не великодушно. Во-вторых – это даже грешно, ибо передовая журналистика есть единственный оплот прогрессивных практических стремлений лучшей части русского общества.

[6] «Одесские новости»; 22.03.1903.

Все это правда; но нельзя упускать из виду, что в России орган печати не привык и не должен быть только оплотом практических стремлений. Российская журналистика привыкла быть не простой выразительницей и истолковательницей преобразовательных требований, а прежде всего учительницей и вдохновительницей общества. Идейный орган печати в России привык играть роль *руководителя*.

Из двух функций русской передовой журналистики – быть, во-первых, оплотом практических стремлений и, во-вторых, давать обществу идейное одухотворяющее руководительство – главной и драгоценной является, несомненно, вторая. Не в первой, а в этой второй задаче заключается высший момент и высшая миссия русской журналистики, центр ее тяжести, причина той необычайной родственной любви, которой связаны в России интеллигенция и журнал.

Оттого упадок этой второй функции глубоко нежелателен, глубоко прискорбен и в высшей степени вреден.

Такой упадок замечается теперь.

Да, практическая функция поддерживается по-прежнему стойко и честно. Русская передовая журналистика настойчиво и твердо продолжает быть оплотом прогрессивных стремлений. Поскольку она есть «поваренная книга», русская передовая журналистика держится на прежней высоте. Но как «коран» – она упала. Она, несомненно, утратила свое руководящее значение. Она больше не повелительница чувств и дум, она не зажигает сердец, не объединяет настроений. Того энтузиазма к себе, того религиозного внимания к своему слову, какие она некогда встречала, уже она не встречает теперь.

Она осталась практическим лидером, но перестала быть руководительницей духа.

Конечно, сегодняшним поколением нельзя было бы руководить на старый лад, руководить в смысле указки и помочей. Но отзываться, точно по безмолвному уговору, на все, что волнует ум; говорить нам сегодня о том, о чем мы сами мучительно думали вчера; быть для нас тем собеседником, о котором мы говорим:

– Он с нами согласится или нет, но он нас и мы его поймем с полунамека, ибо между нашими душами есть непрерывный симпатический ток взаимной чуткости.

Одним словом, откликаться нашему настроению – все равно, pro или contra, но непременно попадая нам в тон – вот какое руководительство возможно и над сегодняшним поколением, и не только возможно, а даже нужно, и... и его нет...

Современная передовая журналистика не попадает в тон современному передовому поколению, не говорит его душе, не звенит его настроением.

Чехов говорит нашей душе, Горький одно время говорил ей, Андреев отчасти говорит ей, но это все отдельные лица, которых произведения подаются нам в журналах, как стакан на подносе, как нечто постороннее, а не сам журнал, как нечто цельное и само по себе важное.

В прежние дни журнал для интеллигентного человека был точно дружеский кружок, куда стоило пойти когда угодно, ибо там всегда будет уютно и будет беседа по душе.

Теперь журнал сделался гостиной, где бывает скучно или весело в зависимости от того, есть ли хороший «гвоздь», интересный гастролер или нет. Когда в этой гостиной устраивают званый вечер с итальянцами, гости проводят время очень интересно, но ведь это интерес итальянцев, а сама по себе гостиная с ее постоянным кружком остается, как была, чуждой нам по духу.

Почему же передовая журналистика стала чуждой по духу передовому поколению? Почему она больше не попадает ему в тон?

Потому, что тон поколения – сегодняшний, а тон журналистики – вчерашний.

Сорок лет тому назад открылась в России арена для гражданина. Понадобился гражданин. Задача воспитать гражданина упала на печать.

Печать доблестно исполнила это дело. Она сумела взяться за него именно так, как следовало.

Для *первых* шагов человека, в какой бы то ни было области, необходимо дать ему самую простую и прямолинейную схему поведения.

Так малому дитяти говорят:

– Слушайся няни.

Так впервые севшего на велосипед учат:

– Смотрите прямо перед собой и не снимайте рук с руля.

Но скоро приходит время, когда нет больше смысла ребенку слушаться няни, ибо он подрос, и эта схема послушания стала слишком узка для его расширившейся жизни; и точно так же скоро наступает день, когда велосипедисту смело можно и глядеть по сторонам, и снимать руки с руля без всякого риска, ибо он уже научился.

Упрощенные схемы нужны и понятны только при первых шагах, в самом начале воспитания. Зрелому человеку они не по плечу.

Журналистика честного старого времени дала своим воспитанникам упрощенную схему убеждений.

Она приучила их к строго размеренному, строго централизованному мировоззрению. Она внушила им то, что называется «выдержанностью направления», и для этой цели сама добросовестно ошлифовала себя в строго выдержанное направление.

Эта шлифовка принесла ущерб ширине личности, но ущерб далеко покрывается той пользой, которую шлифовка принесла как воспитательное средство.

Упрощенная схема «выдержанного направления» самой своей узостью облегчила первые шаги нарождавшегося гражданина. И если теперь гражданин уже вырос и образовался – мы тем обязаны этой схеме...

Но гражданин вырос и образовался, и упрощенная схема выдержанного направления больше не нужна.

Гражданин вырос. У него нет случая доказать это практически, но это видно по его идейной физиономии. Она говорит, конечно, еще не о полной зрелости, но, во всяком случае, о наступлении такого возраста, когда уже нельзя жить по разуму няни.

Нынешний интеллигент тяготится упрощенной схемой. Он позволяет себе уклоняться от «направления». Как опытный велосипедист,

он начинает отстаивать свое право глядеть не только прямо перед собой, но и по сторонам.

– Я хочу себе выбирать дорогу по своему вкусу, – говорит он. – Захочу – поеду вашей дорогой, захочу – сверну в проселок. Я ручаюсь, что не собьюсь и не попаду в болото. Я вырос, я имею право действовать по собственной воле под собственной ответственностью.

Поколение, стоящее теперь на поприще жизни, не может и не должно более шлифовать себя во славу ярлыка. Оно стремится к многострунной ширине личности, жаждет проникнуться всеми разнозвучащими нотами современности, отозваться на каждый звон, потрепетать в ответ каждому веянию – не заботясь о том, вписано ли сие в катехизис «направления» или нет.

Таково поколение. Но не такова журналистика.

В ноябре 1901 года в Петербурге праздновали юбилей г-на Скабичевского. На юбилейном обеде присутствовали разные хорошие передовые люди. Записался на этот обед и г-н Волынский. Но когда он явился в ресторан «Медведь», ему было распорядителями сказано:

– Для вас тут места нет и не может быть.

Ему пришлось уйти.

Что такое г-н Волынский? Реакционер? Нет, его практические убеждения вполне прогрессивны. Или продажный писака? Нет, его страстную убежденность признают и враги.

Но г-н Волынский мыслил и писал по-своему, отрицал позитивизм и без преклонения рассуждал о больших русских публицистах. И за это ему «не могло быть» места в ресторане «Медведь».

Этот глупый случай ребяческой мелочности не стоил бы внимания, если бы, к сожалению, не был слишком типичен для передовой журналистики. Эта журналистика до сих пор еще продолжает юбилейный обед г-на Скабичевского.

До сих пор старается она поддержать, насколько возможно, строгость «выдержанного направления», до сих пор щеголяет (хотя уже, конечно, не с прежним совершенством) тщательной шлифовкой мировоззрения, тесно подогнанного под ярлык. До сих пор противится она допущению несогласно мыслящего на свою трибуну, и человеку, заговорившему по-своему, стереотипно отвечает:

– Вы не подходите к нашему направлению, и мы не можем дать вам высказаться.

– Где же мне высказаться?

– Это нас не касается. Обратитесь в орган другого направления.

Но «других направлений» есть пять, шесть, десять – а куда же пойти человеку одиннадцатого направления, т. е. самого свежего и молодого? Некуда. У человека одиннадцатого направления нет трибуны. Ему благородно и корректно зажимают рот, как зажали рот этому самому г-ну Волынскому. Он писатель и честный, и даровитый, но с тех пор, как закрылся «Северный вестник», ему негде писать.

Он принужден молчать – и журналисты «выдержанного направления» думают, что это очень хорошо и что это с их стороны большая заслуга, а не большой грех.

Конечно, время все-таки берет свое и сквозь «выдержанность» изредка прорываются еретические страницы. И тогда читатель оживляется и на миг снова ощущает симпатический ток между своей душой и своим журналом. Но это – миг, это – исключение, это – гастролер, это – мимолетный интересный итальянец на званом вечере в неуютной чужой гостиной.

Не может такая журналистика попасть в тон многострунному поколению. Не любит она его и не умеет зацепить его душу. Из тех слов, которыми оно теперь интересуется, о которых оно думает и между собой говорит, почти ни одного не встречает оно в любимых и чутких когда-то журналах; если же и допускают туда залетом такое слово, то почти всегда с холодной брезгливостью, с непониманием, даже с насмешкой.

Необходима новая журналистика, в унисон новому поколению. Необходима такая журналистика, в которой находило бы отклик все многообразие наших настроений, наше «да» рядом с нашим «нет», ибо и в душе нашей они стоят рядом – наши сомнения, наши колебания, наши противоречия. Чтобы перед читателем рассыпался тысячецветный калейдоскоп несходных мнений и ответов, чтоб это кипение постоянно будило и дразнило его мысль к самостоятельной работе. Чтобы не усыпляла человека однообразная регламентация истины, а чтобы тут же, на страницах журнала, вечно кишащая сутолока разноголосых возгласов и порывов самим своим беспокойным разнообразием подмывала его шевелиться и жить.

Такая журналистика необходима, и потому она роковым образом, неотвратимо должна – сейчас или после – явиться.

И когда она явится, ее встретят тремя опасениями.

Скажут, во-первых:

– Если давать читателю калейдоскоп мнений, без «шлифовки», то ведь читатель может выбрать из них именно то, которое неверно, и пойти по неверной дороге.

Ужаснутся, во-вторых:

– Но ведь, преподнося читателю «калейдоскоп», где «да» будет поставлено рядом с «нет», мы приучим его противоречить себе на всяком шагу!

И, в-третьих, вознегодуют:

– Такая журналистика рискует обратиться в сбыт парадоксов!

Вдумаемся в каждое из этих возражений.

Читатель может выхватить неверное мнение и пойти по неверной дороге…

Старая песня. Кто знает, какая дорога верная, какая нет? Никто никогда не был прав. Величайшие мудрецы оставили нам величайшие книги, и по этим книгам последующие мудрецы доказывали, что авторы их неправы. Что же из того? Неужели поэтому их величие ложно, и мы должны их развенчать?

Не в том главное, чтобы быть «правым» и стоять «на верной» дороге, а в том, чтобы стремиться, кипеть, действовать. Действовать вправо или влево, это все равно – всякое действие пойдет в итоге на благо прогресса, – только *застой* не пойдет на благо прогресса.

Не заботьтесь же ревниво о том, чтобы все были «правы» и работали с вами и по-вашему – пусть работают против вас, пусть работают по-другому, – дорожите только тем, чтобы работали, а не гнили в бездействии.

Неразумно зазывать всех в свой лагерь, а чужие лагери предавать анафеме. Жизнь огромна – для работы над нею нужно сто лагерей…

А второе возражение? Боязнь «противоречий»?

Надоевшее, назойливое, узко-трусливое слово. Кого им не пугают? Какому великому мыслителю нельзя указать двух мест в его книге и воскликнуть:

– Здесь вы противоречите тому, что написали там.

Подойдите внимательно к народным пословицам. Ведь они – кристаллы стихийной мудрости, очистившиеся путем векового стихийного естественного подбора, и потому ничего не может быть мудрее, метче и вернее их. И тем не менее, нет пословицы, которой не противоречила бы другая пословица.

– Был дождик, будет и вёдро, – утешает одна пословица, а рядом другая пессимистически отзывается ей:

– Пришла беда – отворяй ворота…

– Смелость города берет! – бодро торжествует одна пословица, поощряя отвагу и дерзновение, но тут же другая наставительно возражает:

– Семь раз отмерь – один раз отрежь…

Неужели вы не понимаете, что в самой жизни лежат противоречия, что на разные сочетания действующих в ней сил и мысль наша должна откликаться разными, непохожими ответами?

Байрон говорит:

– Когда б вполне логичен был поэт,
Как ухитрился б он воспеть на лире
Весь тот сумбур, что существует в мире?

Нет такой идеи, хотя бы самой верной, самой святой, которая целиком покрывала бы все множество явлений освещаемого ею круга. Рано или поздно жизнь докажет, что она всегда шире одного афоризма, и потребует создания контр-афоризма. И добрые люди закричат:

– Караул! Противоречие!

Может быть, усидчивому человеку и удалось бы кропотливой работой так изложить идею, чтобы в ней были все оговорки, все условия, все «хотя», «но» и «все-таки». И тогда он закричал бы радостно:

– Вот идея, которая годится раз навсегда! Вот идея, которая не оставит надобности в противоречиях!

Но когда вы вглядитесь в эту идею, одаренную иммунитетом от противоречий, вы увидите, что схема ее такова:

– Смелость города берет… за исключением тех случаев, когда сему имеются препятствия.

То есть весь смак, весь блеск, все жизненно-двигательное значение идеи вытравила бы эта операция «предохранительной прививки противоречий».

Предохранительная прививка есть палка о двух концах. Спросите врачей. Если бы можно было привить человеку все болезни, он стал

бы, действительно, невосприимчив к болезням, но потерял бы и вообще всякую нормальную восприимчивость и превратился бы в ходячий истукан, бесполезный для жизни.

Наконец, третья великая опасность – парадокс.

Есть два рода парадоксов. Есть парадоксы машинного производства – прямо по рецепту, еще Тургеневым указанному: возьми общее место, переверни его наизнанку – и готово. Во фразе: миллионер богаче нищего – надо только переставить существительные, и перед нами парадокс машинного производства: нищий богаче миллионера. Остается только пришпилить более или менее остроумный хвост ловкой аргументации.

Такие парадоксы, нарочитые и искусственные, представляют, конечно, не что иное, как дешевый разврат пустопорожней мысли.

Но есть и другие парадоксы, вырывающиеся подчас из глубины человеческой искренности и подкрепленные верой и энтузиазмом. Такой парадокс – уже не разврат. С таким парадоксом надо считаться. Посчитаемся же с ним.

Ребенок просит няньку:

– Расскажи новую сказку.

И нянька рассказывает ему сказку, которую он слушает с глубоким вниманием. Эта сказка его захватывает и волнует. Но...

Но через неделю под эту самую сказку он уже будет засыпать, и няня, когда ей понадобится угомонить непоседу, сама начнет рассказывать ему ту же сказку, зная, что он под нее скорее уснет.

Всякая сказка, вначале захватывавшая и волновавшая, становится в конце концов усыпительным средством.

Благороднейшая, неопровержимейшая истина, при появлении своем всколыхнувшая удивленный мир, чрез несколько десятилетий превращается в пропись. И тогда, каково бы ни было ее содержание, повторять ее снова – значит говорить людям:

– Баю-баюшки-баю.

Этим – в скобках сказать – очень склонна заниматься нынешняя русская передовая журналистика, и нельзя не заметить, что такое монотонно-усыпительное хотя бы и ценных, но старых и всем известных истин представляет собою большой тормоз тому оживлению людей, которое в последнее время замечается вокруг. Потому что просыпающемуся особенно нужны свежие утренние звуки; если вы над ухом просыпающегося затянете привычную, сто раз петую песенку, вы рискуете убаюкать его снова и отдалить момент пробуждения...

И вот когда старая истина из средства возбуждающего к жизнедеятельности превращается в средство усыпительное, – тогда появление искреннего парадокса, ниспровергающего эту старую правду, можно только приветствовать.

Парадокс сам по себе не есть, конечно, истина. Но в то время как устарелая истина усыпляет, искренний парадокс невольно приковывает внимание, дразнит, будит, шевелит, вызывает на самостоятельную работу мысли. И для этой роли будильника ему необходимо нужна его резкая, крайняя форма. Ему необходимо быть громким, ярким, острым, чтобы насильно привлечь даже ленивые умы, насильно

подвигнуть их на самостоятельную критику устарелого миросозерцания, насильно поставить их на дорогу, которая приведет их уже не к парадоксу, а к настоящей новой истине.

Старая правда кончает застоем; парадокс будит от застоя; пробуждение приводит к новой правде. Это роль парадокса. Он не есть истина, но в свои моменты он важнее и полезнее истины.

Вспомните Боккаччо. Его «Декамерон» – резкий и крайний парадокс. Смысл этой книги:

– Да здравствует веселый грех!

И во славу этого девиза Боккаччо нередко возвышается до какого-то апофеоза распутства. Неужели же он «прав»? Неужели нравственная чистота есть предрассудок, ни на чем не основанный, а не требование, вытекающее из самых фундаментов природы?

Нет, Боккаччо не «прав»; его парадокс – не истина; истина – в нравственной чистоте. Но эта нравственная чистота к тому времени выродилась в одностороннюю догму умерщвления плоти и греховности всякого живого наслаждения, выродилась в орудие и лицемерный девиз всех тогдашних гасителей света. И Бокаччо, вступая с ними в борьбу, должен был, прежде всего, подорвать уважение к *их* истине – и для этого ему необходимо пришлось прибегнуть к парадоксу, к этой яркой форме антитезиса, и провозгласить evviva веселому разврату.

Парадокс Боккаччо не был истиной, но в свой момент он оказался полезнее истины, которая устарела, выродилась и тормозила…

Нечего бояться парадоксов, нечего бояться противоречий и разномыслия; только застой опасен, всякая же *искренняя* работа принесет в конце концов плоды благие.

Искренность – вот единственный критерий для новой журналистики, единственный мыслимый в наше время паспорт для идеи. Помимо требования искренности, никакая регламентация, никакая шлифовка под «направление», никакое «равнение направо» не должно будет применяться к талантливой мысли.

Только в одном отношении такое «равнение» не может не быть желательно: в практическом, то есть лишь постольку, поскольку орган печати является выразителем практических стремлений – не «кораном», а «поваренной книгой».

Да, но есть ли необходимость хлопотать и беспокоиться об этом? Вспомните, что вся лихорадочная смена «веяний» последних лет прошумела резкими разногласиями только в теоретических сферах, но в практическом отношении не принесла ни одного неокрепостника, ни одного апологета намордников. Старые еще живы и здоровы, но новые не нарождаются. Ибо, очевидно, почва уже их не родит – эта почва, на три сажени в глубину под ними успевшая пропитаться жаждой прогресса.

Будем ждать без опасений прихода этой новой журналистики. Она сделает соседями позитивиста и кантианца, реалиста и декадента, неомистика и позитивиста, но плодотворное теоретическое разномыслие не помешает им быть стойкими и единодушными ратоборцами прогресса.

АПОКРИФ[7]

Тогда пришел к апостолу молодой человек и сказал:

– Побори, о господин, сомнение мое.

И сказал апостол:

– Говори.

И сказал юноша:

– Вот, в законе Синая повелено о чужеродцах: не будьте, как они.

А Учитель наш преподал: нет эллина и нет иудея.

И возроптало во мне сомнение мое; ибо, если одно, то не другое, и если второе, то не первое.

Как же сказал Учитель наш, говоря: Я пришел не уничтожить закон, а исполнить?

И сказал апостол ученику:

– Вижу меч на перевязи бедра твоего.

И был ответ юноши:

– Так, отец мой из римских граждан, и я сын его и жены его, госпожи.

И было к нему слово апостола:

– Простри меч твой.

И повиновался спешно и, извлекши, простер.

И сказал апостол:

– Что видишь?

И сказал ученик:

– Вижу острие от меня и рукоять в пальцах моих ко мне.

И повелел ему апостол обратить, и сказал:

– Теперь что видишь?

И ответил:

– Вижу рукоять от меня, а острие в руке моей ко мне.

И сказал апостол:

– Подобен ты, вопрошающий, нелепому, который подумал бы в сердце своем: вот, была к нему рукоять меча, а ныне к нему острие; не другой ли меч?

Изложу тебе притчу о Мире и Мирре. Был человек в земле мидийской, и две жены его. И умастила тело свое шафраном Мира, жена его, и сказала Мирре, жене его, говоря: чем умастишь тело свое? Не шафраном ли? И сказала Мирра: не шафраном, а тмином тело мое умащу для возлюбленного супруга нашего, господина.

И возгорелся гнев Миры на Мирру; и, преклонясь, коварно спросила человека того:

– Любишь ли некую больше из рабынь твоих?

И ответил супруг: не велел того бог; и равны для меня Мира и Мирра.

И, возликовав, сказала женщина: повели же непокорной омыть масти тминные и принять масти шафранные, ибо равны должны быть пред тобою Мира и Мирра.

И сказал, опечалясь, господин: лукаво сердце женщины в персях ее.

Тмин ли лучше шафрана? Шафран ли благовоннее?

---

[7] «Одесские новости»; 6.04.1903.

Благоуханию шафрана говорит душа моя: люблю и жажду, и благоуханию тмина говорит: жажду и люблю.

Да сохранит Мирра, жена моя, масти тминные; а ты умащай, Мира, жена моя, тело твое мастями шафранными, ибо равны в глазах моих Мира и Мирра.

Воистину сказал Господь на горе Синайской: чужеродцы вокруг тебя; и не будь, как они.

Да пребудет чужеродец, как отцы и деды его; и ты, народ мой Израиль, сохрани предания твои…

Ибо рад отец сыну резвому за резвость его и сыну тихому за кротость его.

Тебя ли предпочту чужеродцу? Чужеродца ли возлюблю паче тебя, народ мой, проповедавший величие Мое, и скажу ли: да станет подобен Амалеку?

Истинно говорю тебе: не будь как они; и им не быть как ты, ибо равны предо мною все народы.

Се постигай, о юноша римский, слова Христа, Сына Божия: эллин навек эллином, вечно иудеем иудей – ибо нет эллина и нет иудея предо Мною.

ТОСКА О ПАТРИОТИЗМЕ[8]

Пожалейте меня, ибо я не люблю.

Л. Стеккетти

Лишь тогда хорошо кипит у человека работа на пользу страны или народа, когда он горячо любит эту страну или народ. Честные люди все служат общим, вселенским идеям; но каждый хочет служить им в своей любимой среде – ковать железо на потребу широкому миру, но ковать его у себя в кузне, где легче и уютнее работать, потому что каждый уголок дорог и близок; и он прав, ибо крепче и легче работается, когда знаешь, что плодами работы воспользуются твои любимые, а не те, к кому ты равнодушен.

Патриотизм удесятеряет силу идейной работы, придает ей теплоту и увлечение. Но у нас, интеллигентных евреев, нет патриотизма, нет полной и цельной любви к нашему народу; оттого так часто наша идейная работа лишена теплоты и увлечения и отравлена изнутри болезненным разладом.

Почти нет интеллигентного человека на земле, который в настоящее время не томился бы жаждой дела. Все мечтают об увлекательной работе. Хандра, тоскливые чеховские настроения, заполнившие жизнь – все это зуд энергии, которая рвется из нас и жаждет применения. Десятилетия бездействия проползли; наступает хорошая пора, когда понадобятся рабочие руки; эту близкую пору предчувствуют все, и говорят себе: скоро найдется для нас дело по сердцу! Но мы, интеллигенты-евреи, на пороге наступающего десятилетия работы стоим не в трепете радости, а в мучительном колебании. И в нас есть энергия, и

[8] «Южные записки»; 16. 05. 1903.

рвется наружу, и нам страстно хочется работать. Но мы не знаем, для кого нам работать.

Отдать свои силы на благо той земли, где мы живем, и этим удовлетвориться? Так поступают из нас многие, потому что все мы, поистине, сознавая или не сознавая, нежной любовью любим эту страну – любим, несмотря ни на что, народ, в ней живущий, и язык, на котором он говорит. Но ведь эта любовь – неразделенная, и потому горько обидная самолюбию. Ведь это – навязывание своей дружбы тем, кто не просит о ней, страстные признания перед красавицей, которая равнодушна. Эта земля сама богата духовными силами, наших услуг она не просит; и когда мы сами во что бы то ни стало хотим служить ей, то на нас невольно смотрят с холодным удивлением, пожимая плечами, и говорят:

– Для чего эти люди заботятся о нас? Странная охота – быть непременно ходатаями по чужим делам.

Добрые люди будут вас утешать и скажут:

– Погодите, вот придет время, когда люди поумнеют и поймут, что не то важно, есть ли у человека родина, а то важно, есть ли у него совесть, и перестанут коситься на человека без родины; ибо уразумеют, что всюду можно быть полезным гражданином, и потому родина так же мало нужна человеку, как та бесполезная тень, которую вы от себя бросаете по земле. Есть эта тень, или нет ее, – не все ли равно?

Покачайте тогда печально головою и скажите в ответ:

– Нет, не все равно. Есть уже у немецкого поэта Шамиссо такая сказка о тени – о бесполезной тени Петера Шлемиля. Там говорится о том, как Петер Шлемиль продал дьяволу свою тень, свою бесполезную тень и ничего более, и как после того Петеру Шлемилю не стало житья на земле, потому что люди кричали ему:

– Где тень твоя, Шлемиль?

Петер Шлемиль кочевал из города в город и всюду делал добро; но люди не смотрели на его добро, а смотрели ему под ноги, которые не отбрасывали тени, и кричали:

– Где твоя тень Шлемиль?

– На что вам моя тень? – умолял их Петер Шлемиль. – Ведь она никому не нужна, ни мне, ни вам; никто не пришел бы укрыться в моей тени от палящего солнца. Что же вам до моей тени? Зачем вы требуете моей тени?

Но люди не слушали и кричали:

– Где твоя тень, Шлемиль?

И не было Петеру Шлемилю покоя и мира на земле.

Если даже придет время, когда своя родина станет бесполезнее тени, то все же людям, у которых есть родина, непреодолимо будет колоть глаза человек без родины, и во всех взглядах он прочтет молчаливую насмешку.

– Где тень твоя, Шлемиль?

Я прочел однажды у философа Канта, что не прощается человеку неполнота. Если не достает ему чего-нибудь такого, что есть у всех, то невольно этот пробел будет болезненно привлекать взоры людей и раздражать их. Такова человеческая природа, не терпящая диссонансов в общей гармонии...

Время не поможет. Сотни лет пробегут, и если новые века снова застанут нас среди чужого поля, то снова предстанем мы им, как навязывающие нашу дружбу тем, кто не просит о ней, и снова на нашу пламенную, любовью проникнутую службу чужой родине люди посмотрят с холодным изумлением, пожимая плечами, и повторят, как теперь:

– Странная охота – быть непременно ходатаями по чужим делам...

Больно писать о том, насколько все это унизительно; и жалко того, кто не чувствует, как оно унизительно. Лучше не жить вовсе, чем жить без *самолюбия и гордости*. Но и тому из нас, кто не пожелал унижения и решил отдать свои силы на благо нашей еврейской народности, – и тому нет полного удовлетворения, и тот не может с полным увлечением броситься в работу. Потому что полное увлечение дается только патриоту: но мы, интеллигенты-евреи, и народности нашей не любим полною любовью патриота: и в этом наш горший позор и горшая мука.

Если бы мы совсем не любили еврейства, и нам было бы все равно, есть оно или погибло, уж это было бы лучше. Мы не томились бы таким разладом, как теперь, когда мы наполовину любим свою народность, а наполовину гнушаемся; и отвращение отравляет любовь, а любовь не позволяет совести примириться с отвращением. В еврействе есть дурные стороны; но мы, интеллигенты-евреи, страдаем отвращением не к дурному, и не за то, что оно дурно, а к еврейскому, и за то, что оно именно еврейское. Все особенности нашей расы, этически и эстетически безразличные, т. е. ни хорошие, ни дурные, – нам противны, потому что они напоминают нам о нашем еврействе. Арабское имя Азраил кажется нам очень звучным и поэтическим; но тот из нас, кого зовут Израиль, всегда недоволен своим некрасивым именем. Мы охотно примиримся с испанцем, которого зовут Хаймэ, но морщимся, произнося имя Хаим. Одна и та же жестикуляция – у итальянца нас пленяет, у еврея раздражает. Певучесть еврейского акцента некрасива, но южные немцы и швейцарцы тоже неприятно припевают в разговоре; однако против их певучести мы ничего не имеем, тогда как у еврея она кажется нам невыносимо вульгарной. Каждый из нас будет немного польщен, если ему скажут: вы, очевидно, привыкли говорить дома по-английски, потому что у вас и русская речь звучит несколько на английский лад. Но пусть ему намекнут только, что в его речи слышится еврейский оттенок, и он изо всех сил запротестует. Кто из нас упустит случай «похвастать»: «я только понимаю еврейский жаргон, но совсем не умею на нем говорить...»

Все еврейское нам, евреям-интеллигентам, неприятно и в мелочах, и в крупном; наши журналисты, выводя пламенные строки в защиту нашего племени, тщательно пишут о евреях «они» и ни за что не напишут «мы»; наши ораторы, в то самое мгновение, когда говорят о любви к своему народу и к его расовой индивидуальности, усердно следят за собою, чтобы эта расовая индивидуальность не проскочила как-нибудь у них в акценте, жестах или в оборотах речи. До чего это мучительно, знает тот, кто испытал; то есть знаем мы все.

И ведь вместе с тем мы любим нашу народность. Ведь мы умеем замирать от восторга перед ее историей, умеем ценить несокрушимую силу духа, которая в ней; мы горды, когда вспоминаем, сколько семян

разума разбросали мы по всем нивам мира, так что нет народа, который не был бы нам обязан долей своей культуры; и ведь мы же, наконец, любим сам наш народ, самих этих изможденных людей, с круглыми глазами; мы *на днях только*, в момент невыносимой скорби, поняли, как мы любим их и как мы с ними близки.

Любим – и гнушаемся. У Гейне есть в одном стихотворении рыцарь, который страстно любит бесчестную женщину. Он должен презирать ту, которая дорога его сердцу; он должен стыдиться, как позора, собственной любви. Он мог бы явиться на турнир и вызвать рыцарей на арену: пусть выходит на бой, кто осмелится в чем-либо упрекнуть мою даму! И тогда все бы промолчали, – но не промолчало бы его собственное страдание, и ему пришлось бы направить копье против собственного сердца... Этот рыцарь похож на нас, интеллигентных евреев; но нам еще хуже, потому что он, по крайней мере, презирал ту, которую любил за ее пороки; мы же, любя, презираем нашу народность не за пороки, а за ее несчастие. Вдумайтесь: это ужас, которого нет ужаснее.

Все, что осталось живого теперь в интеллигентном еврее, вся жажда кипучей, увлекательной работы, пробужденной в нем рассветом двадцатого века, все бунтует против этого разлада, против этого нелепого, неестественного сплава любви и отвращения; и тоска современного интеллигента-еврея есть тоска о патриотизме. Он готов работать; но он хочет беззаветно любить, а не гнушаться тех, для кого будет работать, ему страстно хочется вырвать вон, затоптать ногами это бессмысленное рабское отвращение. Нам нужно, несказанно мучительно нужно стать *патриотами нашей народности*, патриотами, чтоб любить за достоинства, корить за недостатки, но не гнушаться, не морщить носа как городской холоп – выходец из деревни – при виде мужицкой родни...

Да, холоп. Это чувство холопское. Мы, интеллигенты-евреи, хлебнув барской культуры, впитали в себя заодно и барскую антипатию к тому, чем мы сами недавно были. Как рабы, которых плантатор вчера стегал плетью, а сегодня произвел в надсмотрщики, мы с радостью и польщенным самолюбием взяли в руки эту самую плеть и с увлечением изощряемся. Гнусно-мелочный антисемитизм, которым без исключения все мы, интеллигенты-евреи, мучительно заражены, эта гнилая духовная проказа, отравляющая все наши порывы к страстной патриотической работе, – это есть свойство холопа, болезнь нахлебника; и тогда только бесследно пропадет она, когда мы перестанем быть холопами и нахлебниками чужого дома, а будем хозяевами под нашею кровлей, господами нашей земли.

Мир закис в мещанской инертности. Интеллигенты всех стран и народов в один голос молят у неба одной благодати: дела, применения для энергии, рвущейся наружу. Это есть тоска по работе. Она стала для всех теперь лозунгом. Только для интеллигента-еврея тот же лозунг звучит иначе: тоска о патриотизме. Но нахлебник не может быть патриотом: нужна родина. Оттого наша тоска о патриотизме так мощно превратилась ныне в тоску по родине.

Говорят, что это мечта, которая не сбудется. Робкие, близорукие люди, вскормленыши мещанства, которым не дано понимать, что самая смелая фантазия есть только слабое предчувствие завтрашнего

факта. Если бы люди не мечтали, они не достигали бы; мечта, подобно Авроре, всегда предшествовала восходу солнца, настоящего, пламенного, животворящего солнца. И у нас, народа, который после колоссальнейшего из исторических путей в последний раз стоит теперь над пропастью; которому завтра, если не найдется убежища, грозит вырождение, послезавтра – исчезновение с лица земли и который уже сегодня начинает гнушаться самим собою и себя оплевывать, – у нас нет третьего выбора: или мечта... или ничто.

ВСКОЛЬЗЬ[9]

Когда была чума в Одессе, несколько крыс из Александрии тайком высадились на Карантинный мол, потом пробрались в город и поселились в доме Жуся.

Тогда, как известно, лафа была крысам в Одессе.

Им даром разбрасывали по норам хлебный мякиш: они ели с аппетитом и даже, говорят, полнели.

На таких хлебах александрийским крысам жилось в доме Жуся очень хорошо.

Туземцы, одесские пасюки, сначала косились на пришельцев.

Но потом, увидев, что александрийские крысы живут благородно, а дарового мякиша на всех хватает с избытком, порешили:

– Пусть живут в доме Жуся.

Время шло. Пришельцы ели хлебный мякиш, полнели, устраивали браки и размножались. И размножились до того, что стало им тесно в доме Жуся. Тогда начали они семействами переходить на Толчок и занимать там свободные норы.

Тут всполошились одесские пасюки.

– Если этак пойдет дело дальше, – говорили они, – то александрийские крысы захватят все норы в городе.

И объявили александрийским крысам, чтобы жили смирно в доме Жуся и не смели приобретать норы вне дома Жуся.

Тогда огорчились александрийские крысы.

Но была из них одна, старая и мудрая; та не огорчилась, а усмехнулась.

– Глупые вы крысы! – сказала она, – вы ни своей выгоды не понимаете, ни чужой не цените. Разве одесские норы существуют для александрийских крыс? Одесские норы существуют для одесских пасюков. А если александрийской крысе нужна нора, то пусть выбирает сама: или в доме Жуся, или в Александрии.

Я же, крыса старая и бывалая, нахожу, что в доме Жуся тесно и неудобно. Поэтому, если у кого есть средства завести себе нору, пусть заведет ее в Александрии. Ибо довольно мы тут гастролировали. Пора домой; из Александрии мы приехали и в Александрию должны вернуться.

Александрийские крысы послушались и уехали в Александрию.

Иногда крысы бывают умнее людей.

---

[9] «Одесские новости»; 7.06.1903.

KADIMÀH[10]

Я знаю три возражения против сионизма. Первое ходит под ярлыком научности и гласит:

– До сих пор государства создавались естественным путем, а искусственным путем не возникло еще ни одно государство до сего дня.

Я считаю это возражение безусловно несерьезным и отвечаю на него, обыкновенно, тоже не серьезно:

– Есть многое на свете, друг Горацио, что не снилось нашим мудрецам; и цыплята прежде создавались только естественным путем, но это не помешало человеку в один прекрасный день вывести цыпленка искусственно...

Другое возражение гласит:

– Осуществимо ли это?

Я считаю это возражение серьезным и отвечаю на него тоже серьезно:

– Кто не надеется, тот умирает; но только тот имеет право сказать «невозможно», кто уже пытался. Я же верю твердо и незыблемо в изречение, которое записано в старых книгах нашего народа: «Если тебе скажут: я старался, но не достиг цели, – то не верь». Ибо нельзя не достигнуть цели тому, кто старался и напрягал усилия, кто боролся и добивался. Я напрягаю усилия, я борюсь и добиваюсь, и верю в победу, потому что не верю в бесплодность энергии.

Третье возражение гласит:

– Ваше движение зовет людей назад, к фанатизму, к человеконенавистничеству, к вражде племен.

Это возражение я считаю озлобленным, и на него обыкновенно не отвечаю, а умолкаю и скорбно гляжу на того, кто, мне бросил эту неправду, и дивлюсь, опечаленный, его озлоблению.

Странное озлобление. Можно относиться недоверчиво к тому, что находишь несбыточным; но негодование против чужого идеала понятно только тогда, когда этот чужой идеал есть идеал насилия, порабощения, надругательства. Между тем, какова бы ни была судьба сионизма в будущем, он несет во всяком случае благородный идеал эмансипации. Откуда же это озлобление, эта ярость, и не со стороны чужих или реакционеров; а со стороны братьев по крови и людей, кичащихся передовым образом мыслей?

Есть одно только объяснение этой странной ярости. Перечитайте у Щедрина в «Господах Головлевых» то место, где племянницы Иудушки от «веселой жизни» решают покончить с собою. Младшая выпила яд. Но старшая в последнюю минуту отказалась: инстинкт жизни победил в ней отчаяние. И тогда младшая пришла в страшное бешенство. Вся обида за удары жизни вдруг превратилась в ненависть против этой старшей сестры, которая осмелилась остаться, когда она, младшая, уже бросила борьбу, сдалась и канула на дно...

Здесь мы видим то же: младший брат не выдержал борьбы, махнул рукою на все и выпил яд национальной смерти. И вот теперь, когда он

[10] «Южные записки» № 19; 07.06.1903.

видит, что старший брат еще не сдался, что он еще хочет и смеет жить, вся горечь, накипевшая в самоубийце за годы страданий, выливается в бешенство против упрямца-старшего. Судорожный, животный эгоизм утопающего, который обхватил руками шею пловца и душит его, словно затем, чтобы и его увлечь за собою – на дно...

Больше нечем оправдать всю страстность этих неправедных нападок; потому что с нашей стороны мы ничем их не заслужили, и всегда были и сознавали себя честными друзьями прогресса, свободы духа и братства; и с того момента, как возникло наше движение в просвещенной среде, стало девизом его слово *Kadimàh*, прекрасное и глубокое слово, которое значит «к востоку» и в то же время «вперед»...

Как создалось это слово с его обоюдным значением?

Психологический процесс возникновения этой омонимии был, вероятно, таков: все живущее тянется к свету; отсюда священное значение востока, где свет родится; оттого к востоку обращены лица молящихся, на восток глядят во храмах алтари; сознание мало по малу свыкается с тем, что во все религиозно-торжественные моменты жизни человека перед ним восток, и создается представление, что восток всегда впереди; и два эти понятия мало-помалу уживаются в одном и том же слове *Kadimàh*, и получается прекрасный, глубокий термин, словно созданный нарочно для символа и девиза.

И в самом деле, это слово должно стать истинным *девизом сионизма*. Разве для нас не слиты неразрывно оба понятия: «на восток» – лозунг исхода, и «вперед» – лозунг прогресса? Мы для того хотим уйти на восток, чтобы там свободно двинуться вперед, наравне с другими народами, – может быть, впереди других; вне востока для нас нет и прогресса, вне востока нас ожидает разложение и национальная смерть; «восток» и «вперед» – это для нас одно и то же, одно без другого неосуществимо, и в нашем стремлении оба понятия сплавлены так же плотно, как они слиты в слове *Kadimàh*.

Но у нас оспаривают право на этот девиз. Нам говорят:

– Ваше движение не возникло ни из какого положительного стремления. Оно вызвано антисемитизмом: так как евреям тяжело в диаспоре, вы хотите увести их в Палестину. Значит, все это затеяно совсем не ради того, чтобы создать новое гнездо культуры. Ваша цепь отрицательная, а не положительная: бегство, а не стремление. Вам нужно прежде всего убежище, богадельня, крепость, где бы вас укрыли от злобы, а не фабрика для производства новых ценностей. Вами движет сострадание, а не порыв творческих сил. Изберите же для себя какой угодно девиз: «жалость», «заступничество» – но только не слово «вперед». Бегство никогда не было движением вперед.

Что ж, это верно. Бегство никогда не было движением вперед. Бегство есть движение назад. Бегство есть последняя уступка. Кто бежит, тот уже сдался. Кто бежит, тот уже тем самым говорит: я отказываюсь от борьбы. Я больше не отстаиваю того, что я взялся отстоять. Я уступаю вам то, что я хотел считать моей собственностью.

Бегство есть движение назад и ничем иным быть не может, потому что в нем заключена уступка именно того принципа, за который велась

борьба. Это главное. Без элемента уступки нет и бегства. Если я ошибся дверью и попал в чужую квартиру, то, заметив ошибку, я извиняюсь и ухожу; но это не есть бегство, потому что у меня не было намерения овладеть этой чужою квартирой. Но если бы я нарочно ворвался в нее затем, чтобы овладеть ею, и был бы вынужден отказаться от этой цели и уйти, – тогда мой уход был бы настоящим бегством; ибо тот беглец, кто, уступая перед силой, отказывается от принципа, за который он ратовал.

Но евреи не затем пришли в земли диаспоры, чтобы овладеть ими или утвердиться в них. Мы даже не пришли – нас в эти земли втиснули. Девятнадцать веков нашей истории повествуют не о том, что мы делали, а о том, что с нами делали другие. Другие втиснули нас в Испанию, из Испании вытеснили и втиснули на восток Европы; мы шли, куда нас толкали, и останавливались, когда прекращалась инерция толчка. Одни остановились в Голландии, другие только в Румынии; но ни те, ни другие не пришли туда нарочно с целью захвата или оседлости. Падая от усталости на румынскую почву, они не говорили себе: здесь я хочу и буду жить! Они говорили: дальше я не в силах идти; останусь здесь – может быть, здесь меня не станут так мучить, как в земле Сефарад...

Мы пришли в страны диаспоры, не имея цели утвердиться. В нашем передвижении тогда вообще не было цели, была только *причина*.

И теперь мы видим, что ошиблись дверью и не туда попали, где наше место, и хотим уйти. Это не бегство, потому что никакой цели, придя в эти земли, мы с собою не принесли, и ни от какой цели теперь не должны отказаться.

Впрочем, нет. Одну цепь мы принесли с собою: сохранение нашей национальности, которая тогда для нас символизировалась в религии. Испания предлагала нам равноправие за вероотступничество; но мы предпочли пытки и изгнание. Значит, исходя из Испании, мы хотели остаться евреями. Это была наша единственная цель. Эту единую цель мы пронесли сквозь огонь и воду нашей долгой истории. И от этой цели мы не отказываемся: мы верны ей сегодня больше, чем когда-либо: мы для того и хотим уйти навсегда из чужих городов, чтобы остаться евреями!

Мы не сдались и не уступили в том, что есть и было целью нашей исторической борьбы; поэтому наш поход будет не бегством, а триумфом. Но беглецами назовутся те, которые уступили и сдались, те, которые не вынесли стеснений и перестали быть евреями; проповедь отречения, призывы к отступничеству, приглашения смириться духом и стать немцами или французами, раз оставаться евреями трудно – вот что воистину заклеймится именем малодушия и бегства.

И вот мы дошли до главного пункта – до отступничества. Бегство – это отступничество. *И если бы нам нужно было только бегство, то мы проповедовали бы не сионизм, а отступничество.*

Массы под влиянием нынешнего воздействия всегда направляются по пути наименьшего сопротивления. Антисемитизм представляет сильное внешнее давление: но, чтобы спастись от него, нет нужды колонизировать Палестину. Есть путь гораздо менее сложный – путь отступничества. Для бегства – это и есть путь наименьшего сопротивления. Перемените веру, и вы сегодня же приобретете все права перед законом, а завтра или послезавтра при помощи смешанных браков бу-

дете признаны за своих и обществом. Если для этого слияния и понадобится время, то, во всяком случае, оно дастся вам легче, нежели выкуп заброшенной земли и создание новой родины на развалинах…

Антисемитизм *не мог* породить сионизма. Антисемитизм мог породить только стремление бежать от гонений по пути наименьшего сопротивления – то есть отступничество. Но для того, чтобы вместо проповеди отступничества зазвучал призыв к национальному самосознанию и возрождению, нужно было нечто помимо антисемитизма, нужен был внутренний стимул, внутренний и положительный императив. Этот императив заключается в животворящем инстинкте национального самосохранения, который дал нам силу пройти сквозь строй истории.

Араб заснул под кустом. На заре его укусила блоха. От укуса он проснулся, увидел зарю и сказал:

– Спасибо этой блохе. Она меня разбудила; теперь я совершу омовение и возьмусь за работу.

Но когда он стал совершать омовение, блоха укусила его вторично. Тогда араб ее поймал и задушил, сказав:

– Видно, ты возгордилась тем, что я похвалил тебя; и действительно, ты помогла мне проснуться: но не твоим понуканием буду я молиться и работать…

Вот роль антисемитизма в сионистском движении. Мы не отрицаем, что он помог нам проснуться. Но и только. Если же, проснувшись, мы выпрямились, умылись свежей водою и взялись за работу, то не ради жалкого насекомого, которое нас разбудило, а ради того инстинкта жизни, который в нас заложен.

Если бы мы хотели бегства, мы призывали бы к отступничеству; если бы нам нужна была богадельня, мы призывали бы к отступничеству, потому что отступничество легче и скорее всего спасло бы наши шкуры. Но не мы, а наши противники проповедуют этот легкий путь отречения; мы, сионисты, отвергаем капитуляцию и зовем к нелегкой *работе созидания*. Мы зовем еврейскую народность к *историческому творчеству*. Указуя на восток, мы не говорим народу: бегите, спрячьтесь от гонений в эту нору; мы указуем на восток и провозглашаем «вперед»: *Kadimàh*!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «ОСВОБОЖДЕНИЯ»[11] ОТ ОДНОГО ЕВРЕЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Многоуважаемый г-н редактор!

Полагаясь на Вашу лояльность и беспристрастие, я присылаю Вам следующие замечания по поводу передовой статьи в № 22 «Освобождения» в надежде, что Вы им дадите место в Вашем почтенном органе.

Я не стану здесь еще раз указывать на довольно обидные для моего народа обвинения в разных «малопривлекательных свойствах», в «рабьей покорности» и в том, что «еврейство в своих наиболее культурных и обеспеченных элементах трусливо», хотя, с другой стороны, эта трусость для них «извинительна»…

[11] «Освобождение» № 4 (28). Предположительно – июль 1903.

Мы, евреи, уже давно привыкли, чтобы от нас требовали невозможного, прямо-таки сверхчеловеческого. Но странно в данном случае то, что это парадоксальное требование предъявляют к нам не только наши враги, но и самые крайние, наиболее свободные от предрассудков партии. Если вдуматься, и это имеет свои причины. Более того, я глубоко уверен, что это будет продолжаться до тех пор, пока еврейство будет пребывать в том ненормальном положении, которое исторически обусловлено его бездомностью и горькой необходимостью везде и повсюду представлять разрозненное меньшинство. Наша о б щ а я сравнительно высокая культурность и идеальность всякий раз забываются, и чудовищные требования опять выставляются нам, как только какой-нибудь нежелательный, несовершенный тип бросится той или другой партии в глаза. Это неестественное явление вытекает из того, что нас берут не как н е ч т о ц е л о е, не как народ, с присущими ему достоинствами и слабостями, а как ряд отдельных личностей, случайно связанных каким-то фантастическим религиозным единством – единством, которого в действительности нет и в которое никто не верит.

Такое отношение со стороны самых просвещенных и свободомыслящих людей Европы нам хорошо известно, и мы это можем проследить у целой плеяды выдающихся философов, поэтов и общественных деятелей, от Лессинга до проф. Паульсена[12] включительно; каждый из них имел свою кучку «Schutzjuden»[13], которых они выделяли из всей остальной «темной», «фанатичной», «трусливой» массы еврейства. Разумеется, не каждому еврею выпадало на долю попасть в число этих «избранников», но, если собрать всех этих отдельных избранников воедино, получится довольно внушительное число «замечательных деятелей» не только на поприще «революции», но и на разных других поприщах; не только р у с с к о й революции, но и многих других стран Европы и Америки, не говоря уже об «авангарде», который е в р е й с к и й п р о л е т а р и а т образует в русском рабочем движении.

Но всего этого мало. Еврейство еще слишком «покорно», «слишком мало революционно». Но был ли когда-нибудь такой народ, который бы «без различия профессий и классов», особенно же «в своем среднем культурном зажиточном слое», был бы более революционен, который бы п о г о л о в н о вел «энергичную борьбу за право»? И если этого нигде нет и быть не может, почему же это требуется от нас? Разве мы ангелы, что от нас требуют непогрешимости, что нас оценивают не по нашим верхам, а по низам? Почему только по отношению к нам никому не приходит в голову характеризовать весь народ по его «замечательным людям» и ставить их заслуги в счет всему еврейству как н а ц и и, что обыкновенно делается по отношению ко всякому другому народу, когда дело идет о его правильной оценке?

Такое общее отношение, регулярно повторяющееся из поколения в поколение, нам стало невтерпеж. Мы утомились, наконец, от нечеловеческих усилий стать во что бы то ни стало совершенством... Мы спохватились, что это невозможно, недостижимо... И нам захотелось

[12] См. его «System der Etnik», 6. Aufl., 2. Bd., глава «Zur Judenfrage».
[13] Евреи, которых берут под защиту (*нем.*).

иметь право быть несовершенными, т. е. стать равноправным членом о общечеловеческой семье народов.

Исходя из правильной оценки подобных явлений и более глубокого понимания исторических причин, вызывающих их, известная часть еврейского народа (бо́льшей частью интеллигенция и масса) подняла знамя национально-политического объединения для радикального решения еврейского вопроса.

Если часть прогрессивного еврейского мира упорно отказывается признать за сионизмом право на существование, это можно приписать влиянию известной части еврейской интеллигенции, которая до сих пор задавала у нас тон. Она не в мало степени несет вину за те ложные представления о еврейском народе, которые теперь стали ходячими мнениями и защищаются самыми лучшими людьми христианского мира. Когда французская революция пробила брешь в цельности еврейского гетто, просветительные идеи подняли брожение в нарождающейся еврейской интеллигенции, вызвав сильный протест против устарелых средневековых форм еврейской жизни. Но то, что у других народов обыкновенно ведет не только к беспощадной ломке всего старого, но и к созиданию новых форм народной жизни, приняло у нас, опять-таки благодаря нашему исключительному положению, особенно уродливые формы. Яркая заря новой жизни, которая вместе с просветительными идеями проникла в еврейское гетто, ослепила наших лучших людей и помешала им в первом порыве всеобщего опьянения разобраться в окружающей их действительности. Вместо того, чтобы ходить в народ, пробуждать его к новой национальной жизни, как это делалось и делается везде, они начали один за другим уходить от народа, оставляя его на произвол судьбы. Оторванная от всякой почвы и подхваченная тем временным рационалистическим течением, которое увлекло тогда весь европейский мир, еврейская интеллигенция стала находить успокоение в разных догмах и рационалистических построениях. Желая с помощью абстрактных доктрин решить и вопрос своего народа, она не придумала ничего лучшего, как отрицать вообще его существование. Факты, которые этому противоречили, мало смущали ее. Она была уверена, что стоит решить, чтобы евреи исчезли, стоит только внушить это решение всему народу, чтобы эта мечта стала действительностью. Но жизнь пошла своим чередом. Она отомстила за игнорирование ее. Еврейская интеллигенция до сих пор не может исполнить данного ею обещания вполне ассимилироваться и возможно скорее исчезнуть, обещания, ценой которого она стремилась добиться эмансипации и свободы…

Мудрено ли, что и прогрессивная часть европейского общества, к которой взывала еврейская интеллигенция в своей борьбе за такую, в сущности, чисто формальную эмансипацию, раз и навсегда успокоилась на подобном «решении» еврейского вопроса? Это абстрагирование от нашей национальности, которое еще недавно считалось актом гуманности и великодушия со стороны лучших представителей Европы, обращается при современных условиях для сознательной части еврейства в орудие пытки и унижения. Теперь, когда властно раздаются другие голоса, когда значительная часть еврейского народа, перешагнув через ассимиляторскую интеллигенцию и буржуазию, энергично

заявила о своей воле жить, такая точка зрения не только негуманна – она просто непростительна, и особенно со стороны тех людей, которые сами исходят из национально-культурных принципов. Ведь еще недавно мы читали в программной статье № 1 «Освобождения» о «жгучей национальной потребности в свободе», о «достойном существовании личности и нации», о том, «что национальной потребности в свободе должно быть дано удовлетворение»...

Я думаю, что автор этих слов первый бы запротестовал против того, который бы вздумал истолковать их в смысле признания этой «свободы» только за одним русским народом...

И если дело обстоит так, если это – общий принцип, выставленный Вами по отношению ко всем людям и национальностям, то меня глубоко удивляет, почему Вы не сочли нужным применить его и по отношению к еврейскому народу или, по крайней мере, к тем сотням тысяч «личностей», которые, исходя из разных исторических, культурных и экономических мотивов, сознательно стремятся к созданию или, вернее, восстановлению особой нации со всеми атрибутами, характеризующими ее.

И если сионизм благодаря специфическим национально-историческим условиям (мы не имели счастья, подобно полякам или финляндцам, быть разгромленными вместо Рима цезарей Российской империей), избирает средства, не совпадающие с путями упомянутых народностей, так как не все же «вопросы» могут быть решены по одному общему шаблону, то разве от этого должно измениться п р и н ц и п и а л ь н о е отношение к данному движению?..

Все это, кажется, так просто, так элементарно. А между тем, как только речь заходит о евреях, дело совершенно меняется: в данном случае, как и во многих других, нас ставят в какое-то особое, исключительное положение, к нам применяется другая мерка. Что по отношению к другим является само собой понятным, за нами просто, без всяких разговоров отрицается; что по отношению к другим считается заслугой и всячески поощряется, нам ставится в упрек. Как же иначе понимать следующие слова: «Сионизм, воспитывая идею еврейской национальности и даже государственности (о Боже, какое преступление!) и тем недомысленно идя навстречу подлому антисемитизму, всячески избегает политической борьбы, борьбы за эмансипацию евреев»? («Освобождение», № 22) Не проникая глубже в сущность еврейского вопроса и порожденного им сионизма, не разбираясь в том, что̀ является истинной эмансипацией евреев, что̀ дала еврейству как таковому так называемая эмансипация на Западе, может ли вообще народ отказаться от «идеи национальности и даже государственности» из страха перед каким-то «подлым антисемитизмом»? Вы этим своим взглядом явно отрицаете нашу личность как нации и естественное наше право на самоопределение. По этой теории еврейство не имеет, не смеет иметь с в о е й точки зрения, своих собственных соображений, не должно иметь своей национальной индивидуальности, которую оно обязано было бы отстаивать, не оглядываясь по сторонам и не прислушиваясь к тому, что̀ скажут другие. По этой теории евреи как нация должны быть ниже травы, тише воды – авось какой-нибудь голос поднимется против

них. Какой злой насмешкой звучал бы брошенный задыхающемуся в темнице невольнику совет – отказаться от жгучей мечты о свободе, о воздухе, о солнце: авось лязг разбиваемых цепей разбудит спящего стражника.

Но с нами не церемонятся. Достаточно декретировать, что евреи лишь «особое религиозное общество», что «идея еврейской национальности есть фантастический и болезненный продукт» – и все кончено: евреев как нации нет. А если возникает сильное народное движение, которое опровергает этот ложный взгляд, выставляя положительный национальный идеал, то, выражаясь словами Гегеля, desto schlimmer für die Tatsachen[14].

Где же элементарное уважение, где тот принцип свободы личности и нации, который так гордо красуется на Вашем знамени? Почему за нами отрицается «жгучая национальная потребность в свободе, которой должно быть дано удовлетворение»? Но Вы скажете: «Ведь мы вам не мешаем, ведь мы сами сказали: "Пусть евреи, если они могут и хотят, образуют в Палестине особое еврейское государство – мы не будем им в этом ни мешать, ни содействовать"». Мы в этом не сомневаемся. Мы уверены, что нам мешать не будут, а содействия же мы сами не просим.

Но где по отношению к нам хоть тень того принципиального этического отношения, которое, судя по Вашим же взглядам, заслуживает всякое национальное движение? В Ваших словах о нашем национальном движении мы прочли лишь обидное равнодушие и желание отделаться от назойливых голосов тех, которые слишком громко заговорили между собой о своих же делах.

Вот что меня больно задело в Вашей статье. Вы смотрите на евреев не как на самоцель, на что имеет право всякая личность, единичная и коллективная, а как на средство для достижения тех или других политических целей.

И в этом отношении Вы совершенно несправедливы к еврейской буржуазии. Напрасно Вы к ней придираетесь. Оставляя в стороне вопрос о том, как вообще «экономической силой» (деньгами?!) можно добиться эмансипации евреев, которая и на Западе, где еврейство обладает гораздо большей «экономической силой», не была до сих пор достигнута (там же, где это случилось, плодами пользуются только богатые классы еврейства; масса продолжает по-прежнему терпеть от экономического бойкота и социального презрения), – не говоря уже обо всем этом, Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что «состоятельное еврейство – русское и международное – одушевлено сионизмом», что последний «привлекает буржуазию сильнее, чем простая и трезвая идея эмансипации». Предоставьте самой еврейской буржуазии решить, что «трезвее», что выгоднее для нее. Она в этом, бесспорно, окажется опытнее. Если не «идея», а фактическая «эмансипация» принесет кому-нибудь существенную пользу, то это прежде всего еврейской буржуазии, крупной и средней, которая благодаря ей сможет лучше развернуть свои экономические силы и социально подняться за счет других

[14] Тем хуже для фактов (*нем.*).

слоев еврейства, так как вражда, еще боле усиливаемая благодаря ее богатству, прежде всего обрушивается на голову масс. Так было везде и всегда. Это было обычным явлением в средние века, это далеко не сюрприз и в новейшей истории Европы. Еврейская буржуазия, «трезво» понимая свои интересы, хорошо знает, какую пользу она может извлечь из ассимиляции и эмансипации, и поэтому менее всего намерена примкнуть к сионизму. Еврейская буржуазия, несмотря на окружающее ее презрение, в общем чувствует себя хорошо в своих теперешних местах жительства и рискованного путешествия в Сион она, наверное, не предпримет. Если она способна вообще поддерживать какую-нибудь идею, то ей скорее всего придется по духу «идея еврейской эмансипации» и ассимиляции. И в этом отношении совершенно прав был Нордау, когда он заявил на последнем конгрессе сионистов: «Jeder Jude, der Millionär wird, ist ein dem Judentum verlorener Jude[15]».[16] Итак, нечего опасаться, что еврейская буржуазия, та, которая «обладает крупной экономической силой», по своей «нетрезвости» примкнет к сионизму и таким образом помешает «экономическому развитию» России. Нет, она к сионизму не пристанет, и мы в ней вовсе не нуждаемся. Сионизм создан для тех несчастных скитальцев, которые обивают пороги всех наций и государств и нигде не находят покоя; для тех, которые до последнего времени находили хоть какой-нибудь приют в цивилизованных странах, как Америка и Англия, и где теперь закрывают двери перед самым их носом. Эти элементы составляют главные кадры нашего движения, во имя этих мучеников нового времени не перестает говорить политический сионизм вот уже восьмой год.

Все это может послужить ответом на часто повторяющийся упрек в мнимой «буржуазности» сионизма, о которой может говорить одна разве злоба или неведение.

Я резюмирую сказанное: весь европейский мир – и юдофобский, и свободомыслящий – несправедлив по отношению к евреям: первый нас хотел бы живьем зарезать и время от времени он действительно совершает эту экзекуцию над нами; второй, в общем, к нам относится гуманно и готов был бы нам дать права, но ценой отказа от нашей национальной личности, так что очень часто нам становится невмоготу от этих уж слишком дружеских объятий. Когда известная часть еврейской интеллигенции и буржуазии во что бы то ни стало хотела ассимилироваться и отречься от своей индивидуальности, европейское общество после непродолжительного порыва великодушия ее грубо оттолкнуло, не хотело принять в свою среду, и когда теперь другая часть интеллигенции, отвечая на насущные потребности без плана и цели кочующих масс еврейства, призывает их к автоэмансипации и к национальному единению, по ее адресу отпускаются разные нелестные эпитеты и чуть ли не смешивают ее с антисемитизмом.

Как бы мы ни поступили, выражаясь словами Лессинга – der Jude wird verbrannt...[17]

---

[15] Каждый еврей, ставший миллионером, – еврей, потерянный для еврейства (*нем.*).
[16] См. Protokoll des V. Zionistenkongresses. S. 108 *(Примечание Жаботинского).*
[17] Еврей должен гореть (*нем.*).

Мы вдоволь вкусили от всех этих прелестей; мы наконец поняли свои настоящие задачи; мы стали требовать и за нами, как за всеми другими, права на национальное самоопределение и на устройство своей собственной судьбы. По этому пути мы неуклонно идем, и никакие виды на чечевичную похлебку бумажной эмансипации в будущем нас более не ослепят и не совратят с настоящего пути.

Я позволю себе заключить мое и так уже слишком затянувшееся письмо следующими знаменательными словами Нордау:

«Ein Volk ist Selbstzweck. Es lebt sich, nicht anderen zu Gefallen... Es braucht sein Dasein und seine Daseinsberechtigung nicht dadurch zu erkaufen, dass es anderen Dienste leistet. Nur von uns findet man es selbstverständlich, dass wir unser Recht aufs Dasein durch anderegeleistete Dienste erweisen müssen. Nur wir haben nicht das Recht, für uns selbst zu leben. Nur wir sind die natürlichen Hausknechte aller Völker... Erst wir Zionisten suchen wenigstens die Kündigung in dieses schmachvolle Dienstverhältnis einzuführen. Denn der Zionismus ist tatsächlich die Kündigung des jüdischen Hausknechtes an diejenige Dienst herren, die ihn allzu nichtswürdig missbrauchen[18]».[19]

Выражая Вам наперед свою благодарность и вместе с тем уверение в глубоком почтении к Вам, остаюсь и проч.

Г.

НАКАНУНЕ КОНГРЕССА[20]

Базель

9(22) августа

Конгресс сионистов начинается завтра, 23-го, а по-русски 10 августа. Но я здесь уже дней шесть и все это время без отдыха кочую из одного собрания в другое, потому что собраний, мелких и крупных, множество: «форконференция» делегатов из России, совещания длиннополых «мизрахи» (ортодоксов), союза «чисто политических» сионистов, молодой фракции центра, внефракционной группы, разных землячеств, разных комиссий, группы еврейских писателей, группы ревнителей древнееврейского языка, ведущих заседания только на этом языке... Все залы и комнаты городского казино – кроме большого зала, в котором состоится конгресс и который пока закрыт для публики, – заняты собраниями; на некоторых дверях красуются надписи на трех

[18] Народ является самоцелью. Он живет не для того, чтобы уступать другим.... Он существует и не нуждается в доказательстве своего права на существование. Только в отношении нас подразумевается, как само собой разумеющееся, обязанность доказывать право на существование своей полезностью другим. Только мы не имеем права жить для самих себя. Только мы являемся натуральной прислугой всех народов... Мы, сионисты, хотим, прежде всего, расторгнуть этот постыдный договор об услужении. Именно сионизм добивается практической отмены еврейского служения господам, недостойно помыкающих нами.

[19] Hdd. 108 *(Примечание Жаботинского).*

[20] «Одесские новости»; 15.08.1903.

языках: по-русски – «закрыто», по-немецки – «geschlossen», по-еврейски – «segura»; это значит, что в данное собрание не допускаются гости, а из делегатов – инакомыслящие. Вообще стены казино пестреют плакатами и надписями на разных языках и разного содержания. Тот предлагает верующим кошерный и притом дешевый обед, тот типографские услуги, тот меблированные комнаты; тут же объявления о предстоящих собраниях такой-то группы в зале № такой-то или в ресторане Zum Safran. Из этих объявлений выделяются плакаты партии «мизрахи»: набившие руку на переписке свитков Пятикнижия, они выводят свои оповещения великолепными жирными еврейскими буквами, которые не отличишь от печатных. Я брожу в густой толпе среди этих афиш, выбираю, переселяюсь из зала в зал, прислушиваюсь, присматриваюсь и вывожу свои заключения. Не заставлю вас, однако, следовать за мною по пятам в этих скитаниях и ограничусь пересказом двух-трех впечатлений.

В первый вечер по приезде я попал на собрание группы «Ibria». Это – те самые ревнители еврейского языка (они принципиально не признают названия «древнееврейский»), о которых я уже упоминал. Собрались они в так называемом малом зале конгресса, который может вместить, не считая галереи, до 400 человек или больше. Теперь, однако, в зале было не больше 200, из них около ста участников «Ibria» и около сотни гостей. Среди гостей – студентки и студенты заграничных университетов, корреспонденты, делегаты, не знающие по-древнееврейски, публика из ближайших курортов. Среди участников «Ibria» – несколько еврейских писателей, несколько бородатых ортодоксов в длинных капотах, а большинство – просто делегаты от сионистских кружков Литвы и Белоруссии, чаще всего молодые.

Заседание открывает высокий молодой брюнет – открывает на очень беглом и свободном еврейском языке. Это – Моссензон, студент-филолог одного из здешних университетов. Он сообщает, что в Берне образовалось общество для распространения еврейского языка и обращения его в разговорный и что настоящая «assepha» (собрание) созвана по инициативе этого общества. На древнееврейском языке издаются десятки газет; в одной России пять таких газет имеют, в общей сложности, по меньшей мере, тысяч тридцать тиража, а на каждый экземпляр можно смело считать по десяти, если не по 15 читателей, потому что есть углы, где один лист какого-нибудь «Hazophe» в лоскутки зачитывается целым местечком. Кроме того, на еврейском языке издаются книги и брошюры, выступают первоклассные силы – например, молодой одессит Бялик, которым гордилась бы всякая европейская литература; по прекрасному плану, разработанному одесским же публицистом Ахад-Гаамом, проектируется издание на этом языке грандиозной многотомной энциклопедии, которая должна будет стать памятником еврейского духа XX столетия. Таким образом, как язык письменности еврейский язык живет и развивается, и если нуждается в возрождении, то лишь как разговорный язык. В этом отношении сделано мало, и в этом направлении придется усиленно поработать. Добрая почва есть. Не говоря уже о том, что в Палестине во многих местах и, главным образом, во всех тамошних еврейских школах слышится образцовая по

выговору библейская речь, – и в Европе кое-где благодаря натуральному методу обучения дети простого класса уже говорят между собой на языке пророков; встречаются, хотя и редко, даже интеллигентные семьи, где этот язык стал разговорным. Но все это еще слишком случайно, и необходима напряженная и хорошо организованная работа для того, чтобы возродить «laschon kadosch» в качестве разговорного, семейного языка.

Слушая речь Моссензона и не без труда улавливая смысл ее (я, к сожалению, плохо понимаю по-древнееврейски), думал о том, что даже среди лиц, сочувствующих восстановлению еврейского государства, идея восстановления еврейского языка найдет противников. Одни считают это возрождение невозможным, другие нежелательным; указывают на то, что на еврейский язык, если бы он стал языком нации, пришлось бы перевести несметное множество необходимых книг, начиная хотя бы с научных руководств – и это сильно затормозило бы самостоятельное творчество. Но тут поборники «Ibria» возражают, что необходимость переводов приведет только к тому, что появится много переводчиков, но нисколько не вынудит оригинальных еврейских писателей бросить оригинальную работу и взяться тоже за переводы учебников...

Я, однако, признаю некоторую вескость за соображением противников библейского языка; но думаю, что вопрос этот разрешится в будущем не по желанию той или иной группы, а сам собой, силою вещей, естественным порядком; и разрешится – на мой взгляд – именно в духе «Ibria», в духе возрождения речи праотцев. Дело в том, что при концентрации масс еврейского населения в одной стране – чего и добивается сионизм – получится вавилонское смешение наречий: немецкого жаргона, русского языка, румынского, персидского, арабского, испанского жаргона, иранских, туранских и кавказских диалектов и еще Бог весть каких. Нейтральный язык будет тогда необходим. Но нейтральным языком вряд ли может естественно явиться какой-либо другой, кроме древнееврейского.

Объяснюсь точнее. Сионизм предполагает, между прочим, национализацию воспитания, но и помимо сионизма, разумное воспитание еврейских детей немыслимо без изучения древних памятников еврейского духа. Русское общество не желает латыни, потому что латинский язык ему чужой, но, например, в Италии никогда и ни у кого не возникало мысли изгнать латинский язык из школьного курса. Такое предложение показалось бы там абсурдом просто потому, что необходимость знакомства с духовными богатствами собственных предков аксиоматически ясна для всякого интеллигентного человека. Воспитание еврейских детей, разумно поставленное, должно будет уделить значительное место изучению Ветхого Завета, старой и новой еврейской литературы; и если только это изучение будет разумно поставлено, оно не сможет не привести воспитанников к более или менее основательному знакомству с еврейской речью. Это буквально неизбежно уже просто потому, что мир неизбежно идет к разумной, а не к неразумной постановке воспитания и обучения и из разумного воспитания не могут быть исключены национальные предметы, а при разумном обучении эти предметы не могут быть изучаемы иначе как более или менее основа-

тельно. Такое воспитание получат еврейские дети интеллигентных слоев; дети же бедноты пройдут, как и теперь, через хедер, а хедер, особенно в Литве, дает если и не систематические, то все же солидные познания в библейской речи. Конечно, эти познания и у воспитанников образцовой школы, и у воспитанников хедера будут еще далеки от идеала, но они, во всяком случае, дадут возможность понимать бухарского и алжирского соплеменника – тоже прошедшего через хедер – скорее на еврейском языке, чем на каком бы то ни было другом. Если суждено осуществиться конечной цели сионизма, то еврейский язык, на мой взгляд, должен будет возродиться сам собою, просто потому, что в тот момент он окажется более или менее знакомым наибольшему числу разношерстных сограждан.

Принято, впрочем, полагать, что хедер готовит только маленьких попугаев, которые могут лишь повторять затверженное, но не способны мало-мальски самостоятельно применять это затверженное в жизни. Это – безусловно преувеличенный пессимизм – хотя я, конечно, не стану отрицать того, что обычный современный хедер во всех отношениях очень плох. Но когда ребенок сто раз, хотя бы «попугайски», зазубрил, что «be-reschith» значит «вначале», а «barà» – «сотворил», и еще тысячи таких слов, среди которых есть и «хлеб», и «вода», и «дом», и «спать», и «пойти», – то он, в конце концов, худо ли, хорошо ли, может объясниться на еврейском языке. Я же думаю, что может объясниться довольно бегло и свободно. Заключаю об этом по всему, что наблюдал в заседании «Ibria». В прениях принимали участие не одни писатели и студенты-филологи: *большинство* были именно воспитанники хедера, только из хедера получившие знакомство с библейской речью и потом поддерживавшие его благодаря еврейским газетам. Эти люди говорили, – говорили, заявляя, что им почти впервые приходится публично пользоваться еврейским языком, – и говорили, однако, плавно и точно, касаясь даже отвлеченных предметов. А ведь три четверти населения Литвы – если не больше – и суть именно такие воспитанники хедера и читатели древнееврейских газет.

Беда здесь, по-моему, не в том, что еврейский язык не может будто бы возродиться, а в том, что он рискует возродиться в очень исковерканной форме. Я говорю о так называемом «ашкеназийском» (т. е. «немецком») произношении библейского языка, принятом сплошь у русских, галицийских, немецких и польских евреев, т. е. у 75% всего еврейского населения земного шара. Это произношение уродует язык до неузнаваемости. Ударение, которое должно быть почти всегда на конце, оказывается на предпоследнем слоге; ***а*** превратилось в ***о*** (на юге даже в ***у***), ***о*** в ***ой***, и таким образом из звучного имени Israèl получился в Литве Isròel, на юге Isrùel, а в конце концов Сруль... Гораздо правильнее так называемый «сефардийский» («испанский») выговор, сохраняющий ударение на конце и не коверкающий гласных и согласных. Этим выговором читают все «сфарадим», т. е. испанские выходцы, живущие по бассейну Средиземного моря, – итальянские, балканские, палестинские и африканские евреи. Мне кажется, что и еврейским педагогам в России следовало бы обратить на это внимание и потрудиться над возвращением языку пророков его настоящей формы.

Вдобавок сефардийский выговор: Адонай вместо «Адойной», гораздо благозвучнее. В этом самом собрании «Ibria» выступил некто Эпштейн из Палестины, говоривший удивительно красивым сефардийским произношением. Несмотря на восточное гортанное *х*, этот выговор положительно ласкал европейское ухо. Собрание слушало Эпштейна, как очарованное; после речи многие говорили ему:

– Мы и не знали, что у нас такой красивый язык…

«Мар» Эпштейн («mar» – талмудическое «мсье») сам по себе интересный человек. На вид это совершенный араб с длинной курчавой черной бородой и живыми манерами. Лет двадцать назад, еще совсем молодым мальчиком, он переселился из России в Св. Землю и скоро стал лучшим из палестинских педагогов. Он – педагог-художник: он не сидит с детьми в классе, не задает им уроков, а уводит их в поле и там ведет с ними беседы о природе, об истории – о чем угодно. Эти беседы должны быть очень увлекательны: в том, что мар Эпштейн говорит увлекательно, я убедился, слушая его речь, в которой, между прочим, он пространно развил свою мысль о распространении еврейского языка путем театров и народных домов.

После речи Эпштейна, встреченной ураганом рукоплесканий, это заседание, в котором не было произнесено ни одно слово на другом языке, кроме еврейского, закончилось словами председателя:

– На-assepha segura – собрание закрыто.

На следующий день состоялось тоже ветхозаветное заседание, но уже в другом роде: предварительное совещание «мизрахи».

БАЗЕЛЬСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ[21]

14 (27) августа

VI конгресс сионистов

Урываю часы у короткого сна, чтобы дать отчет о первых двух днях конгресса. До сегодняшнего вечера не было ни одной свободной минуты: то заседания конгресса, то частные собрания.

10 числа нашего стиля, к 11 часам утра, все уже в сборе. В большом зале конгресса, по подсчету, 672 делегата и больше 150 журналистов; на хорах 1200 человек гостей. В глубине зала обширная трибуна, над нею вышка для председателя, убранная шестиугольными гербами, известными под названием *щита Давидова*. Мужчины в сюртуках и во фраках, с голубыми розетками в петлицах; «мизрахи» блестят черным атласом, а два делегата от горских евреев сверкают на солнце насечками на кинжалах, ножах и патронах.

Трибуна понемногу наполняется: там усаживаются уполномоченные всех стран, составляющие вместе так называемый большой исполнительный комитет (Grosses Aktions-Comité), и члены малого, или «венского», Aktions-Comité; мелькает странное, бритое, оригинальное неправильное лицо писателя Зангвилля, белая борода профессора Мандельштама, какие-то чистенькие немецкие физиономии типа Herr doct.

[21] «Одесские новости»; 19.08.1903.

phil[22].; потом вдруг раздаются оглушительные аплодисменты, крики «ура», «виват», по-еврейски «bejdoi». Делегаты и публика подымаются на ноги, машут платками, шляпами, стучат каблуками. На председательской вышке показывается доктор Герцль. Самая интересная внешность из всех, какие я когда-либо видел: нечто в высшей степени мужественное, твердое и в то же время изящное. Профиль ассирийского царя, как они изображены на древних плитах; манера человека, уверенного в себе на десять лет вперед и если еще не привыкшего повелевать, то уже готового повелевать.

Мне приходилось много слышать и много думать об этом человеке. Я считал это нелишним. Сионистское движение коренится глубоко и не зависит теперь от личностей, но все руководство, все представительство, вся ответственность движения лежит на Теодоре Герцле. Когда говорят о сионизме, думают о нем. Если бы он умер, со стороны подумали бы, что сионизма не стало, и понадобился бы целый месяц, чтоб дать понять людям, что движение не умерло. Живучесть сионизма не подчинена Герцлю, но его успехи в руках у Герцля. Победа движения в настоящую минуту есть синоним удачи Герцля. Герцль – это карта, на которую теперь поставлены большие ставки сионизма, поэтому очень важно угадать эту карту.

Я знаю все хорошее и все дурное, что думают о Герцле вокруг него, и смотрю на него совершенно холодно и трезво, и думаю, что в его лице перед нами одна из замечательнейших личностей нынешнего дня. В чем его сила – трудно определить. Он совсем не первоклассный писатель, но он прекрасный стилист и передает ясно и резко то, что ему нужно изложить; он не оратор, но он говорит именно то, что ему нужно сказать, и именно так, как это нужно. Он удивительно гармоничен и выдержан; он производит впечатление человека, неспособного на фальшиво рассчитанный жест, – человека, который, конечно, может заблудиться, но не может споткнуться. Он никогда не бывает резок, но всегда подавляет. Многие утверждают, что он их гипнотизирует. Во всех деталях это господин средних способностей, но в целом это большая фигура, большая личность, которой нужны большие рычаги, – может быть, не талантливая, но, может быть, гениальная. Его день распределен с утра до ночи, он работает, как вол, и страдает болезнью сердца; делегаты его боготворят, старый скептик Нордау называет себя его оруженосцем, и даже оппозиция, даже фракционеры твердо заявляют, что «у нас нет пока другого доктора Герцля».

Из речи, которой Герцль открыл VI конгресс, – эта речь поставит, быть может, поворотную точку в истории еврейского народа – привожу главное, опуская общий очерк положения евреев в диаспоре и упоминание о жертвах последнего погрома, которое конгресс выслушал стоя.

– Со времени пятого конгресса, – заявил затем Герцль, – я был два раза призван к его величеству султану и вынес убеждение о благоволении его к еврейскому народу. Однако переговоры наши не привели к практическим результатам, ибо я не считал возможным отступить от точного смысла базельской программы. Тогда мы при содействии бри-

[22] Господин доктор философии (*нем.*).

танского кабинета вступили в сношения с правительством египетского хедива[23] о приобретении местности Вад-Эль-Ариш на Синайском полуострове. Комиссия, составленная из инженера Кеселера, архитектора Марморена, полковника Гольдсмита, инж. Стовенса, проф. Лорина, д-ра С. Сосскина, д-ра Гиллеля Иоффе и представителя египетского правительства мистера Гемфриса, изучив территорию, пришла, однако к выводу, что она для колонизации не подходит из-за недостатка воды.

Тогда британское правительство по собственной инициативе предложило нам обширную местность в английской Восточной Африке для устройства там еврейского поселения с еврейским правительством и еврейским президентом под протекторатом Англии.

Глубоко признательные британскому правительству, мы, однако, заявили, что должны передать это предложение конгрессу, которому будет принадлежать право окончательного ответа. Я полагаю, что колонизация Восточной Африки на таких условиях нисколько не поколеблет принятого нами принципа – в Палестину, страну отцов наших. Но, во всяком случае, каково бы ни было решение конгресса, мы не преминем выразить глубокую благодарность английскому правительству за его предложение…

В самое последнее время ввиду известных распоряжений русского правительства я счел своей обязанностью посетить Петербург и вынес впечатление, которое считаю благоприятным. Должен сообщить, что я в этом случае говорил не только как сионист, но и как еврей и получил уверения, что в положении русских евреев можно ожидать некоторых перемен к лучшему. Относительно же сионизма было мне сказано, что это движение не встретит со стороны русского правительства никаких препятствий, если сохранит, как до сих пор, характер законности и спокойствия.

Наконец, русское правительство выразило готовность поддерживать своим влиянием перед султаном наши хлопоты о приобретении Палестины.

Теперь перед нами дорога открыта. Есть люди, которые найдут, что помощь держав вызывается враждою к нам, желанием от нас избавиться. Если это так, то мы дадим на это ответ в будущем – в нашей стране. И ответ наш будет заключаться в новом возвышенном духовном творчестве.

VI конгресс очутился перед реальным событием огромной важности. Предложение британского правительства есть первое в истории еврейского скитальчества официальное признание национального единства и национальных прав еврейской народности. Этим предложением бесследно отметаются прочь все возражения о неосуществимости еврейского государства. Но Ost-Africa не Палестина и не Сион, и теперь перед конгрессом стоит тяжелый выбор. Отказаться ли от Сиона, о котором в базельской программе сказано: «Сионизм добивается создания для евреев правоохраненного убежища в *Палестине*», пожертвовать ли вековой традицией ради близкой практической удачи или отклонить великодушное предложение и продолжать борьбу за св. землю.

[23] Вице-султана Египта (от *перс.* «господин», «государь»).

Из среды конгресса выбрана комиссия, которой будут предъявлены все документы и все данные о том, насколько эта местность пригодна для колонизации. Но и в том случае, если она окажется подходящей, не сочтется ли принятие предложения за крах сионизма как такового? Не отхлынут ли массы, доныне с надеждой прислушивавшиеся к успехам движения? Удастся ли объединить народ вокруг простого слова «колонизация» так же прочно, как он начал объединяться вокруг знаменательного имени «Сион»? Не поведет ли этот огромный успех к большому неуспеху?

С другой стороны, вероятность приобретения Палестины все растет. Султан вызывал Герцля к себе; германский император уже имел случай выразить движению свое сочувствие; теперь и русское правительство, которое считалось главным препятствием на пути к св. земле, выражает готовность содействия. К этому присоединяются все увеличивающиеся денежные затруднения Турции, требующие многих миллионов для оттоманской казны, и в то же время есть основания думать, что эти миллионы – 240000000 франков наследства барона Гирша, принадлежащие так называемому «Jca» Jüdische Coloniale Association, – не откажутся перейти на службу к сионизму, как только сионизм предъявит действительные результаты своих первых усилий.

Перед VI конгрессом трудная задача, даже загадка, а не задача. От того, как он ее разгадает, будет зависеть, быть может, судьба 11 миллионов. Мы накануне решения, которое может привести к торжеству и спасению еврейского народа, – может, и наоборот.

После перерыва, при лампах, началась борьба между Герцлем и его врагами, которая тянулась оба дня.

Говорил Дэвис Тритш, основатель колонизационного общества «Шаарей-Цион», т. е. Врата Сиона. Тритш был всегда сторонником заселения не одной Палестины, но и близлежащих местностей – Кипра и Вад-эль-Ариша; за это его страшно освистали на третьем и на пятом конгрессах. Теперь, на шестом, Герцль громогласно заявил о Восточной Африке, которую уже нельзя рассматривать даже как «врата» Сиона, потому что это совсем далеко от Палестины, но свиста, конечно, не было. Сказано: quod licet Jovi…[24]

Тритш – господин с баками благообразного и уравновешенного вида, в золотых очках. Говорит плавно, медленно, томительно и настойчиво, назидательно помахивая карандашиком. Впечатление d'un cataplasma, – человека-пластыря, который не вцепляется, но прилипает.

Тритш говорил:

– Мне свистали за то, что я говорил о Вад-эль-Арише, ибо этого нет в базельской программе; теперь, оказывается, что д-р Герцль тоже хлопотал о Вад-эль-Арише. Ему можно? Он нашел, что Вад-эль-Ариш не подходит для заселения; я же вам говорю, что вполне подходит, ибо там за сто лет население возросло с 1000 человек до 5000. Нельзя пренебрегать таким участком, пока нет лучшего. Я стою за колонизацию местностей, прилегающих к Палестине, – за «великую» Палестину. Я

[24] Что дозволено Юпитеру [то не дозволено быку]… (*лат.*)

предлагаю назначить новую комиссию по вопросу о Вад-эль-Арише, потому что д-ру Герцлю не удалось добиться уступки этой земли, хотя он и распространил слухи о полном успехе.

Крики:

– Кто вам это сказал?

Тритш выжидает, пока не становится тихо, и плавно и медленно помахивая карандашиком, сообщает, что сказал ему об этом д-р Клее, член малого Aktions-Comité, и затем продолжает:

– Из всего этого я заключаю, что доктор Герцль избрал очень неправильный способ вести наше политическое дело. Он искал далеко, в Восточной Африке, и ничего не нашел; дайте мне и моим друзьям те средства, которые вы даете Герцлю, и мы найдем землю гораздо ближе.

Речь Дэвиса Тритша ежеминутно прерывается шумом большинства и криками «довольно!» Герцль, передав председательский молоток Нордау, сидит внизу, за кафедрой, и внимательно слушает. После Тритша на кафедре появляется д-р Клее, веселенький, франтоватый и чернявый, и в иронической форме объявляет, что он г-ну Тритшу ничего определенного не говорил. Тритш явился к нему с предложением передать колонизацию Вад-эль-Ариша, если он будет приобретен, обществу, устроенному им, Тритшем; Клее же ответил ему на это так:

– Мы еще ничего не добились, но если бы добились, то это был бы такой успех, что мы уж во всяком случае менее всего согласились бы отдать его в руки общества, устроенного вами...

Трибуна, где сидят «чины», злорадно хохочет, кроме русских уполномоченных, которые одни еще не целиком подпали под влияние Герцля. Сам Герцль подымается на кафедру среди урагана аплодисментов и начинает, среди напряженного внимания, свою защиту.

– Д-р Тритш находит, что у меня неправильный способ вести общественные дела, и винит меня в том, что я пускал слухи о Вад-эль-Арише. Клее уже объяснил, насколько это верно; я еще напомню, что слухи о Вад-эль-Арише были пущены не нами, а Тритшем, который напечатал об этом, никем не прошенный, несколько статей и сам же их и распространил. Неудачу с Вад-эль-Аришем он приписывает нашей неумелости и просит передать дело ему и его друзьям. Я вообще не сомневаюсь, что в этой критике г-ном Тритшем руководят личные мотивы, но могу сообщить вам, что по поводу эль-Ариша мы не ограничились одной справкой о том, что там население за сто лет возросло с 1000 до 5000 душ, а послали комиссию, в которой были такие специалисты, как Стевенс и Лоран; что мы собрали целую литературу об эль-Арише и оставили его потому, что признали неподходящим. Вот наш «способ вести дело». А теперь я познакомлю вас со «способом» г-на Тритша.

И Герцль читает протокол, составленный в Вене в июне этого года в присутствии лиц, находившихся здесь же на конгрессе, и содержащий рассказ румынской еврейки о том, как шесть лет тому назад д-р Тритш уговорил несколько румынских семейств эмигрировать на остров Кипр, обещая, что там им будет хорошо. Они продали свое имущество, конечно, с убытком, и поехали. Уже в Пирее они застряли без денег и руководителя; наконец, некоторые из них добрались до Кипра, где снискивали пропитание рубкой дров и жили впроголодь. В конце

концов они вернулись обратно, схоронив на Кипре 15 человек; женщина, рассказавшая об этом, потеряла там мужа.

Голос Герцля слегка повышается; тон, все время эпически спокойный, переходит в оттенок сарказма:

– Спасибо, д-р Тритш, за поучительное указание на мой «способ», но я думаю, что именно ваш «способ» вести дело есть поистине в высшей степени «неправильный способ». Говорю вам это серьезно.

И Герцль сходит с кафедры опять среди бури рукоплесканий. Тритш хочет отвечать, публика протестует; Герцль требует, чтобы Тритша выслушали. Тритшу дают слово, он что-то говорит, но общее впечатление то, что Тритш уничтожен…

Весь этот инцидент произошел, конечно, совершенно незаконно. После Тритша были записаны другие ораторы, а не Клее и не Герцль. Но Герцль, очевидно, хорошо знал, какое брожение против его властной руки идет в глубине оппозиции, и решил покончить. Это был спектакль, и я даю о нем отчет как рецензент. Свою роль Герцль провел классически: ни одного лишнего слова, ни одной резкости, ни одной неверной ноты в голосе.

Второе действие было сыграно на другой день. Заседание открылось речью Макса Нордау, которая показалась мне мало примечательной, затем продолжались общие прения. Кое-кто, особенно из левого крыла, осторожно критиковал, большинство высказывалось за полное одобрение действий Герцля и исп. комитета. Потом, после перерыва, выступил, в качестве pendant'а[25] к Тритшу, Альфред Носсиг.

Альфред Носсиг – известный скульптор и писатель, издатель монографии «Jüdische Statistik». Речь его была довольно бледна, но в ней опять-таки был личный привкус. Дело в том, что за два дня до конгресса Носсиг объявил, что будет читать реферат «Баланс сионизма». Собралось очень много публики, но как только Носсиг произнес по адресу Нордау и Герцля термин «нахальство», немецкие делегаты заревели, и поднялся скандал. Реферат был сорван, и Носсиг перенес его – в смягченном виде – на конгресс.

– Нас не могут не интересовать личности, – заявил он, – которые стоят во главе движения.

Герцль опять сидел внизу и внимательно слушал, зал опять ежеминутно прерывал Носсига, и Герцлю приходилось отстаивать свободу слова. Впрочем, критика Носсига была, повторяю, и слаба, и бледна. После него говорили фракционеры, говорили против исп. комитета, но при этом оговаривались:

– Есть оппозиция и оппозиция. Мы не входим в обсуждение, насколько гг. Носсигом и Тритшем руководят личные мотивы, но считаем нужным заявить, что к той оппозиции, которую представляют эти два господина, мы не принадлежим.

Вечером Герцль отвечал на все вопросы, заданные ораторами исп. комитету. На новые запросы об эль-Арише он объяснил, что тамошнему безводью ничем нельзя помочь: дожди бывают лишь в течение не-

[25] Здесь: в качестве пары (*фр.*).

скольких *часов* в году. Если бы даже можно было, затратив колоссальные деньги, провести под Суэцким каналом воду из Нила, то правительство хедива не сочло бы возможным пожертвовать таким количеством воды, необходимой самому Египту.

– Повторять же попытки колонизации без всестороннего обеспечения их успешности, – сказал он, – значило бы передавать людей на волю судьбы. Многолетний опыт мелкой колонизации, производившейся нашими богачами, доказал ее неприменимость, и чтобы вновь призывать нас к ней, нужно быть г-ном Тритшем, который считает себя, очевидно, бароном Гиршем без денег и без денег хочет сделать то, что Гиршу не удалось с деньгами.

Голос из толпы:

– Вы тоже барон Гирш без денег?

Герцль:

– Я всегда говорил, что сионизм победит не деньгами, а национальным движением. Но могу вам сообщить, что общество «Ica» выразило готовность содействовать нам, как только мы предъявим основательную почву для соглашения.

Аплодисменты.

– А теперь, – говорит Герцль, – несколько последних слов о той критике, которая направлена лично против меня. Я ничего не могу иметь против критики, но не против такой, какую представляют гг. Носсиг и Тритш. Первый из них пять недель тому назад вступил в нашу организацию. Мы рады каждому новому товарищу и не делаем разницы между старыми и новыми работниками, но если человек, только пришедший, ничего еще не сделав, начинает с личных нападок на представителей движения, то задается вопрос: не для того ли он и пришел, чтобы внести раздор? Второй из них учит меня, как надо брать на себя ответственность, в то время как сам не сумел взять на себя ответственность не то чтобы за такое гигантское, как наше, а за простое переселение нескольких бедных семейств. И когда эти семейства голодали, г-н Тритш стушевался и теперь выплыл здесь, на кафедре конгресса, чтобы с нее поучать нас, как надо вести дело. Счастье ваше, гг. Тритш и Носсиг, что вы нападали на меня. Только потому, что это касалось меня, вы могли говорить до конца; если бы дело шло не обо мне, вы не занимали бы так долго нашей кафедры, предназначенной для других целей... Jetzt, glaube ich, sind wir mit diesen Herren fertig![26]

Зал, конечно, оглушительно загремел, точно подтверждая, что fertig. Впрочем, я лично уверен, что, по крайней мере, один из этих двух, Дэвис Тритш, через два года, на седьмом конгрессе, опять появится на кафедре, опять возьмет карандашик в руки и, помахивая им, начнет медленно и плавно:

Meine Damen und Herren...[27]

После этого отчет комитета был шумно утвержден, и мы разошлись.

Я изложил эти два дня как приватную борьбу Герцля против его недругов, потому что эти два дня, главным образом, имели такое зна-

[26] Теперь, я полагаю, мы с этими господами разобрались (*нем.*).

[27] Уважаемые дамы и господа!

чение. Все остальное явно стушевывалось перед этой борьбой, которой Герцль, как видно, решил раз навсегда расчистить перед собой дорогу. Несомненно, за кулисами своей деятельности Герцлю приходится преодолевать большое трение со стороны этой личной оппозиции; только этим и объясняется, почему он выказал в этой схватке столько вежливой жестокости, такое поистине мастерское умение уничтожить.

БАЗЕЛЬСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ[28]

«Мизрахи»

15(28) августа

Ортодоксальные «мизрахи» собрались в том же «малом зале» конгресса, где состоялось и заседание «Ibria». Об этой партии создалась заранее целая мифология. Говорили, что их прибыло больше ста человек, все в долгополых капотах и ермолках на макушке, все строго дисциплинированные приказом: «когда раввин Райнес подымет руку, подымайте руки все»! Говорили, что на свою Vorconferenz[29] они не допустят дам, а мужчин заставят надеть шляпы на головы; говорили, что они явились сюда с целью не допустить свободомыслия и пакостить свободомыслящим элементам и прочая и прочая. Вся эта мифология мифологией и оказалась. Действительно, их около ста человек, и большинство, действительно, в капотах и ермолках, и дисциплина у них, действительно, образцовая, но все остальное совсем не так страшно, как говорилось заранее.

Впрочем, прежде чем заговорить о собрании «мизрахи», надо сказать несколько слов о совещании группы так наз. «чисто политических» сионистов, которое имело ближайшее отношение к собранию «мизрахи», так как на последнем д-р Пасманник, один из «чисто политических», предложил ортодоксам коалицию со своей группой.

Для непосвященных некоторые подробности. Так называемая базельская программа сионизма включает четыре пункта: планомерную колонизацию Палестины, целесообразную организацию еврейского населения в разных странах, поднятие экономического, физического и духовного уровня евреев и дипломатические действия для получения Палестины и «чартера», т. е. гарантированной автономии. Из этих четырех пунктов каждая отдельная группа сионистов выбрала для себя разные пункты; некоторые больше налегли на «политику», т. е. на организацию и усиление денежных средств, другие – на «культуру», т. е. национальное воспитание, книгоиздательство, лекции и т. д. Приверженцы чистой «политики» находят, что сионистам как таковым незачем тратить силы и средства на всякие «подъемы уровней», когда важнее всего приобрести Палестину; поэтому на предпоследнем (V) конгрессе одессит Авиновицкий, видный лидер этой группы, заявил по адресу одного проектировавшегося сионистского книгоиздательства:

---

[28] «Одесские новости»; 20.08.1903.

[29] Предварительное совещание (*нем.*).

– Alle unsere Sympathien, aber Geld – kein Pfennig![30]

Видя, однако, что все 13 уполномоченных, которым предоставлено конгрессом руководить сионистским течением в России, продолжают радеть и о культуре, «чисто политические» затеяли раскол, который с особенной резкостью проявился именно в Одессе: одесская группа замыслила даже образовать собственную федерацию с собственным управлением, независимым от 13 уполномоченных. Поэтому с их стороны ждали больших резкостей на конгрессе, несмотря даже на то, что вопрос о «культуре», всегда вызывавший бесплодные раздоры, на этот раз предусмотрительно удален из программы VI конгресса. Однако страхи оказались ошибочными. По крайней мере, в совещании группы «чисто политических» ясно выразилось довольно миролюбивое настроение. Начали с чтения сочувственных писем, полученных в разное время от Герцля, Нордау, Марморека: но в письме Герцля говорилось об Einheit[31], в письме Нордау разъяснялось, что и так все сионисты без исключений – «политические», а в письме Марморека заключался призыв к Einigung[32]; и, соответственно этому, совещание выказало твердое намерение избежать всякого раскола в сионистской организации и ограничилось резолюцией, в которой «отвергаются всякие паллиативы – культурные, экономические и другие» и правоверные приглашаются заниматься «исключительно такой работой, которая *непосредственно* должна вести к достижению правоохранного убежища в Палестине»...

Один из журналистов, присутствовавших на этом совещании, обратился к председателю за одним разъяснением, которое в Одессе прочтут, быть может, не без внимания.

– Господа, – спросил он, – позвольте спросить: как же теперь о вас писать? В Одессе вы печатно называли себя «временным комитетом по устройству *федерации* политических сионистов» и таким образом заявляли о желании выделиться из общей организации; здесь вы говорите совсем другое. Здесь вы настаиваете, что не хотите никакого раскола, не желаете обособляться не только в федерацию, но даже во фракцию, даже в группу; один из вас выразился, что вы намерены только представлять «охранный отряд настоящего сионизма». И теперь мы не знаем, как о вас писать: с вашей же легкой руки мы привыкли называть вас «федерацией», но здесь оказывается, что это совсем не входит в ваши намерения... Как же прикажете называть вас?

Председатель ответил:

– Дело в том, что одесские наши товарищи сделали ошибку, предрешив самовольно вопрос о форме, в которую выльется наше направление, и пустив в ход название «федерация». На эту ошибку мы нашим одесским товарищам указали, и они признали ее...

Итак – все хорошо, что хорошо кончается. Опасность раскола оказывается, очевидно, устраненной с этой стороны.

Со стороны «мизрахи», которых тоже побаивались, эту опасность также можно считать устраненной; по крайней мере, в их намерения

---

[30] Все наши симпатии, но денег – ни пфеннига! (*нем.*)

[31] Единство (*нем.*).

[32] Единение (*нем.*).

она не входит – и об этом вслух заявил, открывая заседание, их вождь, старый раввин Райнес из местечка Лиды.

Раввин Райнес – интересный старик. Под его ермолкой скрывается, без сомнения, гораздо больше терпимости и понимания духа времени, чем под иными шляпами набекрень. Мне казалось минутами, что на лице его – когда речи касались партийных усобиц между ортодоксами и свободомыслящими – ясно читался стих из книги «Koheleth»: суета сует и всяческая суета. Ты веришь так, я верю иначе; может, и ты в душе не так веришь, и я в душе не так верю. Все проходит, меняются течения мысли – остается только вечная тоска бездомного народа, которому нужна родина, и это главное...

Раввин Райнес говорил на жаргоне и, открывая заседание, сказал:

– Пусть не думают, что «мизрахи» затем явились на конгресс, чтобы внести разлад и выжить вон всех других сионистов. «Мизрахи» явились сюда для того, чтобы доказать единение всех слоев еврейского народа в общем стремлении.

В этом собрании произошли два маленьких инцидента, в которых поверхностный наблюдатель увидит, быть может, проявления фанатизма. На меня, признаюсь, они произвели совершенно обратное впечатление.

Первый произошел с доктором Пасманником, представителем «чисто политических», который читал у «мизрахи» доклад о мелкой колонизации, предлагая обеим группам объединиться по этому вопросу. Едва доктор Пасманник произнес вступительные слова, как кто-то из первых рядов сказал:

– Наденьте шляпу.

Гости, которых было очень много, зашумели; сами «мизрахи» – действительно, сидевшие все в шляпах или ермолках – тоже встрепенулись. Но Пасманник нашелся.

– Господа, – сказал он, – я охотно надену шляпу для того, чтобы выказать свое уважение к этому собранию. Но если вы заставляете меня надеть шляпу для того, чтобы выказать мою набожность, то я не надену.

Любопытно было, что ответят «мизрахи» на эту ересь. И они ответили – рукоплесканиями и очень одобрительными возгласами; и Пасманник надвинул цилиндр на макушку и продолжал свой доклад.

Второй инцидент был вызван гостями, точнее гостьями.

Для не принадлежащих к группе «мизрахи» было отделено место в глубине зала, но они понемногу пробрались вперед. Среди них было несколько дам, которые очутились в самой гуще ортодоксов. Ортодоксы не протестовали, но так как гости и гостьи очень упорно производили шум, то вице-председатель – между прочим, студент бернского университета, но в ермолке – потерял, наконец, терпение и заявил:

– Обращаю внимание присутствующих на то, что по статутам «мизрахи» дамы не могут занимать места среди мужчин, а потому...

Поднялся шум. Кто-то кричал «pfui!», кто-то стучал ногами, кто-то протестовал. Тут встал раввин Райнес и заявил, что его молодой товарищ несколько неправильно истолковал статут: женщины, действительно, должны, по уставу «мизрахи», составлять кружки отдельно от мужчин, но это не относится к гостьям, и т. д.

Как наблюдатель со стороны я вынес из всего этого, повторяю, далеко не тяжелое впечатление. Ведь нет сомнения, что неправильное толкование статута «мизрахи» дал не ретивый вице-председатель, а сам Райнес, потому что устав категорически воспрещает женщинам сидеть между мужчинами. Раввин Райнес сделал натяжку, и эта уступка духу времени, на мой взгляд, так же глубоко характерна, как одобрительные возгласы по поводу еретического заявления Пасманника. Ортодокс не может не быть ортодоксом; но признание чужих убеждений и обычаев наряду со своими – это уже большой шаг вперед от фанатизма.

О самом докладе Пасманника я писать не буду; замечу только, что референт стоял за мелкую колонизацию и склонял, более или менее, к своей точке зрения и «мизрахи», но об этих вопросах я буду говорить полнее, когда на конгрессе дойдет до них очередь. На всех этих предварительных собраниях и совещаниях меня занимала, главным образом, группировка, физиономия и настроение отдельных элементов, определившихся в сионизме, тем более что в этом году опасались больших раздоров на конгрессе. Но я вынес отовсюду то несомненное впечатление, что, по крайней мере, добрые желания всех этих групп направлены не к раздору, а к единению. Даже пресловутая молодая фракция, enfant terrible[33] более пожилых и оседлых сионистов, настроена миролюбиво, и в ее совещаниях настоятельно указывалось на то, что фракционная программа уместна вне конгресса, но не на конгрессе, где роль фракции ограничивается умеренной оппозицией. Совместно с некоторыми делегатами без определенного ярлыка фракция образовала «левое крыло», которое будет на конгрессе поддерживать некоторые практические требования: назначение жалованья уполномоченным, большую терпимость со стороны редакции официальной газеты «Welt» и т. д...

В конце концов, конечно, единения не будет, да оно и не нужно; а будет именно то, что нужно – более или менее мирное сотрудничество. Возникновение отдельных течений в сионизме не есть явление беспочвенное: оно вызвано потребностями жизни. Кто привлек бы к сионизму фанатические массы литовских местечек? Герцль и Нордау для них – эпикурейцы, которые едят трефное и с которыми нельзя иметь ничего общего. Только благодаря посредничеству «мизрахи» к движению, организованному интеллигенцией, начинают примыкать низшие слои населения, но точно так же нужно особое посредничество и для привлечения интеллигентной свободомыслящей молодежи. «Мизрахи» полезны на своем месте, фракция на своем, «чисто политические» на своем...

Само собой, вопрос о «культуре» не так прост, как уверяют последние. Несомненно, главная задача – добиться земли, но отказаться от «культуры» значило бы внушить массам, что сионисты только берут у них силы и средства, но ничего пока им не дают. В самом деле, до тех пор, пока не будет земли, сионисты ничего не могут дать массе, если не дадут ей школы, книги, читальни, лекции, т. е. именно того, что понимается под словом «культура», и им придется, действительно, только брать у населения деньги да рекомендовать терпеливое ожидание – с риском, что «культуру» вместо сионистов дадут недруги сионизма. Это

[33] Несносный ребенок (*фр.*).

было бы непростительно, не говоря уже о том, что иные «культурные» предприятия – например, университет в Палестине, за который ратует лидер молодой фракции, д-р Вейцман, и против которого отчаянно ратуют «чисто политические», имели бы прямо крупное политическое значение. Тем не менее, «чисто политические», при всей их односторонности, являются очень полезным элементом как предостережение от чрезмерных культуртрегерских увлечений, как постоянное напоминание о главной практической цели.

Единственное, что в этих течениях нехорошо, – что каждое из них больше старается очернить чужую программу, чем активно развить свою. Пережиток прошлого столетия, осколки старой нетерпимости, учившей, будто нельзя спокойно дуть в свою дудку, не изрыгая хулы на дудку соседа. Не в том успех, чтобы отбить клиентов у соперника, а в том, чтобы навербовать себе собственных.

Мудрый выбирает середину, говорили в старину. В настоящее время следовало бы сказать: мудрый остается свободным. Не приписываясь ни к какой роте, не предрешая ничего заранее, он упрямо и трезво, в каждую данную минуту, выбирает то средство, которое лучше ведет к цели, и идет своей дорогой, не оглядываясь ни направо, ни налево, никому не стараясь понравиться, твердо замкнувшись в героическом эгоизме, руководимый одним принципом: во что бы то ни стало…

БАЗЕЛЬСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ[34]

III. Герцль и Neinsager'ы

Базель, 28 августа

Чем больше я думаю об этой Ост-Африке, тем глубже понимаю трагизм этого момента.

Собственно говоря, здесь столкнулся русский сионист с западноевропейским, или, вернее, восточный еврей с западным. Западному еврею живется более или менее сносно. Гром не грянет, мужик не перекрестится; только в беде люди вспоминают об идеалах. Это, конечно, не значит, что идеал есть нечто отрицательное, рецепт бегства: это просто означает то, что сытый черствеет. Еврейское простонародье, которого на Западе мало, в разных смыслах более или менее сыто; памятуя доброе старое время, оно довольствуется этой сытостью и старается делать поменьше шума. Но далеко не сыт западноевропейский еврейский интеллигент. Я считаю даже, что он в известном смысле голоднее восточного интеллигента.

Западные делегаты почти все люди с высшим образованием; среди делегатов из России гораздо ярче выступает элемент простой и даже простонародный. Сионизм на западе есть движение докторов философии, сионизм на востоке есть движение масс. А докторам философии не до Иерусалима. Им нужна просто территория – по возможности удобная – где можно было бы чувствовать себя первого разряда «граж-

[34] «Одесские новости»; 23.08.1903.

данином», как выразился здесь Нордау. Что касается до духовной связи с Палестиной, то доктора философии достаточно скептики, достаточно самоуверенны и поверхностны, чтобы считать все это баснями и мечтательством. Конечно, будь Палестина под рукой, они предпочли бы ее Африке; но если бы им предложили на выбор заселить на автономных началах или Висбаден, или Иерусалим, – кто знает…

В России другой сионизм. Я считаю Россию удивительной страной: здесь живут лучшие из славян и лучшие из евреев. Лучшие в том смысле, что наиболее сильные, наименее покорившиеся той покорностью, которую Ахад-Гаам назвал у западных «израэлитов» рабством в свободе. Оттого именно, что еврейской массе в России особенно тесно, оттого ее желания и мечты – под внешней безнадежностью – особенно смелы. Гадкий паразит на теле цивилизации – дешевый скептицизм – еще не проточил насквозь ее первобытной наивности, и в глубине души она верит в пророчество в полном объеме: в настоящий Сион, что в Палестине, – в землю, которая была землею дедов наших и будет землею наших детей.

Первая книжка Герцля называлась не «Сион», а «Еврейское государство». Герцль выступил территориалистом. Но на его призыв отозвались палестинофилы, и так как в то время все равно никакой другой земли в виду не было, Палестина, без большого сопротивления, была введена в базельскую программу. Но едва оказалось, что есть другая страна, легче доступная, – замазанная трещина проявилась. Доктора философии приосанились и вспомнили, что им, собственно говоря, наплевать. Палестина никогда не входила в их мировоззрение. Им нужно еврейское государство, и баста. Всего этого я не отношу к Герцлю, – но о Герцле ниже.

Доктора философии приосанились, и за ними пошла определенная часть делегатов от востока, – та часть, которая ближе подходила к ним по общему настроению. Пошли «чисто политические», которые давно заявили, что национальная культура – дело третьестепенное и даже совсем неважное. Пошли несколько буржуев буржуйского вероисповедания, которые и прежде «вообще не понимали, при чем тут Палестина», и смотрели на все движение сквозь старые филантропические очки, не постигая, что здесь люди хлопочут не о новом когановском здании дешевых квартир, а о цельном возрождении. Пошли «мизрахи», ибо вообще никогда не сомневались, что в Сион поведет не Герцль, не пробужденное им народное движение, а Мессия, на белом коне и с трубой, как обещано; а что касается до Герцля, то ежели он поможет нескольким тысячам эмигрантов сносно устроиться в Африке – и за то спасибо…

Только те, кто пришел на конгресс выразителем настроения массы, настоящей скорбящей массы, те только устояли. Устояли делегаты от ремесленников, от приказчиков, от рабочих; устояла студенческая молодежь, потому что молодежь всюду и всегда носит в себе разгаданную идеологию народа. Эта молодежь выработала себе – худо ли, хорошо ли – целое мировоззрение научного национализма, в которое Сион входил краеугольным камнем. Устояли семь уполномоченных, люди чуткие и вдумчивые; близкие к этой молодежи, ибо еще недалеко отошедшие от молодости, и через эту близость родственные массе.

Я, конечно, знаю, что до сих пор едва ли один процент еврейского населения в России платит шекельный сбор, то есть принадлежит к сионистской организации. Но мне кажется, тем не менее, неоспоримым наше право рассматривать сионизм – палестинский, а не африканский сионизм – как настроение массы, как эманацию народного стремления и народной воли. Масса молчалива, она не говорит, но думает, и сионизм угадал именно то, что она думает. Да и не трудно было угадать. Во дни скорби, на чужбине, о чем могут мечтать люди, как не о родине, воспетой и благословенной во всех божиих книгах, одаренной чудесными сказаниями, хранящей развалины святынь, данной пращурам, отнятой у дедов и обетованной внукам? Надо *не хотеть* понять, чтобы не понять необходимости, неизбежной стихийной необходимости этой народной мечты.

И оттого именно, что она стихийна, удар, ей нанесенный, так больно отозвался на ее поборниках. Выход из залы после голосования действительно не был демонстрацией. Уговору не было. Как древние от большого горя или большого стыда закутывали голову плащами, так эти Neinsager'ы[35] (здесь им дали такое прозвище) сразу почувствовали необходимость уйти от этих чужих людей, спрятать свое горе. Они плакали от того же, от чего за трое суток до этого дня ходили, как сами не свои, с тяжелым беспокойством в душе, как сказал Членов: «в сердце моем грубо дотронулись до чего-то такого, до чего нельзя было, не надо было дотрагиваться...»

Были там люди, много поработавшие для сионизма и, во всяком случае, тесно сжившиеся с этой надеждой. Они уже так реально любили Палестину и твердо верили, что при жизни ступят гражданами на ее почву. Если бы еще двадцать лет подряд султан отсылал Герцля ни с чем, они только говорили бы себе: это не беда, авось, следующая попытка удастся, а пока будем работать. Но часто тех, кого не пугают неудачи, пугает соблазн. В ту минуту, когда перед ними ясно предстала угроза соблазна, опасность измены, – они почувствовали боль, которую всякий, испытавший ее в тот день вместе с ними, смело назовет невыносимой. Это было невыносимо, потому что было ясно, как легко многие и слишком многие из самой массы, гонимые нуждой, согласятся оторвать лучшую половину своей стихийной мечты и помириться, так сказать, на гривенник за рубль. Для людей, сросшихся с мыслью о Палестине, почти физически уже дышавших ее воздухом, это было невыносимо. Ибо, я думаю, тяжело сносить удары судьбы, но еще больнее и тяжелее, если даже улыбка судьбы является ударом, если даже удача грозит разбить надолго что-то такое, «до чего не надо было дотрагиваться».

Вдумайтесь, если можете, в трагедию племени, дети которого должны плакать на лестнице в день своего первого, за 18 веков, политического успеха.

Вечером того дня Neinsager'ы собрались на совещание. Посторонних и Jasager'ов[36] не впускали, пустили только Герцля, который заявил

[35] Neinsager (нем.) – буквально: говорящий «нет», т. е. выступающий против.
[36] Jasager (*нем.*) – буквально: говорящий «да», т.е. выступающий за.

желание объясниться, да Зангвилля, который, хотя и ответил на голосовании «да», но был сильно потрясен всем этим событием.

До прихода Герцля говорили уполномоченные: Темкин, Коган-Бернштейн, Якобсон. Делаю сводку того, что они выяснили.

. – Когда нам в собрании большого Aktions-Comité прочли формулу резолюции о комиссии и экспедиции, мы стали настаивать на изменениях. Мы требовали, чтобы экспедиция не была отправлена без предварительного созыва большого Aktions-Comité и чтобы точно так же по возвращении экспедиции результаты ее были предъявлены большому А.-С. до созыва специального конгресса. Герцль ответил, что это неудобно, и за ним большинство совещания тоже повторило, что это неудобно. Тогда мы заявили, что будем вотировать на конгрессе против этой формулы. Герцль ответил, что это будет давлением с нашей стороны на делегатов из России, и тут же большинство голосов решило, что члены Aktions-Comité не будут отдельно вотировать. Тогда мы потребовали, чтобы заявление о нашем несогласии было прочитано до голосования; Герцль ответил, что это неудобно и что он может прочесть заявление только после голосования…

– Нам пришлось подчиниться. Мы, конечно, могли до начала голосования встать и демонстративно сойти, все семеро, с трибуны. Может быть, это и был наш долг; может быть, мы этим и перетянули бы большинство на сторону «nein». Но мы считали, что это было бы некорректно, что это было бы именно явным давлением на вашу свободную волю. Оттого мы остались на трибуне и не протестовали.

– Если мы, после всего, поднялись и ушли, это не было демонстрацией; мы не сговаривались заранее между собою. Это вышло непроизвольно, и так оно и должно быть заявлено конгрессу, в который мы, конечно, завтра вернемся, потому что единство организации для нас должно быть дороже всего.

– Что касается до нас, уполномоченных, то нам, я думаю, надо выйти из состава А.-С. Наша роль как членов большого исполнительного комитета вообще всегда сводилась почти к пустой фикции. Вы знаете Герцля; как личность редкой силы он подчиняет всех вокруг себя своему влиянию, и протест меньшинства бессилен что-нибудь изменить. Теперь же, после всего, что произошло, нам прямо неудобно оставаться в Aktions-Comitè; выберите других уполномоченных…

После уполномоченных говорил одессит Дизенгоф.

– По-моему, – сказал он, – надо, не теряя головы, поправить, что можно. Во-первых, наши уполномоченные должны остаться в большом Aktions-Comitè. Во-вторых, в малый Aktions-Comitè надо тоже провести кого-нибудь из наших, а то с немцами Герцль делает, что ему угодно. Затем надо добиться следующих поправок к сегодняшней резолюции: деньги на экспедицию не могут быть взяты из шекельных сумм; большой А.-С. должен быть созван и до отправления экспедиции, и по ее возвращении. А потом, когда будем говорить о национальном фонде, надо добиться, чтобы конгресс принял решение начать закупку земли в Палестине сейчас же, не дожидаясь накопления пяти миллионов франков. Все это пока создаст достаточный противовес Ост-Африке, а там – посмотрим, чья возьмет…

Явился Герцль. Зная нашу публику, председательствовавший адвокат Розенбаум предупредил ее, что теперь неудобно встречать «кого бы то ни было» аплодисментами; и я полагаю, что, несмотря на все искреннее огорчение, для многих это предостережение пришлось кстати. По крайней мере, при входе Герцля они усердно зашикали друг на друга, точно боясь, что кто-нибудь вот-вот прорвется и захлопает под привычным гипнозом. Герцль понял смысл этого взаимного «цыц!», чуть-чуть улыбнулся, чуть-чуть вскинул глазами на публику, протеснился к столу и сел рядом с председателем на чье-то волшебным образом освободившееся место.

Уверяют, что внешность этого человека играет большую роль в том обаянии, которым он, несомненно, пользуется. Не берусь судить, насколько это правда; думаю, впрочем, – и я об этом уже писал, – что секрет его силы лежит не в одной какой-нибудь его особенности, а во всем ансамбле его натуры, которая вся как-то прилажена так, что нет ничего лишнего и ничего недостающего. В этот ансамбль входит, конечно, и внешность; во всяком случае, это внешность замечательная, хороший образчик того типа, который лучше всего передается латинским словом vir[37]. Герцль это знает и, как всякий крепко уверенный в себе человек, или не позволяет себе, или не дает себе труда кокетничать.

Все это меня очень занимало именно здесь. Повторяю: личность Герцля – карта, на которую сионизмом поставлена огромная ставка, и не интересоваться этой личностью тому, кто интересуется сионизмом, немыслимо. Именно здесь, куда он явился без фрака, без молотка и трибуны и всей той помпы, которая на конгрессе отделяет его от публики, явился просто как делегат от одного из кишиневских кружков, объясняться и чуть ли не оправдываться, – именно здесь меня до любопытства интересовало, как он будет держать себя, какими средствами будет подчинять себе слушателей, не собьется ли с тона, не споткнется ли.

Он попросил, чтобы ему передали, что здесь говорилось до него. Когда ему сообщили о предложении Дизенгофа – ввести в малый А.-С. кого-нибудь из Neinsager'ов, он опять вскинул глазами и наполовину резко, наполовину иронически спросил:

– Надзирателя?

Потом встал, попросил, чтобы было тихо, и произнес речь, которой я не записал и попробую передать так, как помню.

– Я нахожу, – начал он, – что ваше заявление о недемонстративном характере вашего ухода из зала доказывает известную политическую зрелость. Я подумал было там, на конгрессе, что это демонстрация, и хотел так же игнорировать ее, как игнорировал на прошлом конгрессе массовый уход фракции. Но мне прибежали сказать: эти люди там плачут! Тогда я понял, что вы не демонстрировали, а ушли по невольному движению, потому что вам почудилось нарушение базельской программы. Оттого я и пришел к вам объясниться. Это недоразумение. Базельская программа остается неприкосновенной и цельной.

Я был в этом году в Константинополе; я был там гостем султана. Султан умеет принимать гостей: он дает им дворцовые экипажи и

[37] Здесь: настоящий мужчина (*лат.*).

дворцовые ялики для переезда в Ильдыз-Киоск; он дает им ордена и осыпает их любезностями. Все это, может быть, оглушило и отуманило бы кого-нибудь другого; я же всмотрелся в этот туман и сказал себе:

– Эти люди хотят меня перехитрить. Здесь я ничего не добьюсь.

Конечно, если бы я мог привезти с собою большие суммы, тогда, может быть, на меня посмотрели бы иначе. Но по этому поводу я вспомнил одну старую историю. Это было в 1901 году. Я тогда тоже был в Константинополе и увидел, что момент удобный и что, имея 15 миллионов, можно добиться чартера. Тогда я поехал в Лондон и заявил об этом, и сочувствующие раскупили акции нашего банка ровно на 80 тыс. Восемьдесят тысяч вместо 15 миллионов. Понимаете? Когда на такие призывы дают *такие* ответы, тогда надо все-таки быть сдержаннее в критике, чем это принято в нашей организации.

Таково мое положение. Денег вы мне не даете. Остается дипломатия; но ведь я увидел за эти последние два дня, как вы мне помогаете, как вы меня поддерживаете в моих дипломатических попытках!

Я обдумал в этот последний приезд в Константинополь все шансы за и против и сказал себе: терпение, попытаемся в другом месте. И тогда я начал переговоры о Вад-эль-Арише, который когда-то считался частью Палестины. Переговоры шли удачно, но сам Эль-Ариш оказался неподходящим. Я был потрясен. Тогда английское правительство само предложило мне Ост-Африку.

Господа, вы простите мне, быть может, преувеличенную оценку этого шага, но я старый поклонник английского народа. Это предложение тронуло меня до глубины души. Это был прекрасный поступок, на который способна только культурнейшая из наций. Я хорошо понимаю психологию этого поступка, и оттого его красота только выигрывает в моих глазах. Я понимаю, что Англия, вынужденная теперь закрыть доступ в королевство еврейской эмиграции, глубоко чувствовала, как этот образ действий противоречит старинному и священному праву убежища, которым Англия всегда гордилась. И она сочла своим долгом предложить еврейскому народу компенсацию; и форма этой компенсации явилась, говорю вам, историческим моментом, эпохой в летописи нашего народа, фактом, на который отныне мы можем ссылаться как на неопровержимое доказательство нашего национального значения.

Господа, был уже момент, когда я хотел прийти на конгресс и сказать вам – потому что я не хлопочу о сторонниках и аплодисментах, а говорю всегда прямо то, в чем убежден, – сказать вам: я потерял всякую надежду добиться Палестины! Я уже хотел заявить вам это, и только Нордау уговаривал меня не отчаиваться и выжидать. Он оказался прав: как раз в это время мне пришлось поехать в Петербург, и там я получил обещание, что Россия поддержит нас перед султаном. Это изменило мое настроение: я снова увидел надежду. Правда, благодаря этой поддержке я, вероятно, потеряю половину «дружеского расположения» в Константинополе: прежде гонимый еврей обращался к гонимому турку, а теперь еврей заручился христианским содействием, и турку это не может нравиться. Но не в том дело, буду ли я там по-прежнему ездить в придворной коляске или в наемной, а в том, добь-

юсь ли я чего-нибудь положительного; и надежда на это, повторяю, опять явилась. И оттого я, открывая конгресс, сказал вам, что мы по-прежнему будем домогаться Сиона. Но неужели из-за этого можно было ответить англичанам форменным отказом даже без рассмотрения их проекта? Не говоря о всем прочем, вы этим шагом поставили бы меня в ужасное положение: никто не захотел бы дальше вести со мною переговоры, раз я не обладаю влиянием даже настолько, чтобы конгресс серьезно изучал получаемые мною предложения...

Я нарушил базельскую программу? Никогда! Не я, а другие сто раз нарушали ее – нарушали, когда выделялись во всякие группы и фракции с совершенно посторонними задачами. Я же стоял и стою на почве базельской программы: но мне нужно доверие, а не подозрительность, потому что без доверия нельзя быть вождем. И вот что я вам еще скажу. В этом учреждении, которое я создал (позвольте мне сказать это, потому что это правда), в этом учреждении я оставил для себя только одно: возможность во всякую минуту сойти со сцены. Вы можете когда угодно удалить меня; я без ропота вернусь к давно, поверьте, желанному покою частной жизни. Но желаю вам одного: чтобы люди после этого не имели права сказать, что вы несправедливо поняли мои намерения и что вы мне заплатили неблагодарностью»...

Герцль говорил, как всегда, спокойно, выразительно, без всяких ораторских приемов, вполне владея собою; в каждом слове слышалась уверенность в себе, и, стоя перед своей оппозицией, он не стеснялся говорить с нею резко и в то же время снисходительно, как власть имеющий, почти как старший с ребенком; были моменты, когда я думал, что сейчас раздадутся протестующие голоса – но эти голоса не раздавались. С первых фраз его, по тому выражению, которое приняли почти все лица в этом зале, по той особенной тишине, которая сейчас же установилась, я понял все значение исторической фразы Ломоносова:

– Скорее академию можно отставить от меня, чем меня от академии.

Когда Герцль ушел, совещание продолжалось. Направление было практическое: поддерживали и дополняли предложения Дизенгофа, стремясь вырвать у конгресса в виде компенсации за Ост-Африку утверждение немедленной работы в Палестине и для Палестины. Некоторые речи я запомнил.

Говорил один из видных фракционеров:

– Для меня ясно одно: человек, который должен быть нашим вождем, не имеет в душе той искры, которая присутствует у нас всех. Он сердцем не наш. Когда Ахад-Гаам приложит печать, ее уже не сорвешь: Ахад-Гаам был прав – Герцль не наш сердцем. Положение сложилось так, что нам нельзя быть без этого человека. Он должен вести нас, а он не наш; в этом целая трагедия, но мы бессильны ее поправить. Я никогда не был оппортунистом, а теперь я оппортунист, потому что остаюсь в этой организации, которой руководит – и *должен* руководить – чужой человек, но я не могу уйти, потому что я посвятил всю свою жизнь этому делу и вне сионистской организации – я мертвец...

Затем говорил уполномоченный Членов. Членов не оратор, но никого не слушают здесь среди такой глубокой тишины, как его: у него в

голосе какая-то тихая, вдумчивая задушевность, которая невольно заставляет сосредоточиться.

– Товарищи, – сказал он, – обдумаем трезво наше положение. Не надо отчаиваться и падать духом. Я не оптимист и не пессимист. Я знаю Герцля с первого конгресса и говорю вам, что с каждым годом этот человек все больше и больше освобождается от печати ассимиляторского воспитания, все больше научается любить и ценить еврейство не головою только, но и сердцем. Он наш. И среди Jasager'ов были многие, которые после на лестнице плакали вместе с нами; они тоже наши, мы найдем в них, вернувшись на родные места, добрых и верных товарищей в борьбе за Сион. Не падайте духом. Горе, которое мы пережили сегодня, должно укрепить нас. Не в том дело, чтобы практически учесть это горе, получить за него в виде выкупа мелкую колонизацию Палестины или что-нибудь в этом роде; горе не учитывается. Но значение его в том, что сегодня мы, быть может, впервые ясно поняли, как дорог нам Сион, и мы этого никогда не забудем. Ради Сиона сплотитесь воедино, не дробите нашего движения, не допускайте раскола. Мы завтра вернемся в зал конгресса и сохраним единство организации, чтобы работать по-прежнему для достижения Палестины. Мы ведь и раньше смотрели на движение не совсем так, как доктор Герцль: мы видели залог успеха не в одной дипломатии, а прежде всего в укреплении сознательного народного стремления к Сиону. Эта задача остается перед нами и после шестого конгресса; будем же работать…

После Членова говорил уполномоченный Коган-Бернштейн:

– Я не вижу для нас ни возможности, ни смысла уйти из организации. Мы должны остаться, и Герцль должен остаться. Наше движение возникло из народного духа, но, по многим своим особенностям, оно не может развиваться без вождя, а для роли вождя, вы сами знаете, у нас нет пока другого человека. Ахад-Гаам упрекал нас в негритянском фетишизме перед Герцлем; если это, с внешней стороны, и правда, то не забывайте, что фетишизм есть уже первая ступень культуры – стадия, через которую надо пройти, чтобы двинуться дальше. Вызвать раскол в организации значило бы сдаться. Мы должны вернуться на конгресс и продолжать работу…

Совещание постановило: вернуться на конгресс; прочесть заявление, что Neinsager'ы считают учреждение комиссии об Ост-Африке несоответствующим базельской программе; добиться созыва большого А.-С. до и после экспедиции; добиться назначения комиссии для детального исследования Палестины, с определенным бюджетом; добиться немедленной закупки земли в Палестине из средств национального фонда.

На другой день все это действительно было приведено в исполнение.

На этих столбцах несколько раз упоминалось имя Ахад-Гаама. Действительно, минутами казалось, что дух этого публициста витает над шестым конгрессом. Большая публика не знает Ахад-Гаама: он пишет на древнееврейском языке. Здесь не место говорить о нем подробно; скажу только несколько слов именно о данном случае.

В сионизме есть две тенденции. Одну представляет Ахад-Гаам, другую Герцль. Герцль – практик, верующий в историческое значение личности; быть вождем сионизма значит для него, главным образом, добиваться такой комбинации, которая побудила бы власть имущих уступить еврейскому народу ту землю, которая ему нужна. Ахад-Гаам считает все это фантазией. Он не верит в чудотворное действие переговоров. Он требует медленной систематической работы возрождения еврейского духа; он хочет прежде вынести еврейство из духовного рабства, сделать его сознательным и национально гордым, и только тогда оно сможет реально добиться Палестины, завоевать ее – как сказано в псалме – «не силой, не воинством, а духом». Вся борьба «культуртрегеров» с «чисто политическими» была, собственно, столкновением этих двух тенденций. Теперь они обе особенно ярко выступили наружу: Jasager'ы пошли за Герцлем, Neinsager'ы вспомнили об Ахад-Гааме.

Люди, промышляющие почитыванием книжек, настаивают, конечно, что точка зрения Ахад-Гаама научнее точки зрения Герцля. Я, собственно, мог бы сказать, что обе не «научны». Прочно возродить национальную культуру без предварительного сплочения масс на одной территории – это с «научной» точки зрения все равно, что посеять репу в воздухе. Но я вообще полагаю, что мерка научности неприменима к политическим вопросам современности; историко-философские теории могут до некоторой степени уяснить прошедшее, но не могут регулировать настоящее. История имеет свои законы, но нам, смотрящим на нее снизу, она еще долго будет казаться сцеплением случайностей. Такая же случайность, какая сегодня отдала Герцлю Ост-Африку, завтра может отдать ему Палестину. Политика есть игра «случайностей», в которой у сильного и умного человека всегда есть, по крайней мере, 50 шансов выиграть – если только он *хочет* выиграть. Я вижу правоту в точке зрения Ахад-Гаама, я вижу правоту в точке зрения Герцля. Я думаю, что один помогает другому, что оба с разных концов жгут одну и ту же свечу – светильник еврейского скитания, – и тем скорее она догорит…

Герцль еще может выиграть Палестину, если только он еще хочет выиграть ее, и вопрос, который не высказан, но который всех наиболее занимает и мучит, есть именно вопрос о том, хочет ли еще Герцль выиграть Палестину, будет ли он еще добиваться Палестины. Если бы не этот вопрос, то все так в один голос не повторяли бы, что Герцль должен остаться вождем; для чего был бы он так нужен палестинофилам, если бы не было надежды, что он все-таки ведет свою сложную игру ради Сиона, а не ради другой земли?

Я выше сказал, что не отношу к Герцлю всего написанного мною о психологии среднего западноевропейского сиониста. Средний западный сионист – трезвый и немножко вульгарный практик, которому нужна удобная территория и больше ничего. Герцль – личность совсем другого полета, практик иного сорта. Он практик в выборе средств, но он слишком выдающийся человек, чтобы не быть поэтом и идеалистом в своих целях. Этот человек был бы неполон, не целен, был бы недостаточно честолюбив, если бы не мечтал всеми силами души совершить подвиг во всей его цельности, чтобы история записала, что Теодор Герцль на своих плечах пронес и *целиком* осуществил то, о чем целый

народ молился в течение долгих веков. Я убежден, что Сион для этого человека страшно дорог, дороже, чем для многих и многих, именно потому, что перспектива возрождения Сиона гораздо заманчивее, бесконечно грандиознее простой колонизации первого встречного закоулка. Возрождение Сиона не имело бы примера в истории; заселить Ост-Африку значило бы только повторить барона Гирша в исправленном издании и увеличенном формате. В день, когда бы Герцль увидел, что надежда на Сион окончательно рухнула, что ничего, действительно, не остается, кроме Ост-Африки, – он испытал бы страшное горе, потому что это было бы крушением колоссально честолюбивой мечты, превращением из вождя в простого организатора большой эмиграции.

Я вынес глубокое убеждение, что Герцль еще ведет игру и не сложил оружия; может быть, он уже готовит себе в Ост-Африке почетную капитуляцию на случай последнего провала, но он еще далеко не отказался от надежды воплотить мечту Израиля во всем ее головокружительном величии.

Я думаю, что это мое впечатление может быть признано вполне беспристрастным, потому что для меня лично Герцль далеко не представляется такой неотделимой частью в организме сионистского движения, как думают другие. Для меня лично Герцль – один из козырей движения, очень большой козырь; но я твердо знаю, что если бы этот козырь и был потерян, игра пошла бы своим порядком, ибо корень сионизма в глубине еврейского духа. Сионизм ведет к Палестине; я уверен, что Герцль пока ведет туда же; в день, когда Герцль откажется вести к Палестине, движение перешагнет через него и пойдет, неудержимое, дальше по старому пути.

ТОЛСТЫЙ ПЕППИНО[38]

Нас познакомили 3 года тому назад.

Я увидел перед собой массивного господина лет тридцати, с давно выбритым толстым подбородком и добродушными глазами.

– Professore такой-то.

Потом оказалось, что professore значит школьный учитель. Это здесь принято. Ребят из детского сада иногда именуют studenti elementary.

Мои приятели, впрочем, называли его «толстый Пеппино», и я тоже скоро устроился с ним на *ты* и стал называть его:

– Толстый Пеппино.

Мы часто встречались. Я ходил за своими письмами на почту, а он всегда был на площади между почтой и кафе Араньо.

Он стоял на тротуаре, массивный и грузный, потягивая желтыми зубами окурок сигары, а возле него скромно помещался маленький, тоненький, желтенький человечек, его кузен Гаэтано, неразлучный друг, приживальщик и адъютант, – 'u cuginu Tanu, как он называл его на своем сицилийском наречии.

Когда я проходил мимо Пеппино, он отзывал меня в сторону.

[38] «Одесские новости»; 3.09.1903.

– Мируццу, душа моя, – говорил он почти шепотом, – одолжи мне пол-лиры. Клянусь честью моего отца, что со вчерашнего вечера я, моя синьора и кузен Тано ничего не ели.

Когда у меня было, я давал ему пол-лиры и спрашивал:

– Ну что, Пеппино, все не наклевывается местечко?

– О! Наклевывается. Я поджидаю здесь депутата Ваккари – он должен выйти от Араньо, и тогда я его остановлю. Он обещал мне похлопотать у товарища министра.

– Браво. А скажи, депутат Кьяннетти, который тоже хотел похлопотать, ничего не сделал?

– Депутат Кьяннетти мерзавец. Он меня водил за нос и даже не говорил с товарищем министра.

– А депутат Уччелли?

– Депутат Уччелли негодяй. Он три раза велел мне явиться к нему на дом и три раза меня не принял.

– А что если Ваккари?

– Нет! Ваккари не таков. Э, Мируццу, душа моя, – Ваккари совсем не то, что Кьяннетти или Уччелли. Ваккари порядочный человек.

– Что ж, это хорошо. А скажи, Пеппино, сколько времени ты уже бродишь без места?

– Пять лет, Мируццу, душа моя, 5 лет. С тех пор, как у нас в деревне я стал бороться с патерами и патеры меня выжили из школы, я никак не могу добиться местечка. Сколько страданий мы вынесли за это время – я, моя синьора и кузен Тано, – клянусь тебе честью моего отца, не перечесть... А! Бьет 11 часов. Тано! Ступай. Я тебя здесь подожду.

Желтенький Тано доставал из кармана аккуратный пакет, размеров небольшой брошюры, просматривал, верно ли и красиво ли надписан адрес, и вежливо прощался со мною, говоря:

– Свидетельствую мое совершенное уважение и почтение.

Когда он удалялся, Пеппино полушепотом объяснил мне:

– Видишь ли, Марущу, душа моя, – у меня остались нераспроданные экземпляры моей одноактной драмы «Праведник». Я посылаю по экземпляру разным лицам – министрам, депутатам, гласным думы – и прилагаю письмо с описанием моего положения и просьбой купить. Так иногда перепадает в день лира или две. Теперь я послал Тано с книжкой и письмом к синдику дон Просперо Колонна. У него с одиннадцати прием...

Пеппино был драматург, драматург чистой воды.

Он когда-то написал на родном диалекте драму «Под землею», из жизни сицилийской серной копи; она шла с большим успехом во всей Сицилии, потом была переведена по-итальянски и давалась во многих столицах полуострова.

Но у Пеппино не хватило 12 франков, чтобы вовремя записаться в общество драматических авторов, поэтому не все театры ему платили.

Потом пьеса сошла с репертуара и забылась, но Пеппино зазвал меня однажды к себе и прочел ее. Пьеса была хорошая – наивная и сильная, а читал Пеппино как виртуоз, сам волнуясь и заставляя волноваться...

Так шли дни и месяцы; я ходил на почту и встречал Пеппино на посту: он поджидал депутатов, а кузен Тано, желтенький и церемонно

вежливый, шнырял по городу с экземплярами «Праведника». Пеппино брал у меня несколько сольди и ругал депутатов.

Местечко не наклевывалось. От времени до времени то или другое министерство отпускало Пеппино субсидию лир в 50, и Пеппино бывал счастлив, но не покидал своего поста на площади Сан-Сильвестро между почтой и кафе Араньо. Я думаю, что это у него стало привычкой.

Однажды я шел с почты очень печальный.

Пеппино окликнул меня:

– Здравствуй, Мируццу, душа моя.

– Здравствуй, толстый Пеппино.

Он посмотрел мне в лицо и вдруг стал серьезным:

– Мируццу, душа моя, отчего у тебя такие грустные глаза?

– У меня не осталось денег, Пеппино, я сижу без гроша.

Лицо Пеппино стало еще серьезнее. Он взял меня за руку и отвел в уголок.

– Мируццу, душа моя, – сказал он, вглядываясь в меня, – ты сегодня пил кофе с молоком?

– Нет, Пеппино.

В глазах у толстого Пеппино проступило что-то нежное и материнское. Он заговорил вдруг на сицилийском диалекте, который напоминал мне всегда говор обиженного, жалующегося ребенка.

– Почему же ты, Мируццу, забыл, что у тебя есть друг – толстый Пеппино? И тебе не стыдно быть таким нехорошим? Тано!

Тано подбежал.

– Когда пойдешь с «Праведником» к командиру Тицио, забеги по дороге домой и скажи Санте, что в два часа дня Мируццу будет обедать у нас.

Тано склонил головку на бок и произнес:

– Наш убогий кров и его скромные обитатели будут осчастливлены посещением столь чтимого и высокого гостя. Мчусь на крыльях восторга.

И ушел.

Пеппино повел меня в bar и заплатил 10 сантимов за мой кофе с молоком и еще 10 сантимов за мою сладкую булочку маритоццо.

Потом, когда мы вышли, он опять посмотрел мне в глаза с проблеском материнской нежности, взял мою руку в свои толстые, уютные, теплые лапы – они оставались теплыми даже в самую лютую зимнюю трамонтану, когда Пеппино стоял у почты без пальто, – и спросил:

– Сыт? Ничего больше не хочешь, Мируццу, душа моя?

В два часа мы обедали у него.

У него была только одна комната с двумя постелями и диваном: на постелях спали Пеппино и синьора Санта, а на диване кузен Тано; возле дивана стоял ящик с рукописями Пеппино и нераспроданными экземплярами «Праведника».

Синьора Санта была простая, необразованная, мешковатая сицилийка, тоже лет 30. Она всегда сидела дома, починяла и стирала. Пеппино ходил в трамонтану без пальто, но у него всегда были чистые башмаки и чистые воротнички; белье у него было старое, но держалось крепко, потому что синьора Санта стирала его без извести. Синьора

Санта сама пекла раз в 10 дней большие хлебы, как будто в деревне, и покупного хлеба они не признавали; и макароны у синьоры Санты выходили сваренными в самую пропорцию, а это очень трудно.

Она наложила мне в тарелку ужасно много макарон, а когда я стал спорить, улыбнулась и сказала на диалекте:

– Ведь я вам почти ничего не дала.

А кузен Тано, помахивая вилкой в воздухе, вежливо продекламировал:

– Да благоволит высокий гость прикоснуться к скудной пище бедных отшельников.

И Пеппино объяснял мне уже не шепотом, а громко, радушно, весело:

– Понимаешь, душа моя, у нас теперь пир горой. Писатель Аурелио Костанцо дал мне субсидию в 15 франков!

Поэтому к макаронам мне дали много вина, и после макарон дали еще полную тарелку вареного мяса и заставили все съесть.

После обеда синьора Санта все убрала, а Пеппино снял пиджак и жилетку и закурил трубку. Он только на улице курил, для приличия, окурки сигар, а дома предпочитал трубку. Кузен Тано крошил ему эти самые окурки в мелкие зернышки, набивал трубку и подавал, говоря:

– Да воздымится фимиам.

Пеппино все время смеялся, и синьора Санта и кузен Тано тоже смеялись. Пеппино велел кузену Тано представить осла, и тот шмыгнул в дверь и вдруг оттуда закричал и засопел по ослиному, похоже до изумления. Мы все хохотали; потом, когда Тано показался в дверях, Пеппино на радостях запустил в него башмаком.

Тано вежливо улыбнулся и произнес:

– За что карает раба своего господин мой?

Я сказал Пеппино:

– У тебя так уютно и весело.

Пеппино стал серьезен.

– Видишь ли, Мируццу, душа моя, – ответил он, – мы с Сантой и Тано часто переживаем голодное время. Но, клянусь тебе честью моего отца, смех и веселье никогда не выходят из нашего дома!

И расхохотался грузно и добродушно.

– Вы давно живете втроем?

– С тех пор, как патеры выжили меня из школы. У Тано есть родные в Сиракузе, его много раз звали, но я не хочу его отпустить, и он не хочет нас покинуть.

Тано подтвердил:

– Доколе терпимо ничтожество моей особы, дотоле я хочу сопутствовать уважаемому профессору Джузеппе на крутом пути его и быть ему полезным по скромным силам моим в благодарность за великодушное гостеприимство.

Я стал прощаться.

– Завтра в котором часу придешь? – спросил Пеппино.

– Спасибо, Пеппино, – ответил я, – завтра я не приду.

Улыбка сбежала с его широкого лица. Он помолчал, посмотрел на меня, подозвал жестом поближе синьору Санту и кузена Тано и сказал мне торжественно и серьезно:

– Клянусь тебе, Мируццу, честью моего отца, что мы завтра не сядем за стол без тебя. Макароны остынут, мы проголодаемся, но до полуночи не сядем за стол без тебя. Правду говорю я, Сантуцца?

– О да, – подтвердила синьора Санта.

Я обещал, что приду завтра обедать.

– И останешься у нас до вечера, – закричал Пеппино, уже опять веселый, – а вечером я тебе покажу интересные вещи!

– Какие?

– Я поведу тебя в церковь к методистам. Ты не знаешь, что я стал методистом?

– Нет, не знаю.

– О, да. Я в Бога верую, Мируццу, душа моя, только патеров не люблю. Я стал методистом.

– А что же будет завтра вечером в церкви?

– Детский праздник. Я написал для них детскую пьеску. Ты услышишь. Это прелестная пьеска, – прибавил он совершенно просто и очень уверенно.

Вечером на другой день мы пошли все четверо к методистам. У них там было довольно много народу, особенно детей. Сначала вышел какой-то тип во фраке и сказал проповедь о том, что надо любить Господа нашего Иисуса Христа даже больше, чем папу и маму. Затем дети разыграли пьеску Пеппино.

Это оказалась действительно прелестная пьеска. Содержания в ней не было, но вся она была написана как-то мило, шаловливо, ласково, детски грациозно; глядя на массивную фигуру толстого Пеппино, не верилось, чтобы этот крупный человек мог сработать такую хрупкую вещицу…

Так я дней пять подряд ходил к Пеппино есть макароны и домашний хлеб синьоры Санты. Я тогда переживал печальное время: у моих родных было большое горе, а моя барышня надо мною надсмеялась. У Пеппино меня кормили досыта и разгоняли мою тоску.

Через два месяца я пришел к Пеппино прощаться перед отъездом в Россию. Пеппино вышел проводить меня до ворот и на лестнице сказал мне стыдливо и печально:

– Мируццу, душа моя, мне стыдно просить у тебя денег в самый момент твоего отъезда, когда тебе всякий сольдо нужен. Но, клянусь тебе честью моего отца, со вчерашнего вечера я, моя синьора и кузен Тано ничего не ели. Дай мне еще франк…

Я уехал. Я не люблю переписываться с теми, которых люблю. Гораздо лучше потерять их из виду и, вспоминая, думать и гадать: а где вы теперь? и что с вами? и как разметала вас судьба? Чтобы потом, если жизнь опять столкнет, было что порассказать друг другу.

На днях, идя с почты, я услышал оклик:

– Мируццу?

Толстый Пеппино стоял на площади между почтой и кафе Араньо, и желтенький Тано рядом с ним вежливо улыбался мне.

Я расцеловался с Пеппино и спросил:

– Что поделываешь? Что синьора Санта? Нашел местечко?

Пеппино ответил:

– Спасибо! Санта здорова. Местечко, кажется, наклевывается: министр Нази, кажется, собирается сделать что-нибудь и для меня. Я поджидаю здесь депутата Кавилли – он теперь у Араньо, – который обещал похлопотать у товарища министра…

ОЧЕРКИ ОДНОГО «СЧАСТЛИВОГО» ГЕТТО[39]

Посвящено всем недругам Сиона

От автора

Выпуская брошюрой эти письма о римском гетто, считаю нужным прибавить лишь несколько слов.

Я полагаю, что нет страны, где евреям жилось бы лучше, нежели в Италии. Здесь евреи достигли всего, о чем могут мечтать те из нашего племени, которые видят идеал нашего счастья не в создании самостоятельного нашего государства, а в полном равноправии на чужой земле. Итальянские евреи пользуются самым полным, самым идеальным равноправием.

Я попытался изучить это равноправие и счастливое гетто. Я думаю, что сделал это совершенно беспристрастно, не стараясь исказить правду ради предвзятых поводов; если бы я нашел, что тамошние евреи действительно счастливы в своей свободе, я бы заявил об этом совершенно открыто, ибо полагаю, что и без 40 тысяч итальянских евреев можно устроить еврейское государство в Палестине.

Но, вглядываясь беспристрастно, я убедился, что тамошние евреи все-таки глубоко и мучительно сознают себя чужими среди чужого коренного населения. Поэтому я посвящаю свои очерки римского «счастливого» гетто «недругам Сиона», зовущим нас к ассимиляции, и говорю им:

– Вот ваш идеал. Полюбуйтесь!

I

Собственно говоря, гетто уже не существует: оно снесено. До 1870 года это был целый городок у самого берега Тибра: грязный, зловонный, весь перепутанный узенькими извилистыми переулками, где толстому человеку трудно было пройти. Вступивши в Рим, итальянцы занялись его чисткой, потому что весь он был в грязи и пахуч, и прежде всего снесли гетто, хуже которого действительно не было места во всем городе. Теперь там, где был еврейский городок, осталась огромная невымощенная площадь, совершенно пустая. Только в одном углу ее достраивают новую синагогу, а в другом всегда, особенно под вечер, кишит и галдит еврейская беднота вокруг лотков с арбузами и жаровен с каштанами.

---

[39] Три очерка под общим названием «Гетто» были опубликованы в «Одесских новостях» (12, 18 и 29 октября 1903 г.), а затем и отдельной брошюрой (Чужие! Очерки одного «счастливого» гетто. Одесса, тип. Г.М. Левинсона, 1903.

Однако и теперь еще можно составить себе понятие о том, что такое было старое, настоящее гетто. Для этого достаточно пройти по улицам, соединяющим пустую площадь и центр города. Эти улицы несколько шире старых: одному толстому человеку здесь легко пройти, но двум все-таки трудно. Стены домов высокие, старые, точно насквозь чем-то пропотевшие. В стенах густо прорезаны лавочки, похожие на пещеры, и двери с узенькими лестницами, уходящими куда-то вверх. В замке св. Ангела я видел келью, где была заточена отцеубийца Беатриче Ченчи, и другую, где сидел волшебник Калиостро, и маленький каменный мешок, в который бросили еретика Джордано Бруно: в этой страшной тюрьме тоже узенькие и крутые лестницы. Но лесенки гетто уже, круче и темнее тех.

Солнце здесь не гостит: внуки гетто сами ходят к нему в гости на площадь. Но у их отцов не было этой площади, а была только густая путаница темных тропинок среди темных просырелых стен, и поэтому у нынешних детей на лице написано, что они выродки многих поколений, лишенных солнца. У этих людей, особенно у ребятишек, землистые, худосочные лица в веснушках; они часто до иллюзии похожи на тех зеленоватых еврейчиков из Литвы, которые приезжают в Одессу сдавать экзамен за шесть классов, и на их отцов. На их отцов особенно, потому что и здесь они промышляют тою же национальной индустрией – ходят по улицам и кричат хриплыми голосами:

– Robbi vecchi! Старые вещи!

Они же разносят маслину, они же продают на улице гребенки и запонки, дешевые платочки, галстуки и воротнички; они же ночью собирают по улицам тряпки и окурки сигар, и, в довершение сходства, римляне дали им прозвище «mordegá», и в гетто мне объяснили, что это есть не что иное, как осквернённое имя Мордехай. Совсем как в России:

– Эй, как тебя, Мордко, – поди-ка сюда, покажи свои товары?

Я был несколько раз у них в синагоге (scuola) – не в новой, которая еще достраивается, а в старой, или, вернее, в старых, потому что их пять. Я видел две. Первую они называют minhag kastiliani, вторую minhag italki. Они делятся на две секты, вернее, на два толка (minhag) – итальянский и испанский. Разница, кажется, та, что «итальянцы» короче молятся. В верхней «школе» я слышал субботнее богослужение, с органом и невидимым хором, как в костелах. Женщины сидели между мужчинами: я подумал было, что это уступка духу времени, но потом узнал, что в старой «школе» хоры, отведенные для дам, слишком тесны, зато в новой синагоге овец отделят от козлищ.

Нижнюю школу, испанскую, мне показали днем. Она так же мала, как «итальянская», но гораздо красивее – потому, вероятно, что древнее: верхнюю недавно перестроили после пожара, а нижняя сохранена без перемен, кажется, с самого XVI века.

Сакристан (шамаш), худосочный человечек с бородкой, и красивая полная молодая женщина с ребенком на руках и с толстыми кольцами на пальцах водили меня от колонны к колонне и объясняли достопримечательности.

– Как ваше имя? – спросил я у женщины.

– Арманда.

– Вы еврейка?

– Да, – сказала она и тотчас же, по обычаю римлянок, прибавила сентенцию: – кто в какой вере родился, той и должен следовать.

– Э! – вставил сакристан, – а то как же? Иегуди родился и иегуди живи.

– А вы сионист? – спросил я.

Он наморщил лоб и стал припоминать.

– Ах, да, вспомнил... Это в Триесте, кажется, есть такой кружок: они хотят завоевать Джерузалемме?

Женщина сказала решительно:

– Я никуда не поеду. Нигде нет города лучше Рима! – И прибавила сентенцию: – Я в Риме родилась и в Риме хочу умереть...

Выйдя из гетто, я задумался об этой женщине, которая родилась в Риме и в Риме хочет умереть.

Они здесь в Италии все таковы.

Я шел однажды с приятелем по улице, было около полудня, и несколько старьевщиков, усевшись на ступенях церкви, завтракали какою-то дрянью.

– Знаешь, – сказал я приятелю, – видно все-таки по лицу, что это не итальянцы.

Мой спутник, природный итальянец и католик, посмотрел на меня вопросительно: он не понял.

– То есть как не итальянцы? – переспросил он. – А кто же они такие, по-твоему?

– Евреи.

– Так что же из того? Есть итальянцы-лютеране и методисты, и мало ли еще каких исповеданий, но они все итальянцы.

– Но разве евреи одного с вами племени?

Тогда он понял и ответил:

– В таком случае ты хотел, верно, сказать, что они не латинской крови. Это верно: не латины, но итальянцы.

Я встретил этот взгляд у всех, с кем мне здесь приходилось говорить о евреях, – и у самих евреев, и у коренных итальянцев. Они совершенно вычеркнули национальный момент из понятия «израэлит».

Только пятьдесят лет тому назад все это было иначе, по крайней мере, в Риме. Гетто на ночь запирали на цепь, и евреи не смели выходить оттуда до утра. Однажды – правда, уже давно, – когда в городе началась чума, гетто заперли на целый месяц и никого не выпускали, чтобы чума в этом очаге заразы могла насытиться и сама собою прекратиться. На масляной евреев заставляли бежать вперегонки по Корсо, с голыми ногами и с мешком на голове. Еще в первой четверти века жил здесь маркиз дель-Грилло, который в травле евреев был виртуозом: легенда рассказывает, что когда папа запретил маркизу мучить бедных mordegá, тот выпросил себе позволение хоть пошвырять во врагов Христовых «фруктами»; папа разрешил, и маркиз выбрал – сосновые шишки.

Теперь все это переменилось. Теперь здесь возможен военный министр, генерал Отголенги – еврей; бывший министр финансов Воллемборг – еврей; Сонино, предводитель консерваторов, который уже раз

был президентом кабинета министров и, кажется, еще будет – еврей; Луиджи Луццатти, нынешний министр-казначей, влиятельный советчик короля, один из главных виновников нынешнего сближения между Францией и Италией – еврей; кавалер Мальвано, главный директор министерства иностранных дел и настоящий глава иностранной политики Италии при всех сменах министерств – еврей; среди судей, профессоров, сановников всякого рода, сенаторов и депутатов сплошь и рядом евреи; даже великий магистр итальянского масонства, синьор Натан – еврей.

Перемена огромная, что и говорить.

Итальянские евреи, впрочем, не задаром получили все это. Среди рук, построивших единую Италию, было очень много еврейских рук. Много евреев билось и полегло за независимость Италии. Но эта перемена в положении, хотя и нелегко заработанная, все-таки слишком громадна, чтобы не оказывать влияния на мировоззрение современного итальянского еврея. Он ассимилировался, до того ассимилировался, что даже и споры об ассимиляции здесь уже неуместны, среди этих людей с фамилиями вроде Della Seta, Piperno, Volterra, и только редко-редко Леви или Коэн.

Начните с простонародья: оно говорит на диалекте того города, где живет, без всякого акцента, хотя с особенной интонацией; оно, кроме религии, ни в чем как будто не видит разницы между собой и коренным населением; оно даже божится по-ихнему: per la Madonna[40]!

И дойдите до верхушек интеллигенции, которая пишет книги и разглагольствует в парламенте: это националисты, сознательные и завзятые националисты, но итальянские. Депутат Барцилаи, родом из Триеста, – пламенный «ирредентист»: он хочет присоединить к Италии Триент и Триест; он восклицает: «*мои* бедные братья, порабощенные австрийцами, ждут и надеются, что *наша* великая общая родина Италия вспомнит, наконец, о *нас*, о своих детях!»... Журналист Примо Леви пишет под псевдонимом «L'Italico» и говорит о сионизме так: кому угодно, пускай хлопочет о возрождении Израиля, но я лично потому только и рад своему еврейскому происхождению, что наша раса особенно склонна к патриотическим чувствам, так что в качестве еврея я особенно сильно чувствую себя итальянцем!

Силлогизм довольно замысловатый и даже... талмудический: видно, что этот итальянец – все-таки еврей...

Собственно говоря, все это очень понятно. Антисемитизма в Италии нет, Judennot'a[41] нет, еврей признан гражданином не только на бумаге, но и de facto, на каждом шагу; дорога свободна, и если есть голова на плечах, то можно добраться куда угодно.

Правда, в стену старой синагоги вделан черный камень с библейской надписью:

– Если забуду тебя, Иерусалим, да отсохнет десница моя...

Но камень был вделан давно, и с тех пор утекло столько воды; Иерусалим далеко, а чечевичная похлебка тут, перед носом. Нельзя ви-

[40] Клянусь Мадонной! (*итал.*).

[41] Judennot (*нем.*) – Безвыходное положение евреев (термин Теодора Герцля).

нить людей, если они после долгого мучительного голода ради вкусной чечевичной похлебки поддались diminution capitis[42], отреклись от своей гордости.

Я их не виню. В конце концов, только среди тех, кому горько живется, и можно вербовать сторонников для какого бы то ни было движения. Никогда еще не бывало, чтобы войско идеи состояло из тех, кому живется хорошо.

Их нельзя винить, но, глядя на них, нельзя не подумать, что все это делает больше чести итальянцам, чем евреям; и нельзя не ощутить тяжелого чувства, видя этих людей, умных, талантливых, влиятельных – и все-таки живущих не своим, но чужим, отраженным самосознанием.

Так, верно, тяжело смотреть на ручного сокола, перед которым распахнули все окна, а он, дрессированный, сидит у себя на полочке и демонстративно воротит головку от окна, от родного неба и леса, точно хочет сказать наблюдающему хозяину:

– Не беспокойся. Я на полочке вырос и на полочке хочу умереть.

II

Один знакомый адвокат-еврей предложил познакомить меня с здешним сионистом – почти единственным.

– А как вы думаете, – спросил я, – возможно в Риме крупное сионистское движение?..

– Гм... Как знать. Во всяком случает, это не особенно легко. Но для сионизма это имело бы, по-моему, известное моральное значение, если бы римская община примкнула к движению Исхода: ведь она древнейшая в Европе...

Я про себя подумал, что именно по этой причине и трудно ждать от римской общины присоединения к базельской программе.

Еврейская община в Риме ведет свое начало из самой глубины древности. Все государства Центральной Европы моложе ее. Первые данные о ней относятся к 160 году до Р.Х.: ей теперь *две тысячи шестьдесят три года.*

Первые еврейские поселенцы Рима были свободные иммигранты, осевшие в Вечном городе с торговыми и промышленными целями. Впоследствии римские полководцы, возвращаясь из Сирии и Палестины, стали приводить с собою пленных иудеев, которых отдавали римлянам в рабство. Но свободные римские евреи, следуя своему закону, систематически выкупали своих соплеменников из рабства. Таким образом еврейская колония Вечного города пополнялась вольноотпущенными. Внуки этих вольноотпущенников уже считались римскими гражданами, носили оружие и пользовались почти всеми правами коренных cives romani[43], в то же время не встречая никаких препятствий к сохранению своей веры. Еще за полвека до Р.Х. еврейская община пользовалась в Риме влиянием, против которого и тогда уже многие коренные римляне восставали.

---

[42] Умаление личности (*лат.*).

[43] Римские граждане (*лат.*).

Некто Валерий Флакк, управляя одной из малоазиатских провинций, обобрал, между прочим, иудейские храмы. Евреи пожаловались на него в Рим, и Цицерон взял на себя защиту Флакка. В этой речи pro Flacco – гл. 28 – есть такое место:

. – Ты, Лелий, нарочно устроил так, чтобы этот суд происходил вблизи квартала, где живут иудеи, ибо ты хорошо знаешь, как они многочисленны, как тесно сплочены между собою и каким влиянием пользуются в народных собраниях.

Нынешние старьевщики гетто – прямые потомки этих обвинителей Флакка. Цезари то гарантировали их неприкосновенность, то воздвигали на них гонения; папы загнали их в гетто, гноили, грабили и истязали, только изредка и не надолго давая им вздохнуть, но они плотно держались друг за друга и продержались две тысячи лет.

Странная и почти невероятная, но несомненная истина: самые чистокровные римляне в настоящее время – это римские евреи. Коренные римляне-латины смешивались и с греками, и с готами, не говоря уже об этрусках и сицилийцах. В каждом из нынешних romani de Roma[44] осталось очень мало крови тех, которые считаются его предками. Римским евреям их религия не позволяла смешиваться с иноплеменниками. Иноземные наваждения, много раз изменявшие состав коренного населения Вечного города, все прошли мимо этой небольшой общины, не посягнув на чистоту ее крови. Только в начале XVI века нахлынули изгнанные испанские евреи. Они смешались с коренными: я уже писал, что разделение на испанскую и итальянскую общины сохранилось до сего дня, но, без сомнения, браки между «испанцами» и коренными римскими евреями происходили всегда свободно. Это – единственная новая струя, введенная в кровь евреев Вечного города. Таким образом, и в их «римской» крови есть неримская примесь, но бесконечно меньшая, чем в крови римлян-латинов, которые скрещивались с иностранцами бесчисленное множество раз и до XVI века, и после. В жилах этих римлян-латинов есть, может быть, и капля еврейской крови. Известно, что в папские времена евреи-выкресты, получая все гражданские права, часто принимали фамилию крестного отца и входили в его семью. И так как выкресты всегда предпочитают крестных отцов из больших шишек и важных птиц, они вступали иногда в дома князей Колонна, князей Орсини, князей Торлониа.

Но еврейская масса, сохранив свою веру, сохранила и чистоту расы, насколько это было возможно. И теперь у этой массы на плечах два тысячелетия, прожитых в этом городе, так сказать, безвыездно. Два тысячелетия – слишком огромный промежуток, чтобы теперь здешние евреи могли с легким сердцем признать:

– Рим для нас только временное убежище. Наша родина не здесь.

«Временное убежище» и два тысячелетия – это большой парадокс для того, чтобы с ним можно было без борьбы примириться – хотя бы даже под этим парадоксом крылась святая правда...

Мой адвокат привел меня в галантерейную лавку и познакомил с хозяином, синьором Изакко С. Это и был здешний сионист – единст-

[44] Коренные римляне (*итал.*).

венный, но пламенный. Он присутствовал на последнем конгрессе в Базеле.

– Делегатом?

– Нет, для себя. Делегатом? От кого? Разве здесь можно собрать сто шекеледателей? Я, кажется, единственный человек в Риме, который платит шекель.

– Почему же?

– Почему? Да поймите, что мы, здешние евреи, избегаем слова «еврей». С тех пор, как мы из гетто разбрелись по всему городу, мы даже почти незнакомы друг с другом. Нам, прежде всего, необходимо сплотиться. Я говорю им так: «У тебя есть дочь, и ты, конечно, предпочел бы выдать ее за еврея. Но где же ты найдешь этого жениха, если мы, евреи, почти не встречаемся друг с другом?» Мне, может быть, удастся достигнуть некоторого сближения в среде общины, и это уж будет много.

Я высказал изумление. Неужели та солидарность, которую констатировал еще убийца Катилины и которая 2000 лет верно прослужила цементом римской еврейской общины, могла вдруг за тридцать лет, протекшие со дня эмансипации, исчезнуть и смениться полной отчужденностью?

– Вот пример, – ответил мой собеседник. – У нас есть в Риме асессор (член управы) Марко Алатри, один из самых популярных муниципальных деятелей в городе. Он – еврей; его отец, Самуэле Алатри, был всегда заступником бедняков гетто перед папами. Марко Алатри тоже добрый человек; если к нему обратится с какой-нибудь просьбою христианин, он сейчас, несмотря на свою старость, обойдет всех сильных мира сего и все устроит и уладит. Но когда к нему обращается еврей, он говорит: «Пойдите, ради Бога, к кому-нибудь другому. Я бы рад вам помочь, но ведь люди скажут: видите, каковы эти евреи? Они всегда друг другу протежируют!»

– Но скажите, – спросил я, – эта преувеличенная боязнь солидарности предполагает в неевреях уже готовое недоброжелательство, подозрительность, которой вы как будто боитесь дать пищу. Где же это недоброжелательство? Я никогда не замечал здесь ни намека на антисемитизм.

– Антисемитизма в Италии нет, – согласился синьор Изакко, но есть все-таки что-то неуловимое и... невыносимое. Есть то, что ваш собеседник – самый образованный и свободомыслящий господин, до сих пор разговаривавший с вами очень мило и задушевно – услышав, что вы еврей, непременно почувствует что-то вроде маленького разочарования, некоторое неприятное впечатление, которое сейчас же исчезнет, но уже навсегда оставит на вас в его глазах особенную, чуть заметную отметину. Есть то, что мне вчера в одной интеллигентной семье не захотели сдать в наем две комнаты, для меня с женою, когда узнали, что меня зовут Изакко такой-то. Отказали очень вежливо, под другим предлогом, но я понял...

Признаюсь, я слышал это в первый раз. Все, что я до сих пор знал о здешней жизни, оставило во мне, напротив, впечатление полного отсутствия антисемитской струнки в итальянском характере. Даже слушая синьора Изакко, я не мог не подумать, что он преувеличивает, что

у него в этом отношении болезненно раздраженная чувствительность. Но в то же время мне казалось неоспоримым, что уже одно существование этой преувеличенной чувствительности в здешних евреях, от асессора Алатри до моего галантерейщика, доказывает присутствие в атмосфере чего-то, может быть, очень легкого, почти незаметного, но недружелюбного.

Словно угадывая мои мысли, синьор Изакко сказал:

– Это, понимаете, не антисемитизм. Это простой легкий оттенок пренебрежения. Но я уверяю вас, что он невыносим для человека с нервами и самолюбием. Большинство из нас предпочитает закрывать глаза и уверять самих себя, что все идет как следует. Но я лично предпочту, при первой возможности, копать землю в Палестине, в Уганде, где угодно, только бы не жить в этом воздухе пренебрежения.

Тут он замолчал, а я стал невольно копаться в своих собственных здешних воспоминаниях, выбирая из них то, что подходило к его словам. Я вспомнил, что меня на первых порах удивляло, почему здесь почти никогда не произносится слово «еврей», хотя евреи сплошь и рядом занимают здесь важные посты и играют видные роли. Я приписывал это ассимиляции. Но не было ли это скорее желанием евреев нарочно замолчать, запрятать особенность своего происхождения, чтобы не колоть ею глаза итальянцам; не было ли это своего рода системою «ниже тоненькой былиночки надо голову клонить»; не было ли это молчание евреев признаком вовсе не того, что они искренно забыли о своем особенном происхождении, а, напротив, того, что они день и ночь помнят о своем еврействе, и боятся, и беспокоятся, и не могут отогнать мысли и опасения как-нибудь, не дай Бог, слишком намозолить глаза итальянцам и *напомнить им о себе?*

И я вспомнил о депутате Сальваторе Барцилаи, который так усердно «старается» на поприще ирредентизма и так охотно говорит о «своих» братьях – об итальянцах Триеста, порабощенных Австрией. И в то же время я вспомнил, что Сальваторе – Спаситель – было бы очень странное имя для еврея, если бы под ним не скрывался библейский Иошуа; и что все Иошуа в Италии называют себя Сальваторе, и все Мордехаи – Анжело, и все Хаимы – Вито, и все Шабтаи – Сеттимио, и все Авраамы – Альфредо.

Я вспомнил все это и не мог не сказать себе, что в этой игре в прятки со стороны людей, которые пользуются всеми правами политической свободы, есть много внутреннего рабства, много трусости, много ренегатства и мало сознания собственного достоинства. И что истинный и разумный друг еврейского народа скорее пожелает ему голодной, но гордой смерти, чем такого непочетного существования рыбы, которую выкинули на сушу и которая старается показать господам хозяевам, что ей очень весело на суше…

III

Я прожил почти три года в Риме, исходил его по всем закоулкам, познакомился с самыми разнообразными классами населения, знал все городские сплетни, прозвища, остроты и двусмысленности. Но за эти

три года мне не случилось узнать римских евреев, потому что они, как таковые, прятались и избегали вслух произносить имя своей народности. Я за эти три года буквально ни разу не встретил слова ebreo ни в печати, ни в разговоре, хотя теперь знаю, что и статьи, которые я читал, были часто написаны евреями, и среди господ, с которыми я беседовал, были евреи. Эти господа усердно старались игнорировать свое происхождение, и ни один из них, зная, что я из России, где живут пять или шесть миллионов их соплеменников, не отважился, хотя бы мимоходом, спросить у меня об их судьбе или быте; и мне оттого не могло придти в голову, что эти люди – евреи, и даже их курчавые волосы и кругло прорезанные глаза как-то проходили мимо моего внимания.

Узнав этот город, привыкнув к тому, что здесь все настежь, все выносится на улицу, обо всем говорится открыто и без жеманной стыдливости, мог ли я после этого вообразить, что тут же рядом есть восемь или десять тысяч людей, которые непременно хотят что-то такое спрятать, замолчать, утопить в забвении, как неприятную или позорную тайну?

По отношению ко мне здешние евреи вполне достигли того, что составляет, очевидно, их идеал: я их не заметил. И для того, чтобы заметить их, мне пришлось специально пойти за ними, разыскать их, расспросить, чуть ли не втереться в особое доверие.

Один студент сказал мне:

– Нам неудобно подчеркивать свое происхождение, хотя бы даже для того, чтобы выразить сочувствие нашим единоверцам, когда их постигнет несчастие.

– Как так?

– Потому что, если мы будем слишком громко заявлять о себе, это легко может вызвать раздражение против нас самих со стороны окружающего населения.

Я внимательно посмотрел на него при этом, ибо мне показалось, что такую эгоистическую, невеликодушную фразу человек молодой и интеллигентный должен произнести с горечью и стыдом. Ничуть не бывало: он говорил очень просто и вразумительно, тем тоном, которым приятно излагать самые естественные и логичные соображения. И он был совершенно прав в том отношении, что говорил вещи, действительно, всем его здешним соплеменникам ясные и понятные, ибо я успел хорошо убедиться, что вся их масса думает и повторяет то же самое. Не он один, но все они сознают и в минуты откровенности говорят:

– Если мы будем громко заявлять о себе, мы рискуем вызвать раздражение.

И они предпочитают не «рисковать».

Но ведь для того, чтобы в здешних евреях до сих пор жила эта боязнь, эта потребность замолчать себя самих, не колоть глаз, для этого нужна почва: что-то такое должно иметься, или, по крайней мере, *спать* в настроении коренного населения, раз евреи так избегают малейшего шума, который мог бы *разбудить*. Что же это за таинственное «что-то»?

Я разговорился со знакомым итальянцем о римских евреях и о том, как относится к ним население. Он пожал плечами, говоря об антисемитизме.

– Мы прямо не понимаем этого термина, – сказал он, – для нас это слово лишено смысла. Мы, итальянцы, не антисемиты и не можем стать антисемитами.

Тогда я рассказал ему тот случай, о котором писал выше: как синьору Изакко в интеллигентной семье не пожелали отдать комнату в наем, когда узнали, что его зовут Изакко.

– Это не больше, как странное исключение, – ответил мой собеседник, – и, во всяком случае, даже такие исключения станут немыслимыми, как только здешние евреи додумаются до одной простой вещи.

– Именно?

– Расселиться порознь. Большинство их еще живет вокруг старого гетто, и эта сплоченность невольно напоминает населению о том, что они евреи. Рим велик, а их, как вы говорите, здесь восемь тысяч, если бы они разбрелись по всем кварталам, римляне положительно забыли бы об их существовании. Вот что надо им посоветовать!

Я не стал спорить о том, насколько это средство действительно, потому что меня не то занимало. Мне была интересна его внутренняя, бессознательная точка зрения. Сам римлянин, и хорошо зная римлян, он сказал, очень просто и доброжелательно, что евреям будет житься здесь совсем как дома, едва только римляне окончательно забудут об их еврействе. Это не антисемитизм, но это есть признание того, что, как-никак, а память о еврейском происхождении составляет некоторую помеху к полному братству, то есть, – делая строго логический вывод, – что для римлянина еврей все-таки не брат и становится братом только тогда, когда перестанет в его глазах быть евреем.

Я передал этот разговор нескольким евреям, и они сказали, что это – типичный взгляд итальянца. Я заговаривал об этом с другими итальянцами, и они все тоже повторяли, что для них антисемитизм есть нечто непостижимо странное, и что евреи в Италии могут чувствовать себя неевреями. И все это звучало так логично и доброжелательно, что у меня не осталось сомнений: да, типичный взгляд итальянца именно таков.

Наконец, одному из них я предложил вопрос о том, насколько было основательно опасение того студента:

– Если бы евреи громко заявили о себе как таковых, вызвало ли бы это в вашем населении неудовлетворение?

Он ответил:

– Гм... Приятного впечатления это не произвело бы. Сейчас же возник бы вопрос: чего им еще не достает?

Больше я не стал спрашивать. Я нашел в настроении одной стороны именно то, что вполне соответствовало опасениям другой стороны. Это совпадение ручалось за верность моих наблюдений.

И мне тогда пришло в голову еще одно обстоятельство. Три года тому назад мне случилось встретиться с секретарем здешнего албанского комитета, г-ном Бенничи. Этот албанский комитет не имел, вероятно, ничего общего с кровавыми событиями в Македонии. Дело просто в том, что в Италии живет испокон веку несколько тысяч албанских выходцев. Есть целые албанские деревни в Сицилии и, кажется, в Абруццах. Все эти албанцы вполне ассимилировались: они католики,

учатся в гимназиях и лицеях, выступают адвокатами. Франческо Криспи был итальянский албанец. Я, помню, спросил у г-на Бенничи:

– В чем ваша цель?

– Мы стремимся пробудить в итальянских албанцах национальное самосознание, чтобы они почувствовали себя братьями балканских албанцев, заинтересовались ими и их литературой, занялись разработкой албанского языка, просвещением Албании и, когда настанет время, помогли албанскому народу завоевать автономию.

– Автономию или присоединение к Италии?

– Только автономию. Мы не желаем, чтобы Албанией управляли чужие люди, кто бы они ни были.

Я не следил потом за деятельностью этих комитетов и не знаю, насколько они оказались серьезны и полезны, но это не важно. Важно то, что эти комитеты старались как можно больше шуметь о себе, печатали о себе в газетах, выпускали брошюры. Итальянские албанцы, очевидно, не опасались вызвать раздражение, заявив о себе как таковых. И итальянцы, со своей стороны, не обнаружили никакого неприятного чувства, и я знаю, что албанские комитеты пользовались здесь сочувствием и симпатией. А те же самые действия со стороны евреев произвели бы «неприятное впечатление»...

Сравнение само напрашивается, и вывод ясен.

Вот этот вывод.

В Италии нет антисемитизма, потому что характер итальянского народа не благоприятствует расовой ненависти, а религиозный фанатизм отжил и, вероятно, не воскреснет; и также потому, что в Италии сорок тысяч евреев на 30 миллионов населения, т.е. совершенно незаметный процент, который не может вызвать опасения конкуренции. С другой стороны, евреи неопровержимо доказали свою любовь к Италии, приняв большое участие во всех войнах за независимость, и в патриотизме их, впрочем, здесь никому не приходит в голову сомневаться, тем более, что они сами с утра до вечера божатся и клянутся в нем.

И все-таки, если нет антисемизма, есть «что-то», какое-то неистребимое маленькое зернышко – не вражды, не ненависти, но розни, холодка, отчуждения, – и это зернышко, словно горошина в тюфяке, при всей своей крохотности не дает удобно и спокойно улечься. Здешние евреи это знают и стараются лежать смирно, чтобы горошина не очень чувствовалась, и хорошо понимают, что стоит им только зашевелиться, и горошина вырастет в нечто крупное. Поэтому здешние евреи, освобожденные, допускаемые во все почетные и выгодные двери, много и честно поработавшие для свободы своей страны и, вдобавок, немногочисленные, – все-таки должны помнить и остерегаться.

Им нельзя громко любить свое племя и громко выражать свое братское сочувствие далеким соплеменникам, ибо им нужно гарантировать себе братство коренного населения, а для этого необходимо, чтобы коренное население забыло об их еврействе.

Поэтому здешние евреи не ходят по земле своей родины гордо и звучно, как свободные граждане, которым нечего скрывать и нечего стыдиться, но они стараются скользить боком, без шума, с оглядкою, как ходят те люди, у которых заплатаны башмаки.

Тот, у кого заплата на башмаке, сознает, конечно, что бедность не порок, но все-таки старается спрятать заплату и краснеет, когда ее заметят, и страдает муками самолюбия.

Так томятся и эти люди, у которых заплата на душе.

Имя «Израиль» значит «богоборец», и действительно люди этого племени всегда и всюду боролись со старыми богами и шли в первых рядах всякой благородной новизны. Но здесь, в Италии, им теперь надо быть смирными, чтобы не вызывать неприятного чувства, и потому здесь наблюдается факт, которому вы почти не поверите: подавляющее большинство евреев, особенно студентов, принадлежит к реакционным партиям.

Тише воды, ниже травы – вот лозунг их быта в этой стране, где евреям живется вольнее, чем где бы то ни было; и так будет и дальше тащиться для них это неполное, осторожное, прищемленное существование, пока все они не пропадут с лица земли, бесславною смертью помаленьку, или пока, наоборот, не встрепенутся, не поймут, что нельзя жить человеку без гордости, и не выступят на арену истории под венцом своего настоящего старого имени.

О ЧЕМ СПОР[45]

(К собранию общества распространения просвещения между евреями)

В отчете комитета говорится, будто сторонники национализации воспитания требуют чуть ли не введения преподавания всех предметов на еврейском языке. Составителям отчета это требование кажется, очевидно, в высшей степени нелепым; и я тоже не стал бы защищать такую реформу, если бы кому-нибудь пришло в голову серьезно настаивать на ней. Но, как известно, спор идет не об этом требовании, а о другом, которое не так радикально по внешности, но на деле поведет к гораздо более глубокой перемене. Ибо и на древнееврейском языке, в конце концов, можно обучать юное поколение не тому, чему следует, и не обучать тому, чему следует. Не в языке главное дело, а в духе воспитания, в той основе, на которой поставлена вся постройка преподавания.

Люди часто боятся критиковать взгляды данной личности потому, что находят ее достойной уважения. Это – очень вредная боязнь, и она была бы особенно вредна в данном случае. Действительно, в нынешнем комитете есть личности, которым еврейство в России немалым обязано, – личности, зарекомендовавшие себя, может быть, стойкими и верными евреями; и, указывая на них, многие рассуждают так:

– Ведь этот человек всю жизнь был добрым ратником еврейства; мы еще не знаем, будут ли равны ему по твердости и по силе те, которые теперь говорят против него. Неужели он стал бы бороться против такой системы воспитания, которая может сделать из еврейской молодежи добрых евреев? Неужели та система, которую он защищает, не

[45] «Одесские новости»; 2.11.1903.

годна для этой цели? Кто лучше его может знать, что нужно для того, чтобы чувствовать себя верным сыном своего племени?

Старая и вечная ошибка, мешающая понять разницу между эпохой и эпохой.

Было время, когда еврейская молодежь не только не рвалась к просвещению так усиленно, как теперь, но когда отдельным лицам приходилось напрягать все усилия, чтобы приручить еврейскую массу к просвещению. Эта масса боялась просвещения и выставляла против него фанатический предрассудок преувеличенной самобытности – отчасти религиозной, отчасти национальной. Ясно, что людям, желавшим спасти эту массу от невежества, пришлось напасть на предрассудок. И они это блестяще исполнили. Они внушали массе, что надо быть прежде всего человеком, что наука равно хороша для всех, что несть эллина и несть иудея, и так далее. Они настолько искренне, энергично и умело взялись внушить это темной массе, что менее чем в полвека произвели в ней коренную перемену, совершили огромный переворот: насколько евреи прежде боялись гуманитарного просвещения, настолько они теперь жаждут его, так что не хватает ни школ, ни учителей, ни пособий; и по распространенности этой жажды знания среди беднейших слоев – мы, российские евреи, может быть, являемся первой народностью в мире. Добиться таких изумительных результатов – значит, без преувеличения, заслужить себе благодарность, которой и в лучшие времена, и через сотни лет наши внуки не забудут; и к каждому человеку из тех, которые участвовали в этом превращении, мы, бесспорно, не можем относиться иначе, как любовно и почтительно.

Но эпоха уже настала другая, и другие нужны для нее слова и дороги. Любовь к гуманитарному просвещению уже вызвана раз навсегда, и не только не может ослабнуть, но будет все распространяться в ширину и глубину среди еврейских масс. Стараясь пробудить эту любовь, просветителям прежней эпохи, конечно, не было никакой нужды настаивать на национальном оттенке воспитания, потому что он сам собой разумелся: ведь тогда только о том пока и можно было мечтать, чтобы ввести в слишком узкое национальное и религиозное воспитание гуманитарную струю. Но теперь, когда это достигнуто, и достигнуто блестяще, повторилось то явление, которое всегда сопутствует успеху какой угодно идеи, даже самой полезной, самой благородной: добежав до цели, мы с разбегу пронеслись дальше. Цель была – создать еврея, который, оставаясь евреем, мог бы жить общечеловеческой культурной жизнью: мы теперь сплошь прониклись жаждой культуры, но так же сплошь забыли о том, что надо оставаться евреями. Или, вернее, не забыли (есть веские причины, мешающие забыть), но наполовину ***перестали*** быть евреями, потому что перестали дорожить своей еврейской сущностью и начали (больно признаться) тяготиться ею; и именно в том, что с одной стороны мы ***не можем*** (sic!) забыть о своем еврействе, а с другой – тяготимся им, – и скрыта главная горечь нашего положения; и из этого положения необходимо выйти. Чтобы выйти из него, есть, может быть, разные средства, но только ***одно*** из них в наших руках: это средство – сделать так, чтобы мы перестали тяготиться своим еврейством и научились дорожить им.

Таким образом, задача еврейского народного просвещения в настоящее время является диаметрально противоположной задаче прежней эпохи. Тогдашним девизом было: «стремитесь к общечеловеческому!» – ибо стремление к национальному (тогда выражались – «религиозному») уже имелось в обилии. Теперешним девизом должно быть: «стремитесь к национальному!», ибо стремление к общечеловеческому уже имеется. В результате оба противоположных девиза ведут к одной цели, как оба радиуса диаметра к одному центру: к созданию еврея-гуманиста. Но, ведя к той же цели, новый девиз, однако, требует коренной перемены, полного перемещения центра тяжести воспитательной системы. Во дни оны центром тяжести еврейского воспитания надо было сделать гуманитарный элемент, чтобы скорей выжить дух нетерпимости и узости, – и честь и слава деятелям, которые прониклись этим сознанием и сумели это исполнить; но теперь центром *всей* системы воспитания еврейской молодежи должен стать национальный элемент, ибо надо выжить дух самопрезрения и возродить дух самосознания. Вот почему я говорю, что реформа, необходимая ныне, – гораздо глубже перемены языка преподавания, о чем, впрочем, никто пока не мечтает: язык есть нечто внешнее, а здесь надо перевернуть душу преподавания, расформировать самый принцип системы. И возникает вопрос: годны ли для этой реформы прежние деятели? В лучшую свою пору служившие одному принципу, способны ли они теперь посвятить свои труды другому, совершенно обратному?

Это вопрос скользкий. Я бы сказал, что да. Ведь и старый принцип, и новый ведут к одной цели: первый сделал одну половину работы, второй должен довершить другую половину, чтобы получился идеал еврея-гуманиста. И я думаю, что людям пожилым, которые столько раз уже в своей жизни наблюдали борьбу отцов и детей, и не могли не заметить, что новизна «детей» никогда не ниспровергает, а всегда, напротив, дополняет старину «отцов», – этим людям, я думаю, пора бы уже теперь, в XX веке, начать новую эру, показать новый тип «отцов», понимающих требования времени и обусловленные ими перемены в тактике. Неужели всегда должно быть так, что идеалист 40-х годов считает дьяволом своего сына шестидесятника, а народник видит крушение своих идеалов в своем сыне-марксисте? Ведь мы, наконец, уже поняли, что вовсе они не враги, а все делают одно и то же святое дело, но каждое поколение делает его именно так, как подсказывает его верное чутье. Но если понимаем это мы, младшие, то немыслимо, чтобы не понимали этого старшие, больше видевшие, меньше ослепленные. Я верю в возможность сотрудничества со старыми деятелями (конечно, я говорю о ***хороших*** старых деятелях, о людях заслуженных и всеми нами любимых); я верю, что не всегда будет повторяться – с утомительным однообразием – старое «своя своих не познаша», когда вчерашние деятели провозглашают анафему завтрашним – вместо того, чтобы понять их и помочь им своим опытом и влиянием; и мы все были бы очень рады, если бы первый пример нового отношения «отцов» к «детям» проявился именно здесь, именно в этом случае...

Но если это невозможно, и если вновь суждено и здесь повториться старому предрассудку неуступчивости, то я хотел бы верить, что мы все

сумеем оценить, насколько общее дело важнее и дороже отдельных личностей, даже самых почитаемых, – и не остановимся ни перед какой жертвою для того, чтобы вернуть, насколько от нас зависит, нашей молодежи то самоуважение и самосознание, без которого так больно и обидно жить на свете; ни перед какою жертвою, ибо давно уже пора нам, евреям, понять, что пришло время, когда нам остается или махнуть на все рукой, или написать себе новую заповедь: ***во что бы то ни стало.***

Нельзя больше так жить, как мы живем: мы жалуемся на то, что нас презирают, а сами себя почти презираем. И это немудрено, если подумать, что еврей, воспитанный по-нынешнему, знает о еврействе, т. е. о самом себе, только то, что видит вокруг, то есть картину, не могущую польстить чувству национального достоинства. Если бы ему была известна колоссальная летопись еврейского величия и еврейского скитания, он мог бы почувствовать, сколько благородных сил кроется в этом маленьком и непобедимом племени, и почувствовал бы гордость, и приучился бы радоваться при мысли, что он еврей; и тогда все неприятности Judennot'а показались бы ему легче, потому что терпеть неприятности за нечто любимое гораздо легче, нежели за нечто ненавистное, или почти ненавистное. Но еврей, воспитанный по-теперешнему, совершенно не знает величавой перспективы еврейской истории, а знает только сегодняшний момент и свой уголок – Одессу или Голту – и ни в этом моменте, ни в этом уголке нет, конечно, ничего величавого, а есть зато много забитого и приниженного. И по этому образцу он знакомится с еврейством, и вне этого образца ничего не знает о еврействе; и у него создается очень жалкое и тяжелое представление об этом еврействе, и ему неприятно, что он тоже еврей, и иногда, ложась спать, он тайком думает: ах, если бы завтра утром оказалось, что все это был дурной сон, что я вовсе не еврей! Но завтра приходит, и он просыпается евреем, и тащит за собой, почти с проклятиями, свое еврейство, как каледонский каторжник ядро. При каждом испытании судьбы он морщится и горько спрашивает: «Да во имя чего же, наконец, все это? Разве я еврей? Что значит еврей? Где-то там во Франции, в Марокко, в Румынии есть люди, которых тоже называют этим именем: разве я им брат? Я даже не знаю, сколько их, как им живется, о чем они мечтают, я не имею о них понятия, – а должен быть евреем...» И его охватывает злоба против этого имени, и он начинает употреблять его как ругательное; и окружающие замечают все это и говорят друг другу: да как же нам не презирать его, если он сам презирает свое племя настолько, что ничего о нем не знает, и себя самого настолько, что ругается своим собственным именем?

Мы должны честно вдуматься во все это, ибо так больше жить нельзя. Мы стоим сегодня перед огромною задачей, потому что в Одессу почти ежедневно прибывают новые рекруты культуры из нашего племени, и мы должны спасти их от этой внутренней горечи, которую так хорошо и сытно испытали сами. Мы должны дать гуманитарную культуру, но мы должны прежде всего гарантировать еврею мир с самим собою и уважение к самому себе. Мы прежде всего должны дать ему летопись нашей народности, чтобы он хорошо вник

в то, как она жила с первых дней пути своего, сколько мощи проявила, сколько послужила братьям-иноплеменникам; чтобы он мог радостно улыбнуться, приосаниться и полюбить ее. Но эта летопись огромна, обширнее истории всякого другого народа, потому что древнее, и потому что вторая половина ее разбита на отдельные поэмы скитания во многих чужбинах. Он должен узнать всю эту книгу книг, должен узнать о настоящем быте своих соплеменников иного подданства столько же, сколько о прошлом величии Иерусалима, чтобы чувствовать исконное братство. Он должен знать и прошлое, и нынешнее духовное творчество нашего племени, и не должны родные писатели, как мы теперь поступаем с русско-еврейскими, оставаться для него неизвестными именами. Все это не может быть изучено между прочим; весь этот огромный материал требует огромного внимания; оттого ему должна быть отведена главная роль, ради него должно слегка потесниться, если нужно, все прочее, а не наоборот: наука о еврействе должна стать центром науки еврейства.

Вам часто, вероятно, говорят, что быть сторонником национализации воспитания значит быть сионистом, и я знаю, что многих этот довод пугает. Но это ошибка. Здесь спор идет не между сионистом и несионистом: спор гораздо глубже. На одной стороне стоят те, кто, – сознательно или бессознательно, – потеряли надежду или желание сохранить еврейство неприкосновенным и ведут его к исчезновению со сцены; на другой те, которые ко дню будущего международного братства хотят сберечь живым и того брата, имя которому Израиль, и сберегут его – во что бы то ни стало.

Дело не в споре партии и партии: здесь спорят между собою тенденция жизни и тенденция смерти.

ДОН АЛЬЦЕХАН[46]

У захолустного человека есть простительная слабость: когда он поездит по Европе, то сейчас же приобретает привычку говорить:

– У нас в Париже…

И потом уже свысока посматривает на земляков, которые не были в Париже и думают, будто их тутошняя жизнь есть настоящая жизнь.

Я, как известно, рожден на углу Кузнечной и Трехугольного переулка и, следовательно, не могу не быть захолустным человеком.

Посему вышепоименованная маленькая слабость имеется и у меня.

Только что вернувшись из Европы, я как-то все не могу отучиться от некоторого снисходительного взгляда сверху вниз на земляков и соотечественников.

Они мне все кажутся ужасными провинциалами.

Так и хочется сказать им:

– Э… а у нас в Париже, например…

Взять хотя бы петербуржцев, которые теперь так искренно оживлены по поводу своих думских выборов.

[46] «Одесские новости»; 21.11.1903.

Они так мило увлекаются частными совещаниями, гектографированными списками, программными речами.

Так это все чисто, возвышенно, симпатично... и первобытно.

Очень первобытно. Очень первобытно.

Мне, глядя на все это, так и хочется важно крякнуть и сказать:

– Э... у нас в Европе давно уже пережили эти юношеские увлечения, этот наивный энтузиазм. Во всем... ээ... много провинциализма!

Ибо, действительно, «у нас в Европе» давно уже вышли из этой отроческой стадии и перешли к другим, более солидным приемам.

Никогда не забуду недели, проведенной осенью, в сентябре этого года, в абруццском местечке Бука-Кануччa, в переводе – Собачья Дырка.

Я гостил там у одного приятеля, синьора Гранкио.

Это был человек неопределенного возраста, юркий и беспокойный. Звали его по имени Альцехан: покойник отец его был почему-то поклонником Piero, и в память знаменитого инсургента дал сыну это испанское имя.

Я познакомился с ним года четыре тому назад в Риме, где он служил чем-то на заводе свечного сала.

Узнав, что я корреспондент, он однажды внезапно явился ко мне осведомиться, нельзя ли устроить через Одессу выгодный сбыт сальных свечей на русские рынки.

Я ему объяснил, что я лично по этому вопросу – полная бездарность, но, впрочем, посоветовал ему обратиться письменно к г-ну Знакомому, прибавив:

– Он все знает.

Синьор Гранкио очень благодарил меня и говорил:

– Это в высшей степени важно. Я хочу потопить всю Россию в свечном сале! Я хочу всю ее озарить сальными свечами!

Я сказал почтительно:

– Однако, у вас широкие проекты.

– Не могу жить без этого! – сознался он, – Мне нужна обширная арена! Я задыхаюсь без широкого поля деятельности! Я чувствую, что во мне глохнут таланты!

Я всегда очень любил людей такого типа. Я заметил, что они весьма удобный народ. Если им немножко и умело польстить, они вам будут преданы всей душой, и уже в этом состоянии они прямо неоценимы для мелких услуг, как-то: сбегать в лавочку за колбасой, поправить коптящую лампу, проводить вечером домой уходящую от вас дамочку...

Поэтому мы сблизились и часто видались, и я был им очень доволен.

В этот раз, узнав, что я в Италии, он написал мне письмо, требуя, чтобы я непременно погостил у него в Собачьей Дырке.

Я согласился: Абруццы – страна любопытная, а пожить на чужом иждивении всегда лестно.

Приехал – и не узнал приятеля. Пополнел, раздобрел, приобрел цилиндр и величавые манеры, а вместо прежнего пальтишка напялил широкую крылатку вроде мантии.

– Фу ты, какой вы стали важный! – сказал я.

– Да, что же, – снисходительно ответил он, – в моем положении без этого нельзя.

– А какое же теперь ваше положение?

– А вы не знали?

– Виноват, я так недавно в Италии…

– О! я теперь баллотируюсь в синдики местечка Бука-Кануччa.

– Вот как? Очень рад. И что ж, много шансов на победу?

Он наклонился мне к уху:

– Есть соперники и враги. Но я не боюсь! Я не сдамся! Я им покажу!

И он тут же, на дрожках, вытащил из бокового кармана толстую пачку бумаг:

– Читайте.

Я стал читать.

Первая бумага была от завода свечного сала – о том, что синьор Гранкио на заводе служил и был исполнителен.

Вторая была из участка и удостоверяла, что синьор Гранкио в течение трех лет ни разу не был уличен в нетрезвом поведении или ночных дебошах.

Третья была старенькая: она гласила, что ученик Гранкио Альцехан кончил курс начальной школы успешно и отличался тихим поведением.

Четвертая…

Я изумился:

– Что такое? Да это мой почерк!

Его лицо сияло:

– Читайте.

Я прочел:

«Добрый друг. Посыльный принес мне в целости купленные вами для меня три рубахи и сдачу. Сердечно благодарю вас за эту услугу, я сам по крайней моей непрактичности вряд ли купил бы рубахи такого добротного качества и так дешево. Вы в этом отношении гений».

Следовала моя собственная подпись и дата: Рим, такое-то число, 1899 года.

– Не понимаю, – сказал я. – Зачем вы сберегли это письмо, и на что оно вам теперь может пригодиться?

Он улыбнулся как бы с сожалением:

– Наивный и неопытный дикарь! Неужели вы не понимаете, как это все важно?

– В каком отношении важно?

– Как рекомендация! Все эти документы у меня скопированы в тысяче списков, и мои люди носят их по городу и говорят избирателям: видите, какой дон Альцехан честный, деловитый и просвещенный человек: вот отзыв школьного начальства, вот отзыв от индустрии свечного сала, вот отзыв известного русского писателя…

– Виноват, а где же русский писатель?

– Это вы! Понимаете? Все это повышает мою популярность. Я же сам при себе всегда ношу оригиналы, и как только кого-нибудь

встречу – сейчас вынимаю документы из кармана и раскладываю, дабы, значит, видно было, что без всякого обману... Понимаете?

– Понимаю.

– Да-с! Я даже, когда купаюсь, надеваю на шею непромокаемый мешочек с бумагами. Надо быть ко всему готовым. Иногда заплывешь шагов на сто – а там барахтается избиратель: я сейчас же опрокидываюсь на спину и предъявляю документы.

– Ловко! – похвалил я.

– Да-с! – продолжал мой хозяин. – Но зато и популярен же я в городе! Никто меня уже по фамилии не называет: только и слышишь, что дон Альцехан, да дон Альцехан!

Мы в эту минуту подъезжали к его квартире; и как бы в подтверждение последних его слов, поджидавший у цирюльни молодой человек бросился навстречу нашим дрожкам, крича:

– Дон Альцехан, телеграмма!

Дон Альцехан схватил желтую бумажку и с очевидным волнением разорвал ее.

– Великолепно! – вырвалось у него.

И, вводя меня в свое жилище, он объяснял:

– Приятная новость: против меня выставили еще одного кандидата! И какого кандидата: адвокат Теста-ди-Леньо, лучший юрист в нашей провинции!

Я изумился его радости.

– А позвольте – сколько вас всех кандидатов на пост городского головы местечка Собачья Дырка?

– Во-первых, я. Во-вторых, еще пять. Теперь прибавился шестой. И какой шестой! Знаменитость! Великолепно!

– Да что же в этом для вас великолепного? Ведь чем больше кандидатов, тем у вас меньше шансов.

– Ничуть. Напротив, именно потому, что Теста-ди-Леньо – знаменитость, он легко отобьет по несколько голосов у каждого из прежних пяти! Мои соперники все вместе располагают, скажем, ста голосами: чем больше кандидатов, тем меньше голосов из этого числа достанется на долю каждого! Понимаете?

– Ничего не понимаю. Разве этот самый Теста-ди-Леньо не может отбить несколько десятков голосов и у вас?

Он посмотрел на меня так, как смотрят на сумасшедших.

– У меня?! У меня нельзя отбить ни одного белого шара. У меня все избиратели неотчуждаемые!

– Как так?

– Очень просто.

Он вытащил опять из кармана свои документы и подал мне один из них. Это была телеграмма:

«Scarpe paia cinquanta spedite gran velocità».

– Пятьдесят пар башмаков посланы большой скоростью, – повторил я, недоумевая. – Что это значит?

– О! – сказал он, – это очень простой и удобный способ. Я даю каждому из моих избирателей – которые победнее – по одному башмаку и говорю: подавайте голоса за меня; если я буду избран, полу-

чите по второму башмаку. Таким образом мы друг в друге уверены. Избиратель уверен, что в случае успеха я его не обману, ибо на что мне самому башмак без пары? Я же уверен в его голосе, ибо раз у человека есть уже один новый башмак, ему, естественно, хочется получить и второй! Понимаете?

После обеда мы пошли гулять по местечку и осматривать достопримечательности, и все прохожие кланялись и говорили:

– Буона сера, дон Альцехан.

Многих дон Альцехан останавливал и знакомил со мной:

– Позвольте вас представить: известный русский писатель и мой близкий друг. Узнав, что я здесь, решил приехать сюда на неделю, хотя страшно занят и спешит, но согласился сделать это ради меня. Он напишет о нашей Бука-Канучча во всех русских журналах! Он прославит имя нашего города во всей русской земле! Оттуда станут к нам стекаться туристы, завяжутся сношения торговые, город разбогатеет и разрастется! Так я умею заботиться о благе отчизны!

Мы дошли до какого-то грязного переулка, и мой спутник остановился перед дверью сарая, на которой было мелом выведено:

– Здесь покупаются подержанные вещи.

Дон Альцехан объяснил мне:

– Тут живет избиратель, у которого я еще не был.

И постучался.

Дверь заверещала и отворилась: на пороге стоял грязный старик с очками на носу. Он посмотрел на нас подозрительно и сказал:

– Фрачная пара, почти новая, на один вечер пять лир, залог десять лир!

Дон Альцехан выступил вперед:

– Друг мой! Дон Вито! Старый друг! – с чувством сказал он, – неужели вы меня не узнаете? А я вас сразу бы узнал! Неужели вы не помните меня, который столько раз сбывал в ваши честные руки свои скромные одежды?

Старик проворчал:

– Мы ходим по дворам и покупаем старые вещи, и смотрим не в лицо людям, а на сукно, чтобы нам не подсунули штопаного за новое. Не могу я помнить в лицо всех моих клиентов.

– О! – с чувством сказал дон Альцехан, – неутомимый старый труженик! Как я ценю ваш закаленный характер! Именно таких людей хотел бы я иметь советниками и помощниками, когда буду синдиком города Бука-Канучча! Ибо, надо вам знать, почтенный дон Вито, я выставляю свою кандидатуру. Я глубоко уверен, что вы против нее ничего не имеете. Я был бы очень счастлив, если бы мог рассчитывать на поддержку столь выдающегося негоцианта. Достигнув ответственного поста, я надеюсь привести в исполнение одну мою заветную мечту. Мечту об улучшении благосостояния честного класса скупщиков подержанных вещей! Я чту это сословие! Я считаю функцию его одной из священнейших и полезнейших общественных функций! Я помогу ему высоко поднять свое цеховое знамя и водрузить его на почтенном месте! Но, впрочем, я вас покидаю: вы, конечно, заняты, да и мой друг – известный русский писа-

тель, знающий вас по моим рассказам и пожелавший непременно повидать вас – мой друг тоже спешит. Мое почтение, добрый, старый друг!

На следующее утро дон Альцехан ворвался ко мне с криком:

– Эврика! Новая идея!

– В чем дело?

– Я сейчас телеграфирую: «Мужские башмаки не нужны, будут высланы обратно; высылайте 50 пар женских».

– Почему?

– Я решил раздать по одному башмаку не самим избирателям, а их женам. Так будет вернее! Жены тогда сами будут следить за мужьями и внушать им с утра до ночи, чтобы подавали голоса за меня! Таким образом я построю свою кандидатуру на фундаменте семейного мира! Понимаете?

Через два дня он вбежал ко мне, утомленный, но радостный, и объявил:

– Готово. Башмаки прибыли и розданы. Эффект поражающий! Моя победа обеспечена! Даже мои враги это чувствуют: они кричат на всех перекрестках, что им теперь безразлично – пусть победит какой угодно из моих шести соперников, лишь бы только не я! Несчастные! Я их презираю! Я о них сожалею!

И дон Альцехан упал на стул, восклицая:

– Уфф! Устал. Ну, теперь скоро конец хлопотам. Теперь осталась только вечеринка – и я могу спокойно ждать рокового дня!

– Какая вечеринка?

– Вечеринка с угощением. По случаю того, что жене моей исполняется двадцать семь с половиной лет. Я угощаю своих избирателей. Будет очень скромно и мило: макароны, по бутылке вина Кьянти, и в заключение мускат вместо шампанского...

Я был на этой вечеринке и сидел рядом с дон Вито – скупщиком подержанных вещей. За столом было еще несколько человек того же цеха, затем присутствовали извозчики, погонщики мулов, мясники, два артельщика ассенизационного обоза и другие лица. Всего человек до пятидесяти.

Дон Альцехан с бокалом муската в руках восклицал:

– Пусть шипят против меня все эти люди в крахмальных воротничках! Я презираю их! Я дорожу только тем сердцем, которое бьется под рабочей блузой простолюдина, я ценю только пожатие грубой, но честной руки труженика! Долой накрахмаленные воротнички! Я друг простого народа!

Поздно ночью, когда все разошлись, он сидел у меня в комнате, писал цифры на бумажке и считал:

– Всех избирателей около 200. У меня верных 80 голосов. Следовательно, у моих противников 120. Их шесть человек, ergo, на каждого придется по 20 голосов. В крайнем случае, Теста-ди-Леньо получит 30 или 40, но и тогда ему далеко до меня!

В день выборов он с утра исчез. Я ждал его, потом соскучился и пошел в горы гулять.

Вернулся я часам к четырем и позвонил.

Мне открыл дверь сам дон Альцехан, бледный, растерянный, уничтоженный.

– Что с вами? – воскликнул я.

Он упал ко мне на шею.

– Поражен, побит, побежден! – простонал он.

Я дал ему воды, усадил его и спросил, как это могло случиться:

– Неужели ваши избиратели изменили?

– Нет. За меня было 80 голосов.

– Так как же?

– Это был заговор! Мои враги давно уже говорили: кто угодно, только не дон Альцехан! И они так и поступили: всем, кроме меня, клали направо! Таким образом у каждого из шести получилось около 100 голосов, а у Теста-ди-Леньо 120...

На другой день я уехал и с тех пор не имею сведений о дон Альцехане Гранкио.

Но когда я читаю о петербургской предвыборной агитации, я всегда вспоминаю о нем и мысленно твержу петербуржцам:

– Эх! Разве это есть агитация? Посмотрели бы вы, как агитируют у нас в Европе...

ПАЛЕСТИНА[47]

Предложение заселить Уганду сослужило сионизму большую службу. Это всем уже понятно, и трудно было бы поэтому выводу высказать что-нибудь новое. Надо только сделать одно замечание: противники восточно-африканского проекта охотно печатают сведения и даже слухи о непригодности этой страны для колонизации. Мне кажется, прежде всего, что раз есть комиссия и будет экспедиция, неудобно забегать вперед и пророчествовать в ту или другую сторону, да еще полагаясь на слухи или случайные справки. Но, кроме того, мне кажется, что такая тактика – стремление нарочно обесценить английское предложение – в высшей степени вредна. Это предложение нам дорого главным образом потому, что оно как раз навсегда уничтожает все малодушные возражения о практической неосуществимости евр. государства. Нам очень часто приходилось слышать: «Да ведь вам, прежде всего, земли не дадут!» После VI конгресса мы получили право отвечать: «Землю готова дать Англия, если только мы пожелаем взять». Неужели вы хотите, чтобы нам на это с насмешкой возразили: «Да, вам предлагают заселить такую землю, которая... не годится для заселения!»

Я полагаю, что Уганда в конце концов окажется очень недурным участком земли – не без недостатков, конечно, да ведь и в Италии есть малярия и пеллагра. Я полагаю, что люди, которые некогда в будущем заселят эту страну, заживут там припеваючи, если, конечно, сумеют устроиться как следует. Я полагаю, кроме того, что предложение англичан сделано с искренним желанием помочь нам (и в то же время, конечно, заселить один из своих пустырей), а совсем не с расчетом бро-

[47] «Одесские новости»; 5.12.1903.

сить нам лицемерно такую кость, на которой нечего обглодать. Я полагаю, что если весть о новом предложении, исходящем от Бельгии и относящемся к заселению евреями Конго верна, то и это предложение сделано чистосердечно и добросовестно, в полном искреннем убеждении бельгийцев, что они предлагают нам такую вещь, которая выгодна и для нас. Я полагаю так потому именно, что считаю евреев силой, которая способна оживить и обогатить всякую землю, и думаю, что просвещенные и дельные люди, будь они англичане или бельгийцы, не могут не сознавать этого. Иными словами, в той сделке, которая в будущем даст нам собственный клочок земли, мы явимся в высшей степени выгодными контрагентами для страны, с которой эта сделка будет заключена, а выгодному контрагенту ни один серьезный предприниматель не предложит таких условий, которые заведомо неприемлемы. Кто ценит по достоинству еврейскую народность, тот не может не понимать, что, предлагая нам землю, и англичане, и бельгийцы в их собственном интересе должны были искренне иметь в виду и наш интерес.

Тем не менее, я безусловный противник и Уганды, и Конго, и какого угодно Эдема, если это не Палестина. В ближайшем будущем я надеюсь развить достаточно эту точку зрения на роль Палестины, но и сегодня мне бы не хотелось ограничиться одним утверждением без всяких доводов.

Сионистское движение, как уже не раз указывалось, не есть реакция против внешних враждебных давлений. Оно возникает из инстинкта национального самосохранения: этот инстинкт так же могуч, естествен, универсален, как инстинкт личного самосохранения или продолжения рода. Антисемитизм, угрожая этому инстинкту национального самосохранения, заставил его пробудиться; таким образом, антисемитизм явился только поводом (крупным, но далеко не единственным) к возрождению национального чувства среди евреев, но не причиной и источником этого чувства, ибо источник его – в вечном и неистребимом инстинкте, который каждая народность неугасимо носит в себе, пока живет, и который особенно у евреев проявляется с исключительной, почти невероятной мощью. Следовательно, для того, чтобы познать во всех подробностях истинную сущность сионизма, надо опуститься к источнику и проанализировать еврейский инстинкт национального самосохранения.

Инстинкт национального самосохранения есть стихийное стремление оградить свою национальную индивидуальность, со всеми ее особенностями, от изменения под влиянием посторонних давлений. Отсюда ясно, что инстинкт этот, в сознательной или бессознательной форме, неустанно требует для данной народности такой обстановки, к которой национальная индивидуальность этой группы была бы наиболее приспособлена, иными словами, в которой эта индивидуальность встретила бы наименьшее постороннее давление. Еврейская национальная индивидуальность, какою она представляется теперь, впитала в себя, конечно, немало новых особенностей за долгие века бродяжничества, но зерно ее, сущность ее, то, что ученые называют «*духом юдаизма*» и отпечаток чего находят на всех решительно созданиях еврейского ума в разные годы и в разных странах, – это «нечто» является совершенно чистым от посторонней пыли, приставшей к нашим подошвам во время

скитальчества; и из того, что в духовном складе Лассаля и Берне, живших в 19 веке этого скитальчества, ярко выделяются те черты, которые характеризуют духовный склад библейских пророков, росших еще на почве Палестины, явно вытекает, что сущность еврейской национальной индивидуальности есть именно палестинская индивидуальность. Это – психологически тот же вывод, к которому, изучая черепа, антропологически пришел г-н Юдт в книге «Iüdische Statistik[48]»: «еврейский тип определился в Палестине».

Из этого логически следует, что наиболее приспособленная среда, которой требует инстинкт национального самосохранения, может быть дана только Палестиной. Только в Палестине сущность национального еврейского духа могла бы развиться вполне свободно и самозаконно, не терпя ущерба от необходимости приспособляться в чужеродной обстановке. Поэтому, если и в другой стране евреям, может быть, будет житься привольно и сытно, то истинное еврейство как таковое в ней возродиться, естественно, не может.

Правда, на VI конгрессе у Макса Нордау вырвалась фраза: «Кто говорит, что мы должны спасать еврейство, а не евреев, тот пусть явится с этими взглядами на спиритический сеанс, а не на базельский конгресс». На эту довольно-таки циничную фразу мы могли бы ответить, что тому, кто из-за евреев забывает о еврействе, место в заседании благотворительного общества, а не на конгрессе возрождения. Но мы этого не скажем, ибо понимаем, что со стороны почтенного руководителя это не более как неудачный ораторский экспромт, и что всякий истинный сионист не постигает блага евреев иначе как в виде полного, всестороннего и свободного развития еврейства. Если бы нам не было никакого дела до еврейства, а только до евреев как людей, то гораздо проще и гуманнее было бы пропагандировать среди евреев идею всеобщего обращения хотя бы в лютеранство.

Сущность сионизма, который является выражением общееврейской заветной потребности, есть сохранение еврейства для полного, свободного, всестороннего развития. Такое развитие возможно только на почве Палестины. Вот почему Палестина не может быть вычеркнута из программы сионизма иначе как насильственно и противоестественно.

Это – чисто априорное обоснование роли Палестины, но, кроме того, всем известны, конечно, многочисленные практические соображения, хотя бы то, напр., что вряд ли масса в таком же количестве откликнется на призыв к простому переселению, в каком откликнулась бы на призыв к переселению в св. Землю.

Видя в Палестине неотъемлемую цель нашего движения, я не могу не видеть в Уганде или Конго серьезных помех. Я, конечно, тоже слышал все заверения на тему: «одно другому не мешает»; но не могу не сознаться, что все эти заверения оставили во мне впечатление или непродуманности, или неискренности. Если бы дело шло просто о рациональном переселении в Уганду тех тысяч евреев, которые теперь нерационально переселяются куда глаза глядят, тогда никто бы не встревожился и общество Иса охотно занялось бы этим проектом. Но речь

[48] Iüdische Statistik (нем.) – Еврейская статистика.

идет о настоящем еврейском штате с собственным правительством и законодательством, т.е. о первом опыте еврейского государства. Я прямо не постигаю, как можно не понять, что такого рода первый опыт неминуемо поглотил бы все и духовные, и финансовые силы сионизма. Люди вокруг до сих пор сомневаются в том, что можно ли (как они выражаются, «искусственно») создать государство, а мы, кажется, уже мечтаем создать целых два государства сразу; причем одно, так сказать, по необходимости, а другое, так сказать, из принципа...

Наше движение, конечно, богато силами и будет еще богаче со временем, но и нам не следует чересчур уже смешить публику. Или государство в Уганде, или государство в Палестине; если в Уганде, то забудем о Палестине. Уганда безусловно угрожает убить Палестину.

Истинный победитель в затруднениях жизни есть тот, кто умеет использовать во благо себе самое затруднительное положение. Мы должны сделать то же самое с Угандой и Конго (если Конго не сказка) и вообще со всяким предложением рая земного вне св. Земли. Мы должны устроить так, чтобы все эти предложения, грозящие навеки удалить нас от Палестины, послужили нам, напротив, козырем для достижения Палестины.

Я считаю эту мысль достаточно ясной. Если такое государство, как Англия, нашло для себя выгодным предложить евреям Уганду, то в умелых руках это предложение может послужить очень убедительным и заманчивым аргументом для Турции. Финансы Турции плохи, в будущем году они станут еще плоше. Кроме того, если Турция медлила до сих пор, она ничем не рисковала. Но медлить теперь, когда явились сильные конкуренты, значит рисковать полной и вечной потерей удобного случая заселить пустынную страну и превратить солидный хронический убыток в еще более солидный и постоянный доход. Все это ясно и уже многими высказывалось.

Таким образом, нет недостатка, выражаясь по-американски, в «платформе» для новых, более плодотворных переговоров с турецким правительством. Но ведутся ли переговоры? Желают ли вести эти переговоры те лица, от которых это зависит? Не решили ли они махнуть на все рукой?

Прискорбно, конечно, то, что в этом огромном движении столь многое зависит от настроения одной личности, но раз это уже так, было бы лишней потерей времени ограничиться сетованием. Надо не сетовать, а действовать. Надо нам, еще *желающим*, еще не махнувшим рукой, сделать так, чтобы принудить наших официальных представителей снова и с новой энергией начать турецкую кампанию, именно теперь, когда случай так благоприятен. Вместо того, чтобы растерянно смотреть по сторонам, декламировать или ругаться. Мы, еще не махнувшие рукой, должны активно доказать наше твердое желание, чтобы борьба за Палестину продолжалась, мы должны ясно выраженным массовым заявлением напомнить нашим представителям, что имя св. Земли еще не вычеркнуто из базельской программы, и потребовать от них немедленных действий в этом направлении.

Я писал из Базеля и сохранил до сегодня это убеждение, что наши представители сами тоже остались внутренне верными девизу Пале-

стины. Я даже допускаю, что в эту самую минуту, когда я пишу, д-р Герцль ведет с падишахом переговоры – под покровом обычной и неизвестно для чего нужной таинственности. И если это так, то массовое заявление нашей воли только должно его порадовать как доказательство того, что он угадал и опередил заветные желания своих верителей. Но если это не так, если под затишьем действительно кроется отказ от Палестины, то массовое заявление верности Палестине с нашей стороны и категорическое требование, чтобы и наши верхние представители оставались ей верны и снова направили *все* свои усилия на св. Землю, является нашим долгом, и нам придется, быть может, горько потом каяться, если мы этого теперь не сделаем. Мы должны *напомнить*. Если напоминание подействует, тем лучше. Если бы напоминание не подействовало, тогда мы, по крайней мере, будем ясно знать, кто с нами и кто против нас, и сможем ясно показать это на будущем конгрессе не только в прениях, но и в выборах. Ибо люди, которыми мы дорожим, дороги нам как борцы за Палестину, без которой немыслимо наше полное возрождение. Если эти люди захотят перешагнуть через Палестину, мы должны твердо перешагнуть через них; с сожалением, но без малодушия, без колебания, согласно первому и последнему нашему правилу: во что бы то ни стало.

ВТОРАЯ УСЛУГА[49]

(Голос сиониста)

Как известно, предложение заселить Уганду вызвало среди сионистов большие споры. Начались эти споры еще на VI конгрессе, а в последнее время приняли особенно острый характер. Часть сионистов видела в этом проекте опасность, находя, что его осуществление надолго затормозит, а может быть, и совсем погубит главную цель сионизма: создание еврейского центра в Палестине. Другая же часть, нисколько не отрицая того, что основной целью движения остается Св. Земля, находила, однако, что Уганда не помешает. Таким образом, безусловно сходясь в своих взглядах на Палестину, спорящие никак не могли сойтись во взгляде на Уганду. Противники последней, все более и более проникаясь убеждением, что Уганда погубит сионистское движение, подумывали уже об открытой и непримиримой борьбе с этим проектом. Все это могло кончиться настоящим расколом внутри движения, т. е. почти крахом, который поверг бы в глубокое горе огромные еврейские массы.

Теперь Уганда ликвидирована. Английское правительство взяло назад свое предложение. Многие, конечно, пожалеют о том, что исчезает возможность устроить, как они рассчитывали, *временное* убежище для тех из евреев, которым уже невмоготу ждать. Но все сионисты, без сомнения, порадуются тому, что теперь устранена опасность раскола в партии, который был бы настоящей гибелью дела.

[49] «Одесские новости»; 16.12.1903.

И поэтому можно не сомневаться, что все сионисты сумеют единодушно оценить по достоинству дружественную и благородную тактику английского правительства. Предлагая по собственной инициативе еврейскому народу заселить на началах полной автономии безусловно прекрасную и плодородную местность, английское правительство оказало нам этим огромную моральную услугу. Это было первым за много веков официальным признанием национального единства еврейского народа и вместе с тем авторитетным выражением веры в его способность создать из дикого края культурную, благоустроенную страну. Обо всем этом благодарный еврейский народ никогда не забудет.

Но теперь, взяв назад свое предложение именно в тот момент, когда напряжение умов дошло в среде сионистов до крайнего предела, – теперь английское правительство оказало еврейскому народу вторую огромную услугу и проявило редкий и драгоценный такт. Англия, несомненно, ясно поняла, что конфликт должен был привести к одному из двух результатов: или будущий конгресс отклонил бы окончательно проект заселения Уганды, или сионизм раскололся бы надвое. На третий выход из этого положения вряд ли кто-нибудь мог бы серьезно надеяться. Первый результат – отклонение проекта – был бы неприятен для Англии; второй – раскол в сионизме – был бы тяжелым ударом для еврейских масс. Сознавая все это, и сторонники, и противники Уганды в последнее время мучительно боялись за будущее и чувствовали, что «надежда», о которой поется в гимне сионистов, грозит ускользнуть из глаз.

Именно в эту тяжелую минуту Англия берет свое предложение назад. Этим сразу устраняется причина междоусобицы, которая, может быть, едва не погубила единственную в своем роде организацию, созданную за такое короткое время с такими жертвами и такими усилиями. Держава, четыре месяца тому назад громко признавая за нашим рассеянным народом национальное единство, теперь своим новым шагом спасает единство нашего глубоко народного движения. Если за первую услугу конгресс от лица и сторонников, и противников Уганды выразил британскому правительству глубокую благодарность, то теперь, думается мне, все сочувствующие сионизму должны громко произнести свое массовое спасибо этой благородной стране, спасающей нас в очень критический момент. Было бы вполне своевременно, чтобы признательность, уже 4 месяца волнующая еврейские массы, именно теперь выразилась в форме торжественного послания, под которым с радостью подпишут свои имена десятки тысяч.

Итак, туча рассеялась. Под ее влиянием уже остановилась было нормальная работа сионистов: из-за споров об Уганде почти забыли о главных задачах. А между тем впереди столько дел: столько еще есть необращенных, которых надо обратить, на колоссальное дело национального фонда собраны только ничтожные гроши, литература движения все еще не стоит на высоте призвания. Теперь, когда туча рассеялась, пора встряхнуться от нехорошего сна, забыть все нелепые счеты и взяться, наконец, за настоящее и важное дело укрепления и объединения народа вокруг его древней и вечной цели.

Как люди, только что пережившие ужасную, мучительную тревогу, потом, когда опасность прошла, вдруг глубоко постигают всю суетность своих мелочных обид и раздоров и подают друг другу руки, так пусть поступят теперь друзья сионистского дела и от всего сердца пусть друг другу скажут древнее национальное приветствие: *мир* вам...

ОТВЕТ Г-НУ Т. РЕНОДО[50]

(Голос сиониста)

Во вчерашнем № «Одесских новостей» г-н Теофраст Ренодо[51] настаивает на том, что у Нордау и Дрюмона, т. е. у сионистов и антисемитов, есть точки соприкосновения; вывода из этого г-ну Ренодо вслух не делает, но по всему тону письма ясно, что вывод – неблагоприятный для сионистов. Автор даже говорит: «Антисемиты протягивают руку сионистам. Люди прогрессивные – сторонящиеся как национализма Дрюмона, так и национализма Герцля и Нордау – могут только с неприятным чувством отнестись к этому зрелищу».

Признаться, я не понимаю, как можно серьезно говорить о том, что антисемиты и сионисты заодно. Первые изо всех сил против евреев, вторые изо всех сил за евреев: какое же тут единство, что общего между одними и другими? Без сомнения, если сионисты хотят вывести евреев из чужих земель в свою, многие антисемиты могут найти, что сионисты играют им на руку, освобождая чужие земли от еврейского элемента. Но мало ли кто кому может играть на руку: иной раз, спасая утопающего, рискуешь сыграть на руку ростовщику, который с этого утопленника желает содрать старый должок с большими процентами. Неужели это значит, что спаситель заодно с ростовщиком?

А впрочем, вот что важнее всего, и было бы хорошо, если бы г-н Ренодо и его единомышленники соблаговолили твердо это запомнить. Точка зрения сионизма та, что спасение евреев только в них самих. «Делайте *сами* свою историю» – стало нашим девизом. Поэтому мы идем своей дорогой и не оглядываемся на посторонних. Нам, конечно, жаль, что «люди прогресса» (впрочем, г-н Ренодо, далеко не все!) еще иногда смотрят на нас «с неприятным чувством». Но мы-то сами в душе глубоко и честно сознаем себя тоже «людьми прогресса» прежде всего. Поэтому мы ведем и будем вести свою линию спокойно и гордо, менее всего заботясь о том, нравимся или не нравимся мы посторонним, – будь это Дрюмон, которого мы презираем, или г-н Т. Ренодо, которого уважаем.

---

[50] «Одесские новости»; 17.12.1903.

[51] Теофраст Ренодо – псевдоним журналиста И. И. Дмитриева, публиковавшего в «Одесских новостях» корреспонденции из Парижа.

ИМЕНА

Марк АЗОВ (Айзенштадт) родился в Харькове в 1925 году. Во время войны был на фронте. Дошел до Берлина. Преподавал литературу в школе. Много лет жил в Москве. Писал миниатюры для театра Аркадия Райкина. Автор поэтических сборников, книг прозы, пьес и киносценариев. Репатриировался в 1994 году. Живет в Нацрат-Илите. В 2003 году вышла книга «И смех, и проза, и любовь», в 2009-м – «И обрушатся горы. Книга откровений и фантазмов».
В «ИЖ» рассказы и эссе **М. А.** опубликованы в № № 8, 13, 30, 31, 32.

Елена АКСЕЛЬРОД родилась в Минске, жила в Москве. Окончила филфак МГПИ. Репатриировалась в 1990 году. Автор книг для детей, поэтических сборников, книги-альбома об отце – Меире Аксельроде (1993), «Двор на Баррикадной» (воспоминания письма, стихи, 2008). Стихи и ее переводы (с идиша и др.) включены в антологии. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля (1995). Живет в Маале-Адумим.
В «ИЖ» опубликованы подборки стихов «Сон о танцевальном классе» (№ 3); «Кофе под "Хронику дня"» (№ 10); «Между пальмой и липой» (№ 16), рецензии на книги Ю. Шаркова (№ 5), Я. Хромченко (№ 7), М. Вейцмана (№ 26), эссе об А. Белоусове «Власть одиночества» и переводы его стихов (№ 17), переводы из Л. Гольдберг (№ 18), фрагменты книги «Двор на Баррикадной» (№ 24-25). В *«Библиотеке ИЖ»* вышла книга **Е. А.** и Михаила Яхилевича «Стена в пустыне» (2000).

Марк ВЕЙЦМАН родился в Киеве в 1938 году. Окончил пединститут и Литинститут им. Горького. Преподавал физику в школе. Репатриировался в 1996 году. Автор поэтических книг для детей и нескольких сборников стихов. Лауреат премий им. Б. Горбатова (1983) и «Круг родства» (2006). Живет в Модиине.
В «ИЖ» публиковались подборки стихотворений **М. В.** «Пока душа не сменит оболочку» (№ 5), «Листок эвкалипта» (№ 14-15), «Свидетель» (№ 20-21), «На упраздненном языке» (№ 27), «С самого детства» (№ 29), рецензия на книгу Александра Крестинского (№ 16) и заметки о нем «Грустно-весёлый, детско-взрослый» (№ 22). В «*Библиотеке ИЖ*») вышла его книга «Третья попытка» (2002).

Владимир ВЕСТЕР (Вестерман) родился (1948) и живет в Москве. Окончил МОПИ им. Н. К. Крупской, выпускник литературного семинара Андрея Кучаева (1983). Автор книг «Приключение с рыбой» (1990), «Фаворит(ы) Луны» (2005), «Гибель империи» (2005, с Леонидом Юзефовичем), «Как уберечься от пули, или жизнь наша советская» (2006, с Геннадием Поповым), «Время партнеров» (2007 год), «СССР, или другая цивилизация» (2008), «Митрофан Глобусов. "Мысли и размышления"» (с Владимиром Буркиным и Артуром Кангиным).

Анатолий ДОБРОВИЧ родился в 1933 году в Одессе. С начала 60-х годов жил в Москве. Репатриировался в 1988 году. Автор 13 популярных книг по психологии и психотерапии, поэтических сборников «Монолог» (2000), «Линия прибоя» (2003), «Остров Явь» (2005). Живет в Бат-Яме. Работает врачом.
В «ИЖ» опубликованы подборка стихов «Случай и судьбу благодарю» (№ 22) и рецензии на книги Велвла Чернина (№ 23), Александра Воронеля (№ 30), Елены Игнатовой (№ 32).

Вероника ДОЛИНА родилась (1956) и живет в Москве. Окончила МГПИ им. Ленина (1979) по специальности «преподаватель французского». Песни на свои стихи пишет с 1971 года. Записала более двадцати дисков. Автор более десяти сборников стихов.
Эссе **В. Д.** «Проводник» и стихи памяти Юрия Штерна опубликованы в «ИЖ» № 24-25.

Лорина ДЫМОВА родилась в Свердловске, жила в Москве. Репатриировалась в 1992 году. Автор нескольких книг стихов и прозы. За переводы болгарской поэзии награждена орденом Кирилла и Мефодия. Лауреат премии «Золотой теленок» (2000), премии Союза русскоязычных писателей Израиля (2006) и поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2009). Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы рассказы **Л. Д.** «Жил на свете рыцарь бедный», «Такой вот парадокс» (№ 2); переводы из А. Гилеля и Н. Зархи (№ 7), заметки о Л. Черкасском «Об одном господине» (№ 18), подборки стихов «Золотое наваждение» (№ 12), «Няня на поляне» (№ 20-21), «Тот самый мотив» (№ 27), «Притаившаяся память» № 30).

Владимир (Зеэв) ЖАБОТИНСКИЙ (1880, Одесса – 1940, Нью-Йорк). Поэт, прозаик, драматург, переводчик и публицист, идеолог и основатель ревизионистского течения в сионизме. Сделанный им в семнадцатилетнем возрасте перевод на русский стихотворения «Ворон» Э. По в свое время был признан лучшим. В 1898-1901 гг. корреспондент одесских газет в Бёрне и в Риме. Перевёл на русский «Сказание о погроме» Х.-Н. Бялика (1904). В 1911 году основал издательство «Тургеман», выпускавшее в переводах на иврит лучшие произведения мировой литературы. В 1917-1918 гг. служил в основанном по его инициативе Еврейском легионе в составе британской армии. Один из редакторов русскоязычного журнала «Рассвет», редактор выходившей на иврите газеты «Давар а-Йом». Автор романов «Самсон Назарей» (1926) и «Пятеро» (1936). Перевел на иврит произведения Данте, Гёте, Ростана, Э. По.
В 1964 году, согласно завещанию **В. Ж.**, его останки перезахоронены на горе Герцля в Иерусалиме. Именем Жаботинского названа одна из центральных улиц столицы.

Марк ЗАЙЧИК родился в 1947 году. Жил в Ленинграде. Репатриировался в 1973 году. Автор нескольких книг прозы. Живет в Раанане.
В «ИЖ» опубликованы рассказы **М. З.** «Долг Карабаса» и «Навык и память» (№ 2), заметки «Министр Перес и писатель Солженицын» и интервью с Иосифом Бродским (№ 9), повесть «В нашем регионе» (№ 10).

Елена КАМБУРОВА родилась в 1940 году в Новокузнецке. Окончила эстрадное отделение Госучилища циркового искусства (1966), затем – отделение эстрадной режиссуры ГИТИСА.
В ее репертуаре произведения Б. Окуджавы, Н. Матвеевой, Ю. Кима и других мастеров авторской песни, музыкальные интерпретации стихов М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Мандельштама, А. Блока, Ю. Левитанского, Д. Самойлова, А. Тарковского, песни Ж. Бреля, Барбары, и др. Русскоязычный репертуар певицы сочетается с песнями на других языках, в т. ч. на иврите. Голос **Е. К.** звучит более

чем в ста кинофильмах и мультфильмах. Среди ее актёрских работ роли в фильмах «Монолог», «Театр неизвестного актера», «Мой нежно любимый детектив» и др. С 1992 года – художественный руководитель созданного ею Театра музыки и поэзии. Живет в Москве.

Леонид КАЦИС родился (1958) и живет в Москве. Профессор Центра библеистики и иудаики РГГУ. Автор книг «Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи» (2000, 2004), «Русская эсхатология и русская литература» (2000), «Осип Мандельштам: мускус иудейства» (2002), «Кровавый навет и русская мысль. Историко-теологическое исследование дела Бейлиса». Научный редактор Полного собрания сочинений Владимира (Зеэва) Жаботинского.

Дмитрий КИМЕЛЬФЕЛЬД родился в 1950 году в Киеве. Окончил Киевский Институт иностранных языков. Преподавал в школе английский, работал переводчиком в НИИ. В киевском Театре драмы и комедии прошел путь от рабочего сцены до завлита. Был актером в театре «Фрейлехс». Руководил эстрадным ансамблем «ОВИР». Лауреат и член жюри многих фестивалей авторской песни. Репатриировался в 1990 году. Автор нескольких дисков, книг стихов и песен «В те времена» (1996) и «Стены времени» (2003), один из авторов диска «Иерусалимский альбом». Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликована подборка песен **Д. К.** «Иерусалимское время» (№ 7) и эссе памяти В. Ланцберга «Потому что со мной он есть» (№ 23).

Виктор ЛУФЕРОВ (1945 – 2010, Москва). Учился в МИФИ, окончил биофак Ветеринарной академии им. К. И. Скрябина (1971) и эстрадное отделение Государственного музыкального педагогического училища им. Гнесиных по классу гитары (1978). Работал лаборантом в Центральном институте гематологии и переливания крови, расклейщиком афиш, дворником, дежурным пожарным.
Писал песни с 1966 года, преимущественно на свои стихи. В 1967-1970 гг. руководитель ансамбля «Осенебри». В 1985 году основал театр-студию песни «Перекрёсток» (просуществовал до 2003 года). Участник творческого объединения «Первый круг». Автор семи CD и книги стихов и песен «Лестница в небо» (2003).

Геннадий МАЛКИН родился в 1939 году в Брянске. Автор многочисленных сборников афоризмов и трёхтомника в «Золотой серии». Лауреат премий «Золотой телёнок», «Тайм-аут» и др. Репатриировался в 2008 году. Живет в Бат-Яме.
Воспоминания **Г. М.** «Секрет военного искусства» и подборка его афоризмов «Пополняйте ряды изгоев» опубликованы в «ИЖ» № 29.

Евгений МИНИН родился в 1949 году в Невеле. Окончил Ленинградский политехнический институт и четыре курса Витебского пединститута. Работал на заводе, преподавал в школе. Репатриировался в 1990 году. Автор пяти сборников стихов. Лауреат Поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2006) и конкурса «Пушкинская лира» (США, 2005). Живет в Иерусалиме. Работает учителем в школе.
В «ИЖ» опубликованы подборка стихов **Е. М.** «Без Мальчиша и без Гавроша» (№ 23), подборка пародий «Сквозь точки-запятые» (№ 27), рецензия на книгу Александра М. Кобринского (№ 32).

Сергей НИКОЛЬСКИЙ родился в 1961 году в Москве. Окончил Строгановское художественное училище. Репатриировался в 1990 году. Стихи печатались в литературной периодике и коллективных сборниках. В настоящее время живет в Нидерландах.
В «ИЖ» опубликованы подборки его стихов «Из кулинарной энциклопедии» (№ 7) и «Я опишу вам женщину» (№ 24-25), «Сопротивление настоящему (№ 30).

Надежда СОСНОВСКАЯ родилась (1950) и живет в Москве. Окончила Коломенский пединститут (1973). Преподавала английский и немецкий, работала переводчицей в НИИ, переводит художественную литературу. Песни пишет с 1966 г. на свои стихи, а также на стихи Н. Матвеевой, Р.-М. Рильке, Ф. Г. Лорки и др. Член объединения «Первый круг». Автор CD «Иносказание».

Алекс ТАРН (Алексей Тарновицкий) родился в 1955 году в Арсеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатриировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991) и шести книг прозы, вышедших в Москве. Лауреат премии им. Марка Алданова (2009). Живет в поселении Бейт-Арье.
В «ИЖ» опубликованы эссе **А. Т.** «Сумерки идеологий» (№ 14-15), «Пятая звезда» (№ 33), романы «Протоколы Сионских Мудрецов» (№ 16), «Иона» (№ 19), «Пепел» (№№ 22, 23; финальная шестерка «Русского Букера», 2007), «Записки кукловода» (№ 27), «Летит, летит ракета» (№ 30); «Дор» (№ 31), повесть «Дом» (№ 24-25), переводы стихов Натана Альтермана и Рахели (№ 28, 33), глава из романа «Гиршуни» (№ 29).

Михаил ФЕЛЬДМАН родился в 1964 году в Москве. Окончил МАДИ. Репатриировался в 1991 году. Лауреат фестивалей авторской песни, выпустил диски «Билет на Альфу-Центавра» (2005), «Вдоль по бездорожью» (2009), один из авторов диска «Иерусалимский альбом». Автор книги песен и палиндромов «Со среды на пятницу» (2002), один из участников «Антологии авторской песни», собранной Д. Сухаревым. Живет в Беэр-Шеве.
В «ИЖ» стихи и песни **М. Ф.** публиковались в №№ 6, 19, 27, 30, 32.

Евсей ЦЕЙТЛИН родился в 1948 году в Омске. Окончил журфак Уральского госуниверситета (1969) и ВЛК при Литинституте им. Горького (1989). Преподавал в вузах историю русской литературы и культуры. Автор около двух десятков книг. Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). С 1996 года живет в США, редактирует журнал «Шалом» (Чикаго).

Лена ШТЕРН родилась в 1950 году в Киеве, с детства жила в Москве. Окончила МГУ. Репатриировалась в 1981 году. Более двадцати лет занималась цветочным дизайном. С 1999 года специализируется в области телесно-ориентированной психотерапии. С 2007 года возглавляет «Центр холистической помощи онкологическим больным и их семьям» им. Юрия Штерна. Живет в Иерусалиме.

СОДЕРЖАНИЕ

ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ
ЕВГЕНИЙ МИНИН. Из Верхнего Назарета 3
МАРК АЗОВ. Единственная жизнь. *Рассказы* 4
ОТ РЕДАКЦИИ. «В дни, когда летит над лугом...» 20
ВИКТОР ЛУФЕРОВ. Одуванчик золотой
Песни и стихи разных лет 21
ВИКТОР ЛУФЕРОВ. Свой путь. *Из интервью 1980 года* . . . 29
ЕЛЕНА КАМБУРОВА. Менестрель 37
ВЕРОНИКА ДОЛИНА, НАДЕЖДА СОСНОВСКАЯ,
АЛЕКС ТАРН, ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ. Памяти Виктора 39
МИХАИЛ ФЕЛЬДМАН. Ещё не дата 42
ДМИТРИЙ КИМЕЛЬФЕЛЬД. На другом берегу. *Поэма* 43

ШХЕМСКИЕ ВОРОТА
АЛЕКС ТАРН. Последний Каин. *Повесть* 47

ЯФФСКИЕ ВОРОТА 85
АНАТОЛИЙ ДОБРОВИЧ. Из дневниковых записей. *Стихи* 90
ГЕННАДИЙ МАЛКИН. Не бросайте камней в виноватых
Афоризмы 94
МАРК ЗАЙЧИК. Жизнь прекрасна. *Повесть* 96

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
МАРК ВЕЙЦМАН. Рецепт выживания. *Стихи* 184
ЛОРИНА ДЫМОВА. А втайне он мечтал...
Короткие рассказы 191
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД. А что же осталось. *Стихи* 195

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ
ВЛАДИМИР ВЕСТЕР. В ожидании праздника
Главы из книги 200

ПЛОЩАДЬ ГОЛЛАНДИИ
НИКОЛЬСКИЙ. Взгляд со стороны. *Стихи* 209

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН. Шаги спящих. *Из дневников* 214

ХОЛМ ПАМЯТИ
ЛЕНА ШТЕРН. Между мирами 222

УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО
ЛЕОНИД КАЦИС. Начало пути 225
ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ. «Научность» и здравый смысл
Конспект статьи «О сионизме» (1902) 232
ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ. Из сочинений 1903 года . . . 236

ИМЕНА
Авторы и персонажи 326

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ
МИХАИЛ ФЕЛЬДМАН. «Люблю я родину свою...»

Подписку на журнал можно оформить,
прислав обычной (не заказной) почтой свои координаты
и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

Jerusalem Literary Review,
P. 0. Box 32297, Jerusalem 91322

Стоимость годовой подписки (4 номера):
В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку
В других странах – $64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:
В Израиле – 45 шекелей, включая пересылку.
В других странах – $18 США, включая пересылку

(Справки по тел. 972-72-2822551; E-mail: olvic1@012.net.il)

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азаз-Лившиц (Иерусалим), Михаэля Бар-Шалева (Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Михаила Веллера (Москва), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Чикаго), Андрея Грицмана (Нью-Джерси), Андрея Крылова (Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника (Мевасерет-Цион), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петах-Тиква), Йосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа), Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зеэва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Москва), Ирину Хвостову (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехиэля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Павла Хмару (Москва), Шуламит Шалит (Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)
за поддержку журнала.

Любые советы, предложения, а также пожертвования будут приняты с благодарностью

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Hapoalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»
в 1999 – 2010 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;
Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;
Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;
Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);
Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;
Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной», «Авангардист на крышу вышел»;
Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;
Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние», «Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»;
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»
(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);
Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме»; Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка»;
Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;
Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки», «Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;
Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», «Энергия согласия»;
Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»;
Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо»;
Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая), «Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;
Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;
Эли БАР-ЯАЛОМ «Горизонтальная луна»; Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;
Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»; Вильям БАТКИН «Талисман души»;
Илан РИСС «У разбитого горячего камня»; Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»;
Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»; Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание»;
НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин»
«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)
Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведенко), Юлия КИМА, Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ
книги Григория КАНОВИЧА, Виктора ЛОЗИНСКОГО,
Ицхокаса МЕРАСА, Евгения МИНИНА, Феликса КРИВИНА, Лены ШТЕРН

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net/index.html

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Леи Заремба, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Коэлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

CONTENTS

JUBILEE QUARTER
EVGENY MININ. From Upper Nazareth
MARK AZOV. The only life. *Short Stories*
EDITORIAL NOTE. Flying over the meadow...
VICTOR LUFEROV. The golden dandelion. *Poems and Lyrics*
VICTOR LUFEROV. My own way. *From the interview of 1980*
ELENA KAMBUROVA. The minstrel
VERONICA DOLINA, NADEZHDA SOSNOVSKAYA,
ALEX TARN, IGOR BYALSKY. In memory of Victor
MICHAEL FELDMAN. A memorial date-to-be
DMITRY KIMMELFELD. On the other bank. *Poem*

SHKHEM GATE
ALEX TARN. The last Cain. *Novelette*

JAFFA GATE
ANATOLY DOBROVICH. From my diaries. *Poems*
GENNADY MALKIN. Don't throw stones at guilty people!
Aphorisms
MARK ZAICHIK. The life is wonderful. *Novelette*

LION GATE
MARK WEITZMAN. A formula for survival. *Poems*
LORINA DYMOVA. And in his secret dreams... *Short Stories*
ELENA AXELROD. And what's left... *Poems*

RUSSIAN COMPOUND
VLADIMIR VESTER. Waiting for the holiday.
Chapters from the novel

HOLLAND SQUARE
NIKOLSKY. A detached view. *Poems*

AMERICAN COLONY
EVSEY TSEITLIN. Footsteps of sleepers. *From diaries*

MEMORY HILL
LENA STERN. Between the worlds

ZHABOTINSKY STREET
LEONID KATSIS. The beginning of the road
VLADIMIR ZHABOTINSKY. "Scientific approach" and common sense.
The synopsis of the article "On Zionism" (1902)
VLADIMIR ZHABOTINSKY. Selections from Works of 1903

NAMES
Authors and Characters

THE INNER BACK COVER
MICHAEL FELDMAN. "I love my motherland..."

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 34, 2010

MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet version: antho.net/jr/index.html
magazines.russ.ru/ier/

Israel Union of Writers in Russian
Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief),
Velvl Chernin, Elena Ignatova, Yuly Kim, Zinaida Palvanova, Dina Rubina, Svetlana Schoenbrunn, Roman Timenchik

Executive Secretary: **Evgeny Minin**

Graphic Designer: **Susanna Chernobrova**

Web Designer: **Karina Pasternak**

Assistants Editors and Correctors: **Binah Smekhova, Lyuba Leibzon**

Administrative and technical support: **Olga Aksyutina, Boris Bronshtein, Daniel Burshtein, Michael Byalsky, Victor Gopman, Gregory Gordin, Leonid Levinson, Svetlana Moiber, Inna Vinyarsky**

Print: ***TSUR OT***

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2010. All rights reserved
Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel
E-mail: jerusalemreview@gmail.com
Phone: 972-2-9960302, 972-54-4745322, 972-2-6451288

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow:	**Igor Gryzlov** – 7-495-5507747; apksp@narod.ru
	Victor Indenbaum – 7-495- 9157178; sifria@mail.ru
in New York:	**Andrey Gritsman** – 1-201-2250090; agritsman@msn.com
in Chicago:	**Alexander Blinstein** – 1-847-6761134; sashablin@hotmail.com
	Yefim Kotlyar – 1-847-5819304; YefimK@aol.com
In Boston:	**Tanya Goldmakher** – 1-508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com
in Paris:	**Vladimir Smekhov** – 336 73024165; v.smekhov@primetouch.com
in Toronto:	**Ilia Lipes** – lipes@idirect.com

תוכן העניינים:

קריית יובל
יבגני מינין. מנצרת עלית
מרק אזוב. חיים יחידים – סיפורים
מהמערכת. "בימים כשמעל האחו..."
וויקטור לופרוב. שינן זהוב – שירים משנים שונות
וויקטור לופרוב. הדרך – מהראיון משנת 1980
ילנה קמבורובה. משורר, זמר...
וורוניקה דולינה, נדז'דה סוסנובסקאיה,
אלכס טארן, איגור ביאלסקי. לזכרו של וויקטור
מיכאל פלדמן. עדיין לא גיל
דמיטרי קימלפלד. בגדה אחרת – שיר

שער שכם
אלכס טארן. הקין האחרון – סיפור

שער יפו
אנטולי דוברוביץ'. ברשימות יומן – שירים
גנדי מלכין. אל תסקלו אשמים באבנים... – אפוריזמים
מרק זייצ'יק. החיים יפים – סיפור

שער האריות
מרק וויצמן. מתכון ההישרדות – שירים
לורינה דימובה. ובסתר הוא חלם... – סיפורים קצרים
ילנה אקסלרוד. ומה נשאר בסוף – שירים

מגרש הרוסים
וולדימיר ווסטר. בציפייה לחג – פרקים מספר

כיכר הולנד
ניקולסקי. מבט מהצד – שירים

המושבה האמריקאית
יבסי צייטלין. צעדי ישנים – מהיומנים

הר הזיכרון
לנה שטרן. בין עולמות.

רחוב ז'בוטינסקי
לאוניד קאציס. תחילת הדרך
וולדימיר ז'בוטינסקי. "מדעיות" ושכל ישר –
תמצית המאמר "על הציונות" (1902)
וולדימיר ז'בוטינסקי. מיצירות שנת 1903

שמות
דמויות ויוצרים

העמוד השלישי של הכריכה
מיכאל פלדמן. "אוהב אני ארצי-מולדתי..."

כתב-עת ירושלמי 2010. 34

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "**אנתולוגיה ירושלמית**"

מערכת:
איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, רומן טימנצ'יק, יולי קים,
זינאידה פלבנובה, וולוול טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון

מזכיר – יבגני מינין
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה – בינה סמחובה, לובה ליבזון

תמיכה לוגיסטית וטכנית – אולגה אקסיוטינה,
מיכאל ביאלסקי, דניאל בורשטיין, בוריס ברונשטיין, אינה וויניארסקי,
ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, סבטלנה מויבר, אילן ריס

הדפסה: דפוס "**צור-אות**"

בתמיכת

קונגרס יהודי רוסיה

קרן רוסקי מיר

משרד התרבות והספורט
מנהל התרבות, המחלקה לספרות

עריית ירושלים

בית מורשת אורי צבי גרינברג

2010 © כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-9960827, 0544-745322, 02-9960302, 02-5361947
E-mail: jerusalemreview.gmail.com

* * *

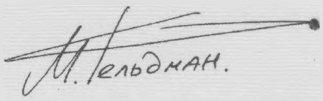
Люблю я родину свою,
И движет мной не чувство долга!
Люблю, и всё! На том стою,
Хотя присел бы ненадолго.

Люблю, почти как Моисей
Любил таскать Ковчег Завета,
Люблю назло планете всей,
И пусть подавится планета!

Люблю родной аэродром,
Верховный суд, и даже Кнессет,
Где разум борется с добром
И всё никак не перевесит.

Люблю за редкостную смесь
Средневековья и прогресса,
За то, как мучаются здесь
Идеей мирного процесса.

За выбор специй и приправ,
За экзотические блюда,
За то, что кто-то, перебрав,
Не крикнет мне: «Вали отсюда».

Люблю я родину, и всё!
Люблю безудержно и рьяно.
Люблю за то, люблю за сё,
Но большей частью – несмотря на...

07.06.10